БИБЛИОТЕКА
ТОМСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

III

Библиотека томской поэзии и прозы

Издание Томской писательской организации

Библиотека томской поэзии и прозы

том 3

Александр Казаркин

Геннадий Скарлыгин

Владимир Костин

Геннадий Анкудинов

ТОМСК
2018

ББК 84(2Р)6
Б59

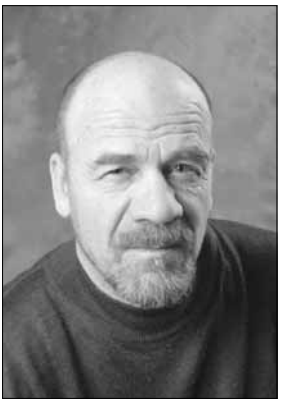
А. П. Казаркин, Г. К. Скарлыгин, В. М. Костин, Г. С. Анкудинов. Библиотека томской поэзии и прозы. Литературно-художественное издание. Том 3 — Томск, 2018. — 416 с.

Литературно-художественное издание
«Библиотека томской поэзии и прозы»
издаётся при поддержке
губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

© Томская писательская организация, 2018

Александр КАЗАРКИН

Встречь солнцу



Александр Петрович КАЗАРКИН

Критик и прозаик-краевед, автор книг по сибиреведению и русской литературе XX века. Родился в 1941 году в деревне Дресвянка Новосибирской области, закончил историко-филологический факультет ТГУ, доктор филологических наук, профессор. Редактор-составитель и один из авторов антологии «Преданья старых трактов» («Сказы народов Сибири»), автор книг «Где та земля чистая?», «Неотпетый род», «Как открывали Сибирь». Печатался в журналах «Сибирские огни», «Литературный Кузбасс», «Наш современник», «Начало века».

ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ

Рассказы краеведа

СТРАНА ЗА КАМНЕМ

«Милостию князя велено было мне, Ефимке сыну Иванову, пригнати из Пермския земли монаха немчина, иже языкам учен. И как было мне туда приехати, то поносил меня немчин сей ругательски. А того ради сором учинил, что русичей за скотин сущих почитает.

Слух обретён здесь, государь княже, яко побывал он за Камнем в стране, кою татаре именуют Шибирь, а черемисы Сабир. Видели людишки у него чертёж земель закаменных, а хощет тот чертёж к себе в Неметчину везти. Идти же в Шибирь многия дни в горах щелием, а которым обрывам тамо и дна не видати. Православных нету, и языки, государь княже, все не знаемы, живут человеки малы и невздрачны. Сказывал монах, что и дале есть большая страна, правит игумен латынския веры, имя толи Полкан, толи Яган. А городы у него богаты, и подать с торгов и с паромов на себя берёт. Монаха того, Поганкой зовомого, пригнал я, и сидит он за сторожею, ожидаючи суда твоего, государь княже».

— Сам писал, сотник? — спросил дьяк, свёртывая челобитную. Потный, плечистый, с кудлатой бородой, тот завозился в углу, дважды крякнул для прочистки горла:

— Зачем самому-то? Писцы на то заведены. А сказано всё, как оно сталось.

Думный дьяк растопырил пальцы, процедил сероватую бороду, потом оттолкнул свиток и повернулся к колоднику:

— Откуль ты взялся? Кто тя на Русь послал?

— По чину монастырскому и любознанья ради пошех аз в вашу Сарматию.

— Говори по-простому, не книгу читаешь. Старославянской язык, он для святого писанья, а ты здесь на расспросе. Вдругорядь спрошаю: кто тя послал?

Судьба не раз зло шутила над бедным Иоганкой, и он знал: так небо испытует его терпенье. Был в самом дальнем русском монастыре, когда нашёл его гонец. Разберись вот с этими руссами: кафтан пыльный, голос хриплый, кто поверит, что он княжий гонец:

— Ты, что ли, монах Поганка?

Ответил ему смиренно, но с достоинством: — Если я, служитель Господа, поганка, то не поганец ли и ты?

— Ах ты, морда немчинская! — И взвилась над головой монаха нагайка. — Да я тебя до самого Нижнего гнать буду.

Почти сто вёрст прошёл Иоганка под толчки коня. И отдалялась Пермия, ради которой так долго шёл в царство московитов. Покорилась она Новгороду и Москве, стояли в ней храмы схизматиков, но по лесам ещё молились старым идолам.

— А ты, сотник, нашто нагайкой-то замахал? Ругать, обзывать сразу стал? Тут писано: привести угорского монаха Иоганку.

— Как, как?.. Так это, выходит, И заместо П?.. Напущенье, видать, — не нашей он веры-то.

— Про то не мне, князю ответишь. А ты прочитай нам вот это посланье, что отнято у тебя. Кому оно и про что писано?

— Брату-монаху Мисаилу, на случай невозврата моего. Добро, читаю. Сальве, Михеле, фратре эт амице!

— Стой, стой! Забубнил. Римской, что ли, язык-от? Мы тебе не латынцы какие. Язык наш славянской, он простой и понятной, раз ты его знаешь.

— Я, кроме родного венгерского и латыни, говорю на германском и по-италийски читаю.

— Ишь ты! Вот и толмачь сам сразу. Да врать не вздумай, князь всё едино дознается. У него свои толмачи добры.

— Для того ль от мира в монастырь уходят, чтобы врать? Кхе, начинаю. Брату Мисаилу из ордена миноритов смиренный Иоганка поклон свой шлёт. Не поверишь ты, брате Мисаил, сколь обширны земли, сотворенные Господом на благо человекам, доколь сам не узришь их. Прошёл я поперёк страну схизматиков-руссов и дивился здесь премного. Города в стране сей не обширны, а лесам меры нет.

И пришёл я к Каменному поясу земли. Живёт за ним самоядь, народ выносливый, во льдах и снегах житие его. Соседям их имя астяк, и язык их нашему сродный. Сарацинский купец написал «Книгу путей и стран», когда Русь ещё не была крещена. Он поведал о стране Сибур, в коей чудес многое множество. Ал-Руми говорил такожде о великой стуже в земле Сабирской ещё в седьмом веке от Рождества Христова. В лексиконе мордовском слово «савир» всё ещё обретается, татары говорят о царстве Шибир у великой холодной реки. Влечёт меня, брате Мисаил, народ сабир, вижу в нём предков наших. За сим пребывай здоров, да будет на тебе благословение Божие.

— Нет туды дорог. Ехать там некуды. Мёртвое царство, безвидное. На что оно? — Сотник тёр подолом рубахи взмокшую шею и косился на думного дьяка.

— Через Сибур пролегла дорога в Индию. Александр Великий, царь Македонский, по пути из Индии загнал в горы злые народы Гог и Магог. Это им на тысячу лет нет пути, но скоро высекут они выход и пойдут на города ваши.

— Царь Македон, он наскрозь земли прошёл, в Шибир, говорят, захаживал, а на Русь — шиш ему, нет ходу.

— Это пока другой воитель не явится. А он уже приходил — царь мунгальский.

— Спаси и сохрани! Неуж ещё кто страшней мунгалов придёт? А скулы-то у тех каковы?

— Того не ведаю: они близко к себе не подпустят. А за Земным Поясом народы мирные, про убийства не ведают. Зверя и рыб там столько, что нет нужды драться за них. Золото им ни во что станет, у них искони обмен едой и шкурами.

— Самоед у тя вышел добрей русского?! Пойди, пойди, там чужака приголубят! Брюхо вспорют — глазом не моргнёшь. Злобны пуще зверей лютых! А как им не быть злыми, коли всю зиму ночь там? А зима, слышно, полгода. Самоядь, она тепла не выносит, летом у Студёного моря живёт, потому кожа у них пузырится, как снег зачнёт таять. А другая самоядь, те на зиму засыпают. Где кто шёл, тут и сел, как помер. Весной оттает, отряхнётся и дале идёт себе. А золота для того и не знают, что звери сущие. Им что жить, что не жить, всё едино, как траве.

— Так и учили в древности: не бойся смерти, почитай себя частью леса. Богатство копить глупо — умрёшь всё едино.

Сотник приосанился, голос подал: — Ну да, там стариков снедают, как голод пристигнет. Народ к людоедству обык, а ты тут... Ходили новгородцы туды, день и ночь шли, воюючи, не давали им самоеды роздыху, почитай, всех перебили. На бой-то, как мураши, прут. Такой и умрёт — не заметит.

Дьяк покачал головой:

— Я слыхал: шкурки соболя они свозят в кучи ради обмена, а ветры там сильны, идут они от Моря Мрака. Как налетит вихрь, так и вздымет мягкую рухлядь под тучи, потом размечет шкурки вдоль реки. Один торговый человек нашёл их в степи, полны сани набил мягкой рухлядью.

Великая там река есть, имя ей Обия, течёт из озера чудной красы. В верховьях идёт она меж высоких гор. На ней стоит богатый город Грустина, поболе Новгорода будет. Стен нет, выбиты пещеры, люди ходят под землёй, инда день так можно вдоль реки идти, но с огнями. И второй город стоит, именем Серпонов, велик и шумен, а посаду нет у него — под землёй все живут. На улицах там ясти и пити вдоволь поставлено, а сами жильцы не показываются. Товару всякого много, а если без денег возьмёшь и уедешь, пропадёт товар. Богат город, заезжают караваны с Великого Шёлкового пути. Грустинцы и серпоновцы ничего не копят: для проживу всего там достаёт. Мудрость, она в простоте живёт.

— А самоеды с собачьими башками? — сотник не унимался. — Не слыхать у вас: пёсьеголовые там живут? А псоглавые человеки,

они же перед Страшным судом явятся. Да там и птицы-то на лету в камень замерзают. Воробья, сказывают, и того нету, потому зерно не родится. А русскому без хлеба не жить.

— Но древние люди пахоты не знали, городов не строили. Монголы учредили ямские станы с переменными конями, чтобы скакать дни и ночи без отдыха.

Видение мне было, уже дважды. Близ Вены стоит войско монгольское, к штурму готовится, и вдруг прискакал гонец: далеко, у границ страны Чань, умер главный каган. И скоро будет великий совет — на́большего из каганов выбирать. За два месяца каган Бату, внук Чингиса непобедимого, должен был проскакать семь тысяч стадий, дабы успеть на выборы верховного кагана. Сотни лучших коней загнал он до смерти.

…Только птицы сверху видят, как пересекает степь стрела монгольская из шести коней. Всякого встречного два гонца рубят саблями и приговаривают: «Ступай на небо, служи там великому хану». Молодой хан спал и ел в носилках между четырьмя конями. У ямского стана гонцы с ног валятся, а Бату в новые носилки залезает. Загнанных коней монголы на ямском стане съедают. День и ночь на восток мчит стрела, только след по ковылю дымится, да коршуны летят следом.

И вот поднялся ночью сильный вихрь, и захрипели курганы, задудел ветер в норах сурочьих: — Конь с неба нам послан. Един воин с телом коня своего в бою, не гоже коней поедать. Мы воины не хуже тебя, в походы ходили дальние, а коней больше всего чтили. Не будет тебе милости неба, не останется после вас курганов… И повернул Бату-каган обратно на Итиль-Волгу.

— Я гляжу, не монах ты, а бахарь. Князю ведомо учинилось про чертёж Закаменной земли. Где ты его спрятал?

— Не было того, не писал я чертежа, татар страшася. Нарисовал токмо на бересте одному русскому страннику, и тот унёс с собой.

— Тогда всё, конец разговорам. Не хошь нам отдать чертёж — князю отдашь. С ним не похитришь, там тебя борзо протрясут.

— Сему не мо… не мочно быти, — заикаться начал монах. — Рать татарскую навести на Русь хотите? Распрю учините, иноверные сабли придут! Меня там большой каган ждёт. В Орде оставил я книгу про неё же, про орду писана.

— Книгу, говоришь? Какое ей названье?

— Геста татарорум ет рутенорум. Про родословие каганов, про обычаи руссов. А вы здесь князю с каганом распрю строите. Каган велел прийти за книгой, хотел рассуждение иметь со мною, да я вот замешкался тут. Если узнает он, что меня задержали, помешали нашей встрече, плохие дела будут. Решит он, что ваш князь захотел поссорить царство немецкое с ордой, а за это казнить станет нещадно.

— Отцы-святители, что ты, бог с тобой!! Какая тебе ссора, в уме не держали. Да с нас князь и сам головы поснимает тогда, безо всякого татарского указу. Я токмо разузнать, чтоб всё толком, по порядку… Ну, коли так, ступай, а на обратном пути уж во Владимирь зайдёшь.

Доро́гой Иоганка-монах то молился, то смеялся. Слукавить пришлось свободы ради. Хотелось первым из европейцев перевалить Каменный пояс земли. Ходил, правда, один из эллинов, поэт Аристей, в Гиперборею. Увидел края пречудные и поэму написал. А к сарматам не дошёл он. Увидеть бы народы, живущие как в годы первотворенья…

«Как горный снег, высоко над всеми землями возвышается Сибур, страна чистая. Воды прозрачны и леса чисты, и всюду свет там горний. Жизненной силы преисполнены там люди, равнодушны они к лести бренной» — вот ведь как говорят древние свитки. Всякий, кто придёт, жить может там просто и чисто. Какие же распри и ложь какая могут быть в стране, коя даже у драчливых руссов именуется Лукоморьем? А в Европе слывёт она как таинственная страна Сибур...

А если сгинуть там предстоит? Что ж, на всё воля Божья.

Что в имени твоём, Сибирь? Из какого языка слово, с какой стороны пришло оно на Русь?

В языках монгольской группы Сибер — страна лесов. «Сокровенное сказание монголов» говорит, что в год зайца (1207-й) Чингисхан подчинил лесные народы, в том числе племя шибир. В Бурятии сохранились местоназвания Хара-шибирь — чёрное болото и Улан-шибирь — красное болото. Известны историкам два правителя: Шибир-хан и Сибир-хан.

Древние китайские хроники упоминают кочевое племя сяньби, это ранние монголы. Они властвовали на землях нынешней Монголии до появления гуннов (хунну). А ещё в этих летописях есть народы Сирби и Сирви. В состав Тюркского каганата входило племя сибир. В тюркских языках: Сиб-ийр (ер) — земля-вода или многоводная земля. Или, чуть иначе: сиб — «засыпай» и ир — «земля». Племя подземное? В Приуралье жили в древности угры, и, по легендам, они скрывались в земляные норы, когда на них нападали тюрки из степей. Сколько народов, столько и версий.

Историк Шафарик первым возвёл слово «Сибирь» к племени сабиров, или савиров, которые подчинились гуннскому царю Аттиле. Сабиры — народ угро-финнской группы, а угры заселяли Русскую равнину ещё до прихода славян. И преданья сибирских татар упоминают о народе сыбыр. Но, скорее всего, тюрки не создали это слово, а взяли его готовым. По преданиям хантов, в Приобье жил народ сыбыр (или сывыр): сабиры были союзниками гуннов в походе на Запад. Сабир-угры — древние насельники Приуралья и Поволжья.

Ещё когда на Руси не знали слова «Сибирь», известна была леген-

да о «языцех незнаемых в восточной стране»: «А гость к ним приидет, и они дети свои закалают на гостей да тем кормят...». Самодийцы превратились в самоедов (каннибалов), и всё же достоверные вести можно отличить: «Да есть у них таковы лекари. У которого человека внутри не здраво, и они брюхо режут да нутро вынимают и очищают, и паки заживляют». «Лекари», конечно, шаманы.

Землю эту новгородская летопись называет Югрой — от угорских племён. Отважный бросок дружины Ермака — разведка боем — стал началом русского властвования в Сибири. В русских грамотах «сибирские земли» упоминаются с 15-го века: «Искер, где была старая Сибирь». Подразумевается город, а не всё Зауралье. Сначала Сибирью называли один город, потом — Прииртышье, потом это слово стало обозначать Северную Азию.

УШЛИ В ЛЕГЕНДУ

Усуни, юэчжи, ди, сяньби, сюнну… что за племена такие? В России о них и не слышали. Как трудно переводить иероглифы в русское письмо. И как интересно заглянуть в ту древность, когда Руси ещё не было. Монах Иакинф вздохнул и обмакнул гусиное перо в фарфоровую чашицу.

Добился отправки в Китай, в православную миссию — обращать большой жёлтый народ в христиан. А попал сюда — заскучал. Хоть ты разбейся, не доходит проповедь до китайцев, тверды они в своих устоях. Успехи русской миссии в Поднебесной — нуль да и только. Зато начал читать китайские летописи. И канул в них, от стола не оторваться. Ух какие залежи открылись в столбцах иероглифов!

Историей увлёкся отец Иакинф, в миру Никита Бичурин, ещё в духовном училище. А здесь почти забросил то, ради чего сюда ехал. Среди других племён упомянут в древних хрониках народ динлин: «жители вообще рослы, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами». На юге их называли ди, а на севере динлин. Племя ди китайцы не считали пришлым. Земля его южнее Гоби, а язык китайцы назвали птичьим.

Бесконечные войны вёл народ этот чуть ли не со времён потопа. Но в 2600 году до Рождества Христова «рыжеволосые дьяволы» потерпели пораженье и ушли сквозь Гоби на север, исчезли. Облегченье южным городам, сотни лет воевавшим с ними. А не тут-то было, в 1200 году до нашей эры «рыжеволосые дьяволы» одержали победу. Саянское нагорье китайцы называют с той поры Динлин. Здесь ди воевали с хягасами, разбили их и властвовали, пока их самих не подчинили сюнну. И вновь известие о них: в 98 году до нашей эры, когда уже хунны терпели пораженье, шаньюй (вождь их) Хулагу призвал рыжих, длиннолицых воинов из-за гор. «К нему явились дин-

лины — рыжебородые великаны в деревянных доспехах с оружием крайне острым». Динлины шли в авангарде победоносного войска, а после разгрома хунну «Ши Минь издал повеление предать смерти до единого хунна в государстве, и при сём убийстве погибло множество китайцев с возвышенными носами». А откуда взялись коренные ханьцы «с возвышенными носами», китайские хроники не сообщили. Понятно, динлины смешались с ними за тысячи лет.

Бичурин счёл их европейцами и приписал к «поколениям скифов». Позднее археологи нашли плиточные могилы, а в них — погребальные маски динлинов. Ни на китайцев, ни на монголов нет и намёка. Китайцы считали ди родственниками усуней (исседонов, ответвленья скифов). Когда появились казаки на Амуре, грамотные китайцы приняли их за усуней, ушедших когда-то на дальний Север. Храбрейшие воины из племён ди татуировали правую руку. Такой обычай был и у скифских воинов. Куда же подевались эти «длинноголовые, рыжебородые великаны»? Перебиты бесследно? Нет, ещё и в X веке в войске киданей было «белокурое племя, шедшее всегда в авангарде». В рыжебородых батырах рода Борджигин (из которого Чингисхан) также видели потомков динлинов.

Всё глубже, век за веком, погружался в древность Азии Никита Яковлевич Бичурин — монах Иакинф всё больше остывал к делам миссионерским. И его наказали: отозвали в Петербург и сослали в монастырь на острове Валаам, на Север. Но и там, в тесной келье, размышлял он о китайцах, гуннах и ранних монголах — сяньби, киданях и жужанях. Академия наук признала в нём первого русского китаеведа, и он стал её членом-корреспондентом.

…О динлинах вспомнили, когда столкнулись с айнами — с коренным населением Японских островов и Сахалина. Японцам айны не родственны, а похожи на австралийцев и, отчасти, на индейцев. Бороды лопатой, головы курчавы, на руках и ногах волосы, чего нет у монголоидов. Когда-то айны жили в низовьях Амура, на Курильских островах и на Камчатке и, видимо, даже в Приполярье. Там, в районе Бодайбо, найден в древних отложениях череп женщины не монголоидного типа. Родство этой жительницы Северо-Востока с островными народами — айнами, нивхами и алеутами — несомненно. А это промежуточная раса, к ней принадлежат палеоазиаты. Есть подозрение, что от этого корня отпочковались американоиды (их назвали индейцами).

Сто лет не прошло, и новые историки столкнулись с загадочными народами на азиатском Севере. Из легенд и сказаний всплыло имя одного из них: сихиртя. Не меньше загадок и в преданьях о курумчинских кузнецах. У нескольких народов Сибири добыча руды и кузнечное дело связано с шаманством: для удачной ковки железа проси благословения у духов гор и лесов.

В середине 18 века путешествовал по тундре географ Лепёхин,

ученик Ломоносова. Он первым рассказал о загадочных сихиртя: «Вся Самоядская земля в нынешней Мезенской округе наполнена запустевшими жилищами некоего древнего народа… Русские называют сии домовища чудскими жилищами. Сии запустевшие жилища, по мнению самоедов, принадлежат некоторым невидимкам, собственно называемым по-самоядски сирте»; «У самоедов и других северных народов существуют предания о живущих под землёй людях. Самоеды называют их сиртье и говорят, что это народ, занимавший их страну раньше их и который после их прихода ушёл в землю и живёт ещё там». Не начало ли легенды о подземных городах?

Послушаем самих ненцев: «В давние годы мои соплеменники находили возле обрывов или осыпавшихся курганов черепки красивой глиняной посуды, бронзовые женские украшения и прочие расписные бытовые изделия». Ненцы означает «настоящие люди», хоть и не высоки они. А сихиртя — люди очень низкого роста, с «белыми глазами». И пришли на Ямал они из-за моря, оленей не разводили, только охотились на них, но были кузнецами. Есть преданья о долгих войнах ненцев и сихиртя: хитрый народец нападал ночами, а днём скрывался под землю.

О, какие увлекательные легенды записаны там! «Ехал ненец по тундре и вдруг видит двух людей. Они играли около обрыва. Как только увидели человека с оленями, сразу скрылись — как будто под землю. Ненец постоял и увидел на месте, где они играли, мешочек, украшенный разноцветными камнями. Он взял его, а сам спрятался неподалёку. Через некоторое время появились незнакомцы, стали искать свой мешочек. Когда оленевод вышел из засады, они снова скрылись, а он мешочек положил на место и спрятался. Неизвестные снова появились, взяли мешочек и исчезли. Больше не появлялись. Ненец понял, что это были сихщтя». Ростом малы, а лицом красивы, из нор своих выходят только ночью.

Преданья тундровых «самоедов» — ненцев и нганасан — повествуют о людях начальных веков. Оттуда пришли имена родов, названья озёр и рек. Вот Сихиртя яха — река, рыбой обильная, а никто не живёт на ней, только брошенные землянки провалились. Живут здесь сказанья о встрече с народом, обитающим под землёй. Назвали этих людей сихирц — исчезающий, чуждающийся: увидит незнакомца — шмыг под землю. В нору прячущиеся — так назвали их ненцы, а как сами себя называли они, не записано.

Ещё сказанья Западной Сибири говорят о чуди белоглазой: «Как выросла белая берёза в урмане, так и пришёл белый царь и завоевал весь край. Не захотела Чудь белому царю покориться, под землю ушла тайными пещерами. И захоронилась каменьем. Время придёт — ещё возвернётся». Чем так напугала их белая берёза? А вот чем. В нетронутой тайге берёза не растёт, березняк разрастается после лесоповала. А коренные жители тайги живое дерево не валили, в

отличие от русских. Вот почему в Сибири назвали берёзу «русским деревом». Для славян она оберегающее древо, родное и милое, о ней пели колыбельные и любовные песни. Чудь же увидела в ней знак зловещий: придёт белый царь и завоюет весь край…

Так не чудь ли жила на крайнем Севере в безвестные времена? Свои норы-пещеры они делали под сопками.

А в уральских сказах это пути чудских рудознатцев. Так и ушли нивесть куда и умением своим ни с кем не поделились. А как ушли, какими дорогами, о том свои сказанья. Живёт под горами чудный зверь мамонт-щука, роет широкие норы и трясёт землю. Вот он-то и создал подземные ходы для племён ночи.

«Есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них как до неба, и в горах тех стоит клич великий и говор, и секут гору, стремясь высечься из неё; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но показывают на железо и машут руками, прося железа; и если кто даст им нож или секиру, то взамен дают меха...» Это Нестор-летописец передаёт рассказ новгородца Гюряты (11-й век). Из устных сказаний чудь переселилась в летопись. Ушла чудь в мир мамонта, но объявится на свет по скончании века сего.

«А как сибирстии грады нарицалися, се неведомо и ни от кого же не испытано, понеже бо прежде живяше по всей Сибирской земле чудь», — так говорит летопись о сибирских древностях. Мамонт-щука — образ этот родом из хантыйских мифов. Зверюга эта боится солнышка, обитает в нижнем мире, на страх нам трясёт землю. Но там, в щучье-мамонтовых прокопах, люди живут. Есть в хантыйских легендах сведения и о подземных крепостях. Слово «Нарым» (нэрэм — болото) в легенде стало именем жестокого властелина.

«— Где Нарым? — спросил Ермак у Тумадана. Не видать Нарыма. Никакой приметы жилья нет. Хитёр старший брат. Вышли казаки на берег. Прошлись по самому яру.

— Ухом слушай, глаза закрой, — сказал Тумадан. Прислушался Ермак: бубенчики какие-то побрякивают, а где — не понять. А это, пояснил Тумадан, жена самого Нарыма шла под землёй, монистом, дорогими украшениями позванивала. Ермак догадался: где бубенчики или монеты перестанут звякать — значит, вернулась она к мужу. Там Нарым и находится. Стихло под землёй. Ермак подал знак пушкарю: сюда, мол, ударь. Сделал тот из земли дым, взмыл вверх столб песка и глины. Пропал Нарым — старший брат...

Ермак спросил: — Почему в земле живёте? Разве солнце не любите?

— Любим очень, да Нарымовы мы люди были.

— Живите под солнцем. Никто вас не тронет».

Даже до Европы дошла легенда о подземных сибирских городах. Названия их — Грустина и Серпонов: «От устьев реки Иртыша до крепости Грустины два месяца пути, отсюда до Китайского озера

по реке Оби, которая, как я сказал, имеет в этом озере свои истоки, более чем три месяца пути. От этого озера приходят в весьма большом количестве чёрные люди, не владеющие общепонятной речью, и приносят с собой разнообразные товары, прежде всего жемчуга и драгоценные камни, которые покупают народы грустинцы и серпоновцы». Это «Записки о Московии» австрийского посла Герберштейна (начало 16 века). Сомненья нет: образ подземного города возник в Сибири. Загадочные сихиртя северных преданий слились с чудью русских легенд. А может быть, они одного корня?

Из тьмы времён всплыло ещё одно племенное имя: курумчинские кузнецы. Найдено на каменных стелах: «курыкане». Среди «плакавших» народов (покорённых тюрками) были «уч-курыкан». То есть «три курыкана», три племени курыкан. В китайских летописях они именуются «гулигань». На Байкал они пришли с Саян, найдены их святилища. Потомки их — якуты.

Культуру «курумчинских кузнецов» описал археолог Окладников. «Кузнецами», говорит он, названы курыканы, упомянутые в тюркских надписях раннего средневековья. Потомки курыкан, названные в русских летописях печенегами, прошли через Русь на Днестр.

Белые пятна и тёмные места сибирской истории. Были здесь, оказывается, народы промежуточной расы: не монголоиды и не европейцы. По-видимому, динлины — особый расовый подтип.

В предгорьях Тянь-Шаня китайцы нашли очень древние мумии людей, не принадлежавших к жёлтой расе. Вот так сюрприз: чуть не в центре Поднебесной империи захоронения европейцев?! Сенсация подтвердилась, когда нашли ещё сотни таких же мумий. Лица продолговатые, волосы чаще всего рыжие, носы острые. Скифы или сарматы? Радиоуглеродный анализ дал в 20-м веке сногсшибательную цифру: костям этим больше десяти тысяч лет! Южносибирская малая раса, следы её изучают теперь и генетики. А кто потомки? Палеоазиаты с побережья Тихого океана да ещё индейцы.

В конце 19-го века, в 1899 году, Григорий Грум-Гржимайло, историк и путешественник, издал книгу «Почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? (К вопросу о народах белокурой расы в Средней Азии)». Он напомнил европейцам: «Китайцы в своих летописях добросовестно признают, что не являются автохтонами в тех местностях, которые по обыкновению связываются с традиционной китайской культурой… Среди всех племён китайцы особенно выделяли многочисленное рыжеволосое племя “ди”». А что означает иероглиф ди? — «огненная собака».

Европейцы сочли баснословием сведения китайских летописей. Белая раса в местах обитания коренных монголоидов?! А после нашли археологические плиточные могилы в верховьях Енисея

и в Прибайкалье и заговорили об особой Гобийской цивилизации. Стали спорить: динлины и ди — один народ или разные. А вот откуда пришёл этот народ, — этого китайцы не знали. Наука 20-го века удивила открытием: у ископаемых кроманьонцев Европы есть сходство с австралийцами. Значит, есть общие предки. Индейцы и австралийцы ближе к белой расе, чем к монголоидам, и что-то в них указывает на Африку. Люди промежуточной расы двигались вдоль берега океана и обогнули азиатский материк с юга и востока. Более тридцати тысяч лет назад человек современного типа появился в Южной Сибири. На Алтае есть и более древние стоянки, но там жили неандертальцы.

Своей статьёй «Белокурая раса в Средней Азии» Грум-Гржимайло возбудил долгий спор: «Раскопки могил в пределах алтайско-саянского нагорья указывают нам на эту горную область как на продолжительную стоянку длинноголовых». Он отнёс их «к высшей расе, может быть, даже европейской». А доказательство? — форма черепов и, главное, «гипсовые маски, из коих некоторые отличаются замечательной красотой и чертами лица вполне европейскими». Выходит, ещё до прихода скифов в саяно-алтайском нагорье жили европейцы? Нет, скорее всего, эти «рыжие демоны» старше европейцев.

Лев Гумилёв писал о них: «Появление динлинских племён на севере Гобийской пустыни связывается с проигрышем динлинами тысячелетней войны с китайцами. Племена ди зафиксированы в Китае в III тысячелетии до н. э. как аборигены». Когда тюрки наводнили Саяно-Алтайское нагорье, динлины растворились в них и вошли в гвардию Уйгурского каганата. Дальнейшие события проследил Грум-Гржимайло: «В 10-м веке среди киданей жило ещё белокурое племя, шедшее всегда в авангарде их победоносных полчищ...». Кидани (китаи), завоеватели Китая, оставили в истории название этой страны, давно забытое самими ханьцами. На Русь вести о Китае принесли монголо-татары, и только мы употребляем слово китайцы.

Динлинский элемент виден в манчжурах, завоевателях северного Китая. До этого, до оттеснения динлинов на север, манчжуры боевитостью не отличались, вели неприметную жизнь охотников и скотоводов. Очевидно, динлинские гены отложились и в кетах: самоназвание этого народа — ди. Ещё в 19-м веке среди «енисейских остяков» встречались рыжебородые. Когда-то они подчинили земли Западной и Восточной Сибири и оставили здесь названья рек и гор. Например, Томь, Тым, Терсь…

Почему-то китайцы отождествляли кетов с ди. Споров было много, одно ясно: древнейшим культурным народом в центральной Азии, наряду с китайцами, были динлины. В глухой древности сюда пришли племена, осколки которых — айны на Японских островах и нивхи на Сахалине. Особенно интересны айны: в них обнаружено

сходство с коренным населением Австралии. А там люди появились раньше, чем заселена была Америка.

Можно только гадать, к какой семье относился «птичий» язык динлинов. В Алтайско-Саянском нагорье выявлены три пласта истории, археологические культуры: афанасьевская (конец каменного века), андроновская (ранняя бронза) и карасукская (самое начало железного века). «Возвышенные носы» — вовсе не скифы, расовая основа их более древняя. И этой промежуточной расе пока ведь даже названия не дано. Но большие успехи сделали в последнее время генетики: теперь можно установить, есть ли в тебе динлинская кровь. На десятки тысяч лет просматриваются теперь пути народов.

Скорее всего, динлины — ответвление той промежуточной расы, которая дала австралийцев, палеоазиатов и индейцев. Интересен вывод Льва Гумилёва: «Прямой связи с европейцами динлины не имели, являясь ветвью, отклонившейся ещё в палеолите». То есть до ариев? На азиатском юге в нижнем каменном веке жил синантроп. Его потомки — люди жёлтой расы. И только через десятки тысячелетий пришли сюда люди европейского типа.

Ещё одна загадка — подземный город. Предания хантов, манси и селькупов говорят о жизни их предков под землёй. Откуда самоназвание селькупов чумыль-куп — «земляной человек»? Даже города есть под землёй. Образ рождён сибирской историей: известны карамо — подземные жилища селькупов и ненцев. Вход делали от реки, втаскивали долблёнки внутрь укрывища и загораживали лаз кустарником. И уход древней чуди под землю связали древние сибиряки с концом истории.

А курумчинскую культуру вытеснили северные монголы, предки бурят. Под угрозой уничтожения прибайкальские тюрки (канглы) ушли на север и потеснили тунгусов и палеоазиатов. И вот что любопытно: северные канглы называли себя саками. Это память о скифах, которых персы так называли — саки. Не отсюда ли самоназвание якутов: Саха? Ведь слово «якут» русские получили от тунгусов. На вопрос, какой народ живёт дальше, тунгусы ответили: «Яка». Это искажённое Сака. И осталось в русских документах: якоты, якуты.

Может быть, юкагирский язык — последнее эхо палеосибирского языка. Сказки, близкие к юкагирским, известны в северной Америке и Канаде, и это говорит о древности культуры. А больше всего сходства у юкагиров с палеоазиатами Северо-востока — с чукчами, коряками, камчадалами. Предполагают: семь тысяч лет назад предки юкагиров жили на Урале, в Прибайкалье и на Саянах. Тунгусы же — переселенцы с Амура. Предки юкагиров пришли в эти земли за тысячи лет до того, как здесь появились эвенки (тунгусы), а затем и якуты (самые северные тюрки).

ТАЁЖНЫЙ МИР

Снега глубоки, и люты морозы. Пока ветра нет, царит тишина, день за днём тишина… Но вот бубен зарокотал, и тайга вслушивается. К кому он взывает, о чём рассказывает? К духам, к хозяевам тайги и реки летит его рокот. Без их согласия на охоту не ходи — пропадёшь. Тайга своих узнаёт, а к чужим не ласкова. Если гость станет грибы варить, — чужой он, не в тайге жили его предки. Небо-кедр-человек-гриб — каждый знай своё место.

Удивляются пришельцы: в тайге, мол, живёте, а грибы не едите! Невдомёк им, что гриб — тоже человек, только сильно уменьшенный. И голова, и туловище, и ноги-корни — всё есть. Значит, духи тайги наказали его когда-то. А если это предок твой дальний, а?! Для чего вывешивают обрезки грибов у входа в жилище? — как приглашение предков: входите, здесь внуки ваши. Мухомор, он лучше всех колыбель охраняет.

Кто закона тайги не знает, живёт недолго. Небо бездонно, с земли к нему тянется кедр, человек мал перед кедром, а перед ним самим мал гриб. Но связан он с большой тайной — с нижним миром. Мухомор — из всех грибов главный: шаману даёт священное безумие. Если шаман лизнёт мухомор с семью пятнышками, ему откроется самое-самое тайное. Олень-бубен и панк-мухомор — первые средства шамана. Ну и, конечно, духи-помощники. У каждого шамана они свои.

Центр обычаев — поклонение очагу, культ рода. Какая совесть у таёжника? Стыд-страх перед предками: они же всегда рядом, всё знают, всё видят. Они заповедали обычаи, преступить которые — хуже смерти. Не руби живое дерево без крайней нужды. А если уж очень надо, попроси у него прощенья, пообещай ему возрожденье, воткни в пень веточку, и душа погубленного тобою оживёт. Помни: души предков вселяются в деревья. Не перегораживай реку наглухо, дай пройти рыбьей молоди — предки знают счёт ей. Не строй жильё у водопоя, дай лосям и диким козам напиться, это скот умерших. Не стреляй птиц в пору гнездованья — гнёзда их души предков согревают. Не охоться долго на одном месте, дай поголовью лесному восстановиться.

Украшение тайги — кедр, вот уж диво сибирское. Хороши по-своему и ель, и пихта, но только кедр — древо богов сибирских, есть о нём и шаманские заклинанья, и священные сказанья… К реке таёжник привязан сильно. Из кожи крупных рыб — штаны и куртки. И в воде они удобны, и под дождём. Летом годятся здесь чумы, покрытые берестой, а зимой — углублённые в землю чумы-шалаши.

В верхнем мире обитают главные боги Нуми-Торум, или просто Нум, в среднем мире живут звери и люди; в нижнем мире бог мрака Куль-отыр, у самоедов — Нга. На своём бубне-олене шаман отправля-

ется, чтоб отогнать повальную болезнь, разрушить злые чары. Боги Нум и Нга судят человека после его смерти. Верховному богу Нуму жертвовали священного оленя — совершенно белого. Его никогда не запрягают. Нга, божество мрака, нижним миром правит. У него свои духи-посыльные, они выходят на землю за душами людскими. И с ними справится не всякий шаман, а только тот, у кого сильные звери-помощники и неутомимый бубен-олень.

Легче общаться с хозяином одной горы, одной реки или болота. Это духи не гордые, людям часто помогают. Не вымолит шаман удачу роду-племени, если не слетает в верхний мир. А в нижний мир спускается он реже: там ведь всегда ночь полярная. Зачем в нижний мир? — чтобы злой Куль-Отыр или Нга отпустили рано похищенную душу. А если разгневаешь его — там и останешься и солнца больше не увидишь. Но река времён, Обь великая, хоть и уходит в Море мрака, возвращается с юга. И души умерших, пройдя нижний мир, возрождаются детьми.

Хозяева тайги любят дары: ленточки из сукна, монеты, хотя бы медные, но лучше серебряные. Путник, задержись в тайге около культового места и принеси жертву. Если оскорбишь родовых духов, не жди добра. Предок-зверь в борьбе за женщину победил чудищ и положил начало роду-племени. Он твёрдо указал, с какими ответвлениями рода можно вступать в брак — об этом есть сказанья. Парни рода Пор (потомки медведя) могут жениться на девушках рода Мось (потомки гусыни), но внутри своего рода — никогда: накажет медведь-предок.

А пришёл он с небес, это сын Неба. Он герой особых Медвежьих праздников. Перед убитым медведем клянутся, исповедуются: «Если я своровал, если изменил жене, поймай меня в лесу, дедушка, и разорви». А когда охотятся на него, тут бывает священный обман возле берлоги: «Не тунгус пришёл к тебе, а якут заблудший. Помаленьку вылезай уже, отец». А потом скажи, сплюнув в сторону: «Это не мы тебя убили, это всё русские». Никакой охотник не пойдёт в тайгу без заклинаний, там он сам себе шаманит. Ну а девушки, те заняты любовной магией, знают присушки. Иначе кто ж её замуж возьмёт?!

Удачлив охотник, которого полюбила Хозяйка тайги. Если у кого-то чум завален всякой дичью, такому завидовали: значит, слюбился с хозяйкой горы или хотя бы болота. Но если изменит он ей — ох и жестоко же будет наказанье! Тут уж и шаман не поможет, ревнивые женщины пощады не знают. Рожденье детей — тут властвуют женские божества. К ним моленья матерей: Калтась-эква и Торум-анки, помогите в делах семейных. А ещё есть злые менквы, духи-людоеды, злобные слуги бога нижнего мира Куль-отыра. Но и к ним обращались при нашествии врага: заманивали его в дебри и ласково обращались к менквам.

На всей ли земле тайга, есть ли иные земли, — это знают толь-

ко шаманы. Всё они знают и всё умеют. Знают, как мир начинался и скоро ли кончится. Знают, за что верхний бон напускает повальные болезни и как обороняться от злобных духов. Посвящение в шаманы — большое событие в жизни стойбища. Сам, по своему желанью, человек стать шаманом не может, его избирают духи. Русские первопроходцы уже забыли своих кудесников и дивились на шаманов. От Югры приуральской до Камчатки — всюду шаманы были важными людьми в селеньях.

Раскопки на Алтае ошеломили: человек появился здесь более 300 тысяч лет назад!! Тут сразу вам насмешки западных историков: в снежной тайге-то, при трескучих морозах?! Отвечают историки климата: на момент заселения человеком Алтая там были такие же условия, как на Кавказе. Не хвойный урман, а широколиственный лес: платаны, каштаны, ясень. И звери водились не нынешние — мамонты и шерстистые носороги, а в подстепье олени и дикие лошади.

Питекантропы, наверняка, не имеют сейчас потомков в Сибири: не могли они выжить здесь с похолоданием. А ледниковых периодов было несколько. Стоянка Карама на Алтае отстоит от нас на 600 тысяч лет, это нижний каменный век, межледниковье. Хвойная тайга отступила на север, разрослись лиственные леса, а в них богатая живность. Более поздний предчеловек охотился на Улалинке, а дальше эти места заселил неандерталец, охотник на носорогов, оленей и лошадей. В Денисовой пещере (около 200 тысяч лет назад) проживал особый подвид человека, по-видимому, переход от неандертальцев к кроманьонцам. Его и назвали денисовским. Вымерший подтип человека.

40–45 тысяч лет назад—верхний палеолит — мир начал завоёвывать человек современного типа. Стоянки Мальта́ и Буреть в Приангарье (24–25 тысяч лет им) — следы жизни сибирского кроманьонца. По генам он точно тот же, что жил во Франции и Испании. Через Сибирь люди этой поры прошли в Америку. Это грань мезолита и неолита: камень научились сверлить и шлифовать. Изобретены лук и стрелы, сети для рыболовства, приручены животные. Тут и проблески оседлой жизни. Первая культурная революция! Неолит дал разнообразие племён–протонародов. Выделилась восточно-уральская культура (самодийская, лесная) и лесостепная верхнеобская — древние угры.

Неолит Прибайкалья — это китойская культура, от нас отстоит она на семь-восемь тысяч лет. Неравномерно шло развитие племён. На северо-востоке ещё пережитки мезолита: нет глиняной посуды и каменные топоры очень простые. А в Приамурье в ту пору уже начиналось земледелие. Доказательство — каменные мотыги и зернотёрки.

С Урала шли самодийцы и угры, а с юга, от Амура, тунгусы. Ин-

доевропейские и уральские языки ближе друг другу по происхождению, чем тюрко-монгольские и тунгусо-манчжурские. Юкагиры — реликтовое племя, в нём есть и слабые признаки европеоидности, каких нет, скажем, у бурят и у якутов. Культура племён таёжной полосы, совершенно неповторимая, идеально приспособлена к жизни в хвойном лесу. А выжить века в тайге могли только народы, в тайге и сформировавшиеся.

В Томской области найдены поселенья самусьской культуры: переход от камня к бронзе. Основа населения — самодийцы. Потомки — ненцы и селькупы — сместились на север под давлением степняков. Глиняные сосуды сделаны без гончарного круга, выдавливаньем изнутри.

В среднем Приобье выделилась Большереченская культура. Это ранняя оседлость, переход от степного быта к таёжному. Время её расцвета — от семи до двух тысяч лет назад. Есть бронзовое литьё: боевые топорики, наконечники копий, стрел и… первые мотыги. Искусство ковки порой не уступает скифскому: степные кочевники заставляли состязаться в нём. На отшлифованном роге лося фигура не то воина, не то охотника. Правда, изображенья человека редки: основа культа охотников — поклонение зверям. Это древнейший пласт шаманских ритуалов. Обычай сожжения трупов — это, по-видимому, влияние более развитой Таштыкской культуры. Значит, были контакты с племенами Енисея.

Итак, в обском подстепье, на окраинах тайги найдены культуры ранней бронзы: Ирменская, Глазковская и Самусьская. Потомки этого населения — ханты и манси. Жилища все похожи — полуземлянки. Захоронения — невысокие курганы. Следы их поселений — от среднего теченья Оби до Сургута. Малые городища, могильники и культовые клады-жертвенники. Есть следы деревянных бастионов, остатки оборонительных сооружений. Это первый век до нашей эры, время формированья кочевой державы хунну. Южные городища больше всего говорят о натиске степняков.

Замечательна кулайская культура. Около десяти веков процветала она на томском севере. Название Кулайка выводят из селькупского: Гора предков. В Кулайке крестьяне наткнулись на бронзовые котлы и серебряные изделия. Ими пользовались около тысячи лет — от пятого века до нашей эры до четвёртого века новой эры. В кургане много бронзовых и железных изделий, больше всего наконечников стрел. Мужчин-рыбаков хоронили с гарпунами. Могильники кулайские — удлинённые курганы. Это коллективные погребения, и они говорят, что у кулайцев в зачатке было классовое расслоение. Из семидесяти могил одна-две — наособицу, богаче других. Это могилы шамана и племенного вождя. Следы поминальных тризн редки, но они всё же есть.

Жилища — полуземлянки с очагом в центре, вокруг которого ак-

куратно выложены черепа медведей, лосей, оленей и собак. В стороне от очага — яма с костями, с осколками горшков. Это бытовые отходы, никаких следов священнодействия нет. И, конечно же, больше всего рыбьих костей, они по всему полу и кучками по углам. Ясно, чем питались кулайцы.

Поселения кулайского типа найдены и в Кемеровской области, и на Алтае, и в Прииртышье. На рубеже тысячелетий, вероятно, из-за похолодания, часть племени ушла на юг, где и растворилась в эпоху великого переселения народов.

Около трёх тысяч лет назад на Васюганье пришли кочевники-коневоды европейского типа. Это кетоязычное племя — ответвление Андроновской культуры. В Сибирь их предки пришли из Закавказья около пяти тысяч лет назад. Удивительно — почему эти скотоводы подстепья остановились в краю болот и сырой тайги? Значит, в ту пору болот там почти не было, преобладали луга и поляны. Расширение болот и заставило их, пумпоколов, уйти из тех мест. Часть их растворилась в местном населении, у хантов есть кетские заимствования, явно чуждые языкам угро-финской группы.

Кеты широко расселились по Сибири, оставили названия рек, гор и озёр. Ковку железа на север принесли, по-видимому, они, кеты, несколько веков господствовавшие в лесостепной полосе.

Далёкие кочевья совершали тунгусы — насельники восточносибирской тайги. От Оби до побережья Тихого океана оставили они названия мест. Шаманизм их признан классическим: обряды сопровождались рассказами о сотворении земли и солнца, человека и животных. Когда не было суши, землю достали со дна моря две птицы. Этот миф говорит о приморском происхождении племён: на Север пришли они из-за Амура. Мир у них делится на верхний и нижний, духи — на добрых и злых.

В тундре расселены самодийцы и палеоазиаты, таёжный простор освоили угры и тунгусы, а степи — тюрко-монголы. А в лесотундре выживает только одно травоядное животное — олень, там он источник питания и транспортное средство. Якутам, степным тюркам по происхождению, пришлось усвоить оленеводство, когда их вытеснили из Прибайкалья. Если конь позволил обжить степи, то тайгу человек покорил благодаря оленю.

Пешие охотники и рыболовы, таёжные охотники на оленях и собаках, оседлые рыболовы в низовьях больших рек, и совсем особый стиль жизни у охотников на крупного морского зверя. Они дали типы хозяйства: таёжное, лесотундровое и лесостепное.

Один к ста — таково было соотношение русского и коренного населения на грани 16 и 17-го веков. А на грани 18 и 19-го веков — уже четверо русских на одного аборигена. А в двадцатом веке — абориген почти так же редок среди русских, как когда-то казаки в неоглядной тайге. «Огненый бой» русских отрядов был потрясением для

таёжных охотников, одно за другим племена подчинялись объясачиванью. Но был и товарный обмен: «купец обманывает камчадалов, а камчадалы воображают, что купца обманули». Ханты дивились «глупости» русских, отдававших топор за три-четыре собольих шкурки.

Необратимое изменение Сибири дала пашня: крестьянская тележная колонизация похоронила кочевое скотоводство, ненужными стали и охотничьи луки.

ВЕЛИКОЕ КОЧЕВЬЕ

Властелин степей, бывалый воин, говорил с холма всему народу, солнце заклинал он в день великий: «Всадников бесстрашных солнце любит. Кто боится смерти, тот покорствуй. Вот теперь стою я на вершине. Всех степей народы подо мною, все мечам и стрелам покорились, чтят закон наш, все страшатся Неба. День большого солнца — главный праздник, праздник памяти о первородстве, когда с неба к нам дары упали: знак для войска — боевой топорик, для жрецов знак — золотая чаша, а покорным знак — ярмо с телегой».

Взмах меча — благословил вождь на перекочёвку…

Ветер несёт запах полыни и чабреца, млеет под солнцем ковыль, и колышется горизонт — дышит степная воля. Манит даль, нет её милее для кочевника, выше она всех радостей. Щёлкнет кнут, нежно вздохнёт трава под копытами, и торжественно двинутся обозы с юртами в сторону солнца. Впереди свист удальцов-наездников. Лавой растекается стадо по долине, а за ним кибитки — старики, женщины и дети на повозках. А есть хоть что-то удобнее юрты?..

Необозрим простор степной, земля кочевий от Карпат идёт до Китая. И на всей великой степи цепью встали курганы. Много столетий молчали они, а когда заговорили, поразили их сокровенные вести. Как будто со дна колодца зазвучали голоса титанов.

Что в степи важно? Ловкость и выносливость, верность и отвага. Противен кочевнику город — мир неволи. Зачем это добровольное рабство, когда можно скакать по ковылю, по холмам, ночевать у костра, охотиться в перелесках? Всё важное на виду: охота, война и стада травоядных. А ещё посвящение в воины и клятвенное братанье. А ещё львы и хищные птицы, терзающие коней. Грифоны — грозные птицельвы, мстители и защитники. Фигуры их выкалывали на груди и спине при воинском посвящении: грифоны — обереги скифов. Только им, грифонам, есть вход во все три мира. Обычное их местообитание — нижний мир, они охраняют могилы предков. И горе тому, кто осквернит курган, растерзают его крылатые львы. В нашем, среднем, мире грифоны появляются после битвы, чтобы унести душу погибшего к солнцу, в верхний мир. А знак души — олень.

Грифон несёт голову оленя — это картина переселения души к

предкам. Тут сокровенная тайна имени народа: саки — это самоназвание ранних степных кочевников. Основа племени — род оленя, в нём все оленьи дети и внуки. Кочуют верхом на конях, но на войне головы боевых коней украшены орнаментальными оленьими рогами. Оленный камень на холме — надгробие воина. А рисунки на кошме, золотые статуэтки и серебряные кувшины — на них тоже олени.

Кто не может воевать, того презирают, не допускают на общее собрание. Саки — это народ-войско. И преданья их — о прежних походах, о том, как геройствовали деды. Каждый мальчишка хочет стать великим воином и бросить к ногам царя двадцать вражеских голов.

Перед боем каждый воин клянётся очагом и тенью предка. А самая крепкая клятва — царским очагом. За ложную клятву полагается казнь. Об этом шло по степи особое преданье.

…В День большого солнца, в главный праздник, на Оби, реке великой скифской, племена на праздник собирались. В красных свитках сколоты гарцуют, это всадники дружины царской; с гор лесных спустились исседоны, притащились с запада меоты; шли к царю с дарами кумандинцы и сабиры на оленных нартах. Будет ночь костров, пир меж огнями и неслыханные жертвы небу.

Но такова уж воля солнца — умер на охоте царь, старый воин, отец великого семейства, непобедимый в боях и в совете справедливый. Самая верная наложница пошла за ним в землю, и самые верные слуги жить без него (так говорят) не пожелали.

Тело царя возили по горам и перелескам, и в знак великого горя воины раздирали себе лица, протыкали стрелами уши, царапали ножом грудь и спину. Всем велели нести дары к царской панихиде. Шестьсот лучших лиственниц, в три обхвата каждая, свалили и свезли в предгорье. И съехались вожди подчинённых племён, больших и малых, и пожертвовали коней и рабынь своих, и курган воздвигли в старом месте, где хоронили только царей и командиров. Поручили царя-воина береженью грифонов. А они — горному льду, хранителю покоя.

Прошли века и века, и ослабела сила грифонов. Явились в священные горы люди беспутные, бугровщиками прозванные, гробокопатели. Осквернили, разграбили славные курганы, а сами жили в скверне. Не на них самих, а на потомков пала кара небес, но об этом потомки не задумались.

Пояс степей — на тысячи вёрст тянется этот коридор, соединяет Европу с Азией. До приручения коня редки были здесь поселенья человека. Оленя одомашнили раньше, чем коня, но им пользовались только в горах и по окраинам тайги. Бронзовое оружие и конные отряды — первый шаг к большим войнам. Ради стад делали набеги, скотом за невест платили, на поклон властелину гнали стада.

Твёрдых границ скифских владений не было. «Отец истории» Ге-

родот говорит, что если перейти реку Танаис (Дон), то будешь уже в земле сарматов. А язык у них, по Геродоту, тоже скифский.

Больше трёх тысяч лет назад в Саянах и на Алтае появились захоронения нового типа — курганные. Это начало бронзового века. Металл быстро распространяется по южной Сибири, его продают и завоёвывают. Обновилось оружие — бронзовые наконечники стрел и копий, чеканы и кинжалы, а в результате частые набеги на таёжные поселенья.

На юге Сибири сложилась андроновская культура: в погребениях черепа европеоидов. Тюрки пришли сюда в начале эпохи бронзы и попали в подчинение кочевому государству скифов. А когда кочевая империя ослабела из-за войны саков с сарматами, тогда власть перехватили гунны. Европейские историки думали, что «сарматы напали на Скифию». Но это скифы воевали промеж себя, на радость тюркам. Столетняя гражданская война и привела к закату первой кочевой империи.

Недавно в горах Алтая археологи нашли захоронение богатой молодой женщины, то ли шаманки, то ли жены вождя. Принцесса Укока, как назвали её, жила две с половиной тысячи лет назад. С нею похоронили шесть осёдланных коней. На голове парик! Лёд хорошо сохранил тело, мумия одета в шёлковую рубашку и шерстяную юбку. Лиственничная колода обита бронзовыми гвоздями. Это очень дорогое украшение доступно было только скифской знати.

«Скифы» — слово переводится с древнегреческого как хмурый, злой. Так это же бранная кличка! Овидий, римский поэт, говорит о скифах: «Они вряд ли заслуживают называться людьми, они злее, чем дикие волки». Но что бы сказал он, если бы увидел гуннов и монголов?! Самоназванье кочевников-ариев: саки. Сака — олень. Геродот утверждает: «персы всех скифов называют саками». И перечисляет их племена: сколоты, массагеты, сарматы, дахи, исседоны. А ещё добавляет: «согласно одним сообщениям, скифы очень многочисленны, а по другим коренных скифов, собственно говоря, очень мало». Коренные, господствующее племя — царские скифы.

Их богов Геродот сравнивает с греческими. Семи богам вместе воздаётся хвала во все праздники, а больше всего в День большого солнца. И только богу войны отдельное почитанье и праздник ему особый. Знак его — меч, поставленный на горе хвороста. Каждого сотого пленника убивают и кровью меч обагряют, а потом поджигают хворост — в знак очищенья. «У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам, кроме Ареса» (у римлян он Марс). Ему — главные жертвы после боя: «Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ибо только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе — нет».

Геродот же описал их нравы: из черепов именитых врагов скифы делали чаши-кубки и пили из них в праздники. Этот обычай долго

соблюдался в степи и после исчезновения скифской кочевой державы.

Древнее наследие степной Сибири — оленные камни. Обычай восходит к неолиту, позднему каменному веку, когда оленей стали загонять в загоны (сначала лишь до зимы), затем приручили — раньше, чем коня. И, удивительная подробность, голову боевого коня скифы-саки украшали орнаментом в виде оленьих рогов.

Так вот откуда загадочное имя народа — саки! Персидский поэт Фирдоуси рассказал о чёрном царе Кае, предводителе кочевников, опустошавших Иран. «Кайсаки» — это чёрные кочевники. Правда, поэт переложил преданья о тюркских набегах, а племенное имя саки вовсе не тюркского происхожденья. Оно перешло к казахам, тюркам, а ещё русских бродников, живших на переправах, монголы назвали казаками.

Но когда и где скифы стали оленеводами? В причерноморских курганах изображений оленя не найдено. Выходит, на Саянском нагорье. Да, Саяны — родина оленеводства, оно сохранилось там у тофаларов. И, как ни удивительно, в Монголии.

У скифа как бы две души: мягкая — оленья, и свирепая — грифонская. Ангел и демон сошлись в одном сердце. Оленья голова в клюве грифона — знак расставанья с жизнью: душа улетает к предкам. Олень — знак рода, грифон — боевой доблести и высшей власти.

Когда умирает царь, саки наносят себе ритуальные увечья: «отрезают кусок своего уха, остригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами». В кургане «погребают одну из наложниц, предварительно задушив её, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши... После этого все вместе насыпают над могилой большой холм».

В горном Алтае есть славное место Пазырык — пять царских курганов. Долина царей в тайге, среди хребтов и сопок! Сотни брёвен лиственницы свезли из горной тайги для этой могилы, а поверх настила насыпали каменную пирамиду. И вот чудеса: с пятого века до нашей эры сохранились ковры, уздечки и даже татуировка на телах погребённых! Это горы сберегли, вода замёрзла и сохранила саркофаг на две с половиной тысячи лет. Могильник Аржан в Туве — звериная Атлантида, десятки изображений животных. Он 120 метров в поперечнике, с многочисленными отделениями, а в них — кости жертв. Для его сооружения свалено больше шести тысяч лиственниц и сосен. На тризну съехались вожди двадцати четырёх подчинённых племён и с большими дарами. Это захоронение говорит, что седьмой век до нашей эры — время могущества восточной сакской державы. Пазырык и Аржан — золотой век восточной Скифии.

Не покорили саков ни древний Египет, ни Иран, ни цветущая Гре-

ция, победило их время. Но саки не исчезли бесследно: после распада сакско-сарматских государств ещё тысячу лет сохранялся в культуре сибирских племён скифско-звериный стиль.

ДЕТИ ВОЛЧИЦЫ

Давным-давно было, нынешних людей раньше, а старого поколенья после. Когда сотворилась земля, когда выросли сквозь облака горы, когда море разлилось до берегов. После того, как появились звери и птицы, тогда и жила мать-волчица. Лучшие земли принадлежат с той поры сынам волчицы и Неба…

Десятки поколений пронесли память о больших бедах, когда небо с землёй были в ссоре: «Мир с четырёх углов врагами полон был. Тогда Бумын-каган и Истеми-каган пошли войной на всех, кто тюркам жить мешал, и покорили всех, и усмирили всех». Из беды племя вывели великие герои-родоначальники. Рождались они по воле Неба (Тенгри), только оно определяет сроки жизни племён и каганов. Волей вечного Неба явился в степи царский род Ашина.

В ночном набеге враги перебили всё племя, в живых остался один мальчик. Но и его бросили в болото с отрубленными руками. Здесь нашла его серая волчица, зализала раны, выходила умиравшего и… прижила от него сыновей. Враги всё-таки настигли калеку и убили его, а волчица бежала на Алтай и родила там десять сыновей-мстителей. Они дали начало десяти родам, и один из них — Ашина — начинает народ тюрк.

Волчица, мать мстителей — как не узнать её на знамёнах яростной гуннской гвардии?! Оскаленные волчьи пасти стали орнаментом: волки рычат на знамёнах тюрков. Через века ударные части монгольского войска всё ещё назывались бурú. Слово вошло и в русский язык как прозвище одиночки: бирюк означает угрюмый, как волк. Поклонение волку в каганатах слилось с культом хана-повелителя. На небе правит один властелин. На земле божественную власть его воплощает каан (европейцы произносили: каган), монголы — хаан.

Тенгри — вечное небо, оно всему даёт жизнь. Ещё загадочнее праматерь Умай. В начале времён она была лебедью, нырнула на дно моря и достала кусок глины. Из него вся суша. Умай, жена всесильного Тенгри, даже богов гнева и мести усмиряет. А потом появились два брата — Ульгень и Эрлик — хозяева среднего и нижнего мира.

В ранних тюркских мифах есть и мудрый волк, и власть бескрайнего неба. Хунну пришли из-за Гоби и захватили земли, где уже жили тюрки — теле, тоба, канглы. Они смешались с динлинами, так сложилось племенное единство енисейских кыргызов. Потомки теле — телеуты–алтайцы, а тоба — тувинцы. Мощное племенное объе-

динение — теле. Это они будут гнать хуннов чуть не до Волги. Храбростью эти отпрыски динлинов не уступали хуннам, но им тоже не удалось создать прочное государство. Теле в родовых преданьях особо чтили линию волка. Они хранили верность родной земле, а в дальние походы не шли. Недаром ведь теле (телесцы, теленгиты, телеуты) пережили всех ровесников: не вели войн на уничтожение. У народа есть своя земля, и пока он слышит зов её, хранит устои предков, он народ.

Тоба и теле пришли в Саяны и Алтайские горы раньше хуннов. Племя тоба побеждало даже превосходящих числом китаев (киданей, протомонголов). Они даже покорили север ханьской империи и… растворились в ней. Забыли героические обычаи, завели дворцы с гаремами в подражание китайским вельможам. Не раз и не два ещё это повторится с вождями-завоевателями: сильно притяженье роскоши, а в степи жить беспокойно.

Ашина — имя первого хуннского вождя, по-видимому, от монгольского ошо — волк. Это отважный волчий сын. Его потомок Моде победил оседлых юэчжей и динлинов; «при Моде дом хуннов чрезвычайно усилился и возвысился, покорив все кочевые племена на севере и на юге» (китайская хроника). Среди имён выдающихся завоевателей упускают это: Моде. Он создал мощное хуннское государство, он подчинил многочисленные племена, бросил вызов Китаю. Но держава, стоившая стольких жизней, скоро распалась.

Хунну означало яростные. Вожди племени исчисляли свой род от серой волчицы, это племенной лозунг. Вождь пришёл по воле Неба — кто ж его победит? Вера эта держалась и в каганатах: раньше правили люди случайные; «негоднейший каган негодного сменял, безумный принимал у глупого свой трон». Это из орхоно-енисейских надписей, каменной летописи степи. В пестроте племён, в судьбах большой орды каждый воин помнил свой род. Каганы же должны были помнить все поколенья, начиная с Ашины, хотя это память легендарная.

Много коренных народов северной Азии растворили в себе объединения тюркских племён. По Сибири бескрайней и за пределы её расплеснулся тюркский язык, распался на диалекты и стал самой мощной группой языков в Азии. О великом переселении с Востока слышали все, но кто запустил эту лавину, — знают немногие. Вектор движенья сменился: прежде с запада на восток шёл поток ариев.

Часть народов монголоидной расы объединяют понятием «алтайская семья языков». Но для Алтайских гор все племена этой семьи пришельцы. Пранарод, давший алтайскую языковую семью, разделился около восьми тысяч лет назад. Выделились группы: японо-корейская, тюрко-монгольская и тунгусо-маньчжурская. А около трёх тысяч лет назад распалось единое тюрко-монгольское племя.

Это конец бронзового века. Покоящиеся под гранитными плитами упоминаются в древних китайских хрониках как народ дунху.

Первоначально хроники относили к «тюкю» только род Ашина, монголоязычный, перешедший на Алтай и затем правивший в Тюркских каганатах. По этим летописям, «пятьсот семейств Ашина» возникли из смешения разных родов, обитавших на земле, отвоёванной у китайцев хуннами и сяньби (протомонголами). В разные века слово «тюрк» понималось по-разному. В монгольских языках это слово означает быстрый. Монголы были подчинённым народом в ранних каганатах. А по «Сокровенному сказанию монголов», у предков Чингисхана тюркские имена. Об орде Аттилы летопись говорит как о западной отрасли рода Хунну.

Не все тюркоязычные народы (турки, киргизы, казахи, татары, башкиры, азербайджанцы) потомки древних тюркютов, они связаны только языками. Каганаты поглотили немало племён не монголоидного происхождения. Новейшая наука пересмотрела состав алтайской семьи языков: ведь монголы и тунгусы никогда не жили на Алтае, а тюрки пришли сюда поздно. Никакого отношения к Алтаю не имели предки корейцев и японцев, а тунгусо-манчжуры двигались от Амура на север, огибая Байкал с востока. Отнесение их к алтайской языковой семье имеет условный характер. Но гипотеза, согласно которой предки японцев, корейцев, тунгусо-маньчжур, монголов и тюрков были в древности единым народом, в основе справедлива. Только сложилась эта семья не на Алтае, а где-то в Монголии и Приамурье.

Предки тюрко-монгольских народов прошли сквозь пустыню Гоби. На Саянском нагорье они столкнулись с державой саков, и после раскола скифской державы возникла кочевая империя Хунну. Это время построения Великой Китайской стены. В трёхсотлетней войне с Китаем хунны потерпели пораженье и ушли на запад. В европейских хрониках эта западная ветвь названа гуннами.

Тюркский каганат сложился в шестом веке как союз нескольких племён, признавших главенство рода Ашина («двенадцатиплемённый тюркский эль»). Кочевая тюркская держава подчиняла племена от Китая до Урала и Кавказа. Но в конце шестого века Первый каганат раскололся и уступил место Второму тюркскому каганату. В восьмом веке Бильге-каган довёл это государство до вершины могущества и победил Китай, по населению чуть ли не стократно превосходивший каганат. Но короток был век и этого государства, на его месте сложился Уйгурский каганат, которому было отпущено около ста лет (745—840). Каган Истеми начал войну с Ираном, и эта война отложилась в героических сказаниях персов («Шах-наме» Фирдоуси). Уйгурский каганат заимствовал и переработал руническую письменность, по-видимому, из Согдианы; орхоно-енисейские каменные стелы с надписями — память об этом. Кочевая культура достигла в

ту пору расцвета. Появились стремя и кривая сабля, удобная в конном бою (в Европе — только через полтысячелетия). Кыргызский каганат, включавший Монголию, Алтай и Прииртышье, также рассыпался под ударами монголоязычного народа киданей-китаев. В исторической литературе эпоха каганатов носит единое название — «тюркское время».

Загадочна исключительная боеспособность тюркского войска. Основа орды — разделение на правое и левое крылья и выделение надёжного центра — гвардии. Это было использовано Чингисханом: воинская традиция от хуннской эпохи до Золотой орды едина. Сохранился культ батыров (они выступали поединщиками перед началом сражения) и особое почитание ударных частей. Но поразителен и быстрый распад военно-кочевых империй.

Постепенно тюрки вобрали в себя малые народы Сибири, и тюркские языки широко расселялись по Евразии. В них выделяют восточно-хуннскую и западно-хуннскую ветви. Среди многих тюркских народов выделяются сибирские татары. Входили они в разные ханства и помнили сказания о дальних предках. Угорские, самодийские и кетские племена растворились в татарах, и только генетики устанавливают теперь их дальних предков.

ТЕНЬ ЧИНГИСХАНА

— Бог на Небе и Далай-хан на земле — сила и храбрость. Бойтесь и повинуйтесь. Кто не повинуется, тот умрёт.

Это дархаты собирают деньги на поминки по Чингисхану. Так из года в год, так прошли столетья. А где она, могила великого хана, тайну эту знает только Небо. Дархаты — хранители священного достояния монголов, их назначают из кузнецов. По преданью, молодой Темучин, ещё не имевший звания Чингисхан, был кузнецом, ковал сабли. А кузнечное дело для монголов сродни шаманству: хороших кузнецов любит Небо.

А по другому сказанью, Темучин — докшин-бурхан, свиреп он был от рожденья, семьдесят пленных князей живьём сварил в котлах. А по третьей легенде, он был высшим из шаманов, и в судьбе его — воля безначального Тенгри. Любимец Неба, он вывел на свет народ, славы давно не знавший. Родился он в Баргузинских степях, в Забайкалье. Жил-кочевал его род на Ононе-реке, что впала в Шилку, а та — в Амур великий. Ходил он кочевьем и до Далай-моря, что Байкалом зовётся, и до самого океана. Далай значит море, Далай-хан — властелин мира. «Всевышний отличил Чингисхана умом и возвысил его над царями мира» — это записано уйгурскими знаками на монгольском языке. Этим письмом созданы «Билик», свод изречений Чингисхана, и более известное «Сокровенное сказание».

Всеми гонимое, малое племя сделал он господствующим. Как будто сяньби, жужани и кидани только для того и дрались между собой, чтоб накопить опыт для сироты Темучина. В бедной степи вдруг начала расти империя. Около полувека, до избрания ханом всех степей, Темучин вёл междоусобную войну: монголы бились с монголами. В 1206-м году, «в год Тигра у истока Онона собрался народ его на курултай, и воздвигли они белое девятибунчужное знамя своё, и провозгласили Темучина Чингисханом». Подчинив или истребив меркитов, кереитов, найманов, татар, захотел он покорить и весь мир до последнего моря. «У нас всюду враг — от заката солнца и до восхода его», — сказал Темучин при избрании великим ханом. Яса Чингисхана, новый закон, установила правила для всего войска и для всех земель, докуда дошли копыта монгольских коней: «Никто да не уходит из своей тысячи, сотни или десятка, где он был сосчитан. Иначе да будет казнён он сам и начальник…».

Подчинение беспрекословное. Если один из десятка в бою струсит, уничтожается весь десяток, если десяток отступил — вырубят сотню. Этим хан создал безотказное войско и взял под свою власть Китай, Хорезм и Тангут. А потом на западные города повёл кочевые народы: «Силою вечного неба народа великих монголов Далай-хана приказ. Если он прибудет к покорившемуся народу, то пусть они почитают его и пусть они боятся…».

И содрогнулись избалованные города. А перед смертью предсказал Чингисхан второе своё пришествие: «Если вельможи, богатыри и военачальники, находящиеся на службе у детей ханов, которые наследуют мне, не будут крепко соблюдать Ясу, то дело государства испытает потрясение и прервётся. Опять будут охотно искать Чингисхана и не найдут». Он и умер в походе, и могила его — тайна на века.

Десятки сыновей его, храбрых командиров, сцепились в борьбе за власть. Но на всё ведь воля вечного Неба. Четыре первых сына — Джучи, Чагатай, Угэдэй и Тулай — вели в бой лучшие тумены. Старший сын, Джучи, командующий войском правой руки, был убит на охоте ещё при жизни Чингиса. А улус Джучи раскинулся с Саяно-Алтайского нагорья до Дуная, в него и Сибирь входила, и Русь.

По всей Евразии, степной, лесной и горной, раскатилась слава о великом хане. Велено было кланяться тени облака, как тени Чингисхана, в степи кусту одинокому, как тени сына Неба. А кто отказывался, тому отрубали голову.

Угэдэю, младшему сыну, отдал Чингисхан коренные земли монголов, и он стал великим ханом после смерти отца, но правил только шесть лет. А Гуюк-хан — только шесть месяцев. Тулуй — девять лет. Больше всех прославился Хубилай, внук Чингисхана, перенёсший столицу в Китай. С ним долго воевали братья-чингизиды: он объявил себя великим ханом без курултая — собрания князей. Империя раскололась на улусы и гасила себя в усобицах. Монгольской крови

пролилось больше, чем в племенных стычках до воцарения Чингисхана.

Победоносные свои походы чингизиды считали волей всевластного Неба. Кто же мог противостоять этому? Вот послание Гуюк-хана папе Римскому, кому подчинялись короли Запада: «Силою Бога все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, где заходит, пожалованы нам. Кроме приказа Бога так никто не может ничего сделать. Ныне вы должны сказать чистосердечно: «Мы станем вашими подданными, мы отдадим вам всё своё имущество». Ты сам во главе королей, все вместе без исключения придите предложить нам службу и покорность. С этого времени мы будем считать вас покорившимися…»

Хан Угэдэй послал в восточный поход отборное войско под командованием своего племянника Бату, а тот создал Золотую Орду. Бату (Батый русских летописей) — второй сын Джучи. Третьему сыну, Шейбани, сам Джучи отдал земли от Прииртышья до Арала, и здесь сложился Сибирский юрт. А по другим сказаньям, улус по рекам Иртышу и Туре получил Тайбуга и основал Ишимское ханство. Тайбуга основал Чинги-туру (в черте нынешней Тюмени). При правнуках Чингисхана здесь сложилась Синяя орда. Сибирское ханство крепло по мере распада Золотой орды. При Узбеке, самом сильном хане Золотой орды, началась исламизация, и монгольский язык перестал быть государственным. Пришли проповедники из Бухары. Было сильное сопротивление татар-шаманистов, погибали шейхи и тысячи воинов.

В коренной Монголии после смерти Чингисхана сложилось государство Алтын-хана, а восточнее — объединение джунгар. Они были при Чингисхане войском левой руки (зюнгар). Контайшу джунгарского погубила заносчивость: не побоялся воевать на два фронта. И на китайские города набеги делал, и русские крепости сжигал. Видно, немало зла наделали джунгары китайцам: вырезать они стали джунгар поголовно. Меньше двадцатой части осталось джунгар, и побежали они на Волгу под крыло к калмыкам, с которыми раньше ссорились. Тут и казахи восстали, и русские линию крепостей вдоль Алтая выстроили. У русских и у китайцев пушки, эту силу удалью богатырской не возьмёшь, да и данники вчерашние тут и там в спину бьют. Раньше не бегали джунгары от врагов, а тут побежали.

И рухнула тысячелетняя слава, закончилась последняя глава монгольских завоеваний. Ведь непобедимого полководца Небо один лишь раз избирает, а самозванцев сурово наказывает.

Монгольские племена и даже роды вели бесконечные междоусобные войны. Могучая империя создана в 1206-м году: *«Князь Темучин из рода Кият-Борджигин был поднят на кошме из белого войлока и провозглашён ханом всех монголов, императором».* Роковое событие

произошло на реке Онон, близ нынешней российско-монгольской границы…

Сибирь после монгольского нашествия — тёмные века. Летописи донесли весть, как враждовали здесь тайбугины и шейбаниды. Власть Шейбани (Шибана), внука Чингисхана, считалась бесспорной, а потомки Тайбуги доказывали, что их род древнее рода Темучина. Тайбуге достался улус по рекам Иртышу и Туре, и назывался он Сибирский юрт. Тайбуга и свою крепость построил — Чинги-тура (её разрушит Кучум). Сибирский юрт переходил, частями, в Кок-орду (Синюю) и Белую (Ак-орда). Хан Синей орды подчинялся Золотой орде, но связь с коренной Монголией век за веком слабела.

Следующая глава сибирской истории рассказывает о втором монгольском натиске. Монголы к тому времени разделились на западных (калмыков), восточных и северных (бурят). На исконной их земле правил Алтын-хан, а восточнее укрепилась Джунгарская орда. В ней четыре племени боролись между собой за первенство, торгоуты ушли на Волгу, там за ними закрепилось название *калмык*. Последняя кочевая империя Азии создана джунгарами (другое название народа ойраты) в начале 17-го века. Хунтайджи (в русских документах: контайша) объявил соседям: «Все — чёрные люди, все — данники, одни мы — господа». Над рабом есть вольный, а над ним бек, над ним улусбек, над ним беклярибек. А над ним хан, выше которого только вечное Небо. У хана одно правило: слабого переломи, сильного перехитри. Но год на год не приходится, недаром у них свои имена в двенадцатилетнем цикле: год мыши, год собаки, год зайца…

Историческая обстановка сложилась не в пользу джунгар. Они пытались возродить сильное государство, им удалось укрепить ханскую ставку и подчинить Саяно-Алтай. В своём движении на запад они столкнулись с казахами и ногайцами, кочевавшими в степях между Волгой и Уралом. Несмотря на военные успехи, союз четырёх племён распался. Торгоуты, они же калмыки, ушли в Поволжье, хошоуты откочевали в Тибет. Возрождённый курултай (съезд князей) принял общие «монголо-ойратские законы» для предотвращения междоусобиц. Джунгария достигла своего наивысшего военного могущества, выиграла длительную войну с Алтын-ханом и напала на Китай, подчинённый Маньчжурской династии Цин. Но вскоре вновь началась борьба за власть, и междоусобицы привели ханство к поражению.

Когда джунгары напали на центральную Монголию, прямые наследники Чингисхана попросили помощи у маньчжур и поклялись в подданстве маньчжурскому императору. Для джунгар этот союз означал одно — пораженье. В империи Цин монголы потеряли некоторые права, были разобщены, в результате сложились новые народности.

Контайша Галдан-хан покорил под власть кочевой Джунгарии

Бухару и начал войну с Китаем, но был разгромлен. Следующий контайша — Цэван-рабдан — перенёс свою ставку на реку Или, и началась вражда с большой казахской ордой. Кыргызов Енисея, теленгутов Алтая и часть тувинцев Саян он переселил в новые места, чтобы не оставить их под властью Китая. В боях с Китаем и восточными монголами джунгары были разбиты наголову, и русские заняли освободившуюся Хакасию. А в 1756 году и Алтай включён в состав Российской империи. Грозная держава четырёх ойратов, занимавшая земли от Тибета до Урала, была уничтожена.

ХАН ТРЁХ ОРД

Народится хан судьбы счастливой, по уму и храбрости он первый… Так пел кайчи-сказитель, и все жадно слушали, все верили: уже народился. Ждала степь сильного хана, кто восстановит былое ордынское величие. А в русских полях и лесах пели по-своему: *Деялось в орде, передеялось в Большой… Взошла над степью зловещая звезда Тохтамыша…*

Казалось, златоверхий ханский шатёр навсегда заказан Тохтамышу, когда Урус-хан казнил его отца. Вызвал к себе в ставку орды и отрубил голову родственнику-чингизиду. А за что — все знали: за независимый нрав. Не помогал захватить трон золотоордынский. Бежал юный Тохтамыш под крыло Железного Хромца, Тимура, и клялся отомстить убийце отца. Эту клятву Небо услышало: лишило Урус-хана и трона, и жизни, а имя Тохтамыша вознесло над степями. Тимур-ленг по-персидски, Тамерлан по-европейски, Темир-аксак по-татарски одно означает: Железный Хромец. Вернул он власть в Синей орде Тохтамышу, а когда Урус-хан пошёл на Волгу, юный и дерзкий чингизид напал на его Белую орду. Успел немного пограбить и проиграл два сраженья, когда Урус-хан вернулся со всеми туменами. Тогда Тимур сам повёл войско на Урус-хана и наголову разбил его. Без славы похоронили хана, мечтавшего возродить Большую орду, а Тохтамыш завладел двумя ордами, Синей и Белой. Пошёл на Волгу, взял сначала Сарай-Бату, потом Сарай-Берке и сел на престол Золотой орды. Притихли подчинённые народы. Крепко поверил в свою звезду Тохтамыш, а она припасла и взлёты ему, и провалы…

Каждый знает в орде: запад — правое крыло, восток — левое, а лучшая сторона — юг. Туда смотрят двери всех юрт. Юг — красный цвет, север — чёрный, запад — белый, а восток — синий. Про Синюю орду не все и слышали: она на обочине. Давно раскололся улус Джучи: правое крыло — Золотая орда Бату-хана, левое, войско Орду-Ичена назвалось Белой ордой. А Синяя орда где-то в снегах, в лесах и полустепях.

Толковал бухарский книжник маленькому Тохтамышу: есть Книга гаданий, открыто в ней, как звёзды пути указывают. Слава предков сильнее временных неудач. Но ханы по-монгольски не говорят уже, хоть и называют себя чингизидами. Кто сильнее, тот и прав. Загляни в гнездо беркута: сильный птенец забивает слабого. Беркуты питаются дрофами, которые тяжелее их. Ханский трон, много-много жизней он стоит. И тысячи воинов обречены погибнуть, чтобы хан обновил свой гарем.

На степных путях жило сказание, как спорили когда-то отец с сыном — Чингисхан и Джучи:

— Не надо ходить к последнему морю, отец, — так сказал старший сын, командир войска правой руки. — Не управиться нам со всем миром.

— Что слышу?! Монголам не побеждать слабых?! Мои потомки отдают власть?

— Нет, отец, я не про народы, — время непобедимо. Растворимся мы в завоёванных племенах. Батыры измельчают, и ханы разнежатся.

— За такие слова казнить надо. Чтобы монголы власть отдали, — не допустит такого Небо.

Нашли Джучи в степи умирающим, с переломленным хребтом. И пошли отцы под ножи сыновей, и восставал улус на улус. За год в Сарае по два-три хана сменится, а в степи про то узнают не сразу. Есть гордое слово *кутермяк:* это величанье хана, несение нового владыки на войлоке. Но разгорелась смута в орде, и бывало за год по три кутермяка. А русские вынесли оттуда пренебрежительное *кутерьма*.

После новой кутерьмы спрашивал сын-пастух отца своего, старого воина:

— С чего начиналась ордынская смута?

— Говорят, с убийства хана Джанибека пошла она.

— Так ли? А Токтая разве не сын убил? Это же он, хан Узбек, ислам в орду привёл, а убийц отца не стал искать. А смерть Берке-хана разве не подозрительна? Выходит, и раньше было что-то.

— Говорят, убийцы Джучи начали замятню. У Джучи много сынов было, сто сорок батыров назвали себя джучидами. А кому мстить? Он, говорят, не был строгим с покорёнными. Кровь отцов и братьев на потомках Чингисхана, а Небо грех такой не прощает… Только не вздумай где-нибудь вслух сказать.

— Это понятно: мужчина для войны родится, не для сплетен…

Когда великим ханом стал Гуюк, он войной пошёл на Бату-хана, племянника своего, но умер внезапно. Узбек убил отца своего, сын его Бердибек убил брата Джанибека, а его убил Кульпа, а его — Навруз, а его — Хызр, а его — Темир-ходжа… Сколько власти не захвати, всё мало. Эта сила целые племена пожирает…

Вот когда явились два властных темника: Мамай на западе, Тимур на востоке. Они сажали ханов на престол и меняли их по своей

охоте. Тогда Урус-хан, владетель Белой орды, похвалялся восстановить улус Джучи, великую орду. Он вырезал весь род Тука-тимуридов, убил чингизида Туй-ходжу оглана из Синей орды. А сына его, Тохтамыша, приютил Железный Хромец: хотел посадить на престол подручного хана. Сам-то он чингизидом не был, прав на престол не имел, но потомки великих ханов были у него на побегушках.

Растут в степи юрты, копятся стада в ней, растёт сила ордынская. Будет, будет ещё великий хан! Тохтамыш любил пиры и походы, а жизнью рисковать не хотел. В двух походах кряду проиграл, и тогда сам Тимур повёл войско против Урус-хана. Погиб в бою горделивый хан, а вчерашнему сироте досталась власть в двух ордах. Третью, Золотую орду, он сам взял. И было это после Куликовской битвы, которая орду сильно ослабила.

Чем прославился Тохтамыш? Москву сжёг и всех руссичей в Кремле велел изрубить. Но не умом взял полководческим, помогло предательство. Кремль дважды выдержал осаду большого войска литовского, а после его не мог взять даже Едигей, славный полководец. А тут в осаждённый Кремль попросились нижегородские князья, братья княгини Евдокии. А Дмитрий Донской, муж её, собирал войско и уверен был: кремль неприступен. Открыли ворота, ворвались ордынцы и двадцать четыре тысячи вятших людей изрубили. Ликовали ордынцы: то была победа истинно ханская, вернулась сила Большой орды! А ни одного большого боя Тохтамыш не выиграл, с Мамаем и вовсе не бился. Катится весть из улуса в улус: истинный хан явился. У него златоверхий шатёр, как у Бату-хана, а войска даже больше. Он — государь Золотой орды, Белой и Заяицкой…

Казалось, для Руси вернулось худшее время. Снова платит она дань, и ярлыки на княжение раздаёт хан по праву татарскому, и в заложники взял малолетнего сына Дмитрия Донского. Топят избы и бани на Руси, землю пашут, рожь молотят и гадают: когда же Бог орду переменит. А юг кровью пенится. Была славная победа на Куликовом поле, и вдруг опять погибель «украсно украшенной земле Русской»?!

Через год после набега на Москву допытывался хан: как шла битва с русскими на Дону. Тормошил бывалого Едигея. Спас когда-то Едигей раненого Тохтамыша, спас от смерти или плена позорного.

— Мамай собрал все силы орды и наделал ошибок. Так ведь? Опытный темник, а сразу в лоб ударил. Так уверен был в себе? Русы ведь уже били его войско.

— Он спешил, тебя боялся, мой хан, удара в спину. Вдруг вы с русским князем сговорились. Вообще-то он бой понимал. С холма видно, что конницы у русов меньше и всё войско плохо обученное. Поджидать Ягайло не стал, решил: нечего делиться с ним, сам одолею.

— Я слышал, тумены правой и левой руки у него были сильные. А в центр кого ставил?

— Копейщиков из Италии. У них очень длинные копья, но отваги нет. Он центр ослабил, чтоб заманить руссов в ловушку. Но ставить наёмников в центр…

— Болван так делает. Погоди, говорят, у Тимура тоже в центре пехота.

— Так и есть, мой хан. Мамай не понял, что у того копейщики и лучники самые стойкие. Укроются за деревянными щитами и никогда не побегут. А он изматывает конницу врага и только тогда открывает ей путь на пехоту.

— А гвардия-то где была у Мамая?

— При нём, вокруг холма стояла. Когда он решил: вот перелом в бою, настало время, то и бросил её в боковой охват. А русская засада этого и ждала, ударила сзади… Я так думаю: Мамай увидел русскую конницу и решил, что Ягайло подошёл. И усмехнулся, небось: без тебя, мол, всё сделали. А русские всадили копья в спины его конникам. И поднялся визг: Ягайло предал, Ягайло бьёт нас. И побежали все. Копейщиков из Италии смяли свои же конники. А дальше ты знаешь, мой хан.

— Да, умирать за Мамая уже не хотели. Выехали мои нукеры, крикнули: «Где ваш хан? Нет у вас хана, потому и бьют вас. Вот законный хан, вот потомок повелителя мира». Это обо мне. И стали переходить тысячники под мои знамёна. Мамай остался один среди поля. Его не связали, это было бы предательством, от него просто отвернулись. Побежал в свой Крым, а там ему горло перерезали…

В гневе не сдержан был Тохтамыш, унизил мурзу Едигея, которого только что другом называл:

— Забыл, кто ты такой? Ты просто бек по роду, а я потомок повелителя мира. Ты что, решил, что Аллах тебя возвысил? Скоро я укажу твоё место, горько пожалеешь.

— Чем я заслужил твой гнев? Разве я не говорил тебе: возьмёшь Сарай, и слава вознесёт тебя над степями. Будет слава хана — орда поверит в себя, станет опять непобедимой. А что я у Тимура учился воевать, — так у кого же ещё-то? Тимур над царями султан, гроза мира, — кто его победит? С ним надо мир искать.

— А меня победить легко?! Так по-твоему? Я никому не поклонюсь. Не мнишь ли ты себя на месте хана, как Тимур? Он ведь хвалит тебя. Кругом о твоих победах говорят, а не о моих.

— Я воевал за нашу орду. Мы степняки, а Тимур, он в городе вырос. Хан может проиграть и усидеть на троне, эмир — нет. Он это знает, и проиграть для него — умереть.

В зените была звезда Тохтамыша. Но сказано: не посягай на того, кому судьба путь устилает. Хромой Тимур полвека провёл в походах и поражений не знал с молодости. А с ордой воевать ему нет интереса. Что в степи возьмёшь? Скот да пленниц. Совсем другое дело — южные города, золото возами оттуда вёз. Ядром войска были у

него наёмники, а они стоили дорого. Страх полз по земле впереди его войска, липкий ужас, холодящий. Задрожит Тохтамыш, хан-ставленник, от одного его окрика. Так думал Тамерлан и просчитался: войной пошёл на него выкормыш, неблагодарностью отплатил благодетелю. Я, мол, ханский отпрыск, а ты, самозванец, будь у моего стремени. У того расчёт и железная воля, у этого — вера в звезду великого хана.

В Иране был Тимур, когда Тохтамыш напал на Самарканд и осадил Бухару. Пришлось Хромцу вести домой войско, войну не закончив, и крепко растряс он Большую орду. Бежал Тохтамыш на Волгу, но мечту стать вторым Чингисханом не оставил и снова сделал набег на южные города. Тогда Тимур опустошил Хорезм, орде принадлежавший, ключевой город на Великом Шёлковом пути. Пропал и Ургенч, богатейший город, ячменём и просом засеяли его площади. Теперь решающая битва стала неизбежной. Спешно собирал Тохтамыш тумены с трёх орд и согнал на Волгу войско, какого не было и у Бату-хана.

Нет, не собрать Тимуру в городах столько конников, сколько степь даёт. И не проведёт он большое войско полупустыней — от Самарканда до Волги: корма не хватит ни коням, ни людям. Но Железный Хромец перед походом вспомнил обычай курултаев и собрал совет. Всё просчитали: с весенней травой двинулось его войско и загнало ордынцев в излучину Волги. А по дороге велел высечь надпись на камне: «Султан Турана Тимур с двумя стами тысяч воинов пошёл по кровь Тохтамыш-хана». На пять туменов было больше у Тохтамыша, на пятьдесят тысяч всадников. Степняки-удальцы прежде робости не знавали, но страх уже шёл по степи от имени Тимура, на два перехода опережал пыль от войска.

Спаситель Едигей ушёл от Тохтамыша: нет равных Тамерлану, не победить его. И вот в излучине Волги, на малой реке Кондурче, навязал Хромец орде решающую битву. Степняки-ордынцы превышали числом войско Тимура, но оно хорошо было обучено и построено умело. Вместо привычных трёх частей выстроил Тимур семь подвижных кулов, каждый со своим знаменем. Командиры в битвах проверены, а Хромой Тимур — хитрый тактик. Когда силы кула на исходе, его заменяет другой, не измотанный. Тимур ненужные делал развороты, а Тохтамыш радовался: бестолково дерётся Железный Хромец, стареет, видно. Где у него отборные части? Не поймёшь, прячет свой запас. А он на виду был: в самом центре окопалась пехота.

О, этот гул десятков тысяч копыт, нарастающий рёв конной лавы «урра-ах», эти искажённые яростью лица — кто прежде мог противостоять им? Только другая конница, более сильная. А тут пешие! Закопались в землю по плечи, загородились щитами из досок и тучей шлют стрелы в лица батыров. В орде так не воюют. Эти кроты стоят, а славная конница ордынская на глазах тает.

Три дня шла битва, и Тохтамыш не понял, что изучают его, ищут слабое место. Заманил Тимур лучшие его части на охват своего центра, измотал их, ударил с тыла. Был взмах руки Железного Хромца, послал он в бой лучшие конные части. И попала гвардия орды в клещи, а отступать некуда: сзади Волга. По берегам и легли изрубленные тумены.

Не знала орда такого урона, но велики были потери и у Тамерлана. Не стал он переправляться через Волгу, чтоб добить бегущих, и это была ошибка. Понадеялся на благоразумие разбитого хана. А у того заносчивость переборола страх. Умнейшие мурзы Тохтамыша вслед за Едигеем перебежали к непобедимому эмиру. Тамерлан — метла железная, а кто метёт, Бог или дьявол, — не понятно.

Потерял Тохтамыш Сарай, столицу свою, самый большой город на Итили-Волге, и ещё с десяток городов поменьше. Но тут же послал хан в степь верных мурз собирать войско заново. И в Литву послов отправил за данью, и к египетскому султану за помощью. Собрал за четыре года новое войско со всей степи и ещё раз схлестнулся с Хромцом, на этот раз на Тереке. Здесь Тимур решил добить орду, запретил брать пленных.

Если бы понимал, что это рок, воевал бы осторожнее, а он как никогда был активен, и Тимур взял это в расчёт. Уже два лучших тумена в тылу тамерлановой конницы, и та отступает. Ага, прогнулся Железный Хромец! Ещё немного, только проломить центр — побегут. И здесь, между Курой и Тереком, повторил Тохтамыш свою ошибку: опять заманили его в капкан. Опять о пехоту разбился ордынский натиск. И опять конная гвардия из Самарканда ударила в спину и смяла ряды. Тохтамыш рвёт свои волосы, помня предупрежденье Тимура: на сей раз пощады не жди. Ведь посылал он гонцов к горделивому хану: из-за нескольких дураков погибать тысячам людей? У нас с тобой говор был на правах отца и сына.

Нет, не признал чингизид себя сыном. Железной метлой прошёлся Хромец по городам и становищам орды, уничтожил оба Сарая и Астрахань, погиб и Булгар, старый город на Волге.

Уже слагали степняки сказанья, но героем их стал не Тохтамыш.

Где широкий Итиль бежал,
Там прекрасный Сарай блистал.
Там Мамай на престол воссел,
Озирая степей предел,
На другой сидел стороне
Тохтамыш, готовый к войне.

Отвернулась судьба от горделивого хана, а он всё ещё верил в звезду свою, бежал в Киев, под крыло великого князя Литовского. А князь Витовт не только завладел Киевом, мечтал он подчинить Москву и Новгород, захватил уже Смоленск. Тоже отменный был гордец, принял от безвластного хана ярлык на владенье Русью. И клят-

ву дал — восстановить Тохтамыша на ордынском троне. Сделать его подручным, как хотел когда-то Тимур. Мерещилась князю полная власть над ордой и Русью, уже провозгласили его великим князем литовско-русским.

Стянул Витовт к Киеву полки литовские, польские, русские, нанял за большие деньги рыцарей немецких и, конечно, остатки орды Тохтамыша с ним были. Пышно, с барабанами и трубами, выступило из Киева пёстрое войско. С тяжёлыми пушками вышли, с богатыми обозами. Сошлись рыцари, с ног до головы в железе, с ордынской конницей на берегах Ворсклы. Это малый приток Днепра, невдалеке там сельцо Полтава. Через триста лет здесь разразится решающая битва с шведами.

Хан Темир-Кутлуй, посаженный на престол Едигеем, послал Витовту письмо властелина: «Выдай мне беглого царя Тохтамыша, не могу оставаться в покое, зная, что он жив и у тебя живёт, потому что изменчива наша жизнь. Нынче хан, а завтра беглец, нынче богат, а завтра нищий, нынче много друзей, а завтра все враги». А Витовту уверенности не занимать, и он шлёт хану вызов: «Бог покорил мне все земли, покорись и ты мне, будь мне сыном, а я буду тебе отцом и давай мне всякий год дани и оброк; а ежели не станешь сыном, то будешь рабом, и вся орда твоя будет предана мечу». Чтоб орда платила дань кому-то — неслыханно! Такого хана мигом растерзают. А Темир-Кутлуй знал, что делал, — стоял и ждал войско Едигея. Будто бы уступал, но снова писал с вызовом, а Витовт всё ужесточал условия.

Ох, дорого стоила литовскому князю самонадеянность. Сплоховал он, упустил момент, когда орда не была в полном сборе и не прибыл ещё опытный полководец. Привёл ученик Тимура закалённые свои тумены, перестроил ряды ордынские, и посланье его было с ухмылкой: «По праву ты взял нашего хана в сыновья, потому что ты стар, а он молод. Но я старше тебя, и тебе следует быть моим сыном, дани давать каждый год, клеймо моё чеканить на литовских монетах». Пятьдесят тысяч конных латников пришло с ним, рубак отборных, не знавших поражений. Пушки-бомбарды? Они часто мимо стреляют, а иногда и разрывает их. Не напугать степных удальцов дымом и грохотом.

А как раскатилась битва по степным берегам, мало пользы было от неповоротливых пушек. Не оправдали они себя в первом большом бою. Послал Витовт рыцарей в лоб на конницу Едигея, а тот отступил притворно, зашёл с тыла и смешал плохо управляемые части. Пушкарей расстреляли лучники по старинке, а рыцари ударились в бегство. Да разве от степных коней уйдут кони немецкие?! Тохтамыш это знал и бросился наутёк, когда битва была ещё в разгаре. До самого Киева гнал Едигей бегущих, и на десятки вёрст покрылась степь трупами. Штурмовать Киев не стал эмир, хозяин Золотой

Орды, взял большой выкуп и вернулся к себе в степи. Было это в 1399-м году христианской эры. Страшным разгромом европейского войска закончился четырнадцатый век. Но то была последняя большая победа орды. В битве при Ворскле погибли три русских полка во главе с прославленными героями Куликовской битвы. Среди убитых князей был и Боброк-Волынец.

Давние счёты были между Тохтамышем и эмиром, завладевшим теперь ордой. Были друзьями, стали врагами: убил хан престарелого отца Едигея. Едигей женился на дочери Тохтамыша, чтоб получить звание гургена — ханского зятя. Для человека без чингисовой крови это самое высокое звание, гургенами были и Мамай, и Тимур. Тохтамыш убил мать своей жены. Жалкая месть — свидетельство ханского бессилия, и орда отвернулась от него. Рыскал он по степи, как волк затравленный, и никто не дал ему приюта. Надеялся ещё закрепиться в Синей орде, начать там всё сначала.

Неумолимая судьба загнала его в Искер на Иртыше, потом погнала и дальше за Тобол. Послал отсюда письмо Тимуру, умолял простить его, Аллахом клялся в верности. Едигей перехватил письмо и понял опасность: Тимур состарился, дети его передерутся, и злосчастный Тохтамыш власть перехватит. И тогда повелел Едигей поставленному им хану найти и обезглавить Тохтамыша...

Толпились тени в памяти беглого хана — пришло время итогов. Казнь отца вспомнилась и побег к Тимуру, война с Белой ордой и смерть Урус-хана. Победа над Мамаем, уже побеждённым, и сожжение Москвы. Неужели Небо сразу всё решило? Две проигранных битвы с Тимуром, война с Едигеем, ордой завладевшим. Кто они, Тимур и Едигей, перед ним, чингизидом?! Разбойник провозгласил себя султаном, завладел Бухарой, Самаркандом, Ургенчем, опустошил Иран и Закавказье. А выученик его — перебежчик. Сдаться самозванцам?! Бесславная выпала гибель хану трёх орд — зарезали, как и всех проигравших ханов-родственников.

А Едигей решил восстановить мощь орды и начал карательный поход на Москву. Взять кремль не смог, но города вокруг неё сжёг, взял выкуп и отступил в степи. Уже состарился эмир, в засаду попал и был убит сыном Тохтамыша, которому также не удалось зацепиться на троне Золотой орды. Истаяла мечта о возрождении Большой орды. Уходила, скрывалась за горизонт её кровавая звезда.

Русские летописи бегло рассказали о взлёте и падении Тохтамыша, хотя и величали его царём. А вот главные сраженья того времени летописи наши как будто и не заметили, хотя в них решалась судьба Руси. Не велики реки Кондурча, Терек и Ворскла, а на них были самые страшные сечи тёмного того века. То был закат Большой орды.

И дальше были набеги и усобицы, месть открытая и тайные убийства ханов. Века ещё жили в степи сказанья о храбром Идигэ и мстительном Тохтамыше. А про Железного Хромца песен не пели:

пирамиды из голов складывал, а о страшном не поют. Едигей был последним героем орды, теряющей свою силу, но помнящей величие. Он, «врагов ослаблявший врагами», умён был, храбр и опасен.

Идигэ не кидался вспять,
Если смерть начинала гулять
И сто тысяч сильных мужей,
Как рабы, склонялись пред ней, —
Не склонялся один Едигей.

Но жизнь брала своё, выделились новые орды: Синяя, она же Сибирский юрт, Ногайская, Казанская, Астраханская, Крымская. После смерти Тимура сыновья и внуки его сцепились, как пауки в банке. И вот снова на престоле, теперь уже в Бухаре, чингизиды…

Нет, судьба Сибири решалась не при Тохтамыше, а через двести лет, когда Кучума, сына хана бухарского, казаки разбили. К ногаям побежал проигравший царь сибирский, а орду Ногайскую Едигей основал. Ногаи приютили и потомков убитого Кучумом Едигера. А уж те обезглавили «прегордого» потомка Чингисхана.

Кому на руку было тохтамышево воцаренье? Синей орде? Белой или Золотой? Москве, — так поняли позднее. Но не тем же, что сжёг её! Нет, он врага её ослабил — стравил Большую орду с более сильным противником. Тимур и Едигей, выдающиеся полководцы, сработали на пользу России, сами того не желая. Они даже нападали на неё, сжигали города и сеяли страх. Но железной метлой прошлись и по степи. Оживала Русь, в себя поверила. Вот вид с кургана, вот он, дальний горизонт…

ТОМ-ТУРА

Пойма-то здесь какая широченная! И выше Таянова городища она вёрст на двадцать, и ниже уходит. Река петлю выписывает, холмы огибает, и видно сверху, до чего славная пойма. А ну-ка башни встанут, какая даль с них откроется! Дышать вольготно, простор…

Чистый бор за спиной, считай, не тронутый. Сосны прямые все, как спицы. Хватит лесу и под острог, и под посад, когда придёт ему время. А всего дороже обрыв над речкой — место само под острог просится: с трёх сторон защищено. Под Тобольский кремль так же место выбирали, да и под Московский, небось, тоже. Вот зачем ты, Василий Тырков, прибыл сюда: разведка — дело государево. Оружие твоё — глаза и уши: смотри да запоминай. Записать бы сразу, да бумаги нет. Пока продумать, в уме хоть набросать...

Пригорок за речкой, и там, в елани, кучка бедных юрт. Скорее чумы, чем юрты, да ещё и середь дерев. Кто такие? Татары так жильё не ставят, другие там иноверцы, наособицу живут. И лица не круглые, вытянутые, скулы не так выпирают. Эуштинцы, конечно, не

признают их своими: коней нет у них, в поход таких не возьмёшь. Юрточной горой кто-то из казаков назвал этот холм.

Юрты первым делом и заметили, когда строили малое зимовьё в устье речки. Опасались тогда скорого набега киргизов. Как с князем Таяном переговорил, как попал на правый берег, заглянул сюда. И узнал кое-что нужное. Старик на татарском языке плохо говорит, не сразу поймёшь, но знает ещё два языка. Про реку сказал: — Тоом — это нашего языка слово. Река — водяная дорога, дальний путь повдоль мира. Из верхнего мира идёт она, от реки судьба твоя и твоего племени. Предки долги шли сюда, место искали. И горка вот эта — Уржат, тоже до татар так называлась, мы тут долго жили, а речка Ушай-га зовётся. Татарских имён у гор и ручьёв тут нет, татары пришли не шибко давно. Только священное озеро они переименовали по-своему: Ак-коль, Белое, значит, озеро. А сами его не уважают, коней купают в нём. Наше священное место тут было. Духов-покровителей, деревянные головы посекли татары и в огонь бросили. Дела у Эушты с тех пор плохи — наказывают духи. Уже второй большой хан пришёл, ваш белый хан.

Поддакнул ему: — Какое слово наш государь скажет, тем оно и кончится. Под ним сто племён, не чета вашим чатам. Вздохнул старик, головой мотнул: — Плохое время, нету тишины. Против кыргыз никому силу не скопить. Не ваш хан, так Иренак придёт, калмыки придут. Нам-то всё одно, кому дань платить, мы давно данники, подождём. А двойной алман — это тяжело. Добрые духи никуда не ушли, здесь они, и мы у себя дома. Хоседэм злая, сына своего холодом убила, а Томэм добрая. Позовёт она, и вернётся сюда большой герой Ича, будет доброе время.

— Дай-то Бог… А чаты, с ними вера одна у вас? Они, как и вы, тоже татары?

— Нет, мы не татары. У татар другая вера, они тайги боятся. А здесь кругом духи наших предков. Они землю стерегут, их уважать надо, а татары их знать не хотят. Сперва одни пришли, за ними другие, потом на Кучума ощетинились, как собаки на волка, а куда им, — сильный был хан. Под свою веру всех гнул, чаты согласились, а Эушта только наполовину. Нельзя в чужую землю приходить без согласия духов. Хочешь жить здесь — ручьям поклонись, утром священное озеро похвали.

— А сами-то вы откуда пришли?

— Мы тут всегда. Мои предки — самоеды, они здесь жили, пумпоколы потом, а татар долго не было. Они медведя ни на совет не зовут, ни на праздник. А медведь, он сам приходил недавно, священное озеро кругом обошёл. Это знак нам, а никто не понимает: хорошего шамана нет.

— Ну и что с того, что приходил? Лес-то рядом.

— Священное озеро — остаток великого потопа. На горе озёр не

бывает, тут воля Еся, верхнего бога. Тучи, молнии — всё его, дождь с ветром он посылает. Теперь-то поняли мы весть: Белый хан идёт. А сильный шаман сразу понял бы, кто весть посылает, — Есь-бог или хозяйка смерти Хоседэм. Её если не задобришь, она беду и смерть нашлёт. Есь жизнь даёт, она забирает. А Томэм — мать тепла, она птиц на север провожает. Если она весть шлёт, значит, Тоом наша сильно изменится. Всех просить надо, духи не любят гордых. Если для татар дурная весть, то для нас добрая.

Ага, языки его — пумпокольский и самоедский. Про самоедов вроде всё известно. Они выставили свою Пегую орду и побежали от первого залпа наших пищалей. А пумпоколы не в счёт, их мало. Енисейскими остяками зовут их, ещё кетами. Охотники, наверно, ясак будут платить. Хотя государь ведь не велел брать дань с тех, кто сами пойдут под русскую власть. Татары брали дань с них, а мы не будем. Да с кого тут брать-то, — десяток-полтора, небось, их.

— А сколько у Таяна людей? Я слышал, всего триста юрт. Так или нет?

— Кто воевать способен, их триста, мужчин с оружием.

— Ну, это какое войско? Небось, и воевать-то по-настоящему разучились.

Триста юрт каких-то. Да и у соседей не многим больше. Эушта, хоть под Сибирским царём не была, а быстро сдалась бы. Разбери-пойми их тут, кто князь, а кто мурза. Одаривал князьков — подарки берут с важным видом, а ярлык не подписывают, боятся. И к соседу отсылают: — Вот ступай, посол, к Еваге, — сказал Ашкеней. — Если он поклонится белому хану, и мы за ним. Евага отослал к Енюге, а Енюга к Таяну. Сказал: — Этот подпишет, ему деваться некуда, его землю вот-вот кыргызы отнимут. Так узнал про Таяна. Грамоту показал ему — поверил он, что его имя русский царь вписал в неё. Каждый верит, что про него эта грамота писана. Так и читал: Царь и великий князь всея Руси зовёт тебя, князь Евага, под свою сильную руку и даёт тебе и земле твоей мир и верное береженье от всех врагов.

Слушают, от гордости пыжатся, потом в задумчивость впадают: — И от калмыков обереженье сулит? А знает ли белый хан, сколько их? А за ними Алтын-хан ещё. Сейчас они меж собой дерутся, а увидят ваше войско — помирятся. Что тогда скажешь? Мы тоже ссоримся, пока дальний хан не придёт. Нет, не оттуда ваш белый хан начинает. Победил Кучума — ладно, теперь с калмыками воюйте, а мы...

Ашкенеев городок в устье Томы-реки. Выше — Евагин городок, а ещё выше Таянов. Этот род зовётся Еушта, живут зимой на острове, летом — в заливных лугах. Разводят малорослых, мохнатых коней, а сена не ставят, кони добывают корм из-под снега. Держат овец и коров, сеют ячмень, охоту любят. Улус-то у Таяна мал, одно названье, что улус. Выше по Томе-реке улус князька Басандая, ему тоже надо

посулить защиту: царь-де ярлык даёт на обереженье от киргизов. Царь от всех заступит. В этом убедить ещё надо.

Где им тут понять, что за Москва и сколько месяцев пути до неё. Знают только, что силён белый хан, раз победил Кучума. Впустую проехали земли Тигильдея, Ашкенея, Енюги и Еваги. У Таянова городка решили дать коням отдых. Кучка юрт на берегу, тёмная речка впадает тут в Тому-реку. Улус Эушта платит дань кыргызам. Про это ещё чаты рассказали. Друг про друга только плохое сказывают, а себя каждый величает. Про Таяна всерьёз и говорить не хотят, кто рукой машет, кто криво усмехается. Что бы это значило? Понял потом: они на него смотрят как на приговорённого: не долог, мол, век его. И у всех гордость под стать царю Валтасару: мы-де от сотворенья мира, от матери-волчицы праведной.

Вот почему Таян внимательней всех слушал государево слово, что «царское величество их жаловал, велел в их волости для обережения город поставити и велел де их во всем беречи, чтоб им насильства никоторого не было… и братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду призывали бы и волости полнили… чтоб их приучить, и поити их и кормити, государевы запасы и сукна им давати смотря по их служению…».

Таян разговорчивым оказался, сразу доверие вызвал: в глаза смотрит, не то, что соседние князьки. Не очень стар ещё, в чуть перезрелой мужской поре, но в седле крепок. Старший сын подрастает, есть кому владенья отдать. Если не утекут они, не уплывут в чужие руки. Живут его люди не бедно, скота много, но какие это княжьи богатства — с десяток вёрст вдоль реки, вот и вся земля Таянова. А соседи жадно косятся, ждут заварухи. Понимают: вот-вот кто-то приберёт эти лоскутные улусы, чья-то сильная рука. Ждут, когда большие ханы передерутся.

— За чатами есть земля ашкитимов, большое там поселение на великой реке Умар, она ещё Обью зовётся. Оттуда купцы приезжают, шкурки скупают. Там и город есть. А телеуты, белые калмыки, они и степные есть, и горные. Абак у них князь, платит дань чёрным калмыкам, которые зовутся джунгарами. Эти враждуют с большой ордой кипчакской, а её и Кучум подчинить не сумел. Кучум взял Чатский и Мурзинский городки, а сюда не дошёл. Мурза Евага приезжал, уговаривал поклониться Кучуму. У него людей больше. А Басандай, соседний князь, за киргизов хоронится, их боится.

Ну да, и до Тобольска слух дошёл: чатские князьки сами искали русских, когда побили мы Кучума. Они жили как раз на Ирмени, где с Кучумом покончено. Чаты тоже боятся чёрных калмыков. А белых, телеутов этих, в свою сторону склоняют, да не сумели, видно.

— Тигильдей, Енюга и Евага — все родня, а всегда лаются. Кучум-хан не успел Эушту под себя подмять: знал, что в лесу спрячемся. Чатам скрыться некуда, они сразу признали его власть. Ваш белый

хан, видно, сильней, раз поколотил его, Кучум-хана. Верный слух пришёл: калмыки посулили Эушту Басандаю. А телеуты не этого хотят, себе забрать решили, хотя те и другие под калмыками. Басандая не поймёшь, он, видно, у кыргызов врать научился: говорит, что он потомок хана Тохтамыша. Да мы же все одного корня, роды наши близки. А кыргызы ему верят.

— Значит, чаты и еуштинцы родством считаются? Или не так? Все ведь татары.

— Чаты не здесь раньше жили, на полдень отсюда, а потом сюда подошли со своими стадами. А раньше, до Кучума-хана, киргизы приходили, они теперь под калмыками, сами киштымы-данники, а с нас алман берут. Тронешь их — жди большой войны с калмыками. Эти хуже всех.

— Посмотрим… Абак чей князь?

— Он хан телеутский. Его и тайшой называют.

— То есть белых калмыков ханом?

— Они не калмыки, сами дань платят настоящим калмыкам. Тех, джунгар, много-много, но они далеко. Сами не идут сюда, князь Номча от киргиз их именем приходит. С чатами не договорился, а с Эушты алман берёт. Будет война — всем достанется.

Так-так. Их бы всех на киргизов натравить, вера-то разная. И не они опасны, а чёрные калмыки. Говорят, их видимо-невидимо. Ещё государь Иван Васильевич посылал двух казаков в их землю и дальше — к Алтын-хану монгольскому. Да, всё в большую калмыцкую орду упирается, в Джунгарию эту. Там и язык другой, и вера не та. А кыргызы живут многими родами в своей земле Бурутской. Басандай будто бы в дружбе с Немеком, но тот старик, не боевит уже, за него там Номча правит. Ходили и туда разведкой. «Киргизская де землица кочевая, — поведали по возвращении, — жывут в ызбах полстяных, а ходят в шубах и в зипунах, а едят рыбу и зверь бьют, а бой у них лучной. Лошадей и коров и овец много, хлеба не сеют, и не родитца… А сен де на скот не готовят… к зиме сен ставить на лошади и на рогатый скот негде».

— А киргизы, они во что верят?

— Камлают по-своему. Камы у них не только мужики, но и бабы, и все разной силы. У старшего кама, говорят, девять бубнов. И особый кам на войну идёт. У них четыре главных улуса. Из них выбирают главного князя, а киштымские улусы не выбирают. Делятся на белых кыргызов и на чёрных — чайзаны и харачи. У чайзанов скота больше. И тубинцы под ними, и маторы, и сагайцы. Князь Немек по отцу власть имел, а под ним молодой Номча и Кара. У каждого свои воинские люди, каждый на себя алман собирает и с главным князем делится. Счёт убитых ведут по отрезанным ушам, в мешки их складывают. Есть там калмыцкая дорога, джунгары за данью приезжают.

Таянов род, Ашкенеев, Басандаев, Тигильдеев, Евагин… косятся друг на друга, как бы чужой кус зацапать. С Евагой и Ашкенеем, придёт пора, разберёмся. Не мирный, кажется, только князец Басандай. У него юрт, кажется, не меньше таяновых. Вот если он для защиты киргизов позовёт… Белые калмыки, или как их, телеуты — другое дело. Мурза Абак хитёр, говорят, и осторожен. И опасен он: людей у него будто бы до пяти тысяч. Мурза Тарлав — зять его, дружит с Аблайгиримом, внуком Кучума. А за него держится Когутей со своим улусом Барабинским. Абака послушают, говорит Таян, если он будет дружить с Москвой. А если ни Басандай, ни Евага, ни Ашкеней не пойдут в служилые татары, да сговорятся, жди бунта от них… Острог, всё в нём, все концы сюда сходятся. Его и киргизам не взять, вот разве что калмыки.

А что в Москве знают? Что Золотая орда Тюменское ханство подмяла когда-то. Синяя Орда, пришло время, ей уже не подчинялась. Но её раздирала вражда шибанидов с тайбугинами. По местным сказаньям, улус по рекам Иртышу и Туре получил Тайбуга. Это он основал Ишимское ханство и построил Кизил-туру и Чинги-туру. Преданье возводит род Тайбуги к Ван-хану, которому служил когда-то и которого убил Темучин, будущий Чингисхан. Едигер, сидевший в Сибири-Искере, — тайбугин. Потому так зло расправился Кучум с ним, зарезал и собакам кинул. Сеид-хан, племянник убитого Едигера, взял сторону Москвы, мстить стал Кучуму. Татары-тайбугины пошли в последний поход на Кучума и неплохо воевали. Трон под Кучумом зашатался, когда полонили Маметкула, лучшего командира в его войске. А когда Карача вышел из повиновенья, далеко откочевал, тут уж, считай, рухнул трон царя сибирского.

Сибирское царство само упало Кучуму в руки, считай, даром ведь досталось. Он увеличил ясак в десять раз, и остяки с надеждой смотрели на Ермака. А тот повёл себя правильно, брал-то по-божески. Ермак, он и умом, и напуском силён был. Всё это на глазах было, сам участвовал. Был Епанчин городок, стал Туринском. Побили Епанчу — позвали тогда на службу в Тобольск. Ходил против чатских татар и против Алея, сына Кучумова, в последнем разгроме Сибирского царства участвовал.

А вот Ермак… совсем рядом был, а уже поют о нём. Внукам легенды расскажут. А ведь он хотел, небось, устроить здесь свою, казачью, державу-вольницу. Без бояр и без холопов, со своим толковым кругом, со своим судом, казачьим. Наверняка так думал, вольную Иртышскую сечу видел за Камнем. Иртыш дальше от Москвы, чем Дон, и богатства здесь куда больше. Но сил-то мало, самому с сибирцами не справиться, пришлось царю поклониться. А царь хотел перевешать их за разбой, как татей. Кроме как в Сибирь уйти им некуда было: сибирское взятие покроет прошлые вины. На то рассчитывали: грозен царь, да милостив. А с татарвой воевать они давно. На

воде не взять их было и большим ханам. А вот чёрные эти калмыки, или как их, джунгары… тут большое нужно войско.

Записать надо, как наказную память исполнял. Сперва придётся тобольскому воеводе подать грамоту: он послал разведывать. Потом, может быть, заставят всё повторить в челобитной царю. Примерно так:

Прибыл я, письменный голова Василий Тырков сын Фомин, в устье Томы-реки с малым числом казаков. Посылан был для разведки и уговоров, чтоб убедить князей здешних стать под высокую руку государя и великого князя всея Руси. Шёл Обию рекой по улусу чатов до усть Томы три дни. Тома река не больно широка, а быстра и рыбна. Муксун рыба есть и нельма, и осётр, и тальмень, и стерляди много. В лесах лоси и медведи, и соболь есть. Татары по Томе и Оби живут родами со своими мурзами: Тоянов род, Ашкенеев, Басандаев, Тигильдеев, Евагин. Все с одним татарским языком.

Вдоль Оби стал улус чатов, идёт от Томы до Ирмени, где царя Кучума побили запрошлым летом. Чаты были данники его, сибирского царя, и веру басурманскую от него прияли. Выше живут тако же татары, слывут Еушта, числом их не много. Князь у них, еуштинцев, Тоян, страшится улус свой потерять и готов пойти под государеву высокую руку. Острог мочно будет ставить, еуштинцы в конную службу годны, в помочь городовым казакам. Чаты в службу не пойдут, а воевать с великим государем страшатся и выжидают, что станется. Силу белого царя знают, а могут ли изменить и уйти в калмыки, того нельзя знать заране. С киргизами миру нет у них, и войны тоже нет, потому как за киргизами калмыки. А выше Еушты правит князь Басандай, он потай сносится с мунгалами через киргизов, а своей силы и у него немного. Слух есть, будто улус Еушты тайша калмыцкий посулил мурзе Басандаю. Только у Тояна-князя склон в русскую защиту, и на разговор об остроге он, Тоян, сильно головою кивает.

А жила здесь, по слухам, самоядь сидячая, не оленная, сказывают, тут де было их мольбище. На горе при озере истуканы стояли, посечены татарами и в огонь снесены. А моленье у них, у самоедов, сибирское — камлают с бубнами. Сказывал старик-самоедин: находили-де окрест железну руду и плавили, и ковали ножи да топорики. А Тома своим устьем пала в Обь под закат, по крутому берегу бор доброй стоит и всякой другой лес растёт, есть луга и поляны, скот пасти и сено ставить мочно. Земля к пахоте пригожа, а больших полян мало, росчисть нужна. Есть пригорок изрядной крутизны, то место под острог пригоже, понеже защищено с трёх сторон. Тут, на грани с немирными татарами, хороший нужен острог. Тем мы и киргизам заслон поставим, и белым калмыкам, и те улусы, что на полдень живут, под высокую царскую руку приведём.

Так бы написать, да бумаги мало. Поберечь её надо, Таян захочет

челобитную писать — вот тогда последний лист пригодится. А пока смотреть да прикидывать, на то и разведка — ум и хитрость. Найди слабого и сделай из него упор для силы. Лаской-то больше добьёшься. Хотя добровольно-то кто пойдёт под чужую власть? Таких дурней на всей земле не найти. Когда большое войско придёт, победу за победой одержит — тут деваться некуда. А пока нет его, кто побежит навстречу сдаваться? Пришла угроза жизни, — вот князьки и зачесались. Им пример был перед самым Ермаковым приходом, небось, все знают. Едигер-хан написал царю Ивану Васильевичу, что грозит ему Кучум бухарский, просился под высокую руку Москвы. А царь большую войну вёл тогда ливонскую, не мог расколоть войско. Кучум пришёл и убил Едигера вместе с младшим братом. И тела, говорят, собакам кинул. Вот чего Таян боится. И хочется ему, и колется: если что не так пойдёт, киргизы не пожалеют. Сказал ему, что государь-царь знает и помнит о нём, Таяне еуштинском. Пущай гордится, вреда нет. А не подумает, что слабосилен белый царь, раз о нём, маломочном князьке, печётся? Да нет, он же знает, как раскатали мы Кучума. А что у себя на Москве царь помнит про него, — так мудрый, значит. Знают, что царь русский великие города взял — Казань и Астрахань…

Имя острогу нужно. Таян своё названье подсовывает: Том-тура. Мы, мол, свой город так зовём. Подумаешь, город: бугор и тын жиденький, огородный. Жить хотят на левом своём берегу, от нашего острога отдельно. В Сибири был один город — Кизил-тура, где-то на Ишиме-реке стоял. Будто бы и ханство называлось Ишимским, а когда дело было, — разбери-пойми теперь. А может, Томским назвать острог-то? Там видно будет, главное дело — успеть за лето поставить его, пока киргизы не нагрянули. Штурмом им не взять: огненного боя нет у них. Тобольск ведь татары не смогли взять.

Берёзов, Сургут, Нарымский и Кетский остроги — благодать для служилого люда: спят таёжные племена, и сны видят старые-престарые, как тыщу лет назад. А степь кипит. Там резня народишки перетасовывает. Кетский острог ставили — думали: вид на юг приоткроется. Но там остяки кругом, а тут степь подпирает, в ней осколки больших орд. При дворе хана были советники — мурзы, управляли малыми улусами. У иных и собственные укреплённые городки были. Войско набирали там, когда хан объявлял поход, а после распада Большой орды сами не знают, кто они. И что может выйти? С той стороны татары обасурманенные, а с востока — кто они? Кому чёрные калмыки поклоняются? У них попы зовутся: ламы. И скоро видно будет, церкви ли будут стоять или... Не век юртам стоять.

Главное на сей день: считай, склонил Таяна под руку Москвы. Тут верное дело: привести его к шерти — будет служить и прямить во всём, измену чинить не станет: тогда смерть ему с двух сторон. Он ищет заступника: слабого здесь и родня порвёт. Князей-неслухов

станет уговаривать пойти под государеву руку. Уже назвал своих соседей, с которых ясак взимать можно. И не соврал, старик-самоедин то же сказывает. Положенье своё понимает вроде бы как надо.

Разве что побоится ехать так далеко, нигде, небось, не бывал. В отписке надо указать это. Зачем его в Москву везти, в такую даль? У него глаза округляются: три месяца пути — и всё земля Белого хана?! Всё равно ведь шерть-клятву не в Москве с него брать, а в Тобольске. Ещё лучше в Сургуте, ближе к его земле… Понимает, что кучумовичи раскололись: одни под калмыков хотят пойти, другие от Бухары ждут помощи. А Бухаре на что нужна война с Москвой? На них самих калмыки-джунгары нападали…

Уговорил Таяна проводить к Басандаю. На Петровки двинулся малый отряд вверх по Томе, в гости, с подарками. Таян впереди со своим княжеским бунчуком трёххвостым. Мурза-князь к мурзе-князю в гости едет, равные они и родичи дальние. Ехали вдоль обрывистых берегов. Места красивые, но для острога нет подходящей горы. Таяновы конники улыбаются, угощенье предвкушают. И на тебе — конная полусотня в куяках, в полном вооружении стоит. Луки вынуты, стрелы на тетивы положены.

Вот тут и понял: цены нет Таяну в переговорах. Заговорил он пышными словами, и конники луки в колчаны спрятали.

— Честь тебе и поклон, храбрый Басандай! Слух о тебе дошёл до белого хана, он шлёт тебе с послом знаки великого уваженья. Для чего ты войско выставил, разве так гостей встречают?

— Непрошеных гостей — только так. Не звал я к себе белого хана.

— А он дружбу предлагает, хочет через тебя с кыргызами говорить. Обещает со всех, кто в дружбу пойдёт, не брать ясак. А кыргызы немало грабят, стада по пути угоняют. Не так разве? У них джут чаще, чем у нас бывает, голод через год на второй. Тогда они киштымам ничего не оставляют. А урусы хлеб имеют, у них голода нет. И от калмыков защитят.

— Такого войска, как у калмыков, нигде больше нет. Негоже нам, Таян, под далёкого белого хана идти. Придут джунгары, они не простят тебе. Пока белый хан дойдёт, тебя на кол посадят. А сейчас напирать будете — позову Аблайкирима, вместе придут и телеуты, и киргизы. Что делать будешь, Таян?

— А ты, Басандай, видел огненный бой урусов? У них большие таратайки дым и гром пускают и убивают за раз пять-шесть конников. Они самого большого Сибирского хана победили. А с ним кто из нас воевать мог?

— Джунгары. Просто дело до войны не дошло, а их много больше. Смотри, Таян, ох смотри. Нам меж собой драться не надо, пока нас не заставляют. А там… на всё воля Неба.

Ни с чем вернулись в Таянов городок. Зато ясно стало: дружбы от Басандая не жди, этот союзником не станет. Если киргизы нагрянут,

с ними он пойдёт, с ними. А пока выжидать будет. Белые калмыки приходят торговать к нему, и есть их юрты, телеутские, на бору Тохтамышевом. Не стало сильного хана, и все хотят делить наследье его.

Пятнадцать лет прошло после гибели Ермака, Кучум-хан частью восстановил силу свою. Тогда послали на него из Тары конный отряд воеводы Воейкова. Около четырёх сотен казаков да служилых татар около того. В отряде Воейкова пошли соратники Ермака Гаврила Иванов и Юрьев. Ехали мстить за атамана и дали волю своим пищалям и саблям. В Тобольске показывали письмо тарского воеводы Андрея Воейкова, самому царю писано: «И пришёл я, холоп твой, на Кучума-царя в двадцатый день на солнечном восходе, и бился с Кучумом-царём до полдень, и Божьим милосердием и твоим государевым счастьем Кучума-царя побил».

Долго искала разведка Кучумову ставку по перелескам, местные татары правду утаили. В Барабе, мол, он прячется, меж озёр, а он вот где — на Обь ушёл. Нашли огороженный стан «сибирского царя» в устье Ирмени-реки и ударили ранним утром. Спал Кучум, и воины его спали, с полтыщи их осталось. Тихо сняли казаки сонную охрану, тихо, в полутьме подошли к шатрам, и грохнул залп в полутьме. Сделать хотели с татарами то самое, как они с Ермаком. Только тогда-то казаков всех зарубили, кроме одного, который Иртыш переплыл, а тут полон богатый взяли.

А всё же не совсем ошеломил кучумовцев пищальный залп, с восхода до полудня бой шёл. Приступом, сквозь тучу стрел, взяли стан, прижали отряд к Оби и загнали в воду. Погибли брат и внуки Кучума, шесть князей, пятнадцать мурз и триста воинов. В плен погнали пять сыновей-кучумовичей, пять ближних мурз и полтораста воинов. Сам-то властелин сибирский прорвался к воде и уплыл на другой берег. Долго гнались казаки вдоль берега, но ушёл Кучум, опять ушёл.

Да, громкий был бой ирменский, жестокий для татар, для казаков славный. Внукам будут рассказывать, как рухнула власть того, кто назвал себя царём сибирским. Отшатнулись от него степные племена, один за другим присягали русскому царю. Теперь вдоль Оби надо расширять земли государевы, а там уж и на восток продвигаться.

К чатам подался Кучум, к своим данникам, приткнулся в Чёртовом городище, а там ему на порог указали. Побежал Кучум на юг, к ногайцам, а уж те его и укокошили. Там жили потомки Едигера, убитого Кучумом. Воейков ещё раз послал Кучуму приглашенье царя Бориса перейти со всеми своими людьми на русскую службу — отказался злосчастно-гордый владыка сибирский.

С этой победы взоры Москвы на юг обратились: взять всё царство Кучумово, всю Сибирь. Едигера царём не называли, хотя владел-то он тем, что отнял у него Кучум. Почему так? Он не из рода чингизидов, в этом всё дело. Сына Кучумова живым взяли и в Москву повезли — для клятвы, для законности.

Поедет Таян в Москву, даёт согласие. Пример для других князьков. И вызов для сильной орды… Как действует кумыс на татар: лица добреют, глаза яснеют. По горлу сам катится. Всего-то кобылье молоко сквашенное, а не хуже нашей браги. Стал Таян любопытствовать про род и звание. Видать, славные были предки, раз послом великого Белого хана стал?

Сказать ему, что из худородных? Зачем? Запутается. Видит, что перед ним воин, и ладно. И на Руси-то уже редко кто помнит, откуда взялись дети боярские. Опосля можно будет растолковать, что это ближняя челядь, какую бояре на войну с собой берут... Татары видят, что русские мурзы не кичливы, совсем не как у них. Привыкли в орде одни титулы уважать, чванятся друг перед другом. Таян — бик-мурза, но, считай, беззащитный. Станет за царскую спину — себя возвысит, не станет — уронит. Чёрных калмыков боится, они родовитых первым делом режут...

— Род мой служилый, и я сын боярский. До письменного головы дослужился, когда Епанчу в полон взял.

— А боярин — это набольший мурза? Так говорю?

— Бояре, они разные. В дети боярские лучшие из казаков выходят. Когда боярин на войну идёт по приказу царскому, он своих людей ведёт с собой, коней даёт им и оружие.

— Значит, дети батыров? К таким Небо-Тенгри благоволит. А главный ваш батыр почему не пришёл сюда? Как его — Ярмак?

— Ермак-то? Ну, он дело знает. Ждёт, что калмыки содеют, всех казаков проверяет, велел готовиться.

Ага, и здесь имени Ермака боятся. Это нам на руку будет, не грех и приврать. Этот князь-мурза со стариками-татарами, конечно, советуется, слушает, что скажут. А старикам что, — им по старине жить охота.

И без того было неспокойно, а тут Кучум велел всех татар в новую веру склонять. Камов, творящих заклинания, пророк велел наказывать. А есть праздники, где нельзя без них. Да хоть праздник плуга, сабантуй. И старых героев забыть опасно. Сартакпай создал реки Умар и Том, — как не помянуть его в праздник? Все, кроме Шайтана, подчинены Аллаху. Трон Аллаха на седьмом небе, выше Тенгри, а мы их вместе поминаем. Старикам трудно было привыкнуть, не то что молодым. Не разгневались бы предки на нас, не подумали бы, что отвернулись мы от них.

Таян рассуждает по-стариковски:

— Тенгри-Аллах в первую голову тех наказывает, кто клятвы нарушает, предков не чтит. Такие после смерти попадают в плохое место, где никогда нет солнца. Старики помнят, что ад ниже земли, и там всё наоборот. Кто богатство неправильно нажил, там в цепях ходит. Предатели там вечно на колу. С врагами мирятся рано или поздно, а предателей никогда не прощают.

Беспокойные ночи пришли в Эушту. Стон поселился в юртах, сны пришли непонятные. Не видывали таких снов: яма над ямой, на всех горах ямы, и торчат из них головы на кольях. Огнём телеги плюются, от огня сосны валятся. Идут старые мурзы к Таяну: растолкуй нам слова твоего гостя. Чего хочет Белый хан? Что ты задумал? Не пригонят ли урусы свои стада к нам? Нет, нет, Белый хан прислал мне ханское писание с клятвой: убережёт нас от кыргызов, а ясака брать не будет. В друзья зовёт. Завздыхали аксакалы, заохали, как узнали, что князь их собирается далеко ехать, на поклон Белому хану. Узнал это и Басандай, и сейчас же послал гонца на Чулым, ушла весть дальше — на Енисей к кыргызам.

Уже всё на войну указывает. Всему ответ острог, только на него надежда. Спроворить надо до глубокой осени. Сотня казаков за лето не поставит, под двести надо бы, не меньше. А где взять их тут, в Сибири? Одни — сосны валить, другие — волочить их конной тягой. Свежеошкуренные-то стволы скользят по земле легче. Третьи — копать землю, брёвна палить снизу, сверху затёсывать. Сколоченная артель нужна. Кто с топором, пали ставит, кто чурками землю трамбует, кто брёвна на стену катит. А уж башни ладить, тут тем паче мастаки нужны, чтоб рука цепкая, глаз набитый. Ну да не впервой… Устоит острог — поверят ближние татары в царское обереженье, притихнут и южные соседи.

Таян согласился плыть вниз, в Сургут — для клятвы-шерти. Дело сделано! А там и в Тобольск свезут его. Где шерть даст он, это дело пятое...

А пока в Сургут отбывал сам письменный голова. Уплывал по теченью, и на повороте ещё раз оглянулся на гору. Светлый бор стоит, тихо радуется. Чему? Величию близкому? Возьмём шерть с Таяна — застучат топоры. Другая начнётся пора здесь — русская. Лицом, главными башнями, на север острог смотреть будет. С севера угрозы нет, и не будет её. Главная опасность — левый берег. Пушки на башнях, их голос убедит степняков. Наскочут с огненными стрелами да с факелами, а со стены — залп пищальный.

Наверно, сперва сделают киргизы малый набег, потрогают стены для разведки, а уж потом, через год-два, подкопят силы… Их-то штурм отобьём с Божьей помощью. А на осаду они без калмыков не решатся: из Кетского острога, из Нарымского подмога успеет. Вот с калмыками миру не будет, или мы их, или они нас. Хозяйничают здесь, в Сибири, всеми племенами владеют. В степь пушки против них не повезёшь, а на башнях острога они хорошо себя покажут. Быть здесь бою, не миновать его. Да и не с одним набегом пойдут, да и числом не малым.

А ну как вся степь разом двинется с юга. Как устоим? Объединятся орды — где воинских людей наберёшься? Пришлют сто казаков, ну пусть даже двести, — что это против степной орды? Одних белых

калмыков, говорят, тысяч с пять, за ними чёрные, а тех кто сосчитал? Скажет контайша своё слово, и пойдут волна за волной, сверху киргизы, снизу барабинские татары. Выстоим! Не в силе Бог, а в правде.

Выстоим — пашенный народ повалит, овины и мельницы понастроит. Церкви встанут, колокола зазвонят. И сила, и правда с нами будет. Встанут стены над обрывом, и чаты начнут селиться окрест города на правом берегу, станут служилыми татарами.

Подтвердился расчёт Тыркова, подтвердились и опасенья: только поднялись стены — пришли кыргызы. Взять не смогли, куда там, а сами полегли немалым числом. За три месяца и двадцать дней встали стены и башни. Татары, не только эуштинцы, но и чаты, подъезжали вплотную к реке и долго смотрели, как на сказку. Появились и белые калмыки, телеуты, застывали и пятили коней в улус Басандая.

А потом в своих кочевьях на Оби разрешили чаты поставить Чаусский острог. Их начальники мурзами прозывались, но долго ещё была в них шатость, а в эуштинцах её не было. Мурза Тарлав женился на дочери Абака, князя телеутского. Дал клятву-шерть на русское подданство, а потом бежал к тестю своему, к телеутам. А те шатнулись к джунгарам. Пришёл Тарлав набегом и сжёг свой Чатский городок, немало побил и русских, и татар. И погиб в первой же серьёзной схватке. И всё же потомки его были мурзами с государевым окладом. А вот потомки Басандая титулов не получили, мурзами не были.

Ясак платить надо восточным ханам, а не белому царю, — так внушал Басандай соседям. Нападать велел на урусов в лесу и на дорогах, жечь поля и деревни. Когда накатились кыргызы с Енисея, Басандай с ними пошёл — и погиб под стенами ненавистной для него Том-туры. Прогадал Басандай, а Таян — нет. Царь освободил Эушту от ясака, а все соседние племена платили. Четыре набега выдержал Томский острог, и всегда эуштинцы были союзниками. За верную службу получил Таян царские подарки. Поехал «белых калмыков проведать» и остался заложником, пока Абак ездил в Томск и давал клятву на подданство. Присягнул Абак на верность белому царю… и изменил. Потом просил обереженья от Алтын-хана монгольского, а в обмен — беспошлинную торговлю под Томском. Хитёр был Абак, всех хотел объегорить. «Царсково жалованья дали Обаку князю: однорядку, да рубашку золотую, да колпак, да сапоги, а мурзам по однорядке настрафильной и людем ево по однорядке рословской. Без ясака почали часто з базаром и лошадьми и с коровами приходить в Томской город, и лошадьми, и коровами служивые люди наполнилися в Томском городе… Обак и мурзы подкочевали со всем улусом за день до Томского города. Велели Обаку черных колмаков призывать». А ясака с телеутов поначалу не брали: ждали согласия на постройку острожка на границе Алтая. Абак же тайно сносился с Хара-Хулой джунгарским. А тот уже перешёл Салаирский кряж и велел

идти с ним на русский город. Подчинился Абак и взял Чатский городок, что на дороге между Томском и Тарой. Но когда джунгары с кыргызами готовились напасть на Томский острог, Абак предупредил. Опять клялся в верности московскому царю, как ни чём не бывало.

Когда Тарлав «вышел в Белые колмаки», войско телеутов и чатских татар двинулось вниз по Оби и погромило земли мурз, верных московскому царю. Сожгли несколько городков и «ясачную Шагарскую волость». Ждали прихода Аблайгерима барабинского, чтобы разом сжечь Томский город и Кузнецкий острог, только что построенный.

А Василий Тырков, известно, служилый человек, вернулся на Томь, поставил Томский острог, и в Тобольск его отозвали. После воеводствовал в Томске, потом отправили искать сыновей Кучума. Они рыскали от Иртыша до Оби, избы разоряли, служилых людей убивали.

А как прибыли воеводы из Москвы, так и началась кривда — лихоимство с поборами. Был твёрдый царский указ: «С бедных людей, кому ясаков платить не мочно, по сыску имать ясаков не велено, чтоб им нужды не было. И они б, сибирские земли всякие люди, жили в царском жалованье, в покое и тишине без всякого сумления…». И если воеводы «насильство и продажу чинили, ясак имали не по государеву указу вдвое — и государь велел на тех людей давать суд…». Но из Сибири-то до царя вон как далеко, а дармовое богатство в руки так и просится. Воеводы Ржевский и Бартенёв на службе «ясашных людей пытками пытали и поминки с них великие имали, и их грабили, лисицы и собаки и рыбу и жир, чем они сыты бывают, имали насильством». Наглым своим поведеньем довели воеводы дело до войны с кыргызами, и тлела-тянулась она полвека. И на бунт толкнули народ воеводы, погибло при усмирении немало служилых. Это при бедности населения. Царю жаловались казаки: их «в Томском городе служилых людей немного», и никогда они вместе не бывают, всегда на границе Эушты или в разъездах. И год за годом в нужде.

«Да в прошлом, государь, во 142-м году весною гневом праведным божьим, как Томь река вскрылась и пришла на посад вода со льдом большая и дворишка у нас, холопей твоих, водою и льдом сломало и хлеб и скотинишка потопила и всякий лес от дворишков и с пристанищ и рубленые всякие хоромишко водою разнесло розно… и мы, государь, холопи твои, в три годы в тех хлебных недородах и водных потопах хлеб покупаючи такою дорогою ценою, обнищали и задолжали великими долгами, и в тех, государь, покупках хлебных, мы, холопи твои, оружье и панцири, и шеломы, дворишка свои и кони и всякую сбрую иззакладывали и спродали, а нынеча, государь, мы, холопи твои, от той хлебной скудости иззадолжали и обнищали и вконец погибли».

А как подняли пашню, город сразу превзошёл два ближних остро-

га, Нарымский и Кетский, скоро заслонил он и Сургутский. Одни переселенцы занялись ремёслами и торговлей, другие получили землю под пахоту, косьбу и пастьбу скота. Потом учредили ямскую повинность вместо ясака — татары грузы перевозили в Тобольск, а потом и в Иркутск. Расцвёл санный промысел и тележный, коней скупали в степи, кузни застучали, мельница появилась. Рос город, по сибирским меркам, небывало прытко и породил несколько острогов, больших и малых. Человек-то в Сибири, оказалось, крупнее смотрится, чем на Москве. И память о нём здесь дольше хранится.

И на Кондому, и на Бию, и на Енисей, и на Лену ходили томские казаки. А с Лены и на Амур вышли, и на океан. Голодали на зимовьях, да и в остроге терпели нужду в хлебе. Пашни малы ещё, а «город от иных от всех сибирских городов удален, место украинное; а около, государь, Томского немирных орд и степных и всяких вольных людей много безчисленно и мы, государь… все живём в твоих государевых службах и в посылках, и на караулах безпрестани».

Отцом многих острогов стал городок — Кузнецкого, Енисейского, Красноярского, Ленского, Бийского… Но и головы свои буйные служилые томские люди сложили далеко на востоке, когда ставили города на Амуре, на Лене и на берегу Тихого океана.

ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ

Слава казачья, как она по Сибири шла? Не на конях, а на шитиках, на стругах да кочах. Казаки тут больше веслом, чем саблей, махали. Ты вот подумай: от Урала до океана восточного — за полвека! Первый шаг на восток, а второй на север. А загляни в отписки атаманов — узнаешь, каково было: «Вмёрзли шитики в лёд до весны», «едим траву и коренья». Ещё как бедовали на зимовьях-то. Инородцы тоже не с хлебом-солью встречали, судёнышки-то, бывало, все стрелами утыканы.

Лет за восемь до Ермакова похода послан был за Камень князь Лыченицын с войском. И чуть ли не все служилые побиты были, на Русь-то мало кто возвернулся. Брешут, будто кучумовцы худо воевали, татары, они воисты. А Ермак Тимофеич, он и того крепче вышел. С малой пришёл дружиной и Сибирь-город взял, и Кучума гордого согнал. А было это в лето семь тысящ девяноста первое. В грамотёшке-то силён? Если не шибко, растолкую. 1492-й год считали как семитысячный от Адама, вот к нему и прибавляй девяноста один. Выйдет 1583-й. В котором году какой город ставили и какие дети боярские, и сколько письменных голов, сколько простых казаков было, — про то есть расспросные книги в Сибирском приказе, и в каждом остроге своя книга записная.

А шли-то казаки по длинному уху: от инородцев услышат про но-

вую землицу и айда в поход: «А улус тот зовут Атувас, а князь в нём Тормоши, а от Тормошина улуса ехати за Утчеркукуш, а в нём князь Каракула, ехати до того улуса 5 дней. От Каракулина улуса ехати до улуса, а в нём князь Чистаки, ехати 5 дней, а от Чиняева улуса до князя Тангичирика ехати 5 дней, а от Тангичирикина улуса до князя Чертику ехати 5 дней, а от Чертурова улуса до князя Сеченнос езду 4 дни, а от Чиниева улуса до Таинскатут ехати 4 дни, а от Тыскатулина улуса до царя Бушкуты ехати 3 дни...».

Четыре года от убиенья Ермакова прошло, а уж стояли остроги Обдорский, Сургутский, Кетский. В 109-м — Томский острог, из него уж Кузнецкий заложили и Енисейский. В них воеводы своим столом сели, ясак брали. Промышленные люди сразу со служилыми шли. У этих особый нюх на мех, а куда им без казаков — мигом перебьют. Зимовьё поставят, из него уж острог вырастет. А в диких местах зазимовать, да без хлеба-то! Да и цинга не щадит нашего брата, да иноверцы хитры. А всё равно коч ходит — следу не ронит. И честь себе не пищалью одной добыли, а смелым напуском.

У здешних рек свои прихоти, шитики-плоскодонки по их норову. Но какие зигзаги-крюки делали на них!

От Тобольска вниз до устья Иртыша, потом по Оби встречь теченья и тут свороток в Кеть не прозевай. Там опять греби, одолевай стрежень до обско-енисейского во́лока. А волок тот не малый, вёрст девяноста, на нём Маковский острожек поставили. От него до Енисея уж рукой подать. Как Енисейский острог возвели, из него Красноярский ставили. За десять лет пять раз сожгли его киргизы, шестнадцать деревень вокруг спалили, в полон немало народу угнали. И первый Абаканский острог сожгли, и Саянский.

Острог поставили, приехал воевода — и конец казачьей вольнице. Воеводы, они же драли и с правого, и с неправого, и с инородца, и с русского. Люди вроде разные, а у всех алчность за правило: зачем бы они рвались в глухую Сибирь. Зачем по рекам да по тайге шли?

По северу ведь, а не по тёплому югу. Думал ты об этом? Соболь манил, мех не зря чёрным золотом называли. Ясак-то чьё, думаешь, слово? Монгольское, — вишь, у кого научились. Приходит казачий отряд, берёт главных из племени, выкуп за них требует. А князьков к шерти склоняли, это клятва на подданство белому царю. Тут уж смотря по обычаю тамошнему: кто на медвежьей шкуре клялся, кто нож целовал, а кто шайтанов просил в болоте задавить его, если он от клятвы отступится.

Первое из чудес тут — Мангазейский морской ход. На кочах до Оби дошли вдоль берега Студёного океана. Зимовье поставили близ Обской губы, возвели из него городок, мягкую рухлядь возами в Москву везут. Из Мангазеи Пенда пошёл за своей звездой. Небывалый бросок: из Мангазеи на Енисей, а по Енисею до Нижней Тунгуски и три года пробирался в её верховья. Оттуда до Лены, обратно пошёл

к Ангаре, потом из неё в Енисей. Пянда он или Пенда, только первым вышел он на Лену. И Ангару почти всю прошёл, и через пороги в своё Туруханское зимовье живым вернулся.

Или Пётр Бекетов — вот уж умная голова! Юнцом ещё в Сибирь пришёл, тут и ободрател. Братский острог с войнишкой ставили, а браты-буряты, они сильно воистые. В стрелецкие головы произведён тут, и в Ленский острог его послали, а там в ту пору самые важные дела деялись. Острогов он с десяток поставил, да каких: Братский, Якутский, Читинский, Нерчинский. Платить ясак склонял инородцев лаской да обещаньем. Ну, одекуй везли — бусы, стекляшки разные, там это в диво.

И на Байкал Курбат Иванов тоже из Якутска прошёл. Острог Иркутский, считай, через десять лет ставил Яков Похабов. А как Байкал пройдёшь, там-то — хо! — там уж Амур никак не минуешь. Поярков первым про Амур написал, река-де велика, ячмень там родится и овощь всякая.

Хабаров прямой путь нашёл из Якутска на Амур. Ероха был, Ерофей Павлыч стал. Отряд сам справил, на свои деньги, и айда на юг да с боями немалыми. Байкал обошёл с востока, пробился на Амур, первый чертёж Амуру составил. Грамотный человек был, нет ему ровни. Он сперва ведь промышленный был, пушниной торговал на Лене, землю пахать почал. Там же мешок сухарей стоил столько же, сколь и мешок со шкурками. О, Хабаров — это Ермак и Строганов под одной шапкой. А земли-то по Амуру-реке сплошь благоцветущие. Ну, прямо в рай зашли разбойники! «Да на той же реке мунгалы емлют серебряную руду, а у той руды серебряной, на той реке стоит китайского государства порубежный город…»

А на каждом шитике свой Пахом-рукосуй сидит-посиживает. Он, хитрюга, у кормила, у руля пристроился, ему вёслами махать вроде как не по чину. А как растрясут казаки ясырей-заложников, отберут у них соболей, он тут же половину их скупит по дешёвке. Скупит сухари привозные и продаёт их втридорога тем же, с кем на неведомую реку ходил. И смотришь, воевода с ним уже за ручку здоровкается: здорово ли поживаешь, Пахом Иваныч? А все кругом Ивашки, Тришки да Никишки. Казаки иные, а первей других атаманы-сотники, смотрят да на ус мотают. Ерофей Хабаров на Лене пахать стал, соль варил, на свои деньги отряд собрал и айда на Амур. А уж там развернулся — побежали инородцы с родных мест. А того круче Атласов, совсем уж разбойник.

Или Михайла Стадухин, этот полторы тысячи вёрст Охотского берега описал. Сам составил чертёж всех мест Якутии и Чукотки. Он и реки Колымы открыватель, острог Нижнеколымский ставил. Куда как бесстрашный был, а худая слава шла: бунтовщик и грабитель. Он же отряд Дежнёва ограбил, когда тот с заморным зубом-то возвращался. Еле-еле живые шли, а нарты волокли на себе. Да и Хабаров

жесточью своей недалеко от него ушёл, недаром дважды под стражей сидел. За то уж в боях, тут нет им равных. В темнице не раз сиживали, под судом бывали, свои же казаки убить не раз хотели. Одно слово — отпетые головушки.

Иван Москвитин — этот другой был, первым вышел к Охотскому морю. Службу казачью начал в Томском остроге, в дальние походы хаживал и в Якутск попал. Пишет воеводе: тут вдоль по морю большого зверя морского бьют. Значит, и нам можно, наши кочи лучше будут. И богатая же земля: «А те де реки собольные, зверя всякого много и рыбные, а рыба большая, в Сибири такой нет, по их языку кумжа, голец, кета, горбунья, столько де её множество, только невод запустить и с рыбою никак не выволочь».

А Дежнёв, наверно, самый честный был. Он из поморов, на севере вырос. Семён Дежнёв и Федот Попов на семи кочах вышли, человек девяноста их было, а только с одного коча живые-то вернулись. Рыбий зуб они искали, или как его, клык моржовый, и нашли его немало, да мало довезли — много недель в снегу ночевали. Кто-то скажет: те, мол, погинули, а Семёну вся слава досталась. Какое там! Потерялись в Сибирском приказе его расспросные листы, их же через двести лет нашли-то. Его в Москву вызвали, а как он там обсказывал, я напомню: «А иные товарищи побиты, и остались невеликие люди и побежали с одною душою, не знаю де куда». «С одною душою» — это совсем уж налегке, без снаряженья, без припасов.

Коч Семёна тоже крушенье потерпел, и с него не все вернулись. Лыжи изладили и шли с нартами до Анадыря-реки два месяца с половиной, 12 человек в живых осталось. На Анадыре голодную зиму пережили, лодки изладили и вверх по Анадырю пошли. Тут подпитались, зимовье построили, потом его Анадырским острогом назвали. Это ведь что было — первое наше поселенье на Чукотке. Непростой, видать, человек был он, Семён-то, раз понял, что из одного океана в другой прошёл. Как Необходимый нос обогнули они, тут и смекнул: солнце-то слева всходило, а теперь встаёт сзади.

Про русско-чукотскую войну слыхали? Она ведь лет сто тянулась, а никак и того больше. Ясак-то они отродясь никому не платили, вольный народец. А другие давно уж данники, им всё едино, кому платить, что хану, что белому царю. Все везли шкурки на нартах, а чукчи — на тебе, с боем идут.

Вот не простое имечко: Владимир Атласов, пятидесятник из Якутска. В наказной памяти велено ему было вверх ходить для ясашного сбору, а он и вниз по Камчатке ходил. Камчадалы и коряки меж собой давно воевали, и коряки пошли с русскими. Атласов составил две сказки о Камчатке, обширное дал понятье и о животинах, и о растеньях. А жесток бывал, взбунтовались казаки и убили его, атамана своего убили. Такая ему вышла плата за то, что Камчатку к Русскому государству присоединил.

Гибли они немалым числом, хоть служилые люди, хоть охочие. Жалованья хлебного по десять лет не видали. Но их силой государство прирастало, Сибирь просыпалась. А границ-пределов земли сибирской никто ведь не знал, ни где она кончается, ни сколько ещё языков в ней.

Тюрко-монгольская Сибирь подчиняла Русь на конях, а казаки пошли на восток по рекам, как варяги по Древней Руси. Больше ста лет в русской Сибири были только речные пути, и города строили по рекам.

Казаки — служилые люди, завоеватели, а обживание края начали промысловики, люди охочие. В низовья Енисея они проникли ещё до похода Ермака. Мангазейский соболь и подтолкнул к объясачиванию самоедов и тунгусов. Но соболь истощился быстро, и Мангазея потеряла своё первенство, его перехватило Туруханское зимовье на Енисее. А притоки Енисея вывели на Лену, с неё и шло освоение Северо-Востока.

Честь открытия Охотского моря принадлежит отряду томского казака Ивана Москвитина: «А шли они Алданом вниз до Май реки восьмеры сутки, а Маею рекою вверх шли до волоку семь недель, а из Май реки малою речкою до прямого волоку в стружках шли шесть дён, а волоком шли день ходу и вышли на реку на Улью на вершину, да тою Ульею рекою вниз стругом плыли восьмеры сутки и на той же Улье реке, зделав лодью, плыли до моря до устья той Ульи реки, где она впала в море, пятеры сутки. И тут де они на устье реки поставили зимовье с острожком». В 1645 году Василий Поярков достиг северного побережья Сахалина. Ерофей Хабаров прошёл по Амуру и морскому побережью в 1649—1650 годах. Издалека, в Москве смогли оценить эти открытия лишь через десятки лет.

Братская землица — откуда такое название? Слово буряты русские услышали как бираты, и острог рядом с ангарскими порогами назвали Братским. С Ангары по притоку её Илиму вышли на Лену, поставили острог в земле якутов. Служилый человек Михаил Стадухин открыл в 1644 году реку Колыму, в устье её поставил Нижнеколымск и первым сообщил о многочисленном народе — о чукчах. Лена, одна из самых длинных рек мира, дала казакам небывалый разворот. В верховьях её они услышали о большой воде и вслед за эвенками назвали Байкал морем. Курбат Иванов составил «чертёж Байкалу и в Байкал падучим рекам и землицам». На помощь ему послан был сын боярский Иван Похабов, он и поставил Иркутский острог. Первую весть об Амуре принёс атаман Галкин. Он заложил Баргузинский острог, а из него двинулись в Забайкалье.

Пролив между Азией и Америкой носит имя Беринга, но на 80 лет раньше его прошёл Семён Дежнёв. Об открытии Дежнёва, сделанном в 1648 году, известно из челобитной, найденной через двести лет по-

сле её отправления. В 1648 году отряд под водительством Федота Попова пошёл по Ледовитому океану вдоль берега Чукотки. После нескольких бурь уцелел один коч Дежнёва, но и он был выброшен на берег после того, как обошёл Чукотский полуостров. После крушения десять недель отряд Дежнёва шёл к устью реки Анадырь, и здесь погибло ещё 13 человек. Остаток отряда, 12 человек, всё же вернулся в Якутск. Дежнёва вызвали в Москву, и здесь он получил жалованье, не выданное ему за 19 лет, награждён, наконец, званием атамана. Сути же открытия в Москве тогда не поняли.

Отряду Копылова, томского казака, тунгусы рассказали о «большой реке Намур»: там сеют хлеб, разводят домашний скот, добывают серебро. И в 1643 году отряд Пояркова проплыл Амур до устья. Половина отряда была перебита, обратно Поярков возвращался около трёх месяцев, зазимовал в построенном острожке, первом на побережье Тихого океана. В 1646 году Василий Поярков вернулся с остатками отряда в Якутск и отправил отписку: «…а те землицы людны и хлебны и собольны, и всякого зверя много…». Следом, в 1647 году, построен Охотский острог — русские закрепились на Тихом океане. Правда, тунгусы сожгли острог, но вскоре был он восстановлен.

Амурская эпопея оказалась затяжной. В 1649 году Ерофей Хабаров с небольшим отрядом сорвиголов сделал набег на побережье Амура. Сильно удивила казаков встреча с «бородатыми людьми»: «А бой де у них топорки, а сами были все в куяках збруйных. А русских де людей те бородатые люди называют себе братьями. А живут де те бородатые люди к той же правой стороне в лето по Муре реке (Амуру) дворами, и хлеб у них и лошади, и скот и свиньи и куры есть и вино курят и ткут и прядут со всего обычая с русского». А дальше отряд встретил сильное сопротивленье со стороны маньчжур, даже «огненный бой».

Ерофей Хабаров подтвердил донесение Пояркова, что по Амуру живут «люди пахотные и скотные, и в той великой реке всякой рыбы много против Волги…». Однако дауры отказались платить дань: «Даём мы ясак богдойскому царю» (китайскому). Дауры оказали сильное сопротивление, но казаки взяли их укреплённый городок. И тут появилось сильное маньчжурское войско, располагавшее «огненным боем». Маньчжуры многократно превосходили числом, и пришлось Хабарову отступить. Через два года он собрал новую партию охочих людей, поплыл вниз по Амуру, приводил дауров и нанайцев «под высокую государеву руку». Война с Китайской империей, подданными которой были дауры, устрашила Москву; от быстрого захвата Амура отказались. Только через двести лет русские овладели этой рекой. Первый мирный договор с Китаем был подписан в Нерчинске в 1689 году.

В 1697 году пятидесятник Владимир Атласов прошёл почти всю Камчатку и «объясачил» камчадалов. Отряд он организовал за свой

счёт (деньги в долг взял у воеводы). Полуостров оказался на удивленье людным: встречались поселения по 200—300 юрт. Камчадалы просили помощи против своих соседей чукчей и коряков и согласились платить ясак под этим условием. Здесь шла многолетняя война, а это русским было на руку. Но после этого боевого союза камчадалы не раз восставали и нарушали все договоры, как и чукчи.

Предприимчив был Атласов, смел и отменно жесток. Однажды он отнял у торгового каравана китайский шёлк на огромную для того времени сумму — около 17 000 рублей — и обидел казаков при делёжке добычи. Грабил он и русских купцов, за что и был посажен под стражу. Когда же объединились вчерашние враги, коряки и камчадалы, Атласова выпустили из тюрьмы, ибо только он мог погасить сопротивление. Но после победы с ним расправились подчинённые ему казаки (в 1711 году). Первооткрывателем Камчатки Атласов не был, но первым прошёл полуостров с севера на юг и с запада на восток и, главное, описал его. Это описание — одно из самых важных в познании восточных пределов России.

Взятие «ясыря», устрашение стойких и задабривание склонных к конформизму — эти меры заимствованы казаками у ордынцев. Казаки славились отвагой и жестокостью, вольнолюбием, духом непокорства. Первый этап русского покорения Сибири — завоевательный, второй — обживание, или колонизация.

Да, когда-то ведь и Днепр, и Дон, и Поволжье были районами славяно-русской колонизации. Самые интересные обобщения на этом пути сделали евразийцы: победа «леса» над «степью» была больше хозяйственной, чем военной.

ЕРМАКИ-КУЧУМЫ

Теперь-то Ермохи, село наше, на слуху, а сперва ведь починок в один двор был, и на сто вёрст кругом ни души. Тут, брат ты мой, лиха нужна головушка. Идёт сакма, конная тропа, да и по ней-то раз-другой за лето казачья сотня проскачет. Зимой волки поют, а летом того и жди орда нагрянет. Заимка выросла — уже три семьи, и названье боевое: Ермаки. Кто первый жил, это в нашем роду все знают. А как из Ермаков вышли Ермохи, никто не упомнит.

Раненый казак отселился, с жёнкой и с дитём за Томь отъехал. Землю им давали — бери, сколь подымешь. Городов хлебных мало было, сплошь нехлебные. В новый город с опаской ехали, чё уж говорить про подстепье. А земля всёжки родюча, только поту не жалей. А рыбы в озёрах! Где ты в Рассее столь её видал? И карась в озере, и бела в реке — муксун да нельма.

Да вот две нужды были в Сибири: хлеб и невесты. До Иртыша хлеб сеяли, а дальше боязно. Тогда Джунгарская орда грозой была.

Что твоя саранча, шла, сама себе счёту не знала. И татары, и киргизы, все у них были данники-кыштымы. Тут большая война на носу, а казаков рожать некому. На сто женихов одна девка на выданье. В острогах одни казаки живут, и в посадах безбабье, и там одни пройды: тихоня-то в Сибирь не пойдёт. Это уж потом ямщиков с семьями деньгами заманивали, а всё одно редко кто ехал.

Казаку-то чего, — ему дом под любым кустом. Кому шейка в копейку? Казака, его хоть куда позови — всё бросит, в седло прыгнул, гикнул — и след простыл. А бывало и так: казак в дальний поход идёт, а жонку-татарку внаймы сдаёт. Не веришь, небось? Истинно-берестяно, как старики говорили, они два таких случая помнили. Деньги за год вперёд возьмёт да тут же и прокутит их. Если соболей привезёт, выкупит её, а то и забудет. Иной поход ведь не год, а два-три длится, и по пять же бывало, в походе про бабу думать — что колодки на ногах. Пока он в службе, ему до того ли, а уж коли повредило руки-ноги, выключили из списку, вот когда он о хозяйстве да о семье думал. А если ему лет за тридцать, где он ровню найдёт? Сибирь не рай, жёнки быстро гасли, в тридцать пять она уж внуков нянчит.

И наш прапра... и прадедушка, Никифором звали, не промах был. Невесту себе украл ведь, в Томском остроге, днём, на улице, да прилюдно. Хвать её в седло — ищи ветра в поле. Да не татарку же, не сироту, а купецкую дочь, да и собой красавицу. Она всё улыбалась ему да посмеивалась, а с казаком шутить — как с волком: сегодня живёт он, завтра башка отлетела. Её за сына воеводы просватали, а воевод, их тогда пошто-то двое было, — она не захотела. Вот, значит, через месяц явились молодые к отцу: бласлови, батюшка. Купцу куда деваться? Не возьмёт уж сынок-от воеводский, позор семье выйдет, да и сама, видать, хочет. И то рассудил: ребёнок будет, одной вековать, что ли? А казаку что, ну в дальний острог пошлют, куда-нибудь на Лену, делов-то! Он и там на ходу поест, в седле выспится.

Признал его отец, шапку об пол хряснул, а поп не венчает: нету, мол, согласья. Она говорит: за него хочу, а поп ни в какую, не по закону, дескать. Воевода сынку дом уж приготовил, а тут городовой казак дорогу перешёл. Но казак он и есть казак, саблю наголо и кричит попу:

— Венчай, растак твою бороду, а то в татарску церкву пойдём.

Ну, перейти-то он не перешёл бы, конечно, а напугать батюшку напугал. Обвенчал он их, а воевода всё равно житья не дал, тут же в дальний поход его отправил. Одной дороги полгода туда да обратно, а там и воевать надо. Вернулся он, стрелами пораненный, а у него сын растёт, и про жену никто худого слова не скажет. Только сразу понял: в посаде жить не дадут, съезжать надо.

Казаку на землю садиться нет охоты. Он свою думку держит: придёт, мол, орда — атаманы кликнут, мы себя ещё покажем. А боевого

коня в плуг — он уже для похода не гож. На бег он выносливый, а в оглоблях не больно дюж. Их, казачьих коней, потом на почтовую гоньбу разводили. Татары, те тоже ждут: вот-вот придёт сам тайша, тогда, мол, посмотрим. А уж как раскололи большую орду, тёплым ветром пахнуло. После того от острога к острогу смелей стали ездить.

Косачи весной токуют, летом сурки посвистывают. В Ермаках жизнь своим чередом пошла: у Никифора уж два сына в поле с саблями пашут. Безоружно не выезжай, — это первое правило. Сперва у них одна соха-рогалюха была да борона деревянная. Потом, как росчисть корней кончили, колесянку завели, у нас ещё сабаном её называют. Дерево-рассоху прожгут и железный сошник вставят с локоть длиной. Соха, она, вишь, хорошо сорняк выводит. Железный-то лемех корни подрезает, и они опять приживаются, а деревянный крюк их вырывает. Потом бороной их сгребают, на край поля сносят, а как высохнут, сжигают. К тяжёлому плугу надо двух коней, а соху один хороший конь тянет. Пареваны у Никифора уже в сажень ростом, старшой к отцу:

— Тять, жениться бы, чё-то тесно тута.

— Ну-к и женись, — отец говорит, — кто те не велит?

А у озера, на той стороне реки, татары поселились. Слух прошёл: к калмыкам уходили, чтоб им ясак платить, а не русским. А тайша обратно отправил — обломили уж рог-от, не может с царём воевать. Летом татары за скотом кочевали, а на зиму к озеру, к рыбе поближе. Услыхали, что Ермаки тут, и свой аил впоперёк назвали: Кучумы. Живут, на наших поглядывают, их-то числом больше сотни. А у них в те поры опять в женихах нужда настала. Старики-седачи головами качают: — Худой дело, когда войны нету. Одна за одной кыз-невесты рожаются.

Старшой-то у Никифора, на отца глядючи, возьми да укради у озера невесту. И ему любо, и она рада-радёшенька: в девках засиделась. У них же рано невест продавали, калым-то лет в двенадцать-тринадцать брали. Отцы по рукам ударят, кумыс выпьют, баранину съедят, и невесту к новой родне увозят. У них и растёт, иная так с десяти лет женой числится. Этой уж все шестнадцать, а калым никто не везёт.

Ну, свой татарин украл — это не беда, только заплати, а тут урус, обидно им стало. Выследили парня в поле, волосяной аркан накинули, в аил пригнали и в яму его. Отец, брат пришли в аил, а он кричит из ямы:

— Тятя, я здеся, связанный, пить охота.

По-татарски-то Никифор говорил, казаки их понимали. Татары стоят с саблями. Ну, старый казак было в шутку, а они того злей: ты, мол, ещё смеяться над нами! Да мы тебе рот забьём, мы вас всех на запор сажать станем. А где у них запор-то?

Делать нечего, надо на попятную: — Не гоже по суседскому делу

друг друга на копья-то брать. Придёт наша родня, казаки, вас порубят волкам на радость. Берите калым, чин чином уладим.

— А какой ты калым даёшь? У тебя ж нет ничего.

— Коня любимого отдам, только парня не троньте.

— Одного коня за невесту?! Мы на калым табун гоним.

— Тогда хлеб из амбара заберите.

— А на что он, хлеб?

Тадар-кижи в степи его не знали.

Что тут скажешь? Думал он, думал, а знает, что у татар главный страх — ранней весной бескормица. Когда наст и гололёд, тут за живое их возьмёшь.

— Ну тогда, — говорит, — овсом возьмите. Придёт джут-гололёд, по всей степи кони падут, у вас одних сыты будут. При овсе до скончанья века никогда падежа не будет. Только землю, как надо, пашите.

— Нет, — кричат, — землю потом греть — не гоже это кочевнику. И позор на нас падёт в потомках.

— Какой позор, сам Ермак овёс велел сеять, мне, казаку, завещал это дело.

— Ой-бай, ты зачем не сказал, что Ярмак родня твой?!

Ну, думает, пропал, зачем про Ермака брякнул, плохо дело. Сейчас из луков стрельбу учнут. А они совсем по-другому:

— Ярмак сильно могучий батыр был, такому нет на степи поединщика. Степной народ чтит батыров. Хотим с тобой родниться, а род твой у нас каждый запомнит. Славный будет род — от О́на и от Ермаку пойдёт.

Жил здесь в дальнее время хан Он, а его лишил жизни Чинги-хан, а сын Она Тайбуга спасся. Прошло время, и Тайбугины вернулись в Чинги-туру, Искер-Сибирь поставили. Потом пришёл Кучум-хан, Муртазы Бухарского сын, здешних князей Едигера и Бекбулата зарубил, тела их собакам бросил. Сын Бекбулата Сейдяк спасся и за отца отомстить поклялся. Сильно злой был Кучум, ни Тенгри-неба, ни Ульгеня не любил. А потом увидел он сон. Сошлись в устье Тобола два зверя драться, старый волк и молодой волкодав. Искусает степной волк храброго пса, тот зализет раны и опять в драку. Загрыз молодой пёс старого волка, а сам к реке пополз и утонул в ней. Тогда призвал Кучум агунов и абызов, велел сон толковать. Старый мурза понял сон: идёт из-за Камня воин храбрейший, на кораблях переплывёт он горы каменные, и нет ему в великой степи равного. Будут сечи немалые, одолеет тебя белый батыр. Кучум приказал разорвать его конями и добавил: «Сам Искандер великий не перешёл бы Каменный пояс земли на кораблях». Но не победил Кучум Ярмака, взял засадой и хитростью, когда дождь лил, а ружья молчали. Утянул панцирь батыра-уруса на дно, нашли и похоронили его под кудрявым русским деревом, а доспехи поделили. Пришли послы от Аблая-хана, просили Ермакова панциря. Кто наденет, нет тому на бою ни гибели,

ни нечестия. За кольчугу его тысячное стадо отдали и полста семей пленников.

— Ничё, — Никифор говорит, — теперь и тайша царёв данник. Так что лучше нам миром поладить.

Тут татары в большую дуду задудели, праздник-той они созывают, Ермаковых потомков величают.

Вот так и навадились наши за невест овсом платить, а татары на калым коней пригоняют. Дело-то соседско: у них не стало за одним беем по четыре жонки, и у нас девок-вековух нету.

А с сохой здешние долго не расставались. Расейски приедут: — Фу ты, соха-затируха тут в ходу ещё. Отстали вы, у нас про неё давно забыли. — А помаются два-три лета с корнями да с сорняками — по-другому заговорят: — Матушка соха, не подведёт она, не обманет.

На овёс неурожаю не бывает здесь. Коли рожь, ячмень не уродят, из овса хлеб пекли, кисель овсяный выручал. Овёс косить — ох тут хороша коса-горбуша. Она в обе стороны валит. В скирду стаскают, и можно прямо так коням давать. Зимой дни пусты, потихоньку обмолотишь.

А как тракт прошёл, колёсный-то, тут все и поняли, что без овса на большой дороге жизни нету. Да и городам без овса не встать бы в Сибири, потому как ехать от города до города неделю, а зимой ночами коней кормить чем-то надо. Сеном? Так оно вон сколь места на возу займёт, на тракте не разъехаться, если каждый с возом сена потащится. А чайный путь с Китая, без овсяного поля далеко бы он прошёл?

Теперь что за рекой, что у нас, народ одинаковый живёт: чуть скуластый, ноги колесом, как в седле родились. Поезжай хоть от Тары до Томска, а от него хоть до Бийска, хоть до Иркутска самого, — лица увидишь те же. Всем нам одно званье: Ермаки-Кучумы.

Сибирские дороги начинались как во́локи, перемычки между реками, затем действовали как зимники. Летом «волоковый» путь могли одолеть только двухколёсные таратайки. А когда улучшились дороги, основой летом стала телега, зимой — сани. Сибирский тракт — самая длинная санно-колёсная дорога мира.

В середине 18-го века начали обустраивать Сибирский тракт, и почта приходила в Сибирь один раз в месяц. Особо трудно было заселить пустую Барабинскую степь. В народе долго почтовые станции назывались ямскими станами. Монголы организовали ямскую службу (ям — слово монгольское, русское ямщик пошло от него). В 17-м веке верховой путь от Тобольска до Нерчинска занимал около трёх с половиной месяцев, на речной же путь до Иркутска не хватало лета.

В начале 19-го века между Томском и Иркутском подводы 44 раза останавливались на постой. Гужевые перевозки в Сибири занимали до 1/10 часть мужского населения. Пути местного значения начина-

лись с дорог между крепостями: Кузнецк — Бийск, Омск — Семипалатинск, Бердская крепость — Барнаул. Расширение просёлочных дорог невозможно без переселения крестьян. Пашня, тележная крестьянская колонизация, вот она преобразила Сибирь.

До конца 19 века бездорожье, а с прокладкой Транссибирской железной дороги переворот. На Земле было три дороги рекордной длины, и они соответствовали трём историческим этапам: великий Шёлковый путь (караванный), Чайный путь (он же санно-тележный Сибирский тракт) и Сибирская железная дорога.

ПОСЛЕДНИЙ КОЧ

Томь, она же не как другие, она река с норовом. Её лучше дяди Фомы Авдеева никто и не понимал. А он уж с ней миловался, он уж улещал её словами, как девку. Злились, бывало, на него: она сплотку раскрошит, а ему, вишь, глянется: — Ну, в точь как девка-татарка.

Корню он нашенского, прадеды, те тоже речники были. Паромщик был настоящий, на завалинке не рассиживал. У деда Фомы одно на языке — про милочку свою, ему без реки дня не прожить.

— Я заводной, — говорит, — что твой самолёт.

Мы, детвора, тут как тут с расспросами:

— Дед, а это чё за тако, самолёт? Какой он из себя, из чего делали?

А его только зацепи, начнёт — не устанет до вечеру:

— Самолёт, ребятки, — это паром такой, на нём не грести, отдыхать можно. Рулево весло у него большо-пребольшо. Паромщик так его поставит на теченье, что сплотка поперёк реки сама бежит. Самолёт, он эдак-то весной, в половодье только летал. На Томи, на Чулыме их держали, а на Оби да в межень, по малой воде, тут годится маятник, а не самолёт. Посередь реки, значится, закинут якорь, вот паром от одного берега к другому и мотат теченьем. Паромы там, в Россее, сплошь перетяги, канатные, значится, а у нас больше маятниковы и вёсельны.

Старуха его только водяным чертякой и звала. Знать и уметь всё успевал, а вот по деньгам был неухватистый. Паромна служба, она же выгоду могла дать. Умели некоторы мужики жить, неча врать, умели. Летом день и ночь подводы шли, помногу, бывало, их на том и на другом берегу скапливалось. Чиновники грозятся, купцы деньги суют, а наш брат, простой мужик, стой да помалкивай. Фома себе денег не брал: мне, мол, всё одно, кого везти, хоть мильёнщик ты будь, хоть ссыльный.

А ещё так говорил: — Лодку, её же, как девку, лет шешнадцать ростить надо, тогда она лет на двадцать с тобой. Как трубу ростют. Это кому как, не всем по нутру, другому дерево жалко. Большу долблёнку у нас трубой называли. На живом тополе делали растрещину-дупло и вставляли распорки. И так по нескольку раз, через

два-три года. Дерево рану затягиват, и основа лодки получатся крепка-крепка. Потом срезай, выбирай серёдку в сутунке, обтёсывай и высушивай. Крепче такой лодки не быват. Борта досками нарастил — вот и набойня. Если из хорошего осокоря сделана, она все сто пудов возьмёт.

Раз посылают нас к Авдеевым: — Выручай, дед Фома. Новый барин приехал. Видать, сильно научёный. Об заклад, на ведро вина, побилися, — кто из двух главнее: Сеньша Дежнёв или Ваньша Петлин. Должон ты его положить на лопатки. У молодых ничё не выходит. Там он, у парома.

Ну, портянки новые навернул, идёт дед к парому. И правда, из себя чистенький приезжий сидит, в белом сюртучке, поверх глаз у него стёклышки, разговор ведёт тихо, мужики тоже своё вежество кажут.

— Моё почтенье, Фома Архипович. У нас тут спор зашёл, какой вы национальности.

Сроду никто из начальников такого с нас не спрашивал. Даже оторопел наш дед, замялся даже сперва:

— Дак про чё тут спорить, — чалдоны мы, така наша нация. Дед сказывал, Басандайка ещё Рабагандайкой звалася, когда мы поселилися, татары одни жили. Ну, это колен десять назад, не меньше. Теперь у нас, Авдеевых, полдеревни сватовья да шуряки.

— Говорят, вы про Томь песни поёте. Не поделитесь со мной? Я их тоже собираю.

— Ну да… стары люди певали, и я, значится. Вот извольте.

И давай козлиным голоском:

Не бела лебёдка в перелёт летит, —
красна девица из полону бежит.
— Уж ты ой еси, матушка Томь-река,
переправь ты меня на ту сторону,
на святую Русь, к роду-племени.
— А пойдёшь ли, девица, за татарина,
а пойдёшь ли, красна, за вогулича?
— Сватались ко мне князья-боярины,
так пойду ли я за татарина?
— Не быть тебе за князем, за боярином,
Быть за плутом тебе, за разбойником…

Парни загалдели тут: — Ты, Архипыч, видать, реку и бабу давно путашь. Непорядок это. Река весной — одно, а девка в поре — друго дело. У тя всё наоборот.

— Как это друго? — Дед Фома в отпор им. — А песни про чё? Коли девка красавица, с чем её равняют? С речкой же и равняют. Только казаку да бурлаку не до них. Дело своё они сильней баб любили.

— Вот загнул, казака с бурлаком равнять! Они вместе сроду не пивали.

— А како тут различье? Казаки же сперва бурлаками были, на реках жили, эвон в каку даль водой ходили. Потом уж, когда лодки на коней сменяли, тут и переженились.

— Ага, про лихого казака я как раз от бурлаков слышал. А вот почему паромщиков до сих пор бурлаками зовут? Тяжёлая у вас доля? Да?

— Нет, не согласные мы. На реке и людей всяких увидишь, и про всё ты первым узнаешь. Лучше нету местов на всём свете. А бурлаки, когда не сильно пьют, они гордые. Он же со всех сторон жисть узнал, бурлак-от.

— А раньше какие суда ходили?

— Да всяки помню, сколь надобно. Коломенки, тихвинки, белозёрки, ржевки, сурянки, гусяны, беляны, мокшаны, межеумки.

— Маловато пока.

— Дощаники, карбасы, набойни, камяги, унжаки. Ещё?! Расшивы, завозни, паузки.

— Всё равно я больше знаю.

— Ишь ты, когда ж вы их застать успели? Брусянки, ветки, гибежные лодки, жиганы, казанки, каюки.

— А старинные струги, бусы, шитики, насады, ушкуи?.. А какой черёд работ у вас на плотбище?

— Ну, там всякому дело есть, народу немало кормится. Первы по теченью из притоков лес сплавляют. Деревину свалить надо в сентябре, октябре. Вторы сразу продольной пилой на доски распускают. Срубил осенью — древесина сохнет полгода и трещин не даёт, а в жару высыхат за месяц-полтора, будут трещины. Большо судно обязательно зимой строишь, а весной конопать его и смоли. Пока земля ещё не замёрзла, кедровы пни корчуй, из них ладь кокоры, переднюю часть, ну, саму-саму крепку. Третьи каркас ладят, четвёрты борта сшивают.

А как сошьют кораблик, тогда народ на спишку созывам. Спихивать из деревень мужики как на праздник шли — по чарке вина нальют. Главно — стронуть, на слизни барку столкнуть. Их поперёк клали, слизни-то, ошкуренны брёвна, по ним баржа скользом идёт в воду. Для спишки всем длинны колья дают. Сажен по пятнадцати ладили барки-то, да в ширину она сажен на пять. Что ты, большой вес, ухнет в воду, аж на другом берегу волна вдарит.

— А заводное устройство знаете?

— Ну, молодым-то был, помаялся я с ним. Ставят, значится, на палубе деревянный во́рот с четырьмя оглоблями, кабестан ему названье. Четверо кругом ходят, вал вертится, канат тянет, наматыват. Завозят вперёд, забрасывают кошку-якорь, ну и воротом этим сдёргивают баржу с мели. Коли не могут сдёрнуть, подгоняют штук десять паузков или обласков там, товар на берег перевозят. Человек двадцать нас, с зари до зари рубахи мокрёхоньки. На такой случай

артель у переката шалаш держала, в нём кто-нибудь ждал, не сядет ли какой-нито ротозей на мель. Обь-то куды как смирна, соня соней течёт, а косы песчаны наматыват. Прошлым летом тут почти стрежень шёл, всё ладно было, хвать, баржа на мель села.

— Про самоходки слышали?

— Видал я её, самоходку эту, — больно уж тихий ход у ней. Такой же кабестан стоит, его каторжники вертят. А сбоку у такой барки колёса, плицами их зовут, вот они и плюхают день и ночь, а ходу против теченья — вёрст тридцать за сутки.

— Ставлю я вам хорошую отметку. Но лучший из кораблей вы забыли. Коч это, братцы, был. Вот уж замечательное судно, а все забыли. Я думал, хоть чалдоны помнят. Он первым по Студёному морю до устья Оби дошёл. Тогда и Ермак ещё не родился.

— А, кочмара, что ли? Про неё слыхал. Она всё одно, что белозёрка.

— Нет, — приезжий говорит, — коч мужской стати, боевой был кораблик. Про Дежнёва слышали? Хочу я памятник ему поставить. Ему и его кочу.

— Карбасу-то? Или как его, эту посудину?

— Да, кочу, памятник нужен. Где-нибудь в истоке Кети его поставить бы. Там главный путь проходил, на Лену, на Амур и на Тихий океан по ней шли, по Кети. Семён Дежнёв, он наш Колумб, дело от отцов знал.

— Ну-ка, что означает слово чалдон?

— Казаки, говорят, которы первы шли, были с Дону и с Чалки-реки. От того и прозванье всем здешним.

— Нет, чалдон — слово монгольское, так степняки называют таёжников. А говор томский, почти тот же он, что у новгородцев и устюжан. Землю эту обжили северяне.

Нашли мы недавно остатки коча, на севере Томской губернии, в мерзлоте лежал, почти целый. Я срисовал его, описал. Его бы и сохранить как памятник. На таком Дежнёв Азию обогнул. Струги да шитики — это потомки коча. Целый караван таких утонул в Обской губе, а кочи уцелели. Открою секрет, для чего памятник: я составил проект водного пути через всю Сибирь. Канал нужен, ох как нужен канал между Кетью и Енисеем, потом за Леной ещё один канал, и вот он, путь в океан. Только успеть бы нам, ведь если железную дорогу проведут, тогда про речные пути забудут.

Мы смотрим: говорит он и говорит, хоть отливай водой. Ба, другой Архипыч явился, только из бар, видать, да помоложе:

— Скоро сюда пароход придёт. На нём не каторжники, а машина вал крутит.

Мы ничё понять не можем, такого слова отродясь не слыхивали:

— Как это порохóм? Сгорит же дерево от пороху-то!

— Да они железные. И не на порохе, на дровах, на угле. Народу бе-

рёт он, пароход, человек сто, да баржу на буксире тянет. Пойдут они и в Кузнецк, и в Барнаул, и в Тюмень. Лоции надо заново составлять: у пароходов большая осадка. Ищу лоцмана, чтоб хорошо Томь знал. Вас, Фома Архипыч, все в один голос хвалят. Согласны работать со мной?

— Оно конешно, раз человек знающий. Согласный промеривать, пойду, пойду, помяну молодость.

Так вот и поплыл старый зипун в последний раз, да против теченья. Никак лет пять они ходили, Томь насквозь промерили-описали, на Енисей вышли и его меряли. Обратным путём Кеть обмеряли, канал там размечали. Слух был, где-то на берегу и похоронили дядю Фому. Сам так просил: обязательно чтоб у реки. А песню его тут, считай, каждый из нас помнил. Это когда он Томь хвалил, тешил её словами-то:

Разливалася река —
С крутым берегом равна.
Нагуляйся, милка, вволю,
Ты у батюшки одна.

Ну, насчёт песни врать не стану, а вот паромное место у нас долго ещё называлось Фомин перевоз.

В Сибири пригодился опыт поморов, а они доплывали на своих кочах от устья Печоры до Оби за два месяца. Это те самые корабли, на которых викинги достигли Северной Америки задолго до Колумба. Кочи выдерживали морскую качку и хорошо держали курс поперёк волны. По пути в Мангазею в Обской губе большие плоскодонные коломенки потерпели крушение, а кочи уцелели. Памятна гибель каравана дощаников в Тазовской губе (в начале 17-го века): на большой волне они перевёртывались один за другим.

Преемником коча стал струг — до 30 гребцов. За три месяца доплывали от Тобольска до Маковского волока (перемычка между бассейнами Оби и Енисея), это почти середина пути до Иркутска. Впереди — труднейшие Ангарские пороги, и надо преодолеть быстрое течение Ангары. На кочах и стругах размещались только гребцы-воины и гребцы-промысловики. Русская колонизация Сибири обошлась без больших парусных кораблей, без тяжёлых пушек.

Дощаники и шитики уже меньше отвечали качеству боевых кораблей. Это скорее грузовые суда, больше рассчитанные на парусный ход. На малых реках ставили наплавные мосты. Это поставленные на якоря лодки с поперёчным настилом. На крупных сибирских реках действовала паромная переправа.

Водный транспорт уступил своё первенство, когда города и хозяйство Сибири уже сложились. Но перевозки ещё долго имели сезонный характер: летом большей частью по воде, зимой санный путь по льду тех же рек.

ПРАВЕДНОЕ БЕЛОВОДЬЕ

Добро здоровье, Митрий Изотыч и тёте Аграфене самолучши пожеланья. Низкой поклон Еремею Иванычу и Овдотье Степановной, и Егору Фомичу поклон и здоровья желаю, а наипаче душе спасения. Ещё Савелью Лукичу с супругой и детками, ещё Филипу Сысоичу, ещё Игнату Сидорычу с супругой и детками, всем добраго здравия и душевна покоя. На всякий случай простите, в дальний путь собрался я, вернусь ли, кто его знает. Дед перед смертью велел мне идти в Белу землю. Скот всякой распродал, скарб тоже, нащёт продажи дома пока не выходит.

Вы помните, дед Спиридон молодым ходил в светло царство игумена Мелентия, да увидал его токо с краюшку. Пошли они четвёро, молодые были ещё, искать земли непорочной. Нет там ни судей, ни властей, правят монахи, а над ними главный царь-игумен Мелентий. Сохранено то царство до Судного дня, оттуль пойдёт новый род людской. Но грешному человеку нет туда ходу, немало поспешников умерло на самой грани. Шли они, все свои деревенски, и взяли их в плен киргизы и распродали по китайским городам. Дед Спиридон один из тех был. Его уж отпели тут, вдруг он живой приходит. Сказывал ему один нерусской мужик: есть де в Китайской земле в горах озеро велико, живут при нём люди древлеправославной веры.

Лет за двадцать до того один полуполковник у азиатцев чертёж земель списывал и видал то озеро и русско селенье с церковью, где не тронута вера. А как он охвицер и с казаками пришёл да с ружьями, то и не пустили его в село. Сказали токо: «Не переступи черту, коли хошь домашних своих увидеть, нету вам пути в Белу землю». Один казак своё спрашиват: где, мол, девок на невест берёте? А они: тут, мол, и к размноженью всё способно, невест у каликаров выкупам и крестим первым чином. Ничё, верны жонки выходют.

Долго жил я в сумленьи, подумать, что пойти в эдаку даль, и то страх брал. А намедни пришли сюда люди из нездешной земли, звали оставлять страну обреченну, где все мы живьём согнивам. Уежжайте, мол, скрывайтесь, Судный день близок, ждать больше неча. Берите с собой домочадцев, а кто святой земле годен, она сама разберёт. Упросили меня наши деревенски вести артель, как один я знаю путь по дедову сказу. Караваном идти решили, коней вот и вереблюдов покупам. Захотели християне старой веры пожить там, и я деньги с миру собрал.

Под старость лет дед ведь снова хотел пойти в светлу землю, чтоб и помереть там, — семья удержала. Пуще всего хороший дорожник надобен, чтоб всё в нём без ошибки. От Сулой-города на восход по Чёрному урману, будет Оболонь-слободка, потом вдоль Немирной речки, тут на грани последня кержацка заимка, а как Сизый урман кончится, пойдёт Белогорье, за ним через неделю-другу и само

Беловодье откроется. Токо оставя все житейски попеченья, можно выжить в Белой земле, чтоб грех мира в неё не занести. Я рассказ дедов слово в слово запомнил.

Передайте поклон Нифантию Семёнычу, ещё Устину — отчество забыл. Низкой поклон также Еремею Иванычу и Овдотье Степановной. Ещё Савелью Лукичу с супругой и детками, ещё Финогену Сысоичу, ещё Игнату Сидорычу с супругой и детками, всем добраго здравия а наипаче душе спасения.

Михайла Пашутин

Не бедна была Русь легендами, а из всех выделяется одна — о богоспасаемой земле Беловодии. До XX века дожила она в среде староверов, и в ней царство Русское названо богоотступным.

Жестокие последствия имел в России церковный раскол. Больше десяти миллионов человек, истово преданных православию, власть объявила вне закона. Самое лёгкое наказанье — битьё кнутом, употреблялось дознание на дыбе, смертные приговоры — сожжение заживо. В конце XVIII века староверов ссылали в Сибирь семьями и целыми селеньями. Впрочем, они и сами бежали сюда и создавали не только скиты, но и целые деревни. Обжившись, они обеспечивали хлебом рудники и заводы, но была особая прослойка — бегуны-странники. Эти бежали на восток в поисках блаженного Беловодья. Что находили они? Плен, а нередко и смерть в дороге.

Не такова ли судьба молодого бегуна-странника Михаила?

— А даль-то, даль-то, царица небесна! Конца-краю нет!

— Тише ты. Не вишь — Белогорье? Тут шуметь — грех.

Гряда за грядой, вблизи темно-зелёные от сплошной хвои, а дальше бурые и сизые, идут увалы. И там вон, за синими гривами, лежит сама Чистая земля. В дорожнике так и сказано: перед Беловодьем будет Белогорье.

Господи, неужели когда-нибудь, под вечер скорее всего, донесёт ветер удары колокола — беловодские звоны? Белый город над синим морем, а церквей в нём, говорят, не сорок сороков, а сто сот с семью стами. И правит там старец-праведник Мелентий. Вторую сотню лет живёт, на то он и святой. Самая прямая вера, от Царьграда идёт, от апостолов…

К стоянке подошли, уже смеркалось. Огонь под котлом приветливый, хорошо костёр занялся. А Михеич на коленках, то дует в него, то машет сопрелой шапкой. Лицо распухло от комаров, багровое от натуги, а всё равно доволен, песенку помыркивает. Вздрогнул, оглянулся, шапку отложил.

— Ну, рыбы тут, ребятишки! Чёрные-чёрные карасищи. Ведра полтора мы с кумом надерьгали. Счас бы сеть, тут их хоть возом вези да продавай... Ну дак чё она, речка-то, на полдень показыват или нет?

— Да вроде бы туда, на полдень. Там гора за горой, кто его разберёт. А видко далё-ёко, страшенна там даль!

Полтора Степана пришёл совсем уж впотьмах. Трещал сучьями, пыхтел, — ну совсем медведь. Молча поставил у огня ведёрный туес с рыбой, молча оглядел всех. Руки у него золотые: и кузнец, и шорник, да хоть кафтан сшить — сошьёт не хуже портного. Михеич тоже и сапоги шьёт, и шапки — поискать ещё такого. Потому и решились вчетвером идти, что всё умеют.

Уха с пучкой — вот всё лакомство! Михеич сейчас издалека подъедет, а придёт всё к тому же — про последние дни, про конец света.

— Ну-ко, догадайтесь, — кто может перейти море немокрыми ногами?

— А чудаки же эти казаки! — Спирька не утерпел, со своим влез. — В Кузнецком остроге один парень говорит, отец-де вечор морды поставил, дак сходить проверить надоть. Я ему: чьи таки морды, куда ставил? Как чьи, свои, говорит, дед плетёт. Дак это, небось, мердушки, говорю, верши? Нет, дескать, корчага — одно, а морда совсем друго дело, в неё и больша рыба захаживат. Молоды казаки все курят и выпивают в будни. А крестятся всёж-ки по-нашему, сам видал — двупёрстно.

— Казаки, они тоже всяки есть. Слыхали, в Таре какой бунт содеялся? Человек, говорят, под сто сгорело. Не стали присягать царю-антихристу, в огненну купель пошли.

— Да не сожглись они, а бочку с порохом рвануло. — Ох, дерзок стал Спирька за дорогу. — Потом, кто не помер, тех в Тобольск к воеводе погнали.

— Не знашь толком, дак и не плети лыко! Потом уж бочка-то взорвалася, от большого огня. Так я слыхал.

— Вот и в Сибири сожигаться стали. Край, видать, настал. Одно осталось: в огонь идти. Сказано же: при восьмой будет при тысяче, при последнем будет времени…

— Да нету в Писании ни самосожженцев, ни запощеванцев, которы до смерти постятся. Всяки были праведники, а таких нету-у.

— Спать пора, вставать-то до свету. Боже, милостив буди ко мне, грешному. Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Аминь!.. Ноги-то спасу нет, как гудят.

— Дядь Семён, а как это — по морю немокрыми ногами?

— А, не забыл? А вот как: погаснет солнце веры — пойдёт антихрист по льду сухими ногами, до любого дойдёт царства, всех под себя возьмёт. Взойдёт солнце веры — потонет он, растает лёд неверья… Рыбёшки-то хорошо бы побольше наловить до солнца… Ну, спи с Богом. Идти-то завтра с зарёй ведь.

А не спалось Мишке, вспоминалось. Лет за двадцать до того собрались девять наших староверов и туда пошли. Сколь-то раз они

схвачены были и откупались чем Бог послал, а народу китайского видимо-невидимо, и все ищут семьям на прожиток. И пришли они к реке, а на ней перевоз держат русские. Спросили, как крестятся, откулешны и как шли. Поняли, что говорят правду, и провели их до селенья с монастырём, в коем довелось им молебен слушать. Сам игумен спрашивал, из каких они мест. Сказывал игумен, что ушли они, как зачалось брадобрейство.

Надо всю каторгу узнать, вот тогда душе откроется Бела земля. Сказывали, там и не пашут, рисово зерно само растёт на болотах. Вот и мечтают христиане старой веры уйти в ту землю. Везде, на всей земле будут реки огненны, одна Беловодия спасена будет, и оттуда пойдёт новый род людской.

Ну, даст Бог, и мы добредём…

ПРО ЗОЛОТУЮ БАБУ

Нуми-Торум, владыка мощный,
Хозяин верхнего мира,
Над тайгой, в зените, вечный след твой,
А Нарым поёт хвалу и славу!
И шаман, видавший небо, скажет:
— Нуми-Торум видит злых и хитрых,
Что железом землю устилают.
Чтоб медведь весною просыпался,
Золотую мать он к нам направил.
Мать огня, мать жизни охраняет
Всех рождённых, всех она запомнит.
Он богиню-мать послал на Север,
Где ночами сполохи играют,
Чтобы снова на скале прибрежной
Ей сидеть, всех нас благословляя,
Всех, чья жизнь короткая проходит
Так, как бабочки в костре сгорают.

Вот она, удача: песня-заклинанье теперь на бумаге. Плох или хорош мой перевод, но он есть. Теперь важно довезти её до города. Записывал тайком, по ночам, при сальной плошке. Не зря здесь прожил, нужное дело сделал. Ещё несколько лет, и будет поздно. Посвящена песня Сарни-най, огненной богине-матери. Южные ханты имени такого уже не знают, да и здесь, на нарымском севере, о ней помнят не все. По-видимому, культ её, обычай этот из глубин истории.

Милостив Бог ко мне, — чуть было не умер, зато подружился с шаманом. Видимо, плеврит подхватил на охоте, когда ночевали в снежной норе. Хантам хоть бы что, а я горел в жару и задыхался. Начался

отёк лёгких, и в здешних условиях это смертный приговор. Шаман Кузёма Пырчин живёт в глухой тайге, ехать к нему около суток на оленях. Но меня довезли живого, хоть и без сознания.

Когда вынырнул из беспамятства, увидел улыбающегося остяка: «Стороф, руть-ики, теперь шить путешь». «Шайтанщик» оказался не стариком, а сорокалетним мужиком, роста среднего, коренастым и, как все здесь, коротконогим. Это — от недостатка витаминов, уже много веков ханты живут на севере, деды их овощей и фруктов не видели.

Доложил: душу мою он извлёк из нижнего мира. Говорит, стояла она там одна-одинёшенька, ничего не понимая, хотя русских там видимо-невидимо. Много там всяких душ-уртов, и большая часть навеки, безвозвратно мёртвые. Только люди Севера, те, что жили правильно, возвращаются детьми, остальные — вечные пленники тьмы. Правда, про огонь и муки шаман ничего не знает, там просто тундра.

Мы, русские, хороним неправильно, и скоро все останемся в нижнем мире. Хоронить надо головой на юг — это самая хорошая сторона — или на восток. И зарывать глубоко нельзя — душа не освободится. Жил когда-то в тёплой стороне, куда гуси на зиму улетают, большой народ, любил золото и войны, а стариков тогда зарывали в курганы. Теперь они все там, во власти хозяина страны мёртвых, Хинь вэрт имя ему, он же самый сильный дух болезней. Жили они немирно, убивали и грабили, этим детьми уже не вернуться. Русские тоже закапывают головой на закат и очень глубоко. И потому старики детьми всё реже возвращаются в мир живых.

Ничем в быту от других Кузёма не отличается, только бубен я сразу заметил в углу. Детей у него трое, рождаться они стали недавно, с опозданием от сверстников, зато ни один не умер. В остяцких семьях дети рождаются каждый год и многие умирают. Матери не горюют: так судил Торум, верховный бог, хозяин неба. В другой раз душа вернётся на долгую жизнь, узнает старость.

А бубен, оказывается, сохранился в районном музее. Когда-то принадлежал он деду Кузьмы, и проезжий русский, буровик, подсказал: попробуй вернуть его, теперь можно. И удалось, бубен почему-то отдали. А деда, говорил отец Кузьмы, увезли в город, арестовали его, и с тех пор вестей о нём нет. А как попал в руки Кузьмы дедов бубен, он и почувствовал себя йолом-колдуном. Слова «шаман» они не знают, оно из другого языка.

Рассказ Кузьмы-шамана

Я маленький был — все считали: плохой родился, слабый, ума чё-то не видать. Топор возьму — ногу порублю. Тонул раз, сети рвал, ружьё терял. В лес пойду — никого не убью, пустой домой приду — надо мной смеются. И чё-то тако находило на меня, дёргались руки,

голова кружилась. Потом жениться сильно надо стало. Женился, а бабёнка по ночам плачет: «Уходить буду, мужика нету».

А один раз в тайге медведица близко подошла, вот как ты, обнюхала и не тронула. Сперва медвежонка я увидал, он в муравейнике рылся, фыркал с радости. Поглядел на меня и не убегает. Я стою, говорю ему: — Зачем глупый такой? Молодой ещё? Большой станешь, в тебя стрельнёт кто-нибудь. Смотри, люди, они сильно плохие, да ещё пароходы эти пришли, железо всяко-разно.

А на меня сзади кто-то дышит. Оглянулся — она, мать медвежья, прямо в ухо мне сопит и головой мотат. А потом повернулась она, побежала, и медвежонок за ней. Рассказал — не верят мне, опять смеются. Одна старуха поверила, она давно родилась, когда тракторов не было. Сказала: — Видно, душа деда вернулась из нижнего мира. Он большой шаман был. Его испытывали так: он в прорубях выплывал. В одну нырнёт, в другую вынырнет. А так-то, летом, плавать не умел. К нему больных везли, и мухоморов на подарки издалека везли. Без мухомора шаману нельзя. Чтоб долго вертеться, два дня плясать, надо сушёный мухомор за щёку.

Потом тяжело заболел я, посчитали: умер уже. В болото провалился, зима начиналась, вот и заболел, дышать не мог. А умирать чёто нет охоты. Тогда я как заново народился. Лежу, рук и ног не чую, и вдруг в голове свет, огонь прошёл по телу и вижу старика. Потом второго, третьего, много стариков, и все похожи, головами кивают, договариваются меж собой. Это деды-шаманы пришли, так мне старуха-медведица сказала. И после стал я видеть тех, кого рядом нету. Три дня лежал, хоронить собирались, а я нисколь не пахну. Потом встал и стал понимать не так, как раньше, лучше стал понимать. Деревья стали подсказывать, знаю теперь, чего птицы друг другу кричат, и зверя угадывать стал, чего от него ждать.

Однажды пришла во сне она, вроде медведица, вроде старуха, и говорит, что надо пройти главные болезни. Я входил в избы и в чумы и видел горячку в груди, гной в кишках, соль в спине. А она подсказывала, что надо без спичек и кресала разжечь огонь и сварить болезни в котле. Потом медвежий голос сказал, что пора мне побывать в нижнем мире, в краю мёртвых. Я умом пошёл вниз Большой реки, в сторону ночи. Есть где-то в тайге большая яма, через неё уходят в нижний мир. Там увидал Мать огня, Сарни-най, она кивнула. Так-то пройти к ней нельзя — пропадёшь, там силков и капканов много. Там луков-самострелов деды наставили, росомаха не проскочит. В яму я вошёл, провалился куда-то, и понесла меня Река назад. Ходить туда людям опасно, можно не вернуться.

Ну а без бубна какой ты колдун? Бубен привезли, взял я в руки, — вроде стало весело, а ничё не выходит. И другой, и третий раз — то же. А потом привезли больную девчонку. Взял я бубен, завертелся. Тут сразу стал шаманить: признал меня бубен. Духа-помощника

я редко зову, — если надо кого найти, потерянного, или вылечить сильно больного. Тебя увидал — сразу понял: одному не справиться, надо помощника звать. Надо было тебе отдать свою силу. После того дня три еле ходишь, сам больной делаешься. Тут надо долго спать, потом много есть. А когда ищешь кого, надо его видеть умом, а не глазами. Тогда поймёшь, где он заблудился, кто девку украл, держит обманом или силой.

Тебя лечить сильно тяжело, ты русский. Как закамлал, бубен-олень сразу к неживой земле понёс. Звери-помощники за мной несутся. «Птицы-звери, в какую землю придём?» К худой, говорят, к обречённой земле идём. К обрыву, к берегу шагнул, вниз посмотрел — сильно жутко. Клыкастые звери сидят, лижутся, кости кругом. Пролетел мимо — проснулись они, вниз по теченью помчались. Внизу гул стоит, река о смерти поёт. А по берегу окаменелые люди поставлены. Семь их стойбищ обошёл, яму с водой в топком месте нашёл. Дух-помощник говорит: здесь ныряй. Я нырнул. Там у мёртвого дерева олень-бубен привязанный остался, пусть отдохнёт, сам дальше пошёл. Внутрь нижнего мира попал, много людей-теней вижу. Пернатый, зобастый зверь вдали крыльями машет, меня ждёт, зоб у него надувается. Если клюнет, здесь останусь. Ему панг-мухомор показал, он обрадовался. Много там уртов-душ увидал, всякий народ видал: и ненцы, и наши, и ваши, русские, тоже есть, и ещё не поймёшь кто. Все хотят вернуться и жить, а не могут дорогу найти. Там тот же Нарым. Нэрэм по-нашему значит болото, — в нижнем мире всегда туман и холод, а лесу мало. А если идти дальше нижним миром, там, на юге, есть тёплая земля, оттуда птицы прилетают и дети приходят в мир. Старики проходят насквозь нижний Нарым и возвращаются снова детьми. Бывает, часть души уходит вслед за умершим человеком, когда сильно горюют. Надо в нижнем мире уговорить умершего, чтоб отдал чужую душу, постращать его. Он же не хочет расстаться, ему там боязно одному. Когда уходил, люди-тени кричали, а ничего не слыхать, только шум водопада. Небесный ветер так шумит. На оленя тебя посадил, сам рядом бежал, вывез бубен-олень, в жилье очутились. Огонь разжёг, тебе грудь оттёр, ты глаза открыл.

Сам чего сможешь? Надо услышать, не зовут ли туда. Когда в теле сила и свет есть, духам болезни не войти, ты их прогонишь. С деревом надо дружбу завести, оно поймёт и болезнь твою в себя возьмёт. Деревья, они самые добрые на земле, а всех добрее кедр: всех кормит. Не будет у него шишек — белки не будет, не будет белки — соболя не станет, не будет соболя — медведя не станет, не будет медведя — охотника не станет. Так устроено, а Мать огня порядок знает.

4 сентября. Пора домой, в город. Есть ещё один текст. На прощанье Клава, жена Кузьмы, спела песню-причитанье самой богини-матери. И оказалась мать жизни покинутой женой, совсем не грозной. Кажется, у неё с мужем была семейная размолвка, и он лишил её

прежнего места в верхнем мире. Она мечтает вернуть любовь супруга. Имени её не помнят.

«Удачу приносящая песня» — такое вот названье. Исполняли её только женщины, притом в Медвежий праздник. Песню эту давно пела бабушка Клавы, за точность ручаться нельзя.

Ослепительно белых быков
Бесконечный оленный обоз —
Еду в устье великой реки,
С вестью радостной еду я, най,
Чтобы муж меня вновь похвалил.
С тайной дверцею чуден мой дом
На скале у великой реки,
В нём огромный очаг — это жизнь.
На свистящих утиных крылах
Я в родное гнездо прилечу,
С вестью радостной, лебедем став,
С громким кличем на север помчу,
И за мной лето катится вниз.
Друг, с которым имела детей,
В верхнем чуме своём он сидит,
И он скажет: — С вестями ты, най?
С доброй вестью вернулась домой?
Будет жизнь, будет в чумах огонь.
Лес, под солнышком спину ты грей,
Духи леса, храните людей,
Духи вод, рыбам дайте проход.
Жизнью-обручем всех охвачу,
Танец мой радость всем принесёт,
Дым — жилищам, оленей стада —
Много радости, много добра
Всем приносит мой танец огня.
В край на полдень, к истоку Реки,
В край, откуда к нам гуси летят,
Я подарки отправлю туда.

Легенда о Золотой Бабе проникла даже в Европу. Её пересказал Матвей Меховский, ректор Краковского университета, в своём «Трактате о двух Сарматиях» (1517 год): «За землёю, называемою Вяткою, при проникновении в Скифию, находится большой идол Zlota Baba, что в переводе значит «золотая женщина» или «старуха»; окрестные народы чтут её и поклоняются ей; никто проходящий поблизости, чтобы гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует её с пустыми руками и без приношений; даже если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шерстину и, благоговейно склонившись, проходит мимо».

Посол Австрийской империи Герберштейн оставил нам интересные «Записки о Московии» (1549): «Золотая баба, то есть золотая старуха, есть идол, находящийся при устье Оби, в области Обдоре, на более дальнем берегу... Рассказывают, или, выражаясь вернее, болтают, что этот идол, Золотая Старуха, есть статуя в виде некой старухи, которая держит в утробе сына, И будто там уже опять виден ребёнок, про которого говорят, что он её внук». Похоже на скульптурное изображение череды поколений. А нет ли здесь влияния скифо-сарматской культуры на древних угров?

Итальянец Гваньини в 1578 году изложил ту же легенду чуть подробнее: «В Обдорской области около устья реки Оби находится некий очень древний истукан, который москвитяне называют «Золотая Баба», то есть «Золотая Старуха». Это подобие старой женщины, держащей ребёнка на руках и подле себя имеющей другого ребёнка, которого называют её внуком. Этому истукану обдорцы, угричи и вогуличи, а также и другие соседские племена воздают культ почитания, жертвуют идолу самые дорогие и высокоценные собольи меха, вместе с драгоценными мехами прочих зверей, закалывают в жертву ему отборнейших оленей, кровью которых мажут рот, глаза и прочие члены изображения; сырые же внутренности жертвы пожирают, и во время жертвоприношения колдун вопрошает истукана, что им надо делать и куда кочевать: истукан же (странно сказать) обычно даёт вопрошающим верные ответы и предсказывает истинный исход их дел».

О золотой статуе упоминается в одной из ранних сибирских летописей — Кунгурской: «Послал Ермак в низовья Иртыша в Демьянские и Назымские крепости и в волости пятидесятника Богдана Брязгу. Тут было у них мольбище большое богине древней: нагая с сыном на стуле сидяща приемлет дары от своих. И жертвуют ей остатки во всяком промысле, а ежели кто по обету не даст, того мучит и томит, а кто принесёт ей, жалеючи, тот, перед нею упав, умрёт, ибо имеет жрецов и общину великую. Когда же дошёл к ним слух о приезде Богдана, велела спрятать себя и всем бежать...».

По хантыйским поверьям, с приходом русских хранительница очага и рода ушла из срединного мира в нижний. Вернётся она под солнце, когда в мире совсем не останется «неправильно живущих», убивающих друг друга, и всё железо уйдёт обратно в землю, в болота.

МЫ — СТАРОВЕРЫ

Кажись, один уж я и помню, как трактора пришли. Самы это первы были, фарзоны назывались. Идут по Гуниной гриве, чихают-попукивают, задни колёса у тракториста выше головы, на них ножи

сверкают. Их всего два и было-то, а чё тут началось, батюшки-светы! Старухи которы в погреб, которы на чердак полезли, иконы в окна выставляют — сатана, мол, пришёл, конец свету. А мы, ребятня, айда к ним, нам всё нипочём. Мужики, которы из вятских да помоложе, тоже подошли, стоят, тя-янут шеи. Один другого в бок толкат, — а вода текла с радиатора: «Вишь, напрудил лешак, не хуже быка». А тот: «Дак пошто он передом, гляй-ко, передом!» А?! Вот какой народ был…

Пришли трактора, колхозы — и всё, жить как сам хошь, уж никто не поживёт. А раньше… Теперь никто уж не верит, а я с шестнадцати годов семью содержал, пятерых едоков. Отец вишь какой был: хоть и в сажень ростом, а не говорил, маячил только. Его ещё маленьким гусиха напугала. Парила под лавкой, гусята вылупились, а его в зыбке одного оставили, он заплакал, она и налетела, стала крыльями его бить… А мать из вятских была; не смотри, что отцу по пояс, топала на него, пальцем грозила. Сиротой она осталась, вот и выдали за кержака, да за немого. А староверы, наши-то, сперва меж собой считались: кто поповцы, кто беспоповцы. Потом всё перемешалось.

По отцу-то родни было, — считай, весь кержацкий край. Это по праву руку от речки. А вятский край — он за мостом, мать оттуль взяли. Это которы из Рассеи приезжали, те в церкву. А мы с сестрёнками вятскими кержачатами считались: я и с отцом сперва отдельно селились, их всех вятскими называли. Отец в моленный дом ходил, мать в ихну церкву. А мы с сестрёнками вятскими кержачатами считались: я и с отцом в праздники ходил, и с матерью. Спроси вот, где я крещёный, — убей, не знаю.

А родни по заимкам, правда, много было, старики ведь, не как теперь, шесть-семь колен помнили. Тогда в любу кержацку избу зайди, хоть и к незнакомым, — напоят, накормят и в дорогу поесть дадут. А там и надо-то было: зашёл — перекрестись на иконы двупёрсто, поклонись три раза, и всех делов-то. А уж расспросы пошли — обязательно родня найдётся. Мирской зайдёт — сразу видать: ни перекреститься, ни слова сказать, того и гляди, чё-нито стибрит.

На Бажинской заимке дядь Митрий жил, не сказать, что богатей, а и не бедный. Коней четвёро, и добры кони, понимал он в них. И ездил с форсом, рысак был у него и кошёвка малинова. Куда теперешним коням! Он на нём в Сорокино ездил, не ближний свет, там раньше ярманки были, на бегах много выспаривал. До сотни, говорят, выспаривал, а корова тогда десятку стоила. Пьёт потом, гулят с удачи неделю. Ему уж лет тридцать было, а не женатый. Гармошку с каждой ярманки покупал, потом дарил их. Гармошек-то у наших раньше в заведенье не было, на балалайках играли, ну, рожки там, пищалки разны.

Они все песельники были, плясуны, Ноговицыны-то. И драчуны, да здоровущи. Уж Ноговицыны загуляли — чужой не заходи: и напоят, и налупят. На других посмотрят — плюются: «Разве *мужики*

это, горсть вони. У нас уж гулянка дак гулянка, утром проснёшься — сразу видать: старики водой нас разливали». Я как-то съездил туда, где заимка была, — крапива одна. Сослали их всех, в Нарым сослали. А чё вот к чему порешили семьи? С кого теперь спросишь? Трое их, братовьёв, жило на Бажинской, и пошто-то у всех только девки рожались. Сослали их, а они там, в Нарыме, за остяков вышли, потом и немцев туда заслали, такой ли ещё колхоз развели.

Дядь Митрия перым в район вызвали, коня с кошёвкой отобрали, а самого в каталажку. И сапоги хромовы сняли, а на кошёвке потом начальство разъезжало. В лесу жили-то, каки там батраки на него работали? А раскулачили, так в Нарыме и помер дядь Митрий…

Отец, тот сильно лес любил. В праздники, бывало, народ выпить, поплясать соберётся, а он головой мне киват, руками костёр показыват: айда, мол, в тайгу. Перву гриву перевалишь — и вот она Чернь, конца ей нету, так с горы на гору и катит. Станет, бывало, у самой здоровенной сосны и вот он стоит, вот уж он стоит. Ведь чё-то же думал человек? Понимал: сосна она и есть сосна, а ты раз и сковырнулся, червяк червяком… К тракторам все скоро привыкли, а он — нет: как увидит — долго крестится, как-то не в себе делался. Да что ты, железной посуды и той в дому не держали, избы без единого гвоздя ставили, а тут на тебя куча железа прёт.

А дома́ возьми — ни одного настоящего чалдонского теперь не найдёшь, хоть от Салаира до самого Залесова пройди. Крыльцо высоко полагалось, как на второй этаж заходишь. Внизу коровник, над ним сени и кладовка, в ней обязательно ларь под зерно. В самой избе — лавки вдоль стен, на одну мужики садились, на другу бабы. На одной, спереди, дырки поделаны под прялки. Тябло в переднем углу — киот с иконами, по-вашему. Ну, полати, конечно, над дверью, возле печки. У кого дома лучше были, тех первых и кулачили. Вот и не стало добрых-то домов. Если не сгорел дом, то продали.

Друг у меня был, Федька Глазырин, а у него мать записна считалась. У ей чуланчик свой отгороженный, туда никто уж не заходи, посуда только её, сыну и то нельзя пить-исть. Все среды, пятницы соблюдала — мяса не ела, молилась ночами, домовина уж на подволоке выдолблена стояла. Это вишь чё, которы постарше так делали, готовились, значит. Она, помню, долго-долго хворала. А ведро-то на все хозяйство одно, и то дыряво, дно паклей заткнуто. Вот коня мы с Федькой с того ведра поили, это можно, в коня бес не вселится, а сами знашь, как пили летом? На край колоды ведро поставим, паклю выдернем да рот-то под струйку подставлям. Боже упаси ртом задеть — где она друго ведро возьмёт? Сильно бедно они жили, ещё хуже нашего, отца не было, забрали его. А его-то отец уставщиком одно время был, дед это Федькин, давно уж как помер тогда он. А вот забрали мужика, за отца-уставщика забрали, и ни слуху, ни духу.

А меня Ипат Лукич надоумил, крёстный, хороший мужик, первый

охотник был, царство ему небесно. Ты, мол, Вася, сходи-ка в заготпушнину, там работать стало некому, а план большой даден. Года твои пока не вышли, тебя возьмут. Я послушался, пошёл, — правда, взяли. Пошёл да и зажил, куды с добром. Сапоги у меня хромовы, галифе суконно, считай, новёхонько, пинжак тоже купил, деньги появились, один я такой по деревне хожу. Тут и девки запоглядывали, а то, бывало, на точок в лаптях верёвошных придёшь — как и не видят.

Вот и охотник я стал. На неделю, на две в тайгу ухожу, обратно иду — мешок шкурок тащу. Жизнь-то у меня и пошла в гору. Теперь, конечно, тот мешок тыщу бы стоил, а то и все две, дак ты время-то не ровняй. Можно было только зимой охотничать, и то прокормишься. Хорошо за шкурки платили, но тогда летом бери вилы, в колхоз иди. После войны уж, как на тракторе стал работать, я кротов этих да рыжих хомяков по двести штук за лето набивал. Врать не стану, а за них больше получал, чем за посевну и за уборочну. А сравни-ка, сколь тогда тракторист получал, сколь простой колхозник, — далё-ёко не родня.

Ведь сколь лесу, сколь зверья было! Колонок, ласка ли эта — за зиму её штук тридцать брал. На лис, на зайцей петли ставил. А зайцы — их только на шкурки: никакого зверя с когтями есть нельзя, грех считалось. Барсучье сало если ел кто для леченья, ему долго надо было поститься да отмаливать! А барсука-то, сколь его было, а рысей! Прямо к деревне приходили зимой, на собачат с сосны, бывало, кидались. Да хоть Круглу согру возьми, — там теперь грязь одна, стадо всё размесило, а я там выдру убил. А весной по насту косули шли откуль-то с Алтаю, тут не зевай, не спи и с мясом будешь. Косачей, рябчиков тоже бил, эти на суп. Было дичи, что ты, кто не видал — не верит. До войны все гривы в сосняке ещё стояли: и Вахрамеева, и Кузякина, и Гунина, и Долга грива, там теперь поля всё. Другой раз выпью и заплачу. Да я бы уплатил теперь, чтоб хоть перед смертью летягу повидать. Знашь, каки у неё глазищи?.. А чё плачу, старый дурак, один я, что ли, их повыбил?

Сперва побаивался, конечно, сильно далёко от деревни не уходил, шалаши не под горой, а на горе ставил. На горе не так жутко, а за водой-то далёко ходить. Потом стал землянки рыть, потом перву избушку поставил, в тайге уж по месяцу живу. Чернева тайга, на сотни, может, вёрст ни души, а мне поглянулось. Ночью у костра шкурки натягиваю, песни потихоньку пою, — жизни, вроде бы, конца-краю нет. Приду в деревню — бабы спрашивают: неуж ты, мол, лешаков ночью не боишься. А я смеюсь: не думал пошто-то, не боялся. Как уходить из дому, бывало, помолюсь да и забуду про их. Мать-покойница за меня кажин день молилась, из зари в зарю глядела, не иду ли с горы.

На медведя я не ходил, побаивался, да и как ты шкуру потащишь — дня два ходу? Заведенье у наших, у кержаков, было: убил Самого — постись, молись. Мать следила за этим, всё время спрашивала.

Без дела убить — грех, мол, и немалый грех. А один раз летягу сдуру убил, не разглядел в потёмках, думал, тетеря летит, — всю спину ей дробью разнесло. Шкурка голуба, как-то сизым отдаёт. Красивый зверёк, что ты! Лежит она на земле, судорга уж по ей, а глазищами во-от такими в лицо мне смотрит. Сильно жалел, похоронить пришлось. Даже на войне снилась…

Эх, у меня коса до пояса, кудёрочки до глаз,
А разудалый мой залёточка в обидушку не даст.

Грех на мне, парень, большой, видать, грех… Иду это раз с Черни домой, с горы спускаюсь, и вдруг девка навстречу. Не видит меня, присел я, затаился, а как увидала — глазищи округлила, перекрестилась и прыг в кусты, под гору кубарем. Дикошара така, а глаза большущи, как у летяги. От меня, как от нечистой силы, закрестилась. Откуль, думаю, така взялась, наших девок всех вроде знаю, их далёко в лес не загонишь. И куда она на ночь глядя в тайгу идёт? Потом всё же узнал от кого-то: это Вагайцевы с Суенги, настоящи чалдоны, богомольны. Ушли от колхоза в тайгу, в запрошлу весну, как раз на Еремея-запрягальника, бросили дом, иконы одни взяли. А для прилику слух пустили: в Елань, мол, переходим, там колхоз больше. Тогда ещё не так строго было, это после войны ты уж хрен с одного колхоза в другой переедешь, а сперва-то ещё разрешали. Девку эту Фелисатой будто звать, лет двадцать ей, а так и сидит в тайге монашкой.

Ну, хожу это по тайге, петли ставлю, а самому интересно стало. Думаю, всё одно я вас найду, охотник я или нет! И нашёл избушку, по дыму утром нашёл. Дотумкал, на сосну залез на самой высокой гриве, и вот он, дымок вдали. Айда туда, скрадок в ельнике поставил, следить стал. Живут, вижу, четверо: старый мужик, двое парней и она. Полянку раскорчевали, огородишко завели, четыре улья стоят с пчёлами. Избёнка дранкой вразбежку покрыта, в одном окошке стекло, а в другом бычий пузырь. Землянка рядом, у ручья, погреб, видать, изладили.

А потом всётки устерёг одну её в малиннике. Уж детна утка на крыло встала, чирков там на озере смотрел, а стрелять не стал. Испугалась сперва-то, присела и крестится. Ну, я по-хорошему, сказал, откуль я, давно, мол, знаю про вас, никому не сказывал. Вроде успокоилась, слово за слово, давай рассказывать, как живут. Мать у них померла, тут и похоронили, середь тайги. А хотели, и правда, в Бахтарму идти, или как её там. Дескать, где железа много, там и бес правит, всё к одному концу, мол, идёт, а где вера настояща, туда колхоз не дойдёт.

А зиму-то, спрашиваю, как же, зиму-то ведь с ума же можно сойти без народу? Чуть не плачет, — а так, говорит, и живём: пока отец вслух Писанье читат, молчим, а так — сплошь ругамся с братовьями. Одного Ларькой звать, другого Саркой. Ну, Ларька, говорю, это Ларивон, понятно, а Сарка — это как? Сарапион, говорит, неуж не знашь?

Отец уж колоду себе вытесал, ждёт светопреставленья. Двенадцать громов кряду, двенадцать дожжей горячих, двенадцать градов каменных с неба, и тогда уж реки огненны хлынут. В судный день люба железяка в реку огненну потянет, а ты, мол, с ружьём целыми днями ходишь. А коса-то у самой в кулак толщиной, а глазищи-то ещё больше, как она про страховито про всё рассказыват. А я поддакиваю, думаю себе, — ты теперь от меня не уйдёшь, летяга большеглаза. И правда, на второй раз тут же и до греха дошло, сразу как-то. Стал я, вроде, прощаться да приобнял её чуть-чуть, а у ей и ноги подкосились…

Ну, и пошло у нас, и закоромыслилось, — она уж сама ко мне приходит в избушку. А уходит — шепчет: — Ох, отец догататся — зашибёт, с одноразки зашибёт!

Н-да, нашёл, значит, спасеницу в праведной земле. Смеётся и плачет: куда ни кинь — кругом клин, согрешенье одно...

А тут вот она, война. Ну, война она и есть война, век бы её не поминать. Прихожу домой, а уж четвёртый день война, говорят: — На тебя повестка лежит, просрочил ты. Куда деваться? В лес бежать — два дня туда да два обратно. Отец маячит: иди, мол, воюй, как следно. Напился я перед отправкой, первый раз сильно напился да проболтался парням: там, мол, в тайге два таких лба сидят, про войну знать не хотят, а мы иди, башки подставляй. Тех двоих, говорят, привели под ружьями с тайги-то да в амбар заперли. Чё уж, как уж с ними потом было, не слыхал.

На фронт пригнали, стрельбы провели — я всех лучше. «Ты, Скуратов, в снайпера пойдёшь, готовься». Батюшки-светы, это чё, думаю, кажин день теперь в живых людей целить буду? Из пушек палят — не видать, в кого, а в эту, в линзу-то, в её же личнось видать, усатый он там или безусый. Мать наказала: пока, дескать, человека не убьёшь, тебя не тронет. Масхалат дали, пимы, горюшка, вроде, нету. Ночью на сосну залезешь, день сидишь, как сыч. Я первого снял, они меня и застукали. Вдруг будто штук сто топоров по сосняку — тяп-тяп-тяп. Щепки, сучки летят, это они по мне с крупного пулемёту очередюгу жахнули. Да втору тут же прямо под ноги мне. Сосна подо мной кувырк, я и полетел в снег. В сугроб упал, лежу в снегу и думаю: мать там, видно, лампадку не гасит. Там, на фронте, все шептать-молиться начинают. Что ты, парень, что ты… поле видал телами завалено, да один на одном лежат, и пулемёты над ними день и ночь косят…

А ранил меня свой же брат снайпер. В госпитале отвалялся, на комиссию вызвали, пальцы не шевелятся — списали. Подошёл я к сосне на горе, оттуль деревню видать уж. Вот оно, рядом, а ноги не несут, как ватны стали. Слабость, вишь, — три месяца в госпитале да сорок вёрст прошёл. Лежу под сосной, а она вся молоньями пожжена, искорёжена — мне стыдно стало. Лежу и думаю: Господи, живой

остался, не знаю, чё сделал бы. А она вроде как шумит: ладно, живи, мол, посмотрим, чё ты тут натворишь. И тут понырёвски девки на быках едут, керосин везут. Одна-то мне поглянулась, красива тогда была, костиста, правда, смехом посулился приехать со сватами. А вишь, так оно и вышло, четырёх девок мы с ней напахтали, внуков теперь семеро по лавкам.

Вернулся домой — жрать неча, хлеб весь забирают, работать в колхозе некому. Послали меня на курсы трактористов, оклематься пока, работник-то с меня как из хрена гуж. На трактор сел, да сразу бригадиром поставили, а какой я тракторист? Некому пахать-сеять, одне девки да я, полорукой. Нету мужиков, хоть шарóм покати. Ну и закатил я кругаля, после войны знашь как жить охота? С Танькой Босыгиной чёрт схлестнул надолго. Я и так-то шкелет шкелетом пришёл с войны, отъедаться нечем, кроме пучек да дикого луку, а тут меня и совсем запошатывало. Дорвался, в обчем.

Потом слышу от девок: Фёкла Банна, говорят, с Сиблагу вернулась, у ей ребёнок год как помер. А мне и не в ум, что там за Фёкла, да не у нас же, а в Суенге. Она, мол, Фёкла эта, умом тронулась. В сибулоне, там урки баб сильничают, а парнишка тут у родни помер. Теперь вот ходит по деревням, ищет его. Да что за Фёкла, спрашиваю, не слыхал раньше. А пришла, говорят, из тайги с брюхом, отец из дому выгнал, а братовьёв забрали обоих, в район увезли, как война началась. Тут меня и стукнуло. Может, спрашиваю, слыхали, чья така? Вагайцева, мол, знают их, отец-то, Иван Гордеич, сильно уж богомольный. В колхоз её записали, а она, вишь, по большим праздникам навадилась на работу не выходить — вот и засудили. Потом слышу: ноги, дескать, у неё обморожены, зараженье пошло, померла, говорят, Фёкла Банна…

Был я в Суенге, видал могилу. Родня похоронила, крест большой поставили, восьмиконечный, как положено, а написано плохо, елеле видно: Вагайцева Фелисата Ивановна. Я химический карандаш купил, хотел подправить, да думаю: увидит кто, скажут, чё он к могиле лезет. Маленького креста рядом не видать…

А мне отец уж маячит: женись, мол, пёс ты подкорытный, пока ноги не протянул. Прихожу раз домой — бричка-пароконка стоит у ворот, думал: гости. Мать говорит:

— Надевай хорошу рубаху, новы сапоги, езжайте на Поныри, к Таське Могутиной свататься.

— Как так?

— А чё тако? Она девка не ленива, и не слыхать, чтоб блудила, как другие, езжайте.

Как, думаю, сам сватать буду, чё скажу? Из отца какой сват, самому придётся. А она — вот она, бежит с огороду, руки в земле, рот до ушей, хоть завязочки пришей. На друго лето избу их перевозили. Полез на чердак, а икон там штук двадцать скопилось. И больши, и маленьки, всяки. Трону их, а краска сыплется, крыша-то давно ху-

дая. Старухи перед смертью её бабушке отдавали, а та уж сколь годов как померла. Постоял, подумал: мать же вашу, чё наделали! Их же, небось, тыщи вёрст в котомках тащили, оттуль несли, с Рассеи. Первым делом моленный дом ведь ставили, потом уж себе избы. Так и закопал их там под рассадником, когда уезжали. Да многие так делали, как старики помирали: лебеда на рассаднике остаётся, а под ним стары иконы.

Пока молодой был, о грехах-то не думал. А теперь сны вот замучили, таблетки уж заказывал, ничё не помогат. Таське, старухе-то своей, рассказываю — та своё: это грехи, твой стыд тебе спать не даёт, велит споведаться. А где нашему брату теперь споведаться? Тётка Домна, ей уж лет девяноста, небось, та говорит: сны, они не соврут, их только уметь понимать надо. Кто грехи, мытарства эти, или как их там, изживёт, тот молодится начинат и обратно ребёночком стаёт.

Нет уж тех кержаков, чё зря говорить. Те-то про конец света часто говорили, на каждый большой праздник, а теперь никто и ухом не поведёт. Перед концом света много чего люди увидят, а понять некому станет. Всё нипочём, хоть два чуда на день — как так и надо.

А в тайгу-то, нет, не хожу больше. Далёко стало, давно не бывал. Дошёл и до нашего краю лесоповал, лет тридцать валили. Куда деваться? Видеть уж стал плохо, кака мне теперь тайга?.. Да чё уж теперь, не наше время. Этим што, Гурьян ты или Севосьян, унесут и зароют. На поминках-то передерутся, небось, если хорошо подадут. Унесли, скажут, унесли, медали забыли, а то и пропили. А куда деваться, не наше время…

ЧТО СОСНА ПОМНИТ

На лесной гриве в три берёзовых роста вознеслась к небу сосна, и лет ей на вид с полтыщи. Как сейчас помню, дед говорил здесь: — Сибиряком родился — в тайге не тушуйся. Коршуну лес не в диво, волку зима за обычай. Так и нам, чалдонам.

Вот тут узнал я, кто мы, — чалдоны.

Шли мы с ним по тропинке, поднялись на вершину. И распахнулась даль, нет ей ни конца, ни краю. Тишина стоит, только сосны шепчутся.

— Тут наш просёлок на большой тракт выходил. Гляди, запоминай. Сто лет нет уж его, а след всё видать. Вниз гляди. Тройки там скакали, колёса и полозья саней скрипели. Несметно народу прошло. А мой-то дед слыхал, как кандалы звякают.

А сосна и того больше помнит. С тех пор, как Русь на восток двинулась, мимо неё тёк людской и конский поток. Сказ сосны весь о былом: боры полны птичьим гомоном, дождик ласков, воды и света на века хватит…

Тишина была, тишина стояла, пока не застучали топоры. Первых, с топорами, было трое. Поднялись снизу на макушку гривы, долго вдаль смотрели. Валами уходили за окоём леса, садилось солнце, большое, багровое, и на нём мошкара плясала. Молча перекрестились люди — робели перед тишиной.

— Ну дак чё, здесь, што ли? Или дальше оно ещё лучше будет?

— Нет, ребятишки, пришли мы. И озеро, и речка! А ключ-то под горой до чего холодный! Али как, ещё однуё гору перейти…

— Перейти бы, дядь Нифантий! Там, поди, настояща земля.

— Нет, с бабами-то, с детьми-то, несодейно это. А чем не свята земля? Всё есть, живи только по божьей правде.

— Ага, покорчуй-ка их, попробуй. Смотреть и то страшно.

— А ты как думал? На то он и лес… Ах, хороши!

И стукнул обухом по стволу. Любит человек дерево, но несдобровать деревьям от такой любви.

Потом пришло их много, и послышался железный шелест, хряск топоров по живым телам и стон падающих. В одно лето оголился бок холма. Стволы стали избами, церквушкой на горе, крестами на кладбище стали. На второе лето падали кедры — пошли на дранку, на крыши и ограды. Потом оголились соседние холмы — появились пашни.

Старая сосна всё грезит, всё помнит беспрестанное движенье. Шла казачья сотня на горячих конях, молодцы без команды рявкали:

Всё бы тебе, мати, в терему сидети,
В терему сидети, на меня глядети,
А твому дитяти конём володети,
По полям летети, саблею вертети...

Ехали на санях люди промышленные, везли мешки с собольими шкурками и фузею для обороны, без неё живым до города не добраться. Староверы уходили из царства безверия, где вот-вот железо заполонит всю землю воем-грохотом. Шли старатели-горщики, клонили головы от усталости. Золотопромышленник мурлыкал про ухаря-купца, а крестьянин-переселенец вздыхал о пашне.

Были костры углежогов, долгие сырые дымы, потом обугленные тела-стволы повезли на телегах — ради ещё большего огня, ради серебра и меди. Уголь из утробы земли наверх вынули, а для того шахты понаделали. Задымили, зарычало железо, такого голоса земля не слыхивала. А поперёк больших рек железные мосты встали. Пошли через степь и перелески артели с лопатами и тачками. Заступы засверкали, от рассвета до заката тачки бойко забегали. И услышала сосна: зафыркало вдали и рявкнуло железное чудище, как гриву, распустило чёрный дым по ветру. И это был траур по санному тракту.

Потом прошло небывало много людей с ружьями, сибиряки стреляли друг в друга. Потом тряслись на телегах раскулаченные, в последний раз оглядывались на родные крыши, под которыми уже не

бывать им. Долго стояли ополовиненные дома с пустыми окнами. Зимой в них вьюга злорадно дудела, а летом детвора окружала дома: брали в плен и тут же расстреливали. Потом пришли железные букашки на больших колёсах, чихавшие зловонько, и тогда всё стронулось, понеслось, закувыркалось...

На севере, где долгой ночью небо лижут всполохи, встали железные вышки. И вынулось каменное масло, и дыхнули недра газом. А на юге лежит земля душных городов и чёрных речек, это о ней провода всю ночь хрипят над дорогой.

Забылись сказы, дедовы песни чужими стали. Ни про удалого ямщика, ни про беглеца-бродягу никто не вспомнит. Одно ясно мне стало: сосны — лучшие друзья наши, верные и обманутые.

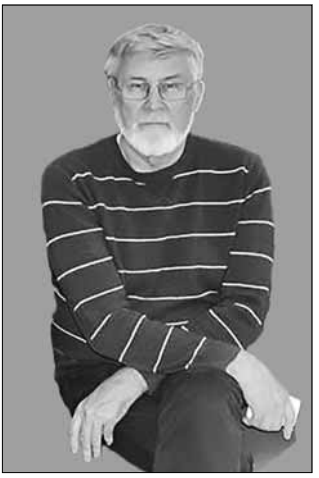
Но и скала помнит. Память камня ещё глубже, ещё надёжней, только понять её трудно. Возле скалы развели костёр свой охотники в шкурах и ладили каменные наконечники к копьям. Прошли они на север, и среди нас есть их потомки. Потом были стрелы с бронзовыми наконечниками, первые железные ножи… без первого шага нет второго. Без малых тропок не встать бы большим дорогам.

Тропы и просёлки берегут память детства. А вид с холма велит задуматься: что здесь было и что ещё будет. Память путь показала, она и вперёд смотреть велит. Теперь и мне надо, чтоб внук рядом стоял, смотрел с холма, вникал в дедовы слова:

— Смотри и думай, чтоб родная земля пустыней не стала.

Геннадий СКАРЛЫГИН

Решётчетое небо сентября



Геннадий Кузьмич СКАРЛЫГИН

Автор десяти поэтических книг. Родился в Кемеровской области. Окончил Томский геологоразведочный техникум. Работал начальником сейсмостанции на полуострове Мангышлак, геологом под Читой, в Туве, в Магаданской области в Сеймчанской комплексной экспедиции. Окончил Томский государственный университет, работал журналистом.

Стихи публикуются в журналах «Наш современник», «Московский вестник», «Сибирские огни», «Алтай», «Российский колокол», «Сибирь», «День и Ночь», «Огни Кузбасса», «Барнаул», «Начало века», в альманахе Академии поэзии и других изданиях. Стихи вошли в Антологию русской сибирской поэзии, в Антологию сибирской поэзии «Слово о матери». Книги – «У заветного камня», «Всё унесёт река», «Утренний человек» и другие.

Секретарь правления Союза писателей России. Председатель Томской областной писательской организации. Член-корреспондент Академии поэзии.

Решётчетое небо сентября

* * *

Я ворую солому с колхозных полей,
Мне, мальцу, ещё только двенадцать.
Брал верёвку покрепче, одевался теплей,
Чтобы ночью к соломе добраться.

Нам без топлива зиму никак не прожить,
Воровал я и уголь с вагонов, с откосов.
И тепло от печурки, где уголь горит,
Помогало ответить на много вопросов.

То, что в школе учитель домой задавал,
Я в ворованном свете усваивал строго.
Но не мог всё понять оттого, что был мал,
Почему меня дядька охранник не трогал.

Как увидит, что я на вагоны полез,
Отвернётся в тулупе с берданкой.
Долго смотрит он в сторону, прямо на лес,
Самокрутку свою прикрывая ушанкой.

И потом мне по жизни на дядек везло,
Да, я рад, что их было по миру не мало.
И они, может быть, всему миру назло,
Меня твёрдой рукой прикрывали устало.

* * *

Утром женщина останется загадкой.
Выйдет, милая, и сядет на крыльцо.
Льётся ветер и играет лёгкой прядкой.
И ласкает светлое лицо.

Нет ещё ни скорби, ни заботы.
Всё это навалится потом.
Пусть она понежится в дремоте,
Женщина в сиянье золотом.

* * *

Зацветала в июне трава –
Зверобой, кровохлёбка и мята.
Эх, была бы родня здорова –
От простуды и чёрного взгляда.

Набирал я целебной травы.
Да пучками развешивал в сенцах.
На просторах любимой страны
Это дело людское – от сердца.

* * *

Шестые сутки льют дожди,
Как утомила сердце скука!
Ты мне сказала: «Подожди», –
В тоске заламывая руки.
Ты говорила: «Не хочу
Я жить в предчувствии тревожном», –
Что я плохую жизнь влачу,
Что жить вдвоём нам невозможно.
Что догорают имена
В костре осеннего пожара.
Что ты останешься одна,
Что будет лучше так, пожалуй.
Но что нам ветер напевал?
Он уносил стальные тучи.
Я вспоминал пустой вокзал,
Где нас сводил счастливый случай.

* * *

Изумрудная зелень полей.
Одинокая прелесть селений.
На виду у них станешь добрей.
Нет лекарств от душевного тленья

Лучше этих задумчивых далей
На великой равнине моей.
Пока Родину не отдали,
Да не взяли как лёгкий трофей…

* * *

«Форс мороза не боится» –
Помню бабушкин присказ.
В одежонке, как синицы,
Замерзали мы не раз.
Согревали наши души
И горчичка, и чаёк.
Ну а бабушку послушать
Тоже надо, паренёк.
Одеваться по погоде
Иногда мешала лень.
Да и не во что нам вроде
Наряжаться каждый день.
Лучше выбежать по снегу
Босоногим сорванцом.
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, небо!
Здравствуй, речка!
Здравствуй, дом!

* * *

Люблю я слушать мелкий дождь.
Лесная вспомнится палатка,
И листьев неуёмна дрожь,
И костерка дымочек сладкий.

И вьётся над тобой мечта.
Она, как истина, прозрачна
И, как отступница, чиста,
И, как чужбина, однозначна.

* * *

На огонь можно смотреть до бесконечности:
Видит сердце, раскрывается душа.
Мы в долгу у предков и у вечности.
Есть о чём подумать не спеша.

* * *

Тонкий запах левкоев,
Лёгкий абрис запястья.
Мы расстанемся вскоре,
Нам хватило короткого счастья.

Будет дымкой вуаль
Развиваться в погоне беспечной.
Где-то звякнет трамвай
И погаснет огнями, заречный.

Мелью порвана гладь –
А когда-то здесь гравий добыли...
И я вспомню опять,
Как мы мало друг друга любили.

* * *

Нет ни времени, ни пространства:
Нас несёт и сметает судьба.
Помолись же за Русь и славянство,
Коль такая пошла «молотьба»!

Помолись за несжатые нивы,
За бескормицу в отчем краю.
Слышь, в лесу топоры наточили.
Это жизнь вырубают твою.

МОГИЛА КАНТА

Здесь замок крестоносцев был когда-то.
Лишь плит окаменевшая кантата
Врывается в высокое молчанье.
А люди, как языческие камни,
Взрослей становятся
на целое столетье…
И тихо опускают руки.

ДЕТСТВО

Брат утонул в озере,
Стоял июльский зной.
Мать нас в посёлке бросила,
Отец ушёл в запой.

Типичная картина
Российской стороны.

Ягода-малина
Подкрасит мои сны.

Но тяжестью на плечи
Мне лягут те года.
И раны не залечит
Святейшая вода.

И в этой круговерти
Слились в один мотив:
Что жалит нас до смерти,
Что счастьем наградит.

* * *

Если дрогнуло сердце,
то свершится прекрасное.
И придёшь ты погреться
у родного огня.
Этим утром забудешь
день ушедший, ненастный.
И, наверно, забудешь,
Ты забудешь меня.

Знать, ушло уже время
Жить, как жили недавно.
Знать, по нашим дорогам
Не ходить нам уже.
Жизнь проходит, как ветер,
Но останется главное.
То, что будет, как свет
Заблудившей душе.

* * *

Над нами светили звёзды,
Чистые, как слеза.
Ты мне сказала просто,
Я тебе просто сказал.

Так и клонился вечер.
Он у тебя за спиной.
Накинута шаль на плечи,
Тихо катились речи.

Тихо катились речи,
Как поезд далёкий, ночной.

* * *

Хорошо умереть в этот день.
Яркий, солнечный и искристый.
Я сегодня – летящий олень,
Вдаль летящий, по белым и чистым,

Не запятнанным этим лугам,
Перелескам. Какое скольженье!
В ту страну я бегу, это там
Ждут меня. А моё отраженье

Не оставит ни свет, ни следов,
На великой прозрачной равнине.
Сколько будет метельных годов,
Столько будет неведомой стыни.

Пронесутся, осыплются дни,
Незабудками лягут на пашню.
Сгинут вести о них. А они
Станут птицами в памяти вашей.

* * *

Разливается свет. Это светит листва,
Здесь живут и вращаются светлые мысли.
Здравствуй, лес, здравствуй, наша трава,
Наше небо, прозрачные синие выси.

Их постичь?! Это нам не дано.
Нам дано долго всем любоваться.
Вот он, мир, открывай настежь это окно –
Как у нас хорошо, полюбуемся, братцы!

МАРТ

Ещё подёрнута морозом
И спит земля.
Но оживаем от наркоза
И ты, и я.

Дышать и лучше, и вольней,
А тополя
Стряхнули иней. Не болей,
Моя земля.

Давай, родимая, проснись.
Мы ждём тебя.
Глядим всё чаще в синь и высь,
Как тополя.

* * *

К сердцу моему
печаль прикоснулась.
Геворг Эмин

Мне друг когда-то книгу подписал
Армянского прекрасного поэта.
Я открывал её и медленно листал,
Как будто ждал из прошлого привета.

Давно уж друга нет. Пустует пьедестал,
Его мы создавали с другом вместе.
И собирали там охапки книг. Любимые места
Нам приносили радостные вести.

Всё это было праздником для нас,
Как строчки полюбившихся поэтов.
Тогда среди чудачеств и проказ
Искали мы на многое ответы.

Друг у себя на родине лежит,
Оплаканный дождём, старушкой матерью.
А рядом всё идёт большая жизнь,
И стелется простой и рваной скатертью.

Друг многое унёс с собой. Но книги,
Подаренные им, напомнят мне,
Как нам мечталось быть всегда с великими,
Быть рядом с ними. На лихом коне

Мы мчались в ночь в стихах Бараташвили,
И холодок вселенский плыл над нами.
Мы радостно и мы наивно жили,
Зачитываясь вечными стихами.

* * *

Много золы понасыпано,
Много воды утекло.
Спасибо избе. Неусыпно
Она сохраняет тепло.

Есть ещё в этом мире,
Что согревает тебя.
Не городские квартиры,
Без очага и огня.

И о судьбе перепаханной
Сердце ещё заболит.
Ещё наполнится страхами,
Ещё потемнеет зенит.

Ещё холодным пространством
Голову освежит.
Мальчик с тяжёлым ранцем
Опять побежит…

* * *

Дай мне что-нибудь прочесть
На закат, на вольный ветер.
Слов родных ещё не счесть,
А от них и путь наш светел.

Ещё крепок наш глагол,
Многое ему подвластно.
С речью русской и монгол
Справиться хотел напрасно.

* * *

Станиславу Куняеву

Всё полустанки, полустанки
Сквозь дым связующих времён.
Летим – небесные подранки –
С белёсой прядью, словно лён.

Летим сквозь рваные равнины,
И станционный шум, базар.
Талдычит ряд торговок длинный.
Скрипят и рвутся тормоза.

Сойти бы в этом промежутке,
Варёной бы картошки съесть.
И кажется, в летящих сутках
И вечность, и безумство есть.

А вот и церковь (здесь когда-то
Крестила бабушка меня),
И дом, бревенчатый, горбатый,
И школа сельская моя.

И всё как будто бы в тумане.
Из гипса девушка с веслом.
Да – время. Время не обманет,
Кому-то жить, а что – на слом.

Уже осыпались фигуры.
Из гипса виден их каркас.
Но не распалась арматура,
Ещё связующая нас.

* * *

Альпийские роза – жарки.
Таверна, парящая в скалах.
Как наши шаги легки,
А счастье – в песчинке малой.

А счастье – оно вдалеке.
В дымке, за поворотом.
Только дрожит в руке
Нежный цветок желторотый.

* * *

Слёзы текут по стеклу.
Слёзы, метель и слякоть.
Ветры меня секут,
Режут сердечную мякоть.

Вот они, лоскуты,
По лесу поразвешены.
Чтобы сорвала ты
Их лепестками вешними.

Чтобы лесной букет
Ранил тебя сердечностью.
Столько безумных лет
Я колдовал над вечностью.

Я колдовал с тобой,
Чтобы простые истины
Стали моей судьбой,
Деревом или листьями.

* * *

Не нашёл слова я золотые,
Не сберёг серебряный мотив.
Ковыли под ветрами седые
Будут жечь и плакать, и манить.

А колечки в золоте, в оправе,
Лягут в снег, монетками звеня.
Облетят – и в горечи, и в славе,
На исходе завтрашнего дня.

Обнесут с деревьев лёгкий иней
В лопнувших стаканах октября.
И калинной горечью отныне
Стынет воля, память серебря.

* * *

«Вот дурочка! – злословили в деревне, –
Босая в зиму, смотрят вверх глаза».
Но иногда с какой-то мукой древней
Бросала взгляд, как в доме – образа.

И словно Богородица, страдая,
Она смотрела ясно в этот мир.
И лишь потом – как листья, облетая,
Глаза уйдут в невидимый эфир.

И вот опять (оборванна, как ветошь)
Она идёт деревнею моей.
А ты, пацан, куда-то дерзость денешь,
Застынешь, не подходишь больше к ней.

Как будто проверяла нас Святая.
Что здесь мы – не издёргались душой.
И как живём, прорехи вновь латая,
И как скорбим о Родине большой.

А где ж ей быть, как не в глубинке, с нами.
Где тяжкий труд за крохи, за гроши.
Где поднесут святыми именами
Кусок последний, чёрствый – от души.

* * *

О. Г.

Наше ночное небо –
Лучшее небо в мире.
Где же я только не был.
Даже в счастливом Риме.

Дивное небо Италии –
Самое близкое к Богу.
Звёздочки-мифы таяли
И освещали дорогу.

Небо ночное в Алаево,
Хруст рафинадных звёзд.
Грецким орехом и стаями,
Блеском забытых слёз.

* * *

Скрипят журавли колодезные,
Кричат вдалеке петухи.
Как чутко дыхание Родины
Вот здесь, у холодной реки.

* * *

Память земли и неба
С годами в нас всё сильней.
Возьми и не дай мне хлеба.
Возьми и не дай мне неба
Над родиною моей.

Наверное, это возможно.
Но память?! Её не украсть.

Она прорастает рожью
По нашему бездорожью,
И держит нас. Не упасть.

* * *

Лосось помчится к берегам,
Где он родился в мелкой речке.
Стремленье это нужно нам,
Чтоб путь на родину был вечен.

Чтоб не рассыпаться по миру,
Не помереть в чужом раю,
Я всё на свете враз покину,
Лососем море раскрою.

И, раздирая в кровь бока,
Призывную почуяв влагу,
Вот здесь, на этих берегах,
С родной землёй в обнимку лягу.

* * *

Решётчетое небо сентября,
Размывами блистает побережье.
Я становлюсь и тише, и прилежней.
Но так же всё смотрю я на тебя.

И в череде обыденных забот
Прокрутим эту жизнь наоборот.
Опять зазеленеют наши всходы,
И мы светлеем от любой работы.

А я смотрю всё так же на тебя.
А ведь прошло уже тысячелетье…
И прорастает в наше долголетье
Решётчетое небо сентября.

* * *

Калёное, низкое утро
Мелькнёт отраженьем свинца.
И тяжесть нахлынет, как будто
Мы жили здесь тихо и трудно,
Чтоб счастье постичь до конца.

Мы верили в святость работы,
В суровость тепла и добра.
Ложились простые заботы
На мизерные щедроты.
А радость знобила с утра.

И здесь, в убёленном пространстве,
Рождалось сознанье того,
Что мудрость – в родном постоянстве,
И в продолженье его.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Когда набегают волны
И бьётся прибой в небосвод,
Лунным мерцаньем полный,
На пристань приходит народ.

Белый мелькнёт платочек,
Как улетевший привет.
Тоской и бедой прострочен
Стальной убегающий свет.

КАЛИНА

Зимой простояла калина,
Красным огнём горя.
А вечерами длинными
Она согревала меня.

Сладким, с горчинкой, соком
Её напоила земля.
И в этом был смысл высокий,
Как всё в этом мире не зря.

Калину к себе я вывез
С бабушкиного двора.
Листьев зелёный вырез –
Слова в них шумят, ветра.

Услышу опять, как прежде,
С хитринкой её говорок.
А меж деревьев вешних
Мелькнёт её рюкзачок.

Когда нахлынули беды,
Осталась она одна.
Для фронта и для Победы
Вязала носки она.

И нас, лоботрясов, выходила –
Бог нам её даровал…
Ухнет в калине выхухоль.
Вздрогнув, зажгу дрова.

Сладким, с горчинкой, соком
Её напоила земля.
И в этом был смысл высокий,
Как всё в этом мире не зря.

ДЕД

Сказали – без вести пропал.
Но я не верю, сводки стёрты.
Ко мне приходит Петрован,
Мой дед, в линялой гимнастёрке.

Садится с краю на кровать,
Высокий и сорокалетний.
«Устал я, паря, воевать.
Верни меня, внучок, в деревню.

Ты дай мне в руки мой топор,
Ведь я был плотником от бога.
Да и в деревне до сих пор
Моя нужна людям подмога».

* * *

Закрывается клапан сердечный,
Зацветает в саду резеда.
А далёко – в стремлении млечном,
Погибает шальная звезда.

Всё увязано мёртвой хваткой:
Оживает весной ковыль,
А по жалу литовки гладкой
Перед смертью свистит полынь.

* * *

Плыл туман сквозь стога.
И ложилась усталая морось.
Видел я – по осенним логам
Уходила и пряталась молодость...

* * *

В часы душевного покоя
Я представляю сосен шум.
И ливень серого покроя.
И холодок от тяжких дум.

И ветерок в осеннем поле,
И зов простуженных дорог.
Где есть для нас родной до боли,
Родной до боли уголок.

* * *

В эти дни мы подолгу молчали.
Как мучительны были те дни.
Они стали как вестник печали,
Той, которая горю сродни.

* * *

Мир дому твоему,
Осенний листопад.
Уже в твоём плену
Который день подряд.

Который день – исход
И листьев, и травы.
И времени приход –
Сквозной лесной молвы.

Сквозная пустота
Пронзила нас насквозь.
Святая простота –
Когда всё в мире врозь.

Отдельны ветвь и лист,
Отдельны мы с тобой.
Лишь только Ференц Лист
С музыкой золотой.

Её родил скрипач
От счастья, от тоски.
Мелодий лёгкий плач,
И дождик бьёт в виски.

* * *

Павел, Леонтий, Макар,
Фёдор, Сергей, Мария.
Милый житейский дар
Предкам судьба дарила.

Вот они вдалеке –
Ясные, как сказание.
Как в коренной строке
Листьев моих мечтание.

И улетает вверх
Птиц голубая стая.
Но серебрится мех
Красного горностая.

Как в забытье, во сне
Вьётся тревожный ворон.
И утопает в снег
Русский несчастный воин.

* * *

Зима к нам нынче припозднилась.
Уже к исходу ноября
Берёзам всё позёмка снилась.
А ивам – тёплые моря.

Но, переполненный страстями,
Темнел и плакал небосвод.
Ты в роще с жёлтыми кистями,
Шутя, сказала мне: « Милорд,

Как осень нынче припозднилась,
Как припозднились холода.
Сегодня мне позёмка снилась,
И тополь в полночи страдал.

Он нагадал мне серой скуки,
И сеял праздные листы.
Но нет на свете горше муки,
Когда, как холод, входишь ты».

* * *

Затосковала мать по сыну.
Упали плечи, голос стих.
И вечер, вечер звонко-синий
К стеклу оконному приник.

Затосковала мать по сыну,
Глаза ударились в бега.
И показалась очень длинной
Жизнь у родного очага.

Затосковала мать по сыну.
Её вытягивал, маня,
Там на колосьях серый иней,
Что пал на милые поля.

Затосковала мать по сыну.
На догорающий закат
Молилась долго. И просила,
Чтоб встал из мёртвых сын-солдат.

* * *

Бабушкин взгляд и руки:
Мелькнут по судьбе-избе.
Словно и нет разлуки,
Словно в святой излуке
Я снова иду к себе.

Бабушкин взгляд и руки:
Снов колыбель моих.
Лекари и подруги –
Эти простые руки
Ладили за двоих.

Да за троих работали,
Небо, их вознеси.
И под своими сводами
Их освети заботами,
Да сохрани, спаси.

* * *

Люблю я русские дороги.
По большаку – полынный ряд.
И васильки летят под ноги,
И подорожники летят.

И разнотравье, и раздолье.
Две пыльных вьются колеи.
И хор кузнечиков, и поле,
Как море, плещется вдали.

Как заклинанье, как прощенье,
Летят по небу облака.
И веют светлым утешеньем
Колосья хлеба. И слегка

Колышет марево тумана
Под утро лёгкий ветерок.
И вечно манит, вечно манит
Какой-то дальний хуторок.

* * *

Тихая моя родина…
Н. Рубцов

Светлая моя родина
С первым снегом своим.
Сколько с тобою пройдено,
Сколько прожито зим.

Всё, что отсюда вынес,
В сердце своём храню.
На этой земле я вырос,
В звонком лесном краю.

Здесь, на реке и в поле,
В рощах березняка,
Я напитался вволю
Светом родным. Легка

Стала мне ноша жизни.
Вот и иду с тех пор.
С милою укоризной
Меня провожает бор.

Что-то шепнёт малинник,
Прощально махнёт дымок.
Пусть будет дорога длинной,
Пусть будет мой путь далёк.

* * *

Водка. Холодно. Подворотня.
Нет аптеки, нет фонаря…
Замерзает бездомный тихоня
На исходе зимнего дня.

И сосновые доски, что койка.
Мыслей проблески, и метель.
Ему домик привиделся только,
Домик, полный весёлых детей.

И душа, словно выжженный купол,
Припорошенная снежком,
Вдруг затихла с улыбкою глупой,
И пошла вдоль забора пешком.

Дай нам, боже, терпенья и силы.
И великую скорбь. И печаль.
Чтобы чёрствые души России
Вновь смогли бы беду замечать.

* * *

Люблю я тишь библиотек.
И холод книжных магазинов.
Когда слетает с окон снег
И лёд на реках синий, синий.

Уединенья лёгкий шум,
Как будто говор голубиный.
А с крыш капель: бум-бум, бум-бум.
И день погожий – длинный, длинный.

ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ

Не ван-гоговская картина.
Просто – мы сидим у костра.
И на сердце у нас именины –
Мы картофель едим из ведра.

Запечённый в углях. И в саже.
С коркой вкусной, словно урюк.
Кто нас здесь, пацанов, рассаживал?
Да нужда нас сбивала в круг.

На втором бы нам выжить хлебе,
Если первого не достать.
Кто за нас отслужил молебен?!
Все мы выросли: плоть и стать.

Возносила судьба и до трюфеля.
Много в жизни я повидал.
Но вкуснее того картофеля
В этой жизни я не едал.

ДОМ

1
Высокий дом деревенский –
Под Кемеровом, в Червяках, –
Сейчас под управой сельской.
А рядом течёт река.

Строил дед его с младшим братом –
Кулаки, как потом узнал.
Как-то днём – с «Отче наш» и матом –
Всех в подводы и на вокзал.

Дом красив был – один в округе.
Статный, крепкий – как Русь сама.
Гнули бесы из мира дуги,
Получилось: тюрьма да сума.

Ну а дом этот выстоял, ладный.
Помнит он работящий люд.
Хлебом-солью народ здесь радовали.
Да и маслом кормили тут.

2
Дома, дома по всей России…
Я вижу, вижу вещий сон –
Что мы душой не износились,
И что идём к ним на поклон.

РОДИМЧИК

Бил в детстве меня родимчик –
Думали, что помру.
Но с перекошенным личиком
Вернулся из мрака к утру.

Будто пришёл с прогулки,
Где леденил туман,
Филин где ухал гулко,
Гулко – на весь урман…

Нас возвращают к жизни,
Казалось бы, пустяки:
Услышишь кукушку трижды,
Вспенится стрежь реки.

Ветер скользнёт по лужам,
Зазолотится рожь…
Дымок над селом закружит.
Заплачет на крыше дождь.

* * *
Этот дом дышит хлебом родным
И пристанищем. Милым, последним.
Здесь взращённые мною сады
Под присмотром цветут многолетним…

Дай мне Боже, вот так и прожить,
Никуда не лететь на красивые блёстки.
Жить, как здесь поживают стрижи,
Как живут здесь «кукушкины слёзки».

* * *

Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить.
Дельвиг

Блок перед смертью слышать перестал.
Так он сказал – «Я ничего не слышу».
На Офицерской, где-то у моста,
Промчался экипаж. В углу шуршали мыши.

Блок ничего не слышал. И молчал.
Любови Дмитриевны шаги за занавеской
Украдкой шли. Их он ощущал,
Как свет в окне, болезненный и резкий.

Покоя нет. Покой нам только снится.
На поле Куликовом ляжет тьма.
О Русь, как тяжела твоя десница,
Как неприветлива порой и ты сама.

Певец пронзительный, тревожный,
Никто так не любил тебя, как он.
И вот в порыве невозможном
Ты бросила его. А может, это сон?

И вот он встанет, сбросив смертный хлам.
Увидит птиц, раскинув настежь шторы,
И он услышит, как его стихам
Созвучны русские просторы.

* * *

Когда струится дождь,
Деревья плачут.
Мне кто-то скажет: «Что ж,
Нельзя иначе».

Бегут потоки слёз
И очищают.
Под этим ливнем рос
И я. В начале

Был виден белый свет
И жемчуг капель.

Теперь того уж нет.
На белый кафель

Сойдёт оконный свет
И обозначит –
И здесь покоя нет…
Деревья плачут.

* * *

Дайте неба мне – синего и дорогого,
Где дорога под шагом шуршит.
Дайте хлеба, как милость, простого
На последние наши гроши.

Наша бедность – светила и грела,
Была сеятелем добра.
Она песни народные пела,
Все душевные силы собрав.

Наша бедность – счастливое время,
Я бегу босиком по полям.
Собираю соломы беремя
И несу, всё на свете обняв.

* * *

Всё проверено много раз,
Золотою не быть середине.
Друг уехал вчера на Кавказ.
Его женщина плачет в Медыни.

Что ж, ей плакать, как встарь. Не вина,
Что историю двигать по кругу
Научились. Но всё-таки плачет она,
На тоску, на беду, на разлуку.

Небо сеет белёсой крупой.
На окраины ветер слетает.
И утюжит морозец прибрежный покой,
И снега завивает цветами.

Залетает созвездий мираж,
И скользит по бескрайнему полю.
Этот мир так устроен, но всё-таки наш.
Знать, нести до конца его долю.

И опять же, как встарь, на ветру
Будет женщина плакать от горя.
Этот миф, этот плач на миру
Будет даль волновать, словно море.

* * *

Белыми одеждами
Озеро покрылось.
Жить теперь надеждами.
Ждать тепла и милость.

Улетели уточки.
Их теперь не сыщешь.
Побелели улочки,
Только ветер свищет.

* * *

Вот так, в преддверии зимы
На искончанье лета –
Возьму от этой кутерьмы
Чудесные приметы.

Возьму метания листвы,
Холодный проблеск лужи.
И замирание травы,
И первый натиск стужи.

УТРО. ДЕТСТВО

Только с рассветом встаём,
Кажется, птицы летают.
– Бабушка, что за окном?
– Всюду землица святая.

– Бабушка, что же метель
Так заметает землицу?
– Чтоб белоснежна постель,
Светом могла возродиться.

– Бабушка, что так скрипят
Нынче опять половицы?

– Это для малых ребят
Музыка – им ведь не спится.

Это для малых ребят
Скрыпками петь половицам,
Чтоб им приснились опять
Светлые, светлые лица.

* * *

Как мало для радости надо.
Мелькнёт огонёк за окном.
Под вечер ложится прохлада,
Темнеет лесок за оградой,
И тянет с реки холодком.

А вот уже стадо у брода:
Пастух тихо щёлкнул кнутом.
Проедет с дровами подвода…
Старушки (опять взяли моду)
Сидят-говорят обо всём.

* * *

Синие, синие ночи.
Белые, белые дни.
Что моя милая хочет,
Вот и остались одни.

Что моя милая знает,
Ласки твои не сберёг.
У деревенских окраин
Стынет забытый стог.

Всё ему одиноко
Там, где примята трава.
Речка была так глубока.
Так – высока синева.

* * *

Сколько мудрости в песне народной.
Бесконечны напевы, легки.
То нахлынет струёю холодной,
Как дыханье могучей реки.

То, послушайте, во прибрежных
Она шепчется в тальниках.
То зальётся мелодией нежной
То затихнет. То снова, легка,

Полетит по бескрайнему морю –
По зелёным полям и лугам.
Сколько в ней освежающей боли.
Сколько грусти. И вижу – что там,

На далёких и прежних заставах,
Где тревожные ветры метут,
Мои предки встают не для славы,
Не для радости песни поют.

* * *

Уже – осенняя печаль
И незаметно, невзначай
Легла на наши голоса,
На это небо, на леса.

Ещё округа зеленеет,
Ещё невидим жёлтый лист.
Но вот уже в ночи бледнеет
И холодеет лунный диск.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Ай да увяли все цветочки
За селом.
Ай да не машут нам платочком.
Поделом.

То мороз, то дождичек – велики.
Им поклон.
То сосульки брякают – динь-диньки.
У окон.

Ай да красны девицы разбрелись
Кто куда.
Не по нраву стала им эта жизнь,
Вот так – да.

Снегом припорошена вся земля.
Тишь да гладь.
Жили мы хорошие, ой-ля-ля,
Всем под стать.

ВСТРЕЧА

Сказали – ровный человек,
Усталый взгляд, седые руки.
Сказали – здравствуй, человек.
Вот твой обед и тёплый угол.

Затем нашёлся разговор,
Он тёк неспешною волною.
Когда осматривали двор,
Года стояли за спиною.

Как будто прожита вся жизнь,
Как будто знали век друг друга.
И лёгкий ветер вился ввысь,
И отлетала злая скука.

Вот так – на жизненном пути
Нас озарит вдруг встречный образ.
Своею грустью осветит,
И долго слышишь этот голос.

* * *

Эта птичка-невеличка –
На высоком на юру…
Промелькнёт душа-чумичка
Во сосновом во бору.

Промелькнёт одним побегом,
Как цветочек полевой.
И порою, где бы ни был,
Свищет ветер болевой.

И тоска такая ляжет,
Что утеряна краса…
Что сосед мой дядя Яша
Долго смотрит в небеса.

Что ему там приглянулось?
Что он ждёт в краю родном?
Он не знает. Просто скрылось
Счастье в домике одном.

* * *

Давала поначалу
Мне бабушка наказ:
Ты, внучек, без печали
Работай в этот раз.

Ведь нынешня работа
От света самого.
Зимою ни заботы, –
Картошки – о-го-го.

Заквашена капуста,
Что в бочке у дверей.
Вот огурцов не густо.
Зато – свеклы полней.

И чайник бьётся вроде,
И кот бежит к печи.
А бабушка заводит
Блины да калачи.

А я беру чернила
И ручку, и перо.
Пишу, что летом было,
Про дождик, про село.

А к нам уже стучится
Метелица в окно.
И серебром лучится
Фонарик, как в кино.

* * *

Что мне машут просторы лесные
И озёрный мой край с ковылём?
Это ветры несут стременные
Облака над притихшей землёй.

Это там, где стожок, за овином
Разметалась подруга-река.
Это там с поцелуем невинным
Мне махнули платочком – пока.

Ты порадуй меня, человече.
Расскажи про земные дела.
Про дома, огороды и печи.
И про то, как метель тут мела.

И про то, как платочком махала
Та берёзка и ветром жила.
И взлетало в цветах покрывало,
И вдруг стала невеста – жена.

* * *

Это в нашем северном просторе
Лебеди летели так высоко.
Это в нашем северном просторе
Реченька таилась так глубоко.

Выходил к той речке паренёчек,
И глядел он в даль на лебедей.
И был светел праздничный денёчек,
И был праздник красный у людей.

Что же так гармоника играла?
Что же гармонисту весело?
Что же ему место нынче мало,
Что так закудрявилось село?

Потому под клёкот лебединый
Уносилось сердце на простор.
Вышивала девица старинный
На платочке голубой узор.

* * *

Эх, летели-полетели соколы.
Много люду их встречало у горы.
У горы, на поле вольном, у скалы.
Когда осень принесла свои плоды,
Снова, снова полетели соколы.

Эх, летели утки-уточки опять.
Над озёрами, над речкой удалой.
Чтобы горюшко-тоску свою унять,
Будет вечер, будет вечер молодой.
Серы уточки промчались над водой.

Эх, летели-полетели снегири.
Бело поле, бело поле всё кругом.
Только сени в снег летящий отвори –
Прилетели, прилетели снегири.
В красных фартучках уселись до зари.

* * *

Что сказал человек?
Что подумал он, грешный?
С тяжелеющих век
Взгляд и грустный, и нежный.

Он прошёл этот путь –
До родного порога…
Он пришёл отдохнуть.
Ему надо немного.

Горсть родного тепла,
Синевы – за окошком.
Да вот речка б текла,
Да росла бы морошка.

* * *

Александру Смышляеву

В этой нашей горестной юдоли,
Что в морозном воздухе ночном,
Мчались кони, словно ветры в поле.
Кажется, их видел за окном.
Но откуда взяться им, ретивым?..
Вот промчались, канули опять.
Только звёзды расплескались в гривах,
Трудно было что-либо понять.

Может, мне приносит утешенье
Царь ночной, предвестник добрых дел…
Надо бы собрать на угощенье
Всех моих неузнанных друзей.

Пусть они на лавочках присядут
За столом, у моего огня.
Лица их туманами объяты,
И они не узнают меня.

Да и как узнать, лишь только память
Мимолётных встреч хранит секрет.
Здесь я навсегда остался с вами,
Вы ж – со мной. А может быть, – и нет.
Где-то там, в далёком захолустье,
На исходе тёплых, светлых дней,
Добрый друг глаза свои опустит,
Да и вспомнит, может, обо мне.

* * *

Людмиле

Разбегаются васильки.
Отчего же им разбегаться.
Просто кончились сосняки.
И дорога – по полю, братцы.

Придорожные эти цветы,
Ярок цвет их на русской равнине.
Голубее их нет, помнишь ты,
Как по травам – по морю ходили.

Пронеслась золотая искра,
И пыльца оседала под вечер.
И сидели мы до утра,
И казалось, что мир этот вечен.

И что будем мы вместе с тобой,
Никогда, никогда не прощаясь.
И стоит этот цвет голубой,
В васильках поднимаясь.

* * *

От этих заснеженных мест
Теплота пробивалась.
Помню твой лёгкий жест,
Да и улыбка – осталась.

Мы забрали с собой
То, что тогда не сказали.
Жизнь – возвращает домой,
Тянет с чужих вокзалов.

Как не врастали в дома
Дальних и близких пределов.
Жизнь всё расставит сама.
Скажет, что нужно делать.

* * *

В этой книге тебя ещё нет,
Нет в этой книге.
Разбиваю осеннюю медь,
Одеваю лесные вериги.

* * *

Это тех стариков, сумасбродов и пьяниц,
Вспомнил я.
Был на них несмываемый глянец
Бытия…

МАГАДАН

Хрусталём отливает ночь.
Плюнешь – плевок на лету застывает.
Занесло же меня время в ступе толочь
И душу холодом маять.

ПЕСНЬ РЫБАКА

Бесконечна даль,
Ни дна, ни берега.
А туман, что шаль
Цвета белого.

И плывёт баркас,
Полный рыбою.
Не теряйте нас,
Мы не выбыли.

Нас несёт сейчас
Море синее.
И не видно глаз,
Они в инее.

Нет и счастья нам,
Бедным олухам.
И несёт волна,
Да всё волоком.

Но на том мысу,
Да на родненьком,
Я найду красу
В платье модненьком.

Будем жить с красой
Припеваючи.
И ходить росой,
Всё играючи.

ВЕСНА

Продёрнет снежок,
Как мысль одиноких окраин.
Забытый стожок
Замрёт от весенних окалин.

И хочется повернуть
Усталый свой взгляд на дорогу.
И основательна суть –
Земля возрождается к сроку.

* * *

Скажите мне, синие воды,
Далёкий сияющий лес,
Вам много ли надо свободы
От этих летящих небес.

Вы кровной прикованы цепью
К тяжёлым родным берегам.
Накрыты зелёною сетью
И шепчете что-то векам.

И вы никогда не роптали,
Не буйствовали, не рвались
В какие–то дальние дали,
В какую-то дальнюю высь.

Приветствую ваше терпенье,
Смотрю корневую судьбу.
И вижу – лесов продолженье,
И вижу – воды синеву.

* * *

Охота к перемене мест
Весной всё явственней и жгуче.
Подобие звезды падучей –
Лечу, не видя, что окрест.

Пора уже остановиться,
И крепко встать в родном краю.
Но тянет, тянет, словно птицу,
Куда-то душеньку мою.

* * *

Кабанка, Полянка.
Дорога – на Уральск.
Поёт, поёт тальянка.
Несутся ноги в пляс.

Несутся до околицы,
До тропки полевой.
До девушки, до горлицы,
Красавицы такой.

И так она забрезжится,
Судьбина – вот была.
Засветится, занежится,
Как дымка у села.

И так она завьюжится,
Закрутит, засвистит.
Да подморозит лужицы,
Да снегом угостит.

* * *

Что же ты говоришь, говоришь.
Что-то, наверное, важное.
А я витаю далёко, вишь…
Ты продолжай, отважная.

В море слов легко утонуть,
Легко затеряться в их частоколе.
Жить ощущеньями как-нибудь
Сложнее того, что глаголем.

Всё же давай помолчим…
Может, не к месту и мысли.
В Каунасе, помнишь, грачи
На проводах нависли.

Помнишь, бродили тогда
Мы у Девятого форта.
Стыли слова. И вода
Била густым аккордом…

Видишь, лист – прилепился,
Под ветерком – алеет.
Где-нибудь в Саласпилсе
Ему тревожнее на аллеях.

Сомнут дождинки-стрекозы
Лист на краю Майданека.
Там давно затвердели слёзы,
Сгнили следы охранников.

* * *

Валерию Сердюку

Красивый идёт человек,
Идёт человек мне навстречу.
Лукав его взгляд из-под век,
Здравствуй, скажу, человече.

Вот и сошлись на виду
Белых берёз и снега.
Как в стародавнем году,
Встретились два человека.

Встретились, разошлись.
Несли за плечами судьбину.
Вышла такой эта жись.
Какой ни была бы – любима.

Какой ни была бы – одна.
Дана нам под честное слово.
Как сквозь стекло, – вся видна,
Всегда дорога нам и нова.

ДЕТСТВО

Не знаю, было – не было.
Но помнится одно –
Так много света белого
Светило мне в окно.

* * *

Уже как будто к ночи,
И ветер приутих.
А бабушка хлопочет,
Смахнув платок на миг.

А бабушка судачит –
Простые всё слова.
Но они много значат,
Как для тепла дрова.

И в этом воркованье
Уснуть легко, легко.
В волшебном одеянье
Волшебное окно.

* * *

Жизни всегда мало,
Чтоб наконец прозреть:
То, что делал упрямо,
Не стоило бы – и на треть.

Только потом приходит,
Будто издалека –
Это не сделал вроде,
А то отложил пока.

Самые лучшие люди –
Дети и старики.
Ты их жалел, голубил
Холоду вопреки!?

Много ль приветил страждущих,
Сирых, убогих, больных?
И успокоил жаждущих?
И удостоил иных?

* * *

Не спугните музыку. Не надо.
Все устали от пустых речей.
Эти листья сыплет за оградой
Вольный ветер, вечный казначей.

Отдохните на лесной опушке,
Пригубите вечности глоток.
Посидите у лесной избушки,
Там, где веет вещий холодок.

* * *

Как-то всё больше тянет к земле,
К запахам прелой листвы.
Хочется картошку испечь в золе,
Быть поклонником у травы.

Хочется в небо поднять глаза,
Чтобы синь затекала в них…
Не верь тому, кто тебе сказал,
Что нет лесов голубых.

* * *

Благословляю образ твой.
И дней твоих святую поступь.
Глаза с песчинкой золотой,
Твоих волос простую россыпь.

Благословляю времена,
Что нас с тобой соединили.
Друзей совместных имена,
И слов твоих холодный иней.

Благословляю прямоту
Твоих ночных переживаний.
И чувств ответных глухоту,
И бесконечность расставаний.

* * *

Давно я не был в Вертикосе,
На величавом берегу.
Там Обь несётся.
Кто-то бросил
Её у неба на виду.

Я был здесь юным и красивым,
А может, и любимым был.
Меня дороги уносили,
Но я тебя не позабыл.

Не позабыл я цокот дробный
Твоих весёлых каблуков.
О Вертикос! О шёпот робкий!
О кедров шум! О шум веков!

ВОРЮХИНО

Так называлось село Варюхино,
бывшее, по свидетельству
краеведов, воровской станицей.

У Ворюхино ворон носится,
Ветер вьюжится на юру.
А ко мне с того века просится
Вор, гуляка и говорун.

Вот и сели с ним на приступочке,
Что у крайней избы, на виду,
Хлестанули по три мы рюмочки
Первача. И он завернул.

Начал сказывать: «Трали-вали,
Воровская была гроза.
Мы купчишек много имали,
Помолившись на образа.

Где подвода, а где обозик –
Золотишко, меха и хлеб.
Ну, кого-то и стукнешь разик –
Так ведь промысел Божий слеп.

Нынче сильно дивлюсь на вас:
Что ни прыщ, то в князья ведь метит!
Не страна – воровской приказ.
Что же деется в белом свете…».

ПАРАБЕЛЬСКИЙ МУЖИЧОК

Погибшим и выжившим
спецпереселенцам

1
Парабельский мужичок,
Всероссийский паря,
Получил такой «щелчок»
Не от государя.

Парабельский мужичок,
Ловкий, как корчага.
Но и мудрый, как сверчок,
Словом – молодчага.

Были, были времена
И лиха година.
Плыли люди – вот «стена»:
Лес и холодина.

Бросили на берег их,
Здесь, у Парабели.
Выживали в путах злых.
Да не все сумели.

Кто землянки, норы рыл,
Зверю уподобясь…
Кто под лёд тогда уплыл.
Смерть – не часто доблесть.

Мать повесилась тогда
В жуткой круговерти.

Только так детей смогла
Увести от смерти.

Их в детдом забрали здесь.
Голод, холод... – «Сладим!»
Судеб здесь таких не счесть,
Поседеешь, глядя.

Чумовой буранный вой
Бьётся, бьётся в ставни:
Мужичок был с головой –
Ставил избы, ставил.

Как погосту ни расти –
Избы пересилят.
Может, можно здесь найти,
Средь болот, Россию.

Это будет: велико,
Далеко и страшно.
Злобу будет нелегко
Изживать. Но важно,

Чтоб её не привечать,
Не изгадить душу.
С горем счастье повенчать –
В этом корень, друже.

2

Три женщины на мраморной плите.
И три берёзки с ними рядом.
(Мемориал возле Парабельской больницы)

Три берёзки – три сестры.
Три судьбы в граните.
Шелестят-метут листы –
Души наши слиты.

Души наши полетят
Птицами над Обью.
И на холмиках девчат
Сядут в изголовье.

На высоком берегу
Строилась больница.
Мужичок тот был крикун –
Бога не боится.

От топорика летят
Щепки по сугробам.
Мужичка ведь приглядят –
Злоба иль зазноба.

Иль берёзки прибегут,
Да и спляшут сами.
Иль, как памятник, замрут,
Закипят слезами.

Нет, зазноба прибежит –
Пышет жаром, пылом.
Будет память, как ножи, –
Горе сломят миром.

Горе-горюшко уйдёт
Полем, кедрачом ли.
Затаится, как удод,
Улетит – грачом ли?

Или коршуном вдали
Высмотрит добычу.
Ты любовь мне подари,
Счастье сам покличу.

3
Уплывал в седой Нельмач
Радостно Данила.
А скрутило – плачь не плачь,
Лодка – не могила.

В лодке тихо умирал,
Как ребёнок в люльке.
Вспомнил всех по именам:
Лаской убаюкал.

Вспомнил сына своего,
Что в Афгане сгинул,
И родимое село –
Вереницей длинной.

Вспомнил холмики стогов,
Что зимой отрада.
Жить бы сорок сороков,
Больше и не надо.

Больших бед не пережить,
Только сгинуть проще.
Кто там на ветру дрожит?
Из берёзок роща.

К дому тянет, как магнит,
Даже деревяшку.
Если дом трубой дымит?
Поднесут рюмашку.

С телом деда приплыла
Лодка, в берег билась...
Жизнь, была иль не была?
Дольше жизни длилась.

Ну а здесь оборвалась
Да далече скрылась.
Хоть злодейкою звалась,
Всё равно ведь – милость.

Вижу лодку впереди,
Деда буду славить.
Как мне сердце охладить,
Горечь снам оставить.

Парабельский мужичок!
Ты в народе, в гуще.
Крутит, крутится волчок,
Что метелью пущен.

4.

Нагоревшим жаром пышет печка.
Он сидит, нахохлившись как сыч.
Продевает в дымное колечко
Из махорки – собственную жизнь.

Борис Серебренников,
упокоившийся в Нельмаче

Продевал судьбу в колечки
Вальщик леса и поэт.
Время лечит, время лечит,
Если встанешь ты чуть свет.

И литовочку поправишь,
И пойдёшь на свой покос.
И начнёшь ты землю славить,
На которой ты возрос.

Чёрной ниткою беду
Пришивал ко дну оврага.
Ну а радость на виду
Оставлял. Вот так и надо.

У земли ведь нет и края –
Тут ты прав, поэт Борис! –
Как и у любви – окраин…
И следы оборвались.

И ушла твоя подруга,
Лебедицей взвилась вверх,
А у жизненного круга
Без подруги свет померк.

Спрятал боли все в себе,
Старые стряхнул обиды.
Песню сложил о судьбе
И сказал земле – мы квиты.

Лишь душа твоя живая
Над тайгою полетит.
Как варакушка шальная,
Как поэма, зазвенит.

Парабельский мужичок,
Пред тобой склониться
Я спешу на пятачок…
Да с народом слиться.

Славный выдался денёк:
Сколько новостроек!
Парабельский мужичок,
Ты по жизни – стоек.

Поклонюсь просторам этим,
Стану сам здесь как сверчок.
Будет славен в этом свете
Парабельский мужичок.

СОН

Я давно так не спал –
Сном мертвецким.
У шатра я упал
Под мечом половецким.

Как же мне убежать?!
Я распластан. О, братья!
И лежит моя рать.
И не встать ей.

Не свистеть, не гулять,
Не сидеть мне с друзьями.
Вот коня бы обнять
И умчаться полями.

Да и там умереть,
У родного порога.
Русь под гнётом, и ей
Нет прощенья у Бога.

ПЕСНЯ

Аккордеона всплески золотые
Летят над обездоленной землёй.
Я помню, помню, в годы молодые
Как плакал, долго слушая её.

Ту песню, в ней страданья беззастенчивы,
В ней горе билось вольною рекой.
И тёмная тоска над лёгким вечером
Овладевала детскою душой.

Над чем я плакал на виду у неба?
Быть может, над избушкой земляной.
Что сахар кончился, на завтра нет и хлеба,
Что все мы здесь придавлены нуждой.

Что надо воровать с полей солому,
Дрова и уголь в дикую метель.
Что предала нас мать, отец ушёл из дома,
А бабушке одной не выкормить детей.

* * *

Всё проходит. Вот и лето – тоже
Отзвенит, отплачет, отгорит.
Будем потихонечку итожить,
Что успели, что ещё – вдали.

Всё проходит. Что-то остаётся.
Может быть – тот шелест тополей.
Он то серебрится, то смеётся,
Дымкой поднимается с полей.

И, как раньше, в поле лебедином
Взмоет вверх и облаком замрёт,
Станет вестью, утреннею льдинкой,
Ускользнёт, как ранний самолёт.

* * *

Придёт беда, тогда осознаём
Родных краёв пронзительную близость.
Когда темнеет жизни водоём,
Здесь каждый взгляд – подарок или милость.

Давно ли убегали от дождя,
Сейчас готовы наслаждаться ливнем.
И только здесь приветливей заря,
И только здесь тебя услышат. Крикни.

Здесь эхо мимолётное живёт,
От детских лет до старости, до гроба.
Здесь мы когда-то собрались в полёт,
Но возвратились. «Погодим немного» –

Сказали. И остались навсегда,
Чтобы сберечь тепло родного дома.
Не сберегли. Рассыпались тогда,
Как сыплется под ветрами солома.

* * *

Эти белые строки,
Эти чёрные дни…
Я стою – одинокий,
Без тебя, без родни.

И всё было б иначе,
Если заново жить.
Если заново начать
С этим миром дружить.

Но не видно дороги…
Как судьбу не вини,
Лягут белые строки
В эти чёрные дни.

Владимир КОСТИН

Колокол и Болото

Владимир Михайлович КОСТИН

Родился в 1955 году в г. Абакане (Республика Хакасия). Выпускник филологического факультета Томского государственного университета, кандидат филологических наук (работы о творчестве В. А. Жуковского и А. С. Пушкина).

Работал главным редактором журнала «Начало века», редактором литературно-художественного альманаха, работал на телевидении, где был главным редактором, автором и ведущим еженедельной программы «Разум XXI век».

Автор книг прозы «Небо голубое, сложенное вдвое» (1998), «Годовые кольца» (2008), «Коробок» (2015), роман «Колокол и Болото» (2012), пьесы «От равнины до равнины, через три реки», поставленной Томским театром драмы в год 60-летия Победы.

Стал лауреатом (2-е место в читательском конкурсе) национальной литературной премии «Большая книга», стал финалистом всероссийской литературной премии «Золотой Дервиг».

Колокол и Болото

Роман

…В те дни, как все везде в разгулье:
Политика и правосудье,
Ум, совесть, и закон святой,
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой,
Судьбами смертных пунтируют,
Вселенну в трантелево гнут;
Как полюсы, меридианы,
Науки, музы, боги – пьяны,
Все скачут, пляшут и поют…

Г. Р. Державин
На счастие

В одной знакомой улице –
Я помню старый дом,
С высокой тёмной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонёк, как звёздочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил…

Я. П. Полонский
Затворница

Глава первая
Дождь и Большой Андрос

Пятьдесят лет тому назад, будучи от горшка два вершка, на берегу озера Кызыкуль, в тысяче вёрст на юго-восток от Потомска я впервые услыхал о Болоте и Колоколе.

Услыхал совершенно случайно, необязательно; мне и присниться тогда не могло, что в заслуженном сибирском городе Потомске, городе университетском, мастерской всяческой науки и кладбище всевозможных талантов, я проживу уже сорок лет, всё настойчивее (и обречённее) мечтая провести остаток жизни где-нибудь рядом с озером Кызыкуль.

Тогда я собирался жить на Марсе или, если не повезёт, на Луне.

Наступил август, в тех краях месяц всё ещё могучего, знойного солнца — но уже пополам с увесистыми, затяжными дождями. И вот то солнце выжигает накопившуюся воду, то прогретая земля борется с надоедливыми дождями, не хочет и не успевает остывать. Ночи ещё теплы, мы ещё купаемся в озере, не думая о холодах. Озеро неглубокое, в нём мягкая, ласковая вода.

Енисей, несущийся в километрах западней озера, суров и беспощаден, и даже посреди лета в нём можно только окунаться у кромки берега. Но озёра в южной Сибири, по обоим берегам этой Большой воды, не связаны ни с ней, ни с её притоками. Их канцелярия не в заснеженных горах, а в самих солнечных небесах.

Озеро Кызыкуль — маленькое, уютное; с берегов в воду сбегает чистенький песочек и бежит до нестрашной глубины долго; по колено, по пояс человеку озёрная вода — хорошо детям и тем, кто купается, как дети. В камышовых ресницах широкие просветы; дно заросло красно-бурыми водорослями, они вытягиваются до поверхности, щекочут пловцов и шелестят по дну лодок. Карасей видимо-невидимо, и множество их съедается ежедневно, обвалянных в муке и целиком зажаренных в хворост на просторах сковородок, на открытом огне. И запиваются они травяным чаем из металлических, «геологических» кружек.

А вокруг, в разнолесье, — поляна за поляной с прославленной, необыкновенной — мелкой, но божественно ароматной земляникой. Густейшее варенье, такое, что ягоды хрустят на зубах, курится вечерами в тазах, на кирпичиках, — и кирпичи эти сознательно привозятся из города и оберегаются их хозяевами, которые прячут их до следующей варки в палатках.

Какой дух стоит в это время над берегом, добираясь до рыбачьей лодки на середине озера! Но открой банку с этим вареньем через месяц, через год — и обомлеешь, и расцветёшь, и зажужжишь пчелой, и вспомнишь тихий дымный вечер, и лица, и разговоры, и безумного бурундучка, который как нарочно примчался на запах варенья из твоего первого в жизни ведёрка дикой земляники.

И так хорошо на этом озере, что местные жители были уверены, что в нём хоть однажды да купался В. И. Ульянов. Шушенское-то — рукой подать! Может быть, но сиё есть тайна. Ах, если бы он хоть однажды, оставив дома своё дорогущее бельгийское ружьё, сходил по эту землянику!

Но уж точно — не ходил. Нет сомнений.

На северном берегу озера располагался районный дом отдыха. Там отдыхали в основном премированные сельские труженики и немногие райцентровские служащие из низовых (начальники и председатели восстанавливали силы в других местах). Там поставили магазинчик сельпо, где можно было купить хлеб, папиросы, соль, спички, мыло, рыбные консервы, пряники, газировку, пиво и водку, а также носки, трусы, тапочки и панамы из непонятной белой фланели.

Южный берег озера принадлежал А-скому пединституту, раскинувшему здесь свой спортивно-оздоровительный лагерь. Спортом занимались отличившиеся на этом поприще студенты, а оздоровлялись преподаватели пединститута и их семейные, включая кошек и собак.

Никакой роскоши: жили в палатках, питались в полевой столовой, готовили по очереди сами (в том смысле, что повариха была одна, командуя дежурными), дети чистили картошку и мыли в озере посуду, отчего в отвёденном для того месте по расписанию собиралась противоестественная прорва озверевших карасей.

Связь с внешним миром надёжная: «тарелка» в столовой, стенд с газетами пятидневной свежести, личные приёмники-транзисторы — солидные «Спидолы» и ручные «Селги» и «Веги». Вечерами, перед сном, они бормотали, кряхтели и пели во всех палатках и перед палатками, перебивая друг друга и перемигиваясь зелёными огоньками, что наводило на передовые и благородные мысли о планете Земля.

Занятия: купание и много раз купание и загорание; футбол, волейбол, велосипед, жеманный бадминтон, вязание, рыбная ловля, грибы и земляника; чтение — журналы в очередь, Хемингуэй, научная фантастика, советская и зарубежная; особо — интеллигентное обсуждение книг, добыч, политических событий (например, Куба или Китай), прогнозы о ближайшем и далёком будущем человечества.

Пили, в отечественном смысле, мало, умеренно. Пили бы и больше, как привыкли дома. Но положение обязывало, распоясываться перед природой, начальством, студентами и чужими детьми было некрасиво и накладно. Правда, иногда мужчины уходили на целый день в лес, а возвращались с подозрительно полупустыми лукошками, как-то не по трудам уставшие. Но приличия были соблюдены, чего ж вам боле?

Институт был молодой, вешней посадки, собранный с бору по сосенке. Имелась в нём горсточка бывшей «пятьдесят восьмой». Эти люди были отлично образованы, но очень робки. Выйдя на волю и восстановившись в правах, пожилые страдальцы обнаруживали, что возвращаться им некуда и незачем — а в А. давали квартиры! Но большая часть институтских была сорокалетней и интеллигентной в первом поколении, происходя в основном из сельских кущ, частично — из пролетарских семей маленьких сибирских городков. Кто-то уже успел защитить, кто-то, пыхтя, писал или дописывал диссертацию. И все очень ценили своё новое место в советской жизни.

Жили в лагере открыто, дружно, приветливо. Во всяком случае, так казалось детям, вольготно шнырявшим по палаткам и не знавшим отказа ни в чём реалистичном. В учебном году их родители, конечно, и ссорились, и выставляли локти, и интриговали, но летом озеро и дети мирили всех. Впрочем, это дружное житьё-бытьё взрослых ещё и поддерживала коллективная мысль об их известной избранности и призванности, нерядовой образованности. Они не догадывались о своей ограниченности и гордо носили свои «поплавки», и многие привозили их с собой сюда, в глушь, показать берёзам, цепляя их на спортивные рубашки.

Поэтому они с заметным чванством относились к обитателям дома отдыха, а те в отместку на ехидную вежливость вели себя грубо, невоспитанно, нарочно матерились в голос при неизбежных встречах на пороге магазинчика. Домовские даже попробовали однажды задираться на «поплавков», но поистине чудом нарвались на институтского физрука, мастера спорта по штанге, который, можно сказать, по-доброму, но закурял враз двоих «хаелов» под мостками до потери сознания. Однако же при этом он, фронтовик, употребил, в свою очередь, такие мраморные выражения, что женщины-селянки визжали и гоготали от удовольствия.

Эти выражения запомнил наблюдавший битву Костя Андросов, и к вечеру того же дня все дети лагеря, включая пятилетнюю Анечку Жолнерович, повторяли их друг другу как стихи.

Тем хамам ещё повезло. Если бы они атаковали отца Костика, Владимира Михайловича, Большого Андроса, легла бы им дорога

в хирургическое отделение районной больницы. Или в морг. Так авторитетно говорили старшие мальчики в лагере.

Этот Большой Андрос проживал в соседней палатке. Жена его, Ия Серафимовна, преподавала русский язык. У них было трое сыновей, 13, 14 и 16 лет, Костик, Саня и Петя (они оздоровлялись в лагере, живя в отдельной личной палатке, как в вольере для хищной молоди). А сам дядя Володя был слесарем на мехзаводе.

Ию Серафимовну уважали. Она написала диссертацию в 641 страницу. И жалели, потому что сыновья у неё росли хулиганами. А муж — совсем без образования и громила на вид. Вот и сыновья в него. Ия вышла, считали, за него замуж, за пожилого, по своей очкастой некрасоте, заждавшись суженого, не имея выбора. И все, кроме знавших его поближе женщин, подружек Ии, были с ним суховаты, полупобаиваясь-полупрезирая его. Хотя он был учтив и любил приятно поговорить. А — не с кем, «дворяне» отворачивались от него. Очень ему не хватало мужского общения, с бабами разве отведёшь душу?

Он первоклассно играл на аккордеоне со вкусом отобранные лирические мелодии, но получалось, что «поплавки» этого как бы не замечали, не слышали. Подумаешь, гармонист! В общем, он был для них существо придаточное, муж Ии Серафимовны, «не наш».

И его такое положение отношений замыкало, огорчало, уязвляло. Меня, как и других детей, тоже. Уж я-то относился к нему с безмерным почитанием, с упоением внимал его аккордеону. Он сидел перед палаткой на стульчике, а я перед ним на корточках. Это была картиночка Пикассо: огромный Андрос, объёмом в три взрослых тела, — и я, малышок, первый гномик в садике, ростом с его колоссальную голень!

Я даже одевался как он, то есть в любую погоду ходил в одних трусах и босиком. И ведь не простужался, зато загорел до косточек.

Дяде Володе было чуть за шестьдесят, но этот ровесник века воплощал в себе победу натуры над временем. Разве что зубы у него были скверные и через одного на дырку. Росту в нём было полных два метра. Тело безмерное, мосластое, без капельки жира, безволосое — как каменное, и цветом напоминало плитняк разбросанных в степи скифских надгробий. Руки и ноги — сплошные циклопические мускулы — «банки», как тогда говорили. На правой руке отсутствовали два пальца, знак боевой биографии, но это никак не сказывалось на его виртуозной игре. Он как-то застенчиво сутулился, словно конфузился, что только подчёркивало его мощь.

Тело венчала маленькая, ерихонкой, головушка в причёске полубокс с плохо выбритым лицом в свежих и старых порезах и шрамах. Лицо было пунцовое, как будто разогревалось отдельно от туловища. На широком носу гнездились детского вида очочки

с толстыми треснутыми стёклышками, а сквозь стёклышки щурились крошечные, совсем слепые и какие-то розовые, как две редиски, глазки.

Презренный зоолог Павел Павлович, находясь далеко за его спиной, называл его марабу или грифом. Нам, детям, очень хотелось донести на него Большому Андросу и посмотреть, как, взлетая в воздух и суча пухлыми ножками, Павел Павлович издаст жалкие вопли типа: «Что вы себе позволяете?! Я старший преподаватель пединститута!! Я требую: немедленно опустите меня на землю!!!».

Желательно, чтобы в этот момент из его атласных трусов выпала какашка, как однажды у Вовочки Азольского.

До сих пор жалею, что мы побоялись устроить такой французский праздник.

Каждое, самое осторожное движение, каждый жест Большого Андроса меняли качество окружающего пространства. Было ощущение, что Андрос его подвигал, сминал и завихрял.

А вот дети, младшие Андросы, вырастали молодыми и очень многообещающими поганцами. Пакостливы были они безгранично, прямо-таки беззаветно. Они были мясистые, щекастые, огневые и дружные, как трёхголовое зло, что не мешало им от полноты, от радости жизни давать, между вылазками, друг другу в челюсть, пинать друг друга в зад, и вставлять квача, и обливать друг друга водой в сортирной беззащитности.

Ох, не любили они, просто не могли скучать!

Нет, дядя Володя их воспитывал — и сурово. Они его боялись и слушались. Но только пока его видели. В его отсутствие энергия разрушения, вопиявшая в них, тушила страх и искреннее сыновье почтение. Их небольшой разум туманился.

(А мать была для них смешной училкой, которую можно и нужно жалеть, уважать, однако помня, что ум у неё птичий.)

И энергия брала верх. Их было трое, и они неизбежно, по очереди, подначивали друг друга на «слабо», и они выкидывали свои фортели, и потом честно сожалели — ух, занесло, эх, само получилось, — и снова выходили на тропу команчей.

Они выросли на улице рядом с областным ипподромом, в месте, перед которым какая-нибудь Хитровка — холодная классика жанра!

Отец стыдился и страдал. Что, в частности, и стало первой и основной причиной тому, что в одно росистое утро он посвятил меня в тайны своей жизни.

Младшие Андросы публично, «с громом», жгли «фуню» и делали кроткому сыну проректора Константинова «велосипед», засовывая ему спящему между пальцев ног бумажные жгуты и поджигая их. Подглядывали в палатки спортсменок и нашёптывали им

ночью, секретно засунув голову под полог палатки, самые пылкие из неприличных слов, запускали туда ящериц и додумались даже забросить туда суслика, которого они не поленились вылить из норки и притащить за два километра в лагерь.

Недовольство копилось, и народ не безмолвствовал.

Первая буря грянула над ними, когда двое старших подговорили младшего прокрасться на лесную тренировочную тропу бегунов и в подходящий миг снять трусы перед Машей Коноваленко, красивой надменной девушкой, любительницей поэзии Асадова и Щипачёва.

Спортсмены приволокли братьев к начальнику лагеря. Тот вызвал дядю Володю. Прозвучал ультиматум.

При виде отца они сделались покорны. Большой Андрос надавал им по мордам. Они падали, как на расстреле, и вставали за добавкой.

Потом отец загнал их на верхушку старой берёзы в середине лагеря. Зрителей собралось много, и отомщаемые смеялись. Разгневанный Андрос стал вращать берёзу, как веретено, она трещала и стонала, роняя листья и ветки. Младшие Андросы чертили небо срывающимися ногами, полчаса молча, затем рыдая. А Ия Серафимовна стояла в толпе и кивала, кивала головой.

Их тошнило. Отец был неутомим. Ещё полчаса — и берёза взорвалась, переломившись точно в пояснице. Руки Андросов превратились в крылья. Они падали, как показалось зрителям, долго и красиво.

И брякнулись на траву, дружно вывихнув по лодыжке.

Такая родительская самоотверженность растрогает самого чёрствого. Она вызвала уважение. Такое наказание представлялось сполна убедительным.

Андросов оставили в лагере, наговорив родителям нужные и язвительные слова про «до последней выходки», и про то, что «в семье педагога высшей школы дети должны быть образцом для других детей, а не наоборот», и что «это, по сути, тема для партийного собрания».

Мама запомнила: когда, учтиво выслушав упрёки, Андрос снял очки, чтобы протереть мутные солёные стёкла, — продолжая смотреть на обвинителей уже, так сказать, голыми редисками, — прокуратура немедленно осеклась и хором промямлила: «ну, ладно, ладно». И все разошлись, оглядываясь на сломанную берёзу.

Вечером дядя Володя выкопал её, в две ходки вынес за лагерь её половинки, а потом засыпал яму и заровнял потревоженное место.

Младшие Андросы несказанно притихли и являли собой ходячие аллегории раскаяния и смирения, такие за душу берущие, что матёрая лагерница доцент Дудкина принесла им назавтра ку-

лёк шоколадных конфет «Весна» и зачем-то бутылку пива «Шахтёрского». Которого они так и не испробовали, разбив бутылку в пантомиме немой борьбы за право обладать ею в своей палатке. Костик и попытался вылакать уходящую в песок лужицу, но Петя тут же помочился в неё, чем всё и закончилось.

А вскоре, с началом августа, зарядил долгий, многодневный дождь. Это была подлая провокация. И затосковавшие Андросята в сумерки и, может быть, с опережающим раскаянием украли с кухни, открыв гвоздиком нехитрый замок, здоровенный кусок говядины, свежайшей убоины, закупленной с помощью византийской дипломатии в соседней деревне Каныгиной. Под проливным дождём они утащили его в лес, сварили и съели, по паре килограммов на брюхо, позеленевши от такого объедения.

И как же больные лодыжки их не остановили?

И как же они сумели развести костёр среди воды и мрака?

Ответ на первый вопрос: воля, и ещё раз воля.

Ответ на второй вопрос: а заготовили загодя дрова, подсушили; нашли добротный кусок брезента. А бензин слили из мотороллера доцента Боргоякова.

Уличены они были наутро. В шесть ноль-ноль в столовой закричала повариха, в шесть десять Андросов застали за тайным завтраком-оргией, когда они доедали остатки и допивали из котла крепкий, убитый лавровым листом бульон.

Отцу решили не сообщать во избежание вполне возможного сыноубийства. Вызвали из палатки Ию Серафимовну, обречённо-неудивлённую, покорили её, посоветовались — и на институтской машине отправили мальчиков домой, жить на каше и плодах огорода, призреваемого соседями. Эти прокормятся, сказала Ия Серафимовна, не решаясь давать им какие-то деньги (пропьют, как пить дать!). Погубят дом, добавила она. А мы с Володей останемся. Чёрт с ним, с домом! А мы останемся!

Большой Андрос, узнавши о свершённом через безопасный час, согласился, что не оповещать его было разумно, застонал и согласился с женой. Остаёмся, надо же хоть на неделю в году перевести дух. Их поняли, очень хорошо поняли.

Потом Андрос несколько дней искал по деревням мясо — и нашёл с большими приключениями. В те времена найти мясо в деревне было подвигом.

Настроение у него было плохое. Он выходил из палатки исключительно на обед, пропуская и завтрак, и ужин. Слышно было, как вздыхает затемно под музыку и всякую жизнерадостность из «Спидолы» Ия Серафимовна.

Дождь лил и лил без запинки, и молчал аккордеон.

Дождь, очень щедрый, очень плотный, продолжался монотонно,

безостановочно почти четыре дня. Палатки набухли и посерели, как ветхие избы, вокруг них прорыли канавки, но вода, растекаясь по вспученному дёрну, нет-нет и заползала в них, и её выгоняли вениками из лопухов. Веники эти быстро выходили из строя, и скоро в округе лопухов не осталось.

Время от времени по полосатому дождевому полотну пробегал крепкий ветер, струи ломались, превращаясь в клубящуюся седую пыль, ровный ропот дождя смешивался с прерывистым струнным воем. Это видели и слышали все те, кто сидел под навесом в столовой, читая или играя в шахматы (в карты играть было неприлично), или выпивая от нечего делать очередную кружку чая. Иные лежали в тёмных палатках, слушали дождь и читали, пока в батарейках фонариков не кончался заряд. Потом те и другие в порядке добровольной гармонии менялись местами.

А спали все отлично.

Грозы так и не дождались. Зато на совесть, на полные ноздри, пахло мокрой травой, и сам этот запах вызывал, как водится, странное, древнее и приятное чувство близости всего живого всему живому. И преподаватель древней истории Калишевский выразился так: я понял, что наши далёкие предки всей душой любили дождь. «Если им было что пожрать, — добавил-возразил неприятный Павел Павлович, — если они не дурели от голода».

И было сыро, воздух был вязок, но холодно не было. И снова спали отлично, после привычных уже разговоров вполголоса. И никто не роптал.

И вот настало утро, когда я проснулся от тишины и робкого, осторожного тарахтенья сорок. Я выбежал в одних трусиках из палатки на яркий золотой свет, на стеснительный пушистый ветерок и, не задумываясь, помчался на озеро. О, я был пока одинок — и я понял, что смогу похвастаться, что я первым искупался после великого дождя. И, чтоб меня никто не опередил, я закричал: «Дождь кончился! Солнце-е-е!», уже забегая в воду.

Но закричал во весь голос, по-честному.

Озеро осталось таким же тёплым, каким запомнилось. Мальки разбегались у меня под ногами, озеро приветливо дышало. Солнечный свет раскрашивал его воды в свежий, пузырящийся, электрический лимонад. Я доплыл до плотика, заякоренного на взрослой глубине, уселся на нём и увидел, что на небе нет ни одного облачка, зато видимо-невидимо птиц, а прямо надо мной две вороны обстоятельно, со знанием дела треплют, гоня на север, перетрусившего кобчика.

И вдруг я услышал голос аккордеона.

Там, за полоской худеньких клёнов, с их светящейся листвой, проснулся Большой Андрос, надел очочки, подтянул трусы, вынес

свой раскладной стульчик и установил его перед палаткой, вернулся за инструментом, взял его, вернулся на свежий воздух, сел, широко расставив свои каменные ноги, понарошку поплевал на пальцы — и потянул аккордеон за уши, наклонив к нему свою ерихонку со слипшимся чубчиком.

Я бросился обратно, летя над водой и землёй.

У своей палатки сидел на раскладном стульчике, расставив свои каменные ноги, Большой Андрос, минорно наклонив голову и наполняя округу звуками задумчивого вальса «Осенний сон».

Всё искрилось вокруг, и было чистое эхо, словно мокрый лес вместе с озером по мере сил подпевали аккордеону.

Я подбежал к Большому Андросу и сел перед ним на корточки, и напротив моих глаз сходилось и расходилось чёрно-белое домино вещих мехов аккордеона.

Завидев меня, дядя Володя лестно улыбнулся. И было понятно, что он отводит измученную душу, что вид и акустика окружающего мира несут ему облегчение. И в этом можно усмотреть вторую причину его созревающей передо мной откровенности.

И он играл, запускал, подвешивал в пространство вальс за вальсом — и «Берёзку», и «Амурские волны», и «На сопках Маньчжурии», и «Орхидею».

Никто не выходил из палаток — проснувшиеся люди задерживались в них, может быть, потому, что не хотели мелкими бытовыми движениями нарушить данное очарование. Уверенно чувствовалось, как невидимые тихие люди, и мама, и Ия Серафимовна, и другие, слушают в брезентовом сумраке эти печально-светлые вальсы, нарочито сочинённые грустными, одинокими и, наверное, пьющими горькую капельмейстерами военных оркестров для исполнения под небесами, над реками, посреди садов, рощ и лесов на бескрайнем российском просторе.

Наконец наигрался Большой Андрос, сдвинул меха и положил на аккордеон свои ручищи с ещё подрагивающими пальцами.

— Что? Теперь всё нормально? — спросил я его. — Успокоились маленько? Перестали расстраиваться?

— А-а-а, утлая эта жисть, — махнул он рукой, — а легче, легче стало.

Он выпрямился, и окоём выстроился вокруг его ерихонки.

— Вон как хорошо сегодня, сейчас. Люблю здешнюю природу. Если подумать, ради неё и застрял тут до гроба, терплю... А так — удрал бы на родину, домой смылился бы.

Задумался, потрогал очки.

— Но нельзя мне туда, да и не та она уже, очужела, наверное. В любое другое место, хоть в Москву, не хочу — а домой нельзя... Такая хреновина жизни. Тоскую я, друг.

— А где ваша родина, дядя Володя? — спросил я, коль заказано.

Он не сразу ответил про родину, но взор его уже мемуарно затуманился. Он внимательно посмотрел на меня, словно поставил себе на ладонь, и сказал, словно выигрывая время, предварительно:

— Неужели и ты, такой махонький, когда-нибудь будешь таким же паршивцем?.. Нет, не верю. Ты дома растёшь, как фикус в кадке... Сухой лиственъ горит, да не дымит... (Задумался.) Хотя... вообще-то маленькие — они часто по-своему очень даже говнистые. (Оживился.) К примеру, парторг у нас в цеху — вонюч клоп! Иной раз ну голову бы ему оторвал!

— Не буду я на букву «г», — возразил я, — не хочу потому что.

— Не хочет он, — усмехнулся Андрос, — а они как будто бы хотят? Так оно складывается — без нас, на самом деле. Кто-то рождается дома, а кто-то в гостях, нежданом нежданычем. И всякий кулик своё болото хвалит...

И вдруг замолчал, будто поражённый внезапным открытием.

— А я, — с удивлением сказал он, — родился и вырос на Болоте, и был на нём не кулик, а настоящий последний на нём баклан... Смотри-ка ты, как совпало, то и сё?

— Не понимаю, — озадачился я, — какое болото? И почему баклан? Это же плохое слово! Так обзывают глупых людей.

Андрос посмотрел на меня с жалостью.

— Сейчас — да, шпанка всякая, безмозглая. Потому что народ испортился. А тогда у нас в Потомске баклан был уважаемый человек, соль земли!

(И потекли странные речи. Во-первых, они достойны были моей ничем и никем не довольной бабушки, тёмной, необразованной. Наоборот же, факт, что люди сегодня в СССР лучше и умнее, чем когда-либо и где-либо. Но недоумение моё Большой Андрос не рассеял, и чем дальше, тем больше усугублял. Во-вторых, он, такой мудрый и старый, явно что-то привирал, выдавая желаемое за действительное.)

Он рассказывал, сбиваясь с пятого на десятое — потому что хлынуло, и как будто загремели некие ключи, и следом отворились со скрипом, с лязгом заплесневелые двери в подвал времени, тёмный, пыльный, и оттуда, изнутри, истемна, кто-то на тебя посмотрел, и, может быть, угрожающе.

Есть в Западной Сибири заслуженный город Потомск, он же некогда Ветропыльск, он же Ямонагорск, а для избранных — Университетск. А в нём, в самой «серёдке» города, есть местность, «слободка», под названием Болото.

Люди там стали селиться, между речкой и острожной горой, под крепостной защитой, когда в остроге потеснелось, а потеснелось

в считанные годы — на Руси не отдымила ещё Смута. Местность получалась закрытая, запертая, и богачам там было делать нечего — почва сырая, в двух рядах домов из трёх не рыли погребов, не заводили подвалов. Заливала бы их ржавая, кислая вода.

Город рос, разбегался, превратился в губернский, «а у нас всё как при прадедах было, жили мы своей республикой, не стесняясь». Дома деревянные, две бани на всех над речкой, удобства понятные.

Народец там осел «простой, ответственный», при обозах, при железке, на реке работали — приказчики, сторожа, грузчики, экспедиторы. Порода сложилась. «Языком не шлёпали, а чай пили хороший, шаровой».

К рождению Большого Андроса болото превратилось в весёлое, гульливое место с вертепами и драками и т. п. Городская нечисть сюда, конечно, налетала, но здесь, уверял дядя Володя, вела-де себя аккуратно: «кобылка» здесь не правила, жиганы оглядывались. «Правили мы сами, здоровые ребята, а кобылку гоняли. А если болотные квартиранты, ремесло разное, нищета наезжая, плотники с Руси и шумели — так с удовольствием! Бились с ними по правилам, не убивали. Бывало, калечили, дело заводное, но никто не жаловался. Держали порядок».

Тут Большой Андрос поведал историю, не вполне подтверждающую его генеральную идею. В войну, перед февральской революцией весёлое беспокойство Болота сменилось на тревожное. Разгулялась солдатня, осмелела шпана, многие маститые мужчины Болота ещё не вернулись. Многие и вовсе где-то там полегли. Тогда вся боевая наличность слободы сошлась на Костровом месте на берегу Ишайки и порешила устроить дружинную самооборону. Вышли одни, с гармонями и частушками, к ним присоединились другие, всех иродов поразогнали, пустили им юшку. Заскучали, примёрзли — раздобылись запретным спиртным. Попели, для разгона крови потолкались меж собой, снова попели, стали будить соседей — а на Болоте, брат ты мой, все соседи! — знайте, граждане, мы не дремлем! Охраняем ваш покой!

Всю ночь не сомкнули глаз обитатели Болота, последними словами проклиная своих спасителей. И горластые бабки победили: больше таких фейерверков здесь не устраивали. «А и не надо уже было — враг был проучен».

«Ходили чисты, опрятны, грязнуль презирали (в это и тогда мне почему-то верилось с трудом, а потом, по знакомству, просто не верилось). Гармонь в почёте, а я до аккордеона взошёл». Картуз носили все, от писунов до древнейших дедов. Уже в стране, от Москвы до самых до окраин, забросили картузы — а на Болоте держали мужское достоинство, носили, шили новые, летние и

зимние. Шпана до сих пор носит свои шестиклинки, но позорные они. «А я последний свой картуз снял, зимний, сжёг его на костре, когда пришлось Болото покидать, в середине четвёртого десятка лет».

«Раньше, до меня, в городе войнишки были — рукопашные побоища стенка на стенку. Дрались слобода на слободу, в разных местах, и рядом, на Исаевой мельнице, на Кузнечном взвозе, и с татарами, и с кузнецами сверху, с Белого озера. Дед бился, отец бился, как лучшие. И были они бакланы — бойцы из трактирных резиденций, уважаемые люди. И я был баклан — самый последний. За мной — никого».

Андрос подрос, когда войнишки уже притихли, ужались, ушли под крышу, в заведения. Сидели там, беседовали, дрались на спор, деньги зарабатывали.

Большой Андрос бился с пятнадцати лет, ещё при царе — и тогда на эту забаву приходил полюбоваться сам помощник пристава Корольков, здоровенный лось.

Пришла новая власть. Милиция присмотрелась — и стала надоедать. Стала хулиганство шить! Дожили! «А я без спросу ни одного глаза не подбил, не то что там ребро сломать...»

«Милиционеры-то из пришлых, чужих явились местностей, даже и не потомские — деревня одна. И у нас на Болоте, на Загорной, насеяли бараков, поселили туда приезжих — одни чужаки, читатели газеток, доносчики. Конечно, и прежде селились, и бухтились поначалу, но раньше или позже Болото всех оструживало, приводило в чувство. А тут дело подзатянулось... И главный враг мой, милиционер, из этих новичков был, жил он в соседнем доме, конфискованном».

И время выгнало Большого Андроса с Болота, потому что, видно, надолго или навсегда кончалось само Болото. «Какое же оно сейчас?»

Дело было в конце декабря (как я потом выяснил) 1934 года. Милиционер Василий был карьерист и, в частности, задумывался, не ускорить ли свой курс в начальство за счёт Володеньки Андросова. «И до того приставал: присматриваюсь, не агент ли ты троцкистско-фашистский? Я терпел, чуя, что ветер нынче с зубами, кусается. А кулаки карманы рвут...»

— Вы же не были шпионом, дядя Володя?

— Спрашиваешь!

— Что?! Были?!

— Дурак ты, брат! Не был, конечно. Я был за Расею ответчик.

И тут-то и грянула судьбоносная история — с Колоколом.

Над Болотом, на Горе стояла церковь, а рядом с ней — большой колокол. Благовест. И новая власть решила его снять и уничто-

жить, как позорный шиш суеверия. А восставил его в год Володенькиного рождения свой, болотненский купец. Обычно, прибогатев, съезжали на Большую, на Миллионную улицы, в центр, а этот умер на Болоте, уважаемый. Колокол нам не чужой.

«И вот — снимать его и ломать. Целиком не увезти, тяжёлый. Прибежал Васька к нам: вы здоровенные, давай помогай разбивать-грузить».

— А вы в Бо-о-о-га верили?

— Крещён, конечно, — поморщился дядя Володя, — в детстве в ту церкву ходил, а потом отбился. Но чтобы верующий — не скажу. И какая нынче вера, с Гагариным?

Тут вопрос топорщился в принципе, в том, что людей забыли уважать, что там кулаком и нахрапом, и здесь. Отказались Андрос и его товарищи помогать в нехорошем чужом пиру. Что дальше было и кто рындам помогал, Андросов не знает. Потому что Васька принялся его материть, подпрыгнул и сорвал с него картуз, бросив его на снег. «Вот, значит, какая я власть, что могу. И не пикнешь».

«Как это не пикнешь?»

«Ну и свернул я ему скулу, и циммерманы помял. Искалечил. И пришлось мне удирать оттуда досюда. Забежал домой, забрал вещички, сжёг по дороге картуз, надел треух дурацкий — и дранг нах остен. Когда взбегал к Обрубу, оглянулся — висел ещё Колокол... Снилось, снилось мне до самой войны родное Болото!»

— А он жив остался? — спросил я, разглядывая преступные руки Большого Андроса.

— Откуда я знаю, — хладнокровно ответил он, заметно остывая, сожалея, что вдохновение занесло его в такие подробности, что как бы чего не вышло, — меня не нашли, поди, живёт, если на войне не убили.

— А что такое циммерманы?

И тут раздался пионерский горн, зовущий на завтрак. И дядя Володя отрезвел совсем, вытер губы и нырнул в палатку — одеваться.

Вечером старшие Андросы всё-таки уехали в город. Потому что в дом отдыха позвонили, и оттуда прибыл на лодке гонец с известием, что милые дети дожидаются родителей в отделении милиции, без нужды выбив стёкла в обоих окнах кабинета заведующего областным ипподромом.

Не имея такой привычки, я не стал делиться услышанным с мамой. Через день, не видя Большого Андроса, я напрочь забыл этот пугающий рассказ (и вспомнил, когда через годы спустился с Обруба вниз и услышал: Болото...). Слыхали мы всякое. Герой Гражданской Михаил Емельянович вообще сочинил, что он встретился

в лесу с чёртом, предложил тому понюхать дуло и выстрелил ему в нос. И чёрт растворился в воздухе. И мой отец сказал тогда, что на старости лет многие врут, как сивые мерины.

Я встречался с Большим Андросом и через два, и через четыре года, пока он не умер, и ни разу не вспомнил про тот разговор. А он, интересно, вспоминал ли?

Глава вторая

Нечто о городе Потомске

Первейшие сибирские города не вокруг вольных погостов — торговых перекрёстков вырастали, не лепились около монастырей. Их ставили на новом месте, в чистых дебрях, как военные общежития, за лето, с обыденным храмом, согласно выверенному опытом условию: на слиянии главной реки, окормляющей здешний край, с её притоком ищите на правобережье холм — «гору» (а на левобережье и не может быть горы), и чтобы там били ключи, «залогом живота». За год до новоселья валили достаточно сосен, чтобы успели они просохнуть — и всегда имелась опаска, что сосны эти растащат или сожгут недовольные туземцы. Поэтому место охранялось, а туземцы обольщались. Впрочем, потом, спохватившись, они не раз и не два атаковали и поджигали, если позволяли силы, уже готовый казачий продукт — острог-крепость.

Если острог выживал, укрепляясь обрубами, когда склоны срезали и обшивали частоколом, он потихоньку превращался в город, расползаясь от защищённой горы по низинам, взбираясь на новые горы, уже не знавшие крепостных стен. Начиналась мерная жизнь по обывательскому расписанию.

Сегодня мы говорим «город-ить», «огород-ить», имея в виду нечто построенное в массовом или частном порядке, как отнятое у природы и чужих, имеющее внутреннее защищённое пространство, «наше» или «моё». Внешняя примета, материально выразительная — стена, забор, тын-частокол — категорически препятствует профанной свободе передвижения чужого человека (для своего есть ворота), которому теперь недостаточно придумывать методику физического преодоления препятствия, ибо стена эта ещё и умеет обороняться стрелами, выстрелами из пищали, камнями, кипящей смолой, «вяще огрызается».

Внутренняя примета — за этими стенами организуется новая и весьма экспансивная, как таёжный пожар, как наводнение, деятельность, зловещая, хищная к округе и высокомерная. И звуки била, а затем наконец-то привезённого колокола регулярно напоминают туземцам и туземным зверям о том, что эти новые времена могут стать для них последними.

Ведь что такое новое — это когда кто-то явился как первый, а кто-то понурился как последний.

Но я хочу сказать, что исходно на Руси слова «город» и «гора» явно ощущались как однокоренные, и вначале была гора, даже Гора.

Нет горы — и городить не приходится.

С другой стороны, русские первопроходцы, за полвека великолепно раскатившиеся на своих кочах до Восточного океана, такое ли великое экзотическое напряжение и затруднение испытывали, как иной раз говорится, впадая в некий классицистический пафос?

И да, учитывая незнаемость и опасность безумно долгих маршрутов, — и нет.

Разве легко, с киселями и пряниками, жила Русь при Иване, Фёдоре, Борисе, в Смуту? Разве не привычны были люди к голоду и лиху, не боялись уже тишины, не жили на авось, не рвали себе жилы в том прежнем своём, в крови и саже, Доме с распахнутыми настежь сенями, так что и не протопишь?

Так ли велика была разница между той, оставляемой и расширяемой в этом оставлении Русью — и этой новооткрытой Сибирью, с её хладом, самоедами и тюрками, с её рельефами и прочим? Той деревянной и этой деревянной?

Нет удивления в тех старых текстах, нет распахнутых глаз и открытого рта — есть одна деловщизна.

С тюрками, с уграми, с самоядью жили и до того рядом, и по-хорошему, и по-плохому, уже вторую тысячу лет, смешиваясь в общих словах, в глухих лесах-чащобах, ещё частично переводя их на пашни, пели о лесах с уважением и знали, как в них жить, забывая степное прошлое, и общий языческий голос звучал во всех — и в русских, и в тюрках, и в мордве.

Конечно, на старой Руси протоптали много дорог и шляхов, стала она заметно сухопутной не только на полуничейном юге. Но и реки никуда не делись, не потеряли первородства, и были они по-прежнему главными артериями цивилизации — о, ладьи, струги и кочи! — и воспевались реки, становясь и много позже образами целых эпох. Скажи только «Волга», скажи «Яик». И где ещё, кроме России, реку можно было переименовать, как Яик в Урал, по симпатическим соображениям?

Кто-то усмотрит многозначительную разницу в том, что на Руси великие реки текут на юг, а в Сибири стремятся на север, и жить, развиваться приходится против течения.

Но, расширяясь в оное время на север и северо-восток, русские узнали и Двину с Сухоной, и Мезень, и Печору, бегущие в Студёное море, и назвались там поморами — лучшим отрядом народа.

И многим ли отличаются казаки, в сердцевине своей северяне,

архангелогородцы, каргопольцы, устюжане по облику и судьбе своей от той «ярой суждали», «американцев» десятого-двенадцатого веков, что вгрызались в дикие северные дебри, создавая там ржаное царство, а дальше и царство ячменное?

И многое ли изменилось инструментально? Появились пороховые пищали да водка… и всё, пожалуй. И стали пищали в Сибири надбавкой за огромность просторов, в связи с которыми не успевали подвозить для них порох в малочисленные гарнизоны. Тут выходит доля за долю.

Здесь важнее, видно, то, что прежняя Русь была уже исхожена, обжита, знаема, подустала от самой себя. От своей бесталанности, скажем по-татарски. (Шли в Сибирь, а слово угорское и татарское уже знали, тьма этих слов вихрила в словаре.)

И, идя в Сибирь, русские словно *возвращались* в своё не такое уж и давнее прошлое, с его дремучестью, безлюдьем, мехами и дичью, и встречами с чужими богами, и, ставя остроги, вспоминали свои городки, которые вчера рубили в немых дебрях среди чуди, веси и мери.

И получается, что великое продвижение на восток, на новые земли и за свежей добычей, было возвращением к себе, к своей юности, «дежавю», было выражением кольцеобразности времени. Время закругляется в просторах, замирает в них.

Много, много позже появится штампованная фраза «сибирский характер», изношенная до потери подошвы, часто, часто звучавшая как лукавая похвала алчного хозяина простодушному батраку. Но, может быть, правы те сибирелюбы, которые, взирая на нынешний упадок всего и вся в русском человеке, считают, что если Господь и разрешит в оный час возродиться России, то только на том, что Сибирь для неё сберегла?

Первые остроги, после тобольского предисловия, рассыпались по сибирским северам в видах добычи пушного ясака у вполне беззащитного населения, с которым можно было веско договориться о сотрудничестве. Тут была монополия. Великие реки Обь и Енисей в тех краях уже вровень с плоскими берегами, кругом озёра и болота. Редкие ангелы, пролетавшие над теми низменностями и равнинами, видели внизу больше синего, водяного, чем земного, лесного.

Многие из тех острогов зачахнут, какие-то вовсе умрут сами, истратив свою надобность. Померкнет славный Енисейск, зато рядом вырастет огромный Красноярск, ныне град фонтанирующий!

Когда возникла жгучая потребность в новом ясаке — нефти и газе, в местах их добычи так же просы́палась новая семейка городов, а то и воскресли агонизирующие старые, как с избытком проснулся Сургут. У этих городов странные, непрочные, газетные

имена, и как их ни благоустраивай, ни украшай, невидимая барачность витает над ними. И иные ханты, селькупы или ненцы замшело, как когда-то в семнадцатом веке, не сообразуясь с тупостью нашего времени, устало грезят: придёт наше время, и Кэристос заберёт к себе своих людей, а всё это железо и бетон — вышки, дома, махины, бочки, мерзость трубопроводов — поглотится землёй, мешая, наверное, продвигаться в её толще подземным ходокам-мамонтам. И зарастут, затянутся раны от вездеходов, нанесённые нежному телу тундры. И наступит отрадная тишина.

Город же Потомск не агонизировал никогда. Он мог погибнуть, в отличие от северных предшественников, в самом начале своей карьеры, но неким чудом спасся, пережил две эпохи неоднозначного подъёма и две эпохи неоднозначного упадка, и всегда был, что называется, с лицом и репутацией, что немногим городам дано.

Роль Потомскому острогу, возведённому на правобережной горе при слиянии реки Потомы и речки Ишайки, отводилась особая. Его задумали царь Борис и дьяк Нечай Фёдоров, нашёлся и местный князь-подсказчик — и задумали как «окно в Азию», и ставили его в полосе контакта со Степью, рядом с древними торговыми путями в надежде подключения к ним. Тут уже пахло дипломатией, миссией — и опасностью, потому что юго-восточное его расположение могло осердить (и осердило, как увидим) конное сообщество Южной Сибири. Тем более, ясачных задач никто с него не снимал, а ведь здесь ясак уже брали веками прежние гегемоны. И как же при таком раскладе «ногою твердой встать над Степью»?

Пройдёт время, и оправдается замысел несчастного Бориса — город подымется на извозе, на чае, как на дрожжах, и в гербе его будет скачущая белая лошадь в зелёном поле.

(В новейшее время, восстанавливая старую геральдику, будут эту лошадь поначалу, из оптимистических мотивов, изображать с подъятым хвостом, уже забывши, что хвост жеребец задирает в двух ситуациях — когда испражняется и когда лезет на кобылу. Ныне, после деликатных подсказок потомских татар, эта досадная оплошность исправлена, и хвост опущен.)

И неумолимо вспоминается блистательный Санкт-Петербург, основанный, к слову, веком позже Потомска. Потому что в некотором роде в судьбе Потомска политическая мысль также возобладала над императивами природы, и присущ был городу сродный налёт идеализма, приобретающий иногда прямо-таки беспощадный характер. Заметим, что он был возведён не на матери-реке края, Оби, а на её притоке — но это, положим, оправдано тем, что берега Оби здесь негодные для фортеции, блинные, ненадёжные, а угрозы — вот они, пышут злобою, и ежедневно.

Гора была найдена единственная, и на Потоме.

Но оказалось, что Потома-река очень своенравная, склонная, по причине горного происхождения и снежного местного изобилия, дыбиться и выбрасываться, «как зверь, остервенясь», из своих берегов. А местность вокруг горы и без того полна топких низин. А превращаясь в город, Потомск охватывал Пески, Уржатку, Болото, Заисточье, Заозёрье — и все эти его слободы через два года на третий заливались и заливались вешней водой… И это длилось три века, и длилось бы до сих пор, если бы Потома, по циклическому сюжету природы и при некотором человеческом участии, не обмелела, потеряв свои «хрустальные грации», о которых восклицал сосланный в Потомск декабрист, истово купавшийся в ней с апреля по ноябрь.

И вот почему богатый и форсистый во всём другом губернский город Потомск заслуженно считался самым неухоженным, занавоженным городом Сибири, позже других городов освоившим канализацию, электричество и прочие блага цивилизации. И, соответственно, нелестно выглядел в отзывах авторитетных путешественников. И если печатали о нём раз в год заметки в столичных газетах, то в них рассказывалось о том, что на его улицах в глубоких грязных лужах тонут люди и даже лошади.

Весь городской бюджет уходил на борьбу с водой — на возведение дамб, укрепление берегов, рытьё рвов и канав и прочую восстановительность. И всё не хватало, и какие тут «граниты». И наводнения шли чередой, и были они такие шкодливые, что потомцы, качая головами, говорили про каждое ближайшее: «Такого ещё не было», и сам чёрт не разберёт, какое же на самом деле оказалось страшнейшим.

И, конечно же, вечная неухоженность города накладывала свою печать на гигиену, на нравы потомцев, и именно в связи с Потомском родилась присказка: «Сибиряки так привыкли к зловонию, что чистый воздух для них был бы вреден».

Но интересно и то, что, несмотря на отсутствие гранитов, Потомск развивался в некотором подобии с Санкт-Петербургом как город интеллигентный, как город, где говорят по-русски лучше, чем где-либо. На это были свои, в том числе и грустные причины. Но об этом после.

Жизнь народа, государства, города всегда есть разжатие умозрительно постигаемой пружины, и если время встречно давит на эту пружину, она мстительно ждёт своего часа и разжимается снова, и прошлое начинает уже отряхиваться в настоящем. Мудрец из прошлого, не читавший Гегеля, сказал: «Не стоит заклинать прошлое — оно лучше нас знает, когда ему вернуться, и сердится, коли мы им пренебрегаем или торгуемся с ним. В целом оно нас хранит, но в частностях — настигает».

Великую роль в судьбе Потомска сыграло событие, большинству его обитатателей незнаемое, забвенное, из заднего, зашитого временем кармана истории: карусель с кыргызским посольством осенью 1606 года.

Оно удостоено всего-то двух или трёх предложений в подъяческой «скаске» или пары абзацев в трудах местных историков советского времени. Данные историки, по своей умственной сухощавости, подчинённые заданной идее, не придали тому событию серьёзного значения, видя в нём наивный анекдот. Им важнее было оценить, как складывался товарооборот, рассказать о классовой борьбе — о том, как рядовые казаки бунтовали против мироедов-воевод, взыскуя хлеба, соли и человеческих прав; немало сил и внимания уделяли они нужному вопросу о местоположении острога и его конкретном обустройстве.

Всё это хорошо, всё это необходимо — и всё это, меняя цифры и даты, можно поведать и о прочих острогах Сибири. А скандал — физиономичен, он сугубо принадлежит Потомску.

Нелестные подробности скандала, что привёл к многолетней череде набегов и едва не загубил город в зародыше, с его миссией, как уже было сказано, скудны, детали густо покрыты пылью в официальной хронографии как «бумаге неподлежащие». Зато они выпукло, даже красочно представлены в устных преданиях кыргызов и их потомков (что живут, вроде бы отдалённо, на юго-восток отселе; упомянутое озеро Кызыкуль лежит в их тогдашних землях) — в горстях прозаических баек, в остроумных тахпахах.

И никакие типичные гиперболы и идеализация «наших», то есть кыргызов, присущие народному слову, не мешают увидеть вполне правдоподобные, достоверные подробности происшедшего. Степная память в очередной раз показала свою мощь, свои преимущества, она не знает цензуры и политической конъюнктуры.

«Ибо юрта краснеет от лжи». Загорается.

Это надёжно: Номчи-мерген роди Ешея, Ешей роди Еренака, Еренак-кашка роди Шапа…

Итак, Потомск призван был связать державу Белого царя с Минским Китаем и Монгольским миром. А для этого, согласно диалектике и вопреки пословице «Насильно мил не будешь», стать форпостом в отхватывании у Китая и Монголов порядочного лоскута вассальных территорий с живущими на них «инородцами». Задача, достойная нашей эпохи, когда во имя защиты прав человека приходится жертвовать правами и жизнью целых народов.

(Как это чаще и бывает, миссия осуществилась в основном сама собой, благодаря стечению обстоятельств, то есть волею Божией, но не мудростью человеческой, не разумными усилиями посланцев Белого царя, которые как раз доводили дело до вопиющего пе-

регрева. Назовем это *везением*, в Степи это слово имеет глубокий смысл.)

Крепость-острог поставили умелые, закалённые люди. У них были молниеносные руки, моржовые лбы и взоры василисков. На сибирских северах они прежде имели дело с малочисленной и недружной самоядью и привыкли к праотеческому применению силы и своеволия, и если остяки, а потом тунгусы и давали им изредка сдачи, тут уж разрывая дорогих гостей на куски, это казаков только бодрило, поскольку дарило повод для нового жиганства.

Здесь, где сырая тайга распахивалась в беспредельность конного царства, следовало вести себя по-другому, задумываясь о диалоге, об умственном труде общения. Но, избалованные фартом, рабы своих привычек, казаки уже не были на это способны и не могли и не хотели понять, как сильны, например, кыргызы — «днём вороны, ночью волки».

Сама их, казаков, жизнь в избранной этой цитадели отличалась откровенной порчей нравов, просто ею, порчей, и являлась. И хотя в поставленной ими ладной обыденной церкви сиял образ, по велению царя Бориса списанный с самой рублёвской «Троицы», у них завелась мода ходить без креста, заводить туземные гаремы, буянить, пьянствовать и срамничать.

Вскоре их цинизм дойдёт до того, что они будут продавать степнякам казённые пищали, пополняя свои достатки, а дабы избежать ответственности «за промоту», подло заявлять, что пищали те были скрадены или отняты местными. Жалобные документы на сей счёт сохранились от кыргызов и телеутов.

И ведь не прижился поначалу в остроге Богородице-Успенский монастырь, сбежавший отсюда за семь вёрст, к устью реки Калмачки, туда, где проходила боевая тропа степняков. Выходит, свои были тошнее убийственных кочевников. «Скаска» гласит: «Гулящие люди, нищие, государевы богомольцы не похотели в мире меж двор скитаться и сволоклись вниз по Потоме реке».

Однажды равнодушные кыргызы сожгли монастырь и лишили жизни семьдесят монахов, чья братская могила посегодня горбится за северной окраиной города.

И вожди казачьи были первые мздоимцы и безобразники. Боярчата Барков и Кашинский, главные виновники скандала, проходят в степной памяти под характерными прозвищами Огранах («Ржущий») и Мухлаас («Тявкающий»). В более поздних вариантах сказаний одного из них называют Пахай («Плохой»), а другого Сырах («Анальное отверстие») — здесь уже сказывается влияние пришлой, морализаторской цивилизации. (Был и третий злодей, но его быстро забыли — может быть, потому, что рядом с Фомой и Ерёмой третьему не место.)

Забегая вперёд, надо честно отметить, что вскоре Барков и Кашинский станут участниками борьбы с польскими оккупантами. Здесь можно задуматься, не случилось ли с ними нравственно-патриотического прозрения, не исправились ли они, не заговорили ли: «Не отдадим ляхам нашу древнюю матушку-Москву, где утро красит нежным светом стены древнего Кремля»? Может быть.

Но, кажется, опыт учит, что в самых святых войнах участвуют не одни герои, но и любые люди, вовлечённые в них приказом, и мародёры, которым и приказывать не нужно.

Как бы то ни было, подвиги боярчат неизвестны, зато у потомков Баркова и три века спустя хранились богато расшитый жупан, снятый, по преданию, с некого пана Марцевича, и польская сабля с отломленным кончиком лезвия и посеченной гардой. На полотнах сабли прочитывалось с одной стороны — «In moscovites!», а с другой — «citius, altius, fortius».

Так вот, незадолго до явления посольства кыргызов — первой подстреленной ласточки в череде других посольств — завелась у боярчат, говорит Степь, одна на двоих девица, очень привлекательная и «злая (то есть неутомимая) на потеху», из кыргызских кыштымов.

Она, конечно, не была «белой и круглой, как репа», а была смугла до синевы, лозовиста, глазаста и с калачными ногами — «в шесть ладоней не обхватишь». Девица была норовистая, с юмором, и знала свой коленкор. Она беспрестанно ссорила боярчат, заставляя их соревноваться в поднесении подарков, как провинциальная антрепризная актриса-дива.

(В одном тахпахе сообщается, что она настолько оморочила ребят, что они, обуянные ревностью, отрезали друг другу уды. Не верится по технологическим соображениям. И как же они потом так вот, налегке, в Москву отправились? Нет, это уж слишком, тут отдаёт нотой национальной спеси: дескать, наша, даже безродная девка была так хороша, что…)

Известно, что её настоящее имя было Тазырас — «пучеглазая», но она настаивала, чтобы её звали Танархо — «перламутровая красавица», именем, приличным аристократкам. Если учесть, что старшую жену алтысарского князя Номчи, возглавившую кыргызское посольство, звали Таначах — «перламутр», эта претензия пучеглазой выглядит просто вызывающей.

У этой худородной дальше некуда Тазырас имелись свои счёты с великим князем Номчи. Картинно рассказывается, что Номчи, встретив её, холопку с ядовитой кетской кровью, за сбором кедровых орешков, пленился девочкой и взял было её в свой гарем, но проявила она, не по летам, такое нахальство, так досаждала прочим одалискам, что Номчи велел её выпороть солёными прутьями

и поторопился подарить её князю Нояну, тому самому, на чьих угодьях, по его приглашению, и водворился русский острог. А Ноян из ехидства передарил девку боярчатам.

И она мечтала нагадить Номчи и всему алтысарскому народу с глазами, в которых блестела спелая черёмуха.

Месть затаила, худородная,
Злобой дышала, неугодная.

Мирное посольство кыргызов прибыло в Потомский острог в те самые дни, когда в далёкой Москве уже невежливо распрощались с Самозванцем, но пребывали в полной растерянности.

Кыргызы были горды и грудасты, кони и верблюды были великолепны. На огромном выкрашенном охрой верблюде, чья морда прикрыта была позолоченной маской, в невыразимо роскошной осенней собольей шубе восседала почтеннейшая Таначах, ветеран дипломатического движения, убедительная, как огонь. Присылка старшей жены на переговоры являлась по степному закону актом предельного уважения и доверия.

Ээбис кулиибис — «наш светлый господин» Номчи-мерген тем самым сразу давал понять фактотумам Белого царя, что они (если не желанные, то) приемлемые новые соседи и, может быть, долгожданные союзники. И что мелкий местный князёк Ноян, напрасно надувающийся в большие, сделал правильный выбор, пригласив урусов, вот хитрый же беличий хвост, однако его роль сыграна, и отныне приличествует вести прямой державный диалог. Номчи был умён. Бутаны-русские, конечно, пришли с разинутыми пастями — но как же усилились монголы! Ой-ой! Каким же надоедливым стал в последние годы Китай!

Вообще усилились все. Распад монгольского семени надвое мог сулить взаимное ослабление ветвей, так было всегда, но не сейчас, когда они плодились как суслики и наливались свирепостью как камышовые коты. Пахло тройной данью. Раз уж пришли урусы, раз уж это неизбежно, не найти ли в них противовес?

А там — смотреть будем. Разве не живём мы на своей земле тысячу лет, разве не переживали мы всех своих врагов? Они были сильны и беспощадны, но снова и снова развевались наши бунчуки в междуречье Июсов, в Уйбатской степи, и лесные и горные кыштымы не переставали нести нам меха и кованое железо.

Подарки, поднесённые сиятельной Таначах, потрясли мздяные душонки боярчат. Страшно было подумать о том, чтобы переправить их во всей полноте в охваченную большим недоумением Москву. Авось? Только подумали боярчата — и вспомнились им ласковые взоры московских дьяков. Достанут, достанут! Одумались, прихичили с половину, по обычаю. Отсюда и московское словечко «уполовинить», ныне устаревшее, поскольку ныне во-

руют все три четверти, но нельзя же и выговорить «утрёхчетверить».

Там были выносливые красные кони «о восьми ногах», и даже пять высокомерных верблюдов, и соболя всех видов, включая соболей седых, и замечательное наборное серебро, упряжное и столовое, и пара доспехов-куяков такой работы, что хотелось жмурить глаза и биться лбом о барабан.

В ответ говорили о дружбе, горячо, но кисельно, ибо неясны были собственные полномочия и неожидан приход кыргызов (Ноян знал о нём загодя, но не предупредил, хитрый беличий хвост). Отдаривались умеренно, что встретило у гостей понимание. Ну, несколько штук сукна, ну, пяток пищалей и к ним свинец и порох. Три были негодные. Испытали — показали все хорошие, а потом подменили, подсунули эти три.

Угостили гостей чем придётся — они были, слава богу, простые мясоеды, а в молодой конине недостатка не было. И русский алкоголь сдобрил всё. Два бочоночка «вина» дали гостям с собой.

Но очень уж смутило боярчат, что прислали к ним бабу... Не знали они степного закона и усмотрели в этом то ли недостаточное к себе и своей державе уважение, то ли слабость.

Почему бабу прислали? Спросили они у Нояна, но трезвый лукавец Ноян пожал плечами и смолчал, да и толмач, по недосмотру, был столь пьян, что единственно мог переводить «бабу» на «бабу» же.

Вот тут-то и вступила в дело Пучеглазая, самозванка Танархо. Щегольская шуба Таначах представилась ей своей. Были бы трезвы боярчата, не будь в отлучке сам воевода — другой вопрос и страх божий, но были они пьяны, и говорила им Тазырас о ничтожестве алтысарской власти, о том, что Номчи умывается пенной мочой своих наложниц, о том, что кыргызы готовы лизать им сапоги и т. п. И вообще — собака любит палку.

Русских с кыргызами ссорить взялась,
Шубу княгини возжаждала, грязь.

(Можно перевести и как «мразь». В оригинале буквально: «блошиный кал».)

На предложение подарить шубу со своего плеча почтенная Таначах не откликнулась, просто не поняла, чего от неё хотят, и вежливо рыгнула, то есть выразила гостевую благодарность. Ах так! переглянулись Огранах и Мухлаас, повеселимся.

Когда посольство отправилось в обратную дорогу и кони с верблюдами вытянулись в цепочку на тропе под валом острога, будущем Обрубе, первой улице под острожной горой, казаки напали на Таначах и содрали с её дородного заслуженного тела драгоценную шубу из ста соболей, ценой в ежегодную дань иного племени Белому царю. Посольских били, деря их за косички-кичиге.

Отрезвевшая Таначах отрезала себе косу и разразилась страшным проклятием, сопровождая его рядом обещаний. Перевести её речи было некому.

Прошлое умалчивает, как отнёсся к данному преступлению местный князь Ноян, хвалимый позже за свою прозорливость и прогрессивность до того, что он стихийно очутился на пороге исторического материализма. Можно с уверенностью сказать, что набирающие мощь кыргызы были ему ненавистны и становились смертельно опасны, и ему уже надоело перед ними стелиться, а то и бегать. И русских он позвал, чтобы защититься именно от них: что ему, по его малости, были монголы и призрачный Китай?

Но нарушить степное уложение? Оскорбить посольство, и такого ранга, совершить то самое, из-за чего Чингизхан сметал с земного стола города и целые державы, оставляя камни, черепки, кости и лужи быстро ржавеющей крови? Он, видно, понял, что переоценил урусов, что поторопился, что, может быть, ждут его вотчину большие неприятности. А — поздно, ничего уже не поправишь. Отыграемся хотя бы на ненавистных чатах. И он отыгрался, и русские ему помогли. И платил он кыргызам тайную дань.

И началась наследственная замятня. Добрые восемьдесят лет, пока не погиб, попав в засаду вместе с сыном Шапом, в битве на Телецком озере ярый и могучий враг Потомска Еренак, внук Номчи, кыргызы приходили набегами, убивали и брали в полон, жгли новые острожки и попутные деревни новосёлов. Они неоднократно подступали к Потомску, поджигали его — и устоял, выжил он чудом. Окрестности его обезлюдели, и замордованные местные татары проклинали своего князя — исторического материалиста.

«Гораздо воисты» были кыргызы-алтысарцы, и доконали бы Потомск. Спасли его степные междуусобицы: усилившиеся Джунгары схватились с Алтын-ханами, и слишком отвлекались кыргызские воины на борьбу на стороне Джунгар, и погиб Еренак и другие сильные в этой мясорубке.

В 1700 году казаки привезли в город на копье отрубленную голову князя-последыша Шипчка и устроили из этого некий окончательный праздник, радуясь своему молодечеству. Но голову слабосильного Шипчка снесла, в высшем смысле, не казачья сабля, а степная судьба. Ей-то до этого города мало было дела. Через год кыргызов с их кыштымами — всех почти что без остатка — угонят из Хонгорая их степные властелины, и опустеет край, из которого целый век приходили волна за волной «днём вороны, ночью волки», и придут туда русские бугровщики, бесстыдно шаря по курганам. И на целый век растянется возвращение хонгорцев в родные пределы, познавшие жуткое молчание.

А граница поплывёт на юг, всё дальше и дальше, и ещё через

полвека, когда в Потомске сроют сгнившие городские укрепления за давней ненадобностью, обновлённые, теперь циньские — «железные» — китайцы вырежут под корень вчерашних владык кыргызов — джунгар, и жалкие их песчинки разбредутся по соседним уделам, а большая часть уцелевших отдастся Белому царю и перекочует в горько-сухие прикаспийские степи.

О судьбе Пучеглазой, как и о судьбе шубы, ничего достоверного до нас не дошло. Сто лет назад в одном аале, в таштыпской тайге, записали позднее предание о том, что её таки наказали, заставив есть проклятую шубу, и она умерла, подавившись первым же куском. В это не верится ни с практической точки зрения (слишком это жирно по отношению к такой шубе), ни с исторической, поскольку текст новодельный и полон несуразных фантазий.

Получили ли боярчата за свою пакость хотя бы по шее — неведомо. Наверное, не до того было тогда начальству, которое сменялось сказочно быстро.

А вот Ноян через три года после скандала крепко помышковал на чатах и как бы потом тоже не подавился. Вскоре он сгинул — забыло о нём и постное подъяческое слово, и пристрастное, пылкое слово тюркского предания. Что подозрительно, что неслучайно — ушёл он в тьму неотпетым современниками, и даже не сочинили ему эпилог его потомки — потомские татары.

Граница ушла на юг, и разрядился тяжёлый грозовой воздух бунташного века. А русские шли и шли — с Поморья, с Южного Урала, с Волги — приходили и селились в городе и вокруг него — заимками, разраставшимися в деревни и сёла, и дальше, и шире, тесня обезволенных татар на юге и дробящихся остяков на севере, выжигали лес на пашни, веселясь богатству лесов и рек, редко, редко поминая при этом Господа. А за ними шли староверы, никогда о Господе не забывавшие. Эти кержаки были закрыты и суровы, живя и в городе, как в лесу.

Наступили исторические будни, а в городе Потомске — апатия. Впрочем, апатия эта была обманчивая. С одной стороны, потихоньку, но упрямо налаживался извоз, вот и бухарские купцы пожаловали, селясь среди татар, и заговорили татары: «Иншалла!»; кто хотел — жил богаче, чем на Руси, — вольные огороды и вольные пашни давали дешёвый хлеб насущный, и курица стоила меньше копейки. И надоели уже белорыбица и пельмени.

С другой стороны, взялись присылать в Потомск недобровольный люд — ссыльных. И множество. И не успевал Потомск распихивать их по окрестностям. Среди них попадались и первые политические — несчастная царская невеста княжна Долгорукова, перепуганный до онасекомливания арап Петра Великого Ганнибал, славший отсюда, «аки червь презренный», умоляющие письма

всесильному тогда Данилычу (знал бы Меншиков, усмехаясь этим эпистолкам, что Берёзов уже дожидался его); в конце века мимоездом в Усть-Илимск мелькнул Радищев, запустивший с Вознесенской горы в небо запретный якобинский воздушный монгольфьер.

Слали сюда, и немало, пленных шведов (отчего в Потомске появится местность, зовомая Шведская горка), и поляков, и еретиков всякого рода, начиная с «квакерéй», скопцов и, конечно, в избытке староверов. Ирония истории — какие-то староверы сами затравленно прорывались сюда сквозь рогатки, бросая скиты на Иргизе и Керженце, а других ссылали сюда насильно.

Но больше, куда больше, толпами, прибывало уголовных колодников, душегубов, так что однажды число уголовных пришельцев превысило число вольных новосёлов. В 1804 году, на пороге новой эры, пришлют в губернию 7000 угрюмцев, и сколько же из них прибилось к потомскому дну?

Нравы, так и не сглаживаясь, подломились ещё круче. Освободившиеся или сбежавшие «с канатов» колодники пластали город, кровопийствовали на обских просторах.

Немногие монастыри, знавшие лучшие времена, были растоптаны «манием» Петра и дотоптаны Екатериной — в них на нищету присылали проштрафившихся клириков и солдат, и новоявленные чернецы задавали тон в воровстве и разврате. И воскричал в середине «столетья безумна и мудра» архимандрит Иона: «Все чернецы в бегах, в монастыре остался один солдат Закомалдин, но и того за безумием содержать здесь небезопасно!».

И героем века можно назвать семидесятилетнего солдата Фёдора Плюскова, в послужном списке которого пьянство, дебоширство, изнасилование девочки, ножевой бой до смерти, отрубленные носы. Дважды ходил под шпицрутены, 10 раз сквозь 1000 палок, 12 раз сквозь 1000 палок, и, наверное, единственный в Империи выжил. И вчера, похоже, кого-то зарезал. Столуется и ночует в монастыре.

А чем лучше Игумен Палладий, алчный, пустивший обитель по ветру, развратный до «толерантности»?

И этот собравшийся отовсюду дурной народ заразил Потомск и все его необъятные окрестности не только насилием, но и матерщиной, и держалась эта традиция, подпитываемая свежими присылками смрадных ртов, до самых недавних пор, увлекая и бескорневое потомское студенчество. По свидетельству культурного ссыльного позднего времени, «брань здесь висела в воздухе, без сквернословия потомец двух слов связать не в состоянии».

Ещё не всё. Ужасно разъедала городские нравы великая двухвековая недостача в женском поле. Ещё в 1630 году царь Михаил велел отослать в Потомск 150 девок негодного нрава из Тотьмы,

Соль-Вычегодска и Устюга. Колодницы-клеймёные шли нарасхват: муже- и детоубийцы «желанны были под венец».

Девок, женщин «в пожиле года» хватали при сборе грибов, при стирке на реке, на городской улице. Ещё в конце века восемнадцатого муж продавал жену «за 5 рублей и игреневую лошадку». Очень дорого! И находился священник, что, имея куш, венчал жену заново при живом весёлом муже.

Но чаще — отбирали, отбивали, добывали на поединках. Убийство из-за женщины было обычным делом.

А крестьяне, надрываясь на целине, не желали отдавать дочерей в чужой городской дом, ломили цену. Самим работница нужна. А принесёт в подоле — байстрючонок куда как пригодится. И продолжали пахать с оружием за спиной, уже не степняков имея в виду, а непрошеных зятьёв.

И встаёт среди этого полового горя призрак Пучеглазой. Потому что весьма избалованной и пуще распутной розой раздобрялась на таком назьме битая, озлобленная, грешная потомчанка, и считался Потомск городом злых жён, и до сих пор, по инерции, нет-нет и услышишь привычное «проклятые потомские бабы» в адрес доцентов и даже профессоров женского пола, не говоря уже о менеджерах и продавщицах…

Разленившийся город жил безалаберно, лёжа, пьяно и распутно, и горел очень часто, чаще, чем в беспокойную эпоху набегов и замятни. В течение века в нём останавливались великие самоотверженные учёные немцы, они обмерили, взвесили, попробовали на зуб и описали всю Сибирь, и Камчатку, и Чукотку: Мессершмидт, Паллас, Гмелин, Миллер. Потомск их изумил: по части Бахуса и Венеры и ярко сопутствующих им последствий признали они сей знатный городок невиданным ими доселе, не имеющим конкурентов ни на Руси, ни в голодной тогда, диетической Европе. Когда пожелал учёный немец ознакомиться с документами, содержащими сведения о прошлом и настоящем Потомска, утопили от греха подальше оные бумаги в Потоме чиновные люди.

На всю жизнь запомнил один из гениев, как случился в пьяном городе пожар, как загорелся дом, в котором он проживал, какие пьяные, бестолковые и радостные хари окружили пожарище и как, помогая в беде, растащили они всё его имущество, а в погребе уничтожили всю провизию, сожрали все заветные окорока, оставив от них одни кости. Стало быть, съели тут же, на месте, торопясь, впиваясь челюстями и разрывая во тьме и дыму!

Понятно, что такой уклад предполагал самый фантастический образ мыслей, известную мечтательность и сумбур в головах. Один знаменательный пример, извлёченный из трудов видного потомского историка церкви. Однажды (26 августа 1737 года!) к

начальству явился боярский сын Алексей Мещерин (опять боярчонок!). «Есть у меня девка калмычка Ирина Иванова. Она испорчена четвёртый год, есть у неё в утробе дьявольское наваждение, по которому диявол говорит в Ирине человеческим языком вслух, говорит о себе, что зовут его, лукавого, Иваном Григорьевичем Мещериным, и посажен в утробу Ирине во щах девкою Василисою Ломаковою, жившей в доме Мещериных же».

Освидетельствовали Ирину в воеводской канцелярии, в присутствии чиновников, военных и священника о. Прокопия, убедились: подлинно испорчена, и диавол говорит в ней вслух, и на все речи по вопросам христианским отвечает явственно — посажен-де он в эту Ирину Василисою во штях и взят из воды. Девку заключили в Христорождественский монастырь, под караул. Вскоре караульный донёс: 31 августа, вечером, диавол в Ирине начал бранить его, Перевозчикова, весьма неподобной, скверной бранью и нёс всякую ахинею.

По приходе в келью игуменьи Доминики с келейницей Феодосьей помянутая Ирина легла на лавку и «в тосках говорила, что приходит её лихо, а оный дьявол стонал человеческим голосом полчаса, а потом кричал игуменье «Матушка, прости», також с девкой Феодосией и с матерью её Мариной, которая в то время лежала на печи, прощался. Игуменья спросила: куда идешь? — В воду, — ответил диавол человеческим голосом и попросил отворить двери. И как келейную дверь отворили, у девки той Ирины уста широко открылись и шла мокрота, а вскоре изо рта появился подобно как дым, и вышел из кельи вон». И исцелилась Ирина.

На всякий случай её выпороли и отпустили. Однако ж до самого «дней александровых прекрасного начала» рассказ об этом событии волновал жителей Потомска.

…А на Болоте люди, прежде закупоренные в опасливых домишках-колодах, начали перебираться в дома с окнами, засевать крохотные огородики и ходить через Обруб на базар, по соседству, на Песках.

В 1804 году была учреждена Потомская губерния, и стал Потомск столицей огромного края. Настолько неподъёмно огромного, что в 1818 году губернию разделили надвое, и на востоке появилась новая, Енисейская. Извоз ширился, «крепчал», в тайге нашли золото, сбились первые капиталы и прославились первые дельцы-богатеи, и жизнь их, поначалу акакиевская, в середине была феерический праздник, а в конце обгорела в головешках банкротства. Что называется, «первую песенку зардевшись спели».

Город всё пополнялся ссыльными — в основном извергами; но и снова поляками, и мелькнули среди них и декабрист, и петрашевцы, и зазорный баламут Бакунин.

Появились училище, библиотека — и, наконец, казённые губернские «Ведомости».

Если прогресс и спотыкался, то спотыкался до самого конца века — о дороги. И чем плотнее и настойчивей общался город с внешним миром, тем хуже были измученные дороги и главная из них — аорта великого Сибирского тракта.

Разбитые летом и зимой, усеянные ломаными каретами, телегами и санями, павшими лошадьми, обжитые разбойниками, так были они плохи и страшны, что говорили потомцы: съездишь хоть в какую-нибудь ближнюю Колывань — «и превращаешься в битое мясо, нередко раздетое до белья». В конце столетия найдётся пиита, сочинивший сатирические «Песни о Сибирском тракте», в коих, наругавшись всласть, выразит уверенность, что, попади на тракт какой-нибудь нежный Фет, — он здесь «на осине удавился б».

Тем не менее, за век Потомск вырос впятеро, и половиной, самое малое, потомцев были приезжие, «расейские».

Пришло время задуматься о жизни духовной. Новообразованная потомская епархия имела пастырей, как на подбор, добросовестных и человеколюбивых, от Агапита до самого Макария, столь жестоко и подло оболганного большевиками в связи с событиями 1905 года. В городе не было кафедрального собора, соответствующего его размерам и славе. Старый Троицкий, деревянный, ветхий и отставной, сгорел в 1818 году; Благовещенский, маленький, тесный и подслеповатый, заливаемый половодьями, играл роль кафедрального, и это вызывало смущение, неловкость. Строительство нового Троицкого кафедрального собора (ибо город был посвящён Живоначальной Троице) начал владыка Афанасий. Прекрасный был пастырь! Происходя из беднейших, был он великий труженик-самоучка, мудрец, выучивший два десятка языков, лёгкий на ногу и труды, красноречивый и обаятельный, душевный настолько, что староверы даже говорили: нам бы такого батьку! Зря ли дружил с ним высоко- и глубокообразованный декабрист, выпивший в беседах с ним целое чайное море во дворике владычной резиденции при монастыре, на «горе Сионской» — рукотворном холмике среди уймы выращиваемых хозяином цветов.

Владыка стал собирать средства, и потекли деньги купеческие и мещанские, и пошла эта воистину народная стройка. И вот пятнадцатью годами спустя устанавливали на новом храме, уменьшенном близнеце тоновского храма Христа-Спасителя, купол.

Шло к завершению.

Но случилось несчастье. Это описано в щемящих душу страницах иноком Парфением. Рухнул купол, задавив шестерых человек, со страшным громом. Осень дождливая, не успевал просыхать и затвердевать раствор, а работали по российскому погодному графику,

— и кирпичи сибирские были тяжелее, увесистее московских или рязанских. Да и «архитектур» был человек, мягко говоря, не в себе.

Владыка не перенёс такого удара по сердцу. Отчаялся, сник, часто плакал — и вскоре уехал в другую епархию, виня во всём себя и свою, никому не ведомую, гордыню. А мнение народное покаянно склонилось к тому, что, стало быть, недостоин был грешный Потомск такого храма, и место на Елани, отведённое под него, было нехорошим. О чём не раз говорили местные блаженненькие Домна и «граф» Разумовский. (А на Болоте тогда появился свой, первый и единственный блаженненький — Иосинька Со Струнком, улыбчивый малышок, почитаемый извозчиками. Он с Домной не соглашался, и она ругала его и кидалась в него навозом.)

Большое уныние охватило тогда Потомск, и четверть века простояли стены храма, чернея и обрастая травой.

Пало крепостное право. Появились в Потомске купцы несгораемого склада, в большинстве из пришлых, округляли капиталы, были среди них и настоящие генералы экономики, и сущие хищники, и сочетающие эти свойства. Пароход сделался символом времени, и даже в далёкую Данию однажды возили купцы сибирскую пшеницу.

Было, на десяток лет, что торжествовали в Потомске преступные начальники и полицмейстеры, но, как ни странно, продлилось это недолго.

И всё слали и слали сюда каторжных, и с ними — политических, снова вечных уже, обязательных поляков, и землевольцев, и народовольцев — и всех, кем богата была Расея. Заметно больше прибывало уголовных-дворян. Известно, «барину» своим «концом» досталось той порой.

И началось с тех лет и до самой Империалистической великое добровольное переселение в Сибирь, на вольные хлеба, безземельного крестьянства, замученного кулаком, узостью наделов и безлесьем. По десять, по двадцать тысяч человек в год прибывало в Потомск, разъезжаясь по сельским азимутам, частично оседая в городе, пролетариями или люмпенами.

Как могли, помогали им: строили бараки, давали хлеб, какие-то деньги, как-то лечили — и ясно, что маловата была эта помощь и слабые умирали на этой бесконечной дороге. С большим сочувствием описывали их тяготы гуманные российские писатели, и спасибо им, — но правда и то, что возвращалось из переселенцев домой меньше одного процента. Кто мог, надрывая пупы, взять эту землю, где всего вдоволь, — брал её и радовался, что пуп не развязался. И большинство из этих людей приходило из российского черноземья — куряне, воронежь, липчане. Так встретились, смешиваясь в потомских краях, северная и южная русская кровь.

Они и протянут на века могучую нить транссибирской железной дороги.

Незадолго же до начала великого муравейного переселения, словно первым из страждущих нови и осеняющим переселенцев, пришёл в город некий Старец, высокий человек преклонных лет, проживший в Потомске последние шесть лет своей посвящённой Господу жизни. Был он большой молитвенник, аскет, и к нему потянулись потомцы, и он принимал их, обнаруживая чистейшую сердечность и пророческий дар. Утвердятся связанные с ним чудеса, прижизненные и посмертные, и ближайшим к нам будет небесное знамение при недавнем обретении его мощей, извлечённых из слоя мусора и чего похуже, поскольку большевики соорудили над его могилой отхожее место в ограде «бывшего» Преображенского монастыря.

В нём уже не было привычных и понятных народу юродственных черт, напротив, осанка и речь его намекали на высокородное происхождение, и родилась легенда, что оный Старец не кто иной, как император Александр Благословенный, не умерший на самом деле в Таганроге, но ушедший тайно в мир отмаливать Россию. И многие подхватили эту легенду, и примерялся к ней и сам Толстой, и до сих пор об этом думают и пишут книги; жаль, однако же, что самые убедительные доказательства выглядят так: Александр был глух на левое ухо — и Старец тоже; или же вспоминают, что явно знал он французский язык, следовательно...; или же припоминают, как некий чиновник, пожилой, знавший столицы, завидев Старца, вскричал: «Так это Вы!» — и это тоже в некотором роде доказательство, может быть, потому, что на Вы в наших краях он обращался исключительно к трём своим высшим наличным начальникам, а другим, даже и фамильным дворянам, тыкал, что и означает, что «Вы» он мог патетически употребить, лишь узнав императора, больше никого… И т. д. И с лихвой накопилось за полтора столетия всяких таких фактов, на самом деле придуманных задним числом бескорыстными энтузиастами этой темы. Скажем, уважая всех, что тайна остаётся тайной, и это ли главное для нас в образе Старца — небесного покровителя Потомска, чьё завещание скажется, как, увидим, в ближайшие по его успении десятилетия.

И в это же время в Потомске появятся умные и совсем нерелигиозные головы, в которых забьётся областническая мысль о любви к родному краю, с его несметными природными и человеческими богатствами, с его возможным ликующим будущим, и заговорят они горячо о том, что довольно Сибири быть колонией Империи и её помойкой, куда переправляется весь испорченный люд Предуралья, от Архангельска до Кавказа. И потребуют для Сибири равных прав, и будут настаивать, чтобы в Сибири, в Потомске

открыли университет — маяк просвещения и гуманности для всей российской Азии.

Им припишут намерение отделить Сибирь от России, заведут громкое дело, будут преследовать и наказывать (смешные это будут наказания на фоне большевистской практики), ссылая иных уже из Сибири в Европу, куда-нибудь под Вологду. Но не было у них — Потанина, Ядринцева или младшего Адрианова — таких планов, а было желание трудиться до горячего пота на благо *родной* Сибири. О, они были новые титаны-энциклопедисты! Они исходили, по примеру великих титанов-немцев, всю Сибирь, и дальше — все горные пределы Центральной Азии, добираясь до Тибета и глубинного Китая, открыли несметные россыпи местных укладов и преданий и стали мудры от познания трёх миров.

(Такие работники должны жить долго, но получается по-разному. Ядринцев отчаялся, устал и покончил с собой; в большом огорчении угас при большевиках престарелый Потанин — и вовремя, они его еле терпели; а достаточно бодрый старик Адрианов был большевиками расстрелян, ибо эта власть была не чета власти расслабленных, разложившихся сатрапов.)

Но вот какое соображение… Бесконечно далёкой была для Старца университетская идея, как и вся земная конкретика патриотов; в свою очередь, равнодушны были к его подвигу пылкие областники, может быть, видя в нём иронически запоздалый цветок суеверия. Однако же золотые нити, протянутые от него, умершего, и от них, живых и противоречивых, переплетутся, благодаря чему вторично станет громким имя Потомска в конце 19 века.

На исходе своей страдальческой жизни разрешит быть в Потомске университету Александр Освободитель, а после его гибели, несмотря на университетский след в её подробностях, его сын Александр Третий утвердит его волю. И университет будет возведён и открыт в 1888 году. (А ещё через десять лет в Потомске откроют Технологический институт.) Разум возобладал над предубеждением и горькой обидой. И важно, что решающую роль в осуществлении этого прожекта сыграли потомские негоцианты-благотворители. Без их вклада можно было возвести разве что университетскую ограду.

(Внутри этой ограды, в славной университетской роще, над перенесённым сюда прахом Потанина возвышается его памятник.)

Не вдруг расцвела в Потомске, по-прежнему грязном и пьяном, как никакой другой губернский город России, необычайная благотворительность. Те же купцы-хищники, торгаши и ростовщики, захватчики и в детях дикие «саврасы», соревнуясь друг с другом, принялись строить и содержать в городе приюты, ночлежки, богадельни, гимназии, училища, библиотеки и каменный театр. Дава-

ли на это при жизни и завещали, уходя в мир иной, — на сиропитательность, призрение и просвещение.

Что с ними приключилось, окаянными? Смешались в них и пробудились в них, пришлецах, прораставших в потомский грунт, и тщеславие, и христианское смирение, хотелось им в городе Старца и Потанина остаться в доброй памяти, потому что осознался, чаянием сих высоких субъектов, Потомск как родной, своими лучами освещаемый и к особой судьбе предназначенный город.

Они же не обзывали Россию «этой страной», не презирали её и не собирались кичливо удирать вместе с мошной и детьми в уютные западные ёмкости существования. Это были кулики (или крокодилы, если угодно) своего болота.

Целое ожерелье учредилось в Потомске благотворительных обществ — и просто Благотворительное, и Ремесленное, и Мещанское, и различных попечений общества, самым знаменитым из коих было Общество попечения о начальном образовании. Трудами его каждый ребёнок из бедных учился в школе, имея шубку, валенки и учебные принадлежности. Его основал и возглавил купец Макушин, человек со всячинкой, поэт книги, живший под девизом «Ни одного неграмотного!» и выстроивший в Потомске Дом науки.

И не было во всей России городов, будь они в сто раз ухоженнее и трезвее Потомска, способных соревноваться с ним в благотворительном размахе!

И вот почему удалось воскресить строительство Троицкого кафедрального собора… И со всем тщанием его отделать и освятить на пороге нового, кровавого столетия в мае 1900 года.

И казалось тогда, что простилось Потомску и *открылось* Потомску.

(А недолго проживёт собор. Зимой 1934 года его взорвут и разнесут по кирпичику большевики, принимая от населения эти кирпичики по полторы копейки штука. И место это и поныне пусто, и только вернули площади то прежнее имя — «Новособорная», вместо «Революции», и не понимают толком, что значит это имя, наши современники.)

И дождался город на рубеже веков своего демиурга, когда приехал в Потомск архитектор петербургской выучки Лыгин, талант, удивляющий своим маленьким росточком (и был, по обычаю, обворован в первые же сутки пребывания на нашей благословенной земле).

Россия тогда наряжалась в леса, чудно преображались центры разбогатевших городов, и особенно на Волге, и обе столицы здесь не отставали. Зодчие тогда вошли в моду, как писатели, адвокаты или оперные певцы с балеринами. Лыгин, создатель сибирского модерна, любитель жёлтого песчаника, чистого кир-

пича и стильного декора, за малое время воздвигнув здание за зданием, дал пример всем прочим и придал Потомску навечное каменное обличие. И тут проснулось, как некая парафраза, зодчество деревянное, оправой к каменному, и запели прославленные потомские терема, сливаясь с каменными зданиями в единую городскую симфонию, за что Потомск знают и любят по сей день.

Много может один человек, если развязать ему руки, и не было в Потомске столь свободного в своём поприще чудодея ни до, ни после Лыгина. (Своё последнее здание он подарил городу в 1919 году — не узнать в нём его руку, ибо скудна была та смета военного времени. И ещё пятнадцать лет проживёт, привыкая к водке, великий человек, рыдая об остановившемся городе. И нет в городе ни улицы, ни чего-то другого, носящего его имя.)

Нет, не случайно Лыгин был обворован в первый же день пребывания в городе своей мечты.

Неспроста обругал «полузатопленный» Потомск молодой Чехов, пробирающийся на Сахалин. Он назвал его «прескучнейшим», «настоящей свиньёй в ермолке», «медного гроша не стоящим» в сравнении с Красноярском и Иркутском, и укорил здешних «вумников» за водку, интеллигентных ссыльных — за уныние, а женщин за то, что они «жестки на ощупь». Бурю самосознания вызвал его односторонний, скороспелый отзыв у потомцев вслед за негодованием, но вынуждены были они признать, что во многом «отлихвостил» он их справедливо.

И Гарин-Михайловский описал прогрессивный Потомск как смачную обывательскую дыру, где всякую надежду по-дантовски должен был оставить живой человек, и, покидая город, испытал радость от того, «что, вероятно, покидает его навсегда и не увидит больше».

Этот видный Михайловский, будучи громадным инженером-путейцем, и принёс Потомску нокаутирующее разочарование, проведя Сибирскую железную дорогу в обход города, южнее, и потомцы считали, что сделал он это из личной неприязни, и готовы были его побить, но он и впрямь здесь не появился.

(Между тем, в Потомске сотню лет жила легенда, что железку не пустили в него невежественные, разжиревшие купцы, держащиеся по старинке за конный извоз. Неправда! Все потомцы, хором, бредили этой дорогой, дышали ею, бились за неё, почему наследник цесаревич Николай Александрович пробил сочувственное компромиссное решение по протягиванию отдельной ветки от станции Тайга до Потомска сразу же после того, как Магистраль миновала потомский меридиан. И протянули её, можно сказать, мгновенно.

Наследник побывал в Потомске, продвигаясь с востока, в июле

1891 года, и смехотворны были меры по обеспечению его безопасности. Но из толпы воодушевлённого народа рассматривал его 13-летний Яша Юровский, убивший императора через 27 лет. А город праздновал эту встречу ещё целую неделю, отдыхали ремёсла, и даже газета не выходила.

А злыдень Михайловский исходил, конечно, из здравых технических и экономических расчётов. Это вам не нынешний казноед «чем дороже — тем мне любезней», он берёг государственные деньги, считал их народными.)

Обратной стороной потомской Луны было то, что он являлся городом перенаселённым, городом назойливых и нежелательных квартирантов, опаздывал строиться и кишел неукоренёнными людьми, и словно выходил из своих берегов или крутился в омутах и водоворотах, как ндравная Потома.

Нравственно-сатирическая поэма местного автора (из ссыльных, конечно, но безусловного патриота города), напечатанная в газете за месяц до приезда Чехова и за пять лет до приезда Лыгина, начинается так:

За Уральскими горами,
За дремучими лесами,
Во владеньях Ермака
Потома течёт река.
По ней ходят пароходы,
Ездят разные народы
Из России: эмигранты,
Аферисты, арестанты,
Адвокаты и актёры,
Феи всякие и воры.
Град Потомск — преблагодушный!
Всем приют даёт радушный,
И нахлынувший народ
Свой гешефт приобретёт.
Кому ж дело не найдётся,
Тот за фокусы берётся…

Потомск, увы, оставался городом криминальным. Очень, чересчур и безмерно. А чего же вы хотите, если богатство здесь лицом к лицу и вперемешку с нищетой, а хулиганство модно затягивало купеческих сынков и даже молочное студенчество? Не говоря уже о толпах разнузданных приисковых и рабочих с Обь-Енисейского канала? «В Потомске получить пощёчину — что съесть десяток пельменей». Корысть алчных и бескорыстие агрессивных переплетались в клубки, катящиеся по всем улицам неприбранного города.

В общем, воровали везде и били везде, от полноты души.

Потомск — это «шпанка», «летучка», «белокопытка», «кобылка», «синицы», «журавли», «затирка», «ключевые». Упомянутые «бакланы» здесь — законопослушные люди, спортсмены, так сказать.

Преступность уже приобрела почтенный профессиональный облик, жила в иерархиях и стандартах. Крючники и чаерезы грабили обозы, коловоротчики подламывали склады, кошёвщики работали на улицах, налётом, на быстрых санках. А были ещё фальшивомонетчики, шулера, торговцы волшебными карандашами и просто ландскнехты-грабители, испытанным приёмом хватавшие свои жертвы за горло.

И револьвер был доступен всем. И кто не мог выстрелить в другого, стрелял в себя от разочарования и нищеты. И самоубийств было много, и ещё больше было подкинутых младенцев.

Рядом с русскими в Потомске сложились три большие, в четыре-пять тысяч человек, национальные общины: исконная татарская, «вечная польская» и молодая и буйная еврейская.

Поляки вели себя смирно, поставляя из своей среды в основном аферистов и шулеров. Пробудившиеся татары, помимо привычного конокрадства, занимались в основном обозами, работая на выезде из города — они жили в Заисточной слободе, на вползании Московского тракта в Потомск, и в самом городе почти не появлялись. Евреи же, прибывающие в Потомск через транзитный Каинск, «сибирский Иерусалим», очень скоро составили достойную конкуренцию русским жиганам, занимаясь всем же (кроме прямого участия в набегах на обозы — тут они выступали заказчиками), и прибрали в городе львиную долю питейных заведений и борделей, прасольство, нелегальное золото, отлично воровали и царствовали на лугах народных азартных игр. Их подрастающие дети так же уверенно пойдут в революцию.

Малочисленная полиция (на одного городового — сотня бандитов, жуликов и хулиганов) воевала с криминалом как могла, захлёбываясь, ненавидимая обывателями и критикуемая носителями высоких принципов. Но, унижая полицию, возвышали её отдельных представителей, ибо нужен был Герой-заступник, и в таком городе он оказывался гением места не менее значительным, чем идеалист-патриот, робкий на пленере. Им стал «пристав с длинными усами» Аршаулов, знакомый Чехова. В упомянутой поэме ему посвящён лестный пассаж:

…Полисмен наш очень крут!
Всех мошенников он знает,
В каталажке запирает,
Суд-расправу сам чинит

И квартальных не щадит…
Его жулики боятся,
С ним невыгодно сражаться:
Он все тайны разгадает,
Коль нагайкой отваляет
В кабинете — глаз на глаз…

В этой характеристике тешит душу заметная патриархальность его методики, столь дорогая сердцу россиянина.

Измученный трудами сыска, перенеся на ногах грипп, Аршаулов умрёт очень некстати, в 1904 году, и не так уж неправы те, кто был уверен, что при нём невозможен был Погром 1905 года.

А век и закончился в октябре 1905 года.

Потомский погром был рождён подлейшей провокацией и показал: когда власть несмысленна, а правда сомнительна, нет ни власти, ни правды, а побеждают худшие с их чревным хаосом.

Позором завершилась война с японцами, подорожала жизнь, началось невиданное брожение, которое невозможно было представить себе ещё пятью годами раньше. Царь, опозоренный с января, издал Манифест о свободах, но опоздал с этим Манифестом, и те бесы, что размножаются в мутной воде, заговорили о слабости власти, о том, что Манифест не более чем лицемерная попытка Николая выиграть время, и т. д. Увы, во многом были правы бесы, увы, в России протянутая рука принимается как жалкий поклон, как «не бейте меня, пожалуйста».

Весь год Потомск сотрясали демонстрации и декламации. Грядущие захватчики России расскажут потом о жестокости казаков, лупивших нагайками студентов и даже гимназистов: «прогнивший режим душил прекрасные порывы молодой России». Но читаешь, например, в воспоминаниях о февральской демонстрации на Песках и задумываешься. «Мы вышли к мосту, нас встречала казачья цепь. Из толпы раздался залп по ним…». А потом, не стреляя в ответ, казаки пустили в ход нагайки и разогнали толпу. Так кто же первым пошёл на крайние, погибельные меры? Зачем торопил события — жертвы были нужны на алтарь революции — и любой ценой, с гарантией?

Передёргиванием и умолчанием важного, а чаще настоящим и детским враньём окутались эти события с первых дней и на целый век. Свою роль отводили в них так или иначе достославным Кирову и Куйбышеву, и Юровскому, который якобы ходил в первых рядах бунтующих, а на самом деле отбывал в эти дни срок за уголовное преступление.

Дрожжевое начало в этих событиях было за социал-радикалами, не столько ссыльными, сколько местными и прибывшими в

Потомск «по заданию». Целый год они клеймили режим, принуждая бастовать полуголодных потомских обывателей, кормивших семьи с колёс: пугали-стращали, *фотографировали* несогласных (догадались же, чем припечь тёмного человека) — и копилась в городе тёмная злоба на власти и тёмная злоба на самих подстрекателей.

Тогдашняя потомская Дума была либеральной, передовой. Она стеснялась прослыть умеренно-ретроградной. Тогда в образованной России снова начали сочувствовать террористам, и прятался за этим сочувствием обыкновенный страх и рабская слабость перед насилием. И пошла Дума на поводу у радикалов, чьи агенты уже внедрились в неё — «вы ведь, господа, желаете нам добра?» — и согласилась с «товарищами», что кормить казаков не нужно и что полицию надо упразднить, заменив её милицией, в которую вошли вооружённые неведомо на какие деньги молодые люди. Большинство из них были юноши наивные и прекраснодушные в руках своих кукловодов, и все они не знали город и не понимали, с каким мощным криминальным кулачищем собрались иметь дело. Опять же — «как славно мы умрём!». Они, чего доброго, мыслили, что эти грубые, тёмные люди — их естественные социальные попутчики, инстинктивно жаждущие лучшей, светлой жизни, и, не испорченные ни почитанием заветов Старца, ни дряблым постепенством нелепых устаревших областников, пойдут за ними в сияющее будущее. Ибо второй год начитывали тем брошюры грамотные пролетарии, уже обманутые своими несгибаемыми учителями, и были уже среди этих пролетариев тоже метящие в вожди.

Погибнут эти дети.

20 октября перед зданием управления железной дороги (за спиной — Троицкий собор, рядом — университет) собралась разогретая агитацией огромная толпа. В ней не было ни студентов, ни гимназистов. Людям подсказали, что изменники-железнодорожники, когда вся Расея страдает, будут получать свои зарплаты.

И верно. И вот уже пропущены по толпе искры, и начинается погром. Здание поджигают, и выходящих из него бьют до смерти, исступлённо, и погибает, и сгорает в страшном огне до восьмидесяти человек. Среди них — и обречённые на жертву милиционеры, и просто все, кто там оказался. Поджигают и театр за углом, где проводили свою сходку радикалы, что стало затем поводом говорить о черносотенном характере погрома, организованного властями и «мракобесом» архиепископом Макарием. Макария и объявят главным виновником, «жестокосердым», изыскав соответствующие «подтверждающие» цитаты из его речей разных лет, обвиняя его в монархизме (что святая правда) и пещерном антисемитизме (что совершенная неправда; но очень уж хотелось иным авторам

назвать потомский погром еврейским погромом. На самом деле тогда, в общем кошмаре, погибло по 5-6 немцев, поляков и евреев, остальные погибшие были русскими).

А Макарий сбился с ног и головы, выходя на улицы и безуспешно посылая туда весь свой клир, чтобы утихомирить озверевших дикарей. Ему отвечали: «Не лезь, батька, уж мы с ними теперь поквитаемся!».

С кем — «с ними»? Ведь били и убивали всех подряд «чистеньких» — и казённых, и противоказённых, в форменной одежде, в очках, не разбирая, кто перед ними — революционный студент или сытый пособник сатрапов.

А губернатор Азанчеев-Азанчевский, выморочный Оболт-Обалдуев, побелел от страха и впал в ступор, не отвечая ни на какие вопросы и понукания. Потом он спрячется на чужом чердаке, выпив за считанные дни тридцать бутылок водки, а потом и вовсе скроется в тайге.

А озлобленные казаки не будут ни во что вмешиваться, благо, что распоряжений им никто не отдаст. Не нужны — и чёрт с вами! Мало нас грязью поливали? Подыхайте!

А городской голова, прекрасный врач и застенчивый друг свободы, скроется в загородной деревне, и городской дом его будет разграблен и разгромлен.

И если кто-то и остановит бунтовщину, то это будут авторитетные полицейские приставы, забывшие про обиду и вдвоём разогнавшие толпу на Кухтеринской спичечной фабрике.

Начались грабежи. На следующий день раздался клич: «Грабим еврейские магазины!». Для кого-то это несомненный аргумент насчёт юдофобности погрома. Но ни один еврей больше не пострадал. А еврейские магазины оказались пусты.

Погром продлился полных три дня, пока не подоспели от Тайги армейские подразделения. И сами погромщики уже выграбили всё, что смогли, выпили всё, что влезло, изуродовали или убили всех, кого хотели, — и были приятно опустошены, устали и залегли — *переваривать*.

Было замечено: очень хорошо они были организованы, мобильны. Кто-то очень авторитетный управлял ими. Кто? Не парализованная же власть? Не внуки Маркса же, пусть и запустившие этот конвейер? Внуки этих внуков с пеною у рта будут отрицать эту сомнительную честь. Вот если бы они победили…

Нет власти и нет правды — победила третья сила во главе с безвестными королями потомского дна. Победило *ничто*. И это Ничто в Потомске остановило часы истории.

Так, безумным обнулением всего накопленного, наработанного и выстраданного закончился в Потомске девятнадцатый век.

Рассеются ужасные тени, проветрится город, наведут в нём порядок — зыбкий и зябкий, — и изумлённые мыслящие потомцы будут беспомощно думать, теряя последнее уважение к себе: как же это могло случиться?

Годы перед Мировой войной и революцией Потомск проведёт в хрупком равновесии, в некотором расцвете наук и художеств. Но *оглядка*, острастка будет туманить жизнь. И налицо будет очевидный изоляционизм — хмуро и в разные стороны, избегая взаимности, будут здесь смотреть представители разных сословий, потому что общая чаша их жизни раскололась, кажется, навсегда.

А что же университет? А то, что и да, и нет. В далёком июне 1890 года прозвучала амбициозная и укоризненная фраза: «Сколько у нас в Потомске безобразий — и это университетский город!». С тех пор эту присказку повторяют с завидной регулярностью. И будут повторять. И это хорошо. И это безнадёжно хорошо.

А что же Болото? А что Болото: весь почти век — чистое трогательное мещанство. Ни храма, ни больничного покоя, один Иосинька на всех, пока не умер. За верой и светом поднимались на Гору, к Вознесенской церкви или чуть далее — к Троицкой единоверческой церкви. Но при этом ступеньки на единственной лестнице на Гору всегда были переломаны вдрызг, как бы и умышленно. За хлебом насущным поднимались через Обруб на загалдевший трикраты рынок на Песках. Никому не интересное, вяло подхватывало Болото происходящее в городе, потому что последними узнавали живущие в центре города «лягушки» потомские новости, и было Болото мутным зеркалом Потомска, и в нём выцветали краски жизни.

До исхода века слышались здесь одни стуки кустарного молотка да вой ветра в печных трубах. А в конце века вдруг и почти оглушительно раздались и брань, и хохот, и звуки ударов по живому телу. Но об этом — чуть позже.

Пришла власть советская и объявила всю предыдущую историю черновиком, сырьевой заготовкой навечной своей. Вредны или наивны получались труды прежних мудрецов, не сознающих краеугольного значения классовой борьбы, зато после четырёх пятилеток каждый испуганный неофит в СССР знал и с пользой применял основной закон философии: материя первична, сознание вторично. Это страшно облегчало жизнь. В университете появились две кафедры — истории СССР (досоветского периода) и истории СССР.

В 20—30-е годы в Потомске, как и повсюду, переименовали всю топонимику. Четыре его района назвались Кировским, Советским, Ленинским и Октябрьским («Актябским»). Площади — Ленина, Кирова, Дзержинского, Революции. Улицы — Ленина, Кирова,

Дзержинского, Советская, Октябрьская («Актябская»), Белы Куна, Войкова. Так и поднесь. Позже попытались даже переименовать Татарскую в Юровского, но что-то древнее остановило эту инициативу. Но странно, что улицей Свердлова (отбывавшего ссылку вместе со Сталиным в Нарыме, к северу от Потомска) назвали захудалый переулок — и не где-нибудь, а на Болоте. Старое название его было Ново-Карповский, а народное — Кострыгинский. Он был коротенький и подчинялся винной базе, и говорили «пошёл к Свердлову», имея в виду за бутылкой.

За что же так не уважили Я. М. Свердлова? Шептали (наступила эпоха крикунов и шептунов), что Сталин не любил соратника и, проживая с ним в одной нарымской избушке, ссорился с ним и чуть ли не плевал ему в уху. Но чтобы так поквитаться с мёртвым Свердловым, нужно было, чтобы вождь лично вмешался в сугубо местный и шаблонный процесс переназвания и имел перед глазами план Потомска, ища на нём иронический отрезок ландшафта… Короче говоря, непонятно.

Конечно, громились храмы и монастыри, конечно, преследовались бывшие люди. В Потомск пришло убожество, усугублённое тем, что город оказался в стороне от великих строек сталинских пятилеток. Город встал, теплясь в кустарных производствах, по-прежнему немощённый, прирастая немногими бараками.

Но и сделался Потомск чист и по-своему меланхолично-зачарован. И до поры сюда перебирались «бывшие», здешним личардам незнакомые. Своих «бывших» размазывали, а чужие прятались тут же! Было им с кем поговорить в ненужном этом городе. Побывавший здесь говорливый Эренбург писал, что Потомск умирает, что Потомск — город чёрного хлеба и бледной немочи. А к юго-западу от него закипал Новосибирск, а на юге громыхал Кузнецкстрой. Иные города, иногда с нуля, определялись в наковальни советской власти. Другие, с мохом лет на них, превращались в её плахи.

«Бог создал Крым, а чёрт — Нарым». Разворачивая Террор, вспомнил Сталин о своей ссылке, и потекли в Нарымский край и в Потомск чуждые элементы. В деревни и сёла, а чаще на голое место — раскулаченные крестьяне. В городе накапливались всякие интеллигенты, чьё временное поражение в правах оборачивалось безвременным и смертью. Выжили и вернулись домой редкие — Эрдман, Меркурьев, Дурылин. А такие, как реакционный философ Шпет или юродствующий поэт Клюев, были расстреляны. А с ними и здешние, заражённые общими флюидами контрреволюции. Эту эстафету от Адрианова перехватили этнограф Шатилов, художник Чорос-Гуркин, генетик Чехов, Ильин — первооткрыватель сибирской нефти… А с ними десятки тысяч безымянных людей всех воз-

растов, национальностей и вер легли в братские могилы. От пули, от голода, от болезней.

И жутко откроется одна из таких могил к северу от Потомска, в маленьком городке, через сорок лет, когда обрушится обской яр и сохранившиеся нетленными в его сухом песке тела расстрелянных предстанут на свет Божий. И говорят, что кого-то и опознают их потомки. А власть огородит эту провокацию истории, нагонит технику и молча подчистит яр. Впрочем, об этом много писалось.

В звенящей тишине тридцатых, в городе, где первый трамвай запустят и первый асфальт положат только после Войны, в страхе и нищете, когда милостыню подавали — если повезёт — картофелиной или луковицей, вырастали от противного неизбалованные люди лицом к университету, общающиеся с обаятельными ссыльными, пока над захолустьем («Как это можно было допустить — это же заповедник контрреволюции!») не сверкнули кровавые молнии. И вот когда проступил, условно говоря, петербургско-ленинградский след: рядом с исконной стихией мата образовалась гармония отличной русской речи и даже, между избранными, подобие хороших манер. Хамство заразительно, но влиятельны и хорошие примеры. Затем, в Войну, в Потомск эвакуируют элитные питерские заводы — и это тоже скажется.

С тех пор и до наступления новейших времён у потомцев была хорошая репутация: и говорят прекрасно, и воспитанны они, много, много на улицах осмысленных лиц — город науки, учёных и студентов, и в науке связанный с Питером. Шутка ли — шесть вузов — ныне они все университеты. Так что можно называть Потомск городом шести университетов на семи холмах! Это уже питательная среда, в которой ожиданно возникают личности всемирные, например, великий композитор Денисов (но незадача — покинувший свою малую родину вместе с большой).

И была Война, и вернулась с неё в Потомск и Потомский край ровно половина ушедших на фронт. Отвага сибиряков известна и воспета. И крепко поддержали фронт потомские заводы и потомские учёные.

И снова наступила тишина, и снова зазвенела. Между тем, всё набирала в Потомске мускулы наука, складывались знаменитые учёные школы, и престижным было иметь потомский диплом. Сотни потомских учёных за век составили цвет страны, трудясь на совесть, живя небогато, но даже и с достоинством, нервным, надо добавить.

После падения Хрущёва Потомскую область возглавил энергичный, честолюбивый и жёсткий человек, про которого справедливо сказать: одиозный пономарь КПСС, и про которого без иронии можно сказать: трудяга-созидатель.

При нём забили фонтаны нефти на Севере, и поэтому выстроили на Севере целый город на ровном месте, ожили сёла, самые заброшенные в зачуханной России, при нём на карте города проступили контуры больших заводов, раскинулся потомский Академгородок, и сам Потомск запоздало начал разбегаться в панельных новостройках на север, северо-восток и восток. При нём, ныне одиозном сталинофиле, расцвела потомская культурность. И неслыханными свободами оборачивалась для творческих личностей — иногда, иногда — амбициозность Первого.

Болезненным же рикошетом роста было стремительное заселение города новосёлами, новосозданным пролетариатом из деревенских. Вновь Потомск не успевал переваривать пришельцев. Вдобавок и студенчество заметно дичало. Десятками тысяч люди, молодые, поступали на заводы, на стройки, переставали быть деревенскими и не становились городскими, потомскими… Снова страдали нравы, с приходом асфальта (будто бы парадокс) вернулись хулиганка и мусор. И лузга — когда-то верный признак смутных лет.

Город раздваивался. То он город мастеров, то, простите, просторная слободка, где разве что пьяной гармони не хватает, но морду уже бьют! Такова плата за советский прогресс, зато подтянулись к другим городам.

Вдобавок, за великими расходами на большие Дела, за неусыпным за ними вниманием, как-то подзабывалось о простом, человеческом — питании, одежде, гигиене. И это несколько огорчало потомцев, вынужденных возить, исполняя длинные списки, себе и соседям, необходимое из Новосибирска, Москвы и Ленинграда. Тем, кто имел отношение к науке, помогало то, что командировки у них часто выписывались в эти населённые пункты.

Между тем, и потомское студенчество, чьи ряды увеличились кратно, составляя вместе с учителями своими едва ли не четвёртую часть населения города, воспитывалось общежитским образом, мечтая не о *Доме*, но о квартире. Студенты гордились своей учёбой в Потомске, но любили, в сущности, не город с его древней славой, а свои в нём фрагменты, свою альма-матер. Они ехали в Потомск изо всех уголков Сибири, из Северного Казахстана, из России, смешиваясь в этом котле и заводя семьи, и уезжали в третье место, так и не узнав Потомска и любя его, как свою юность или как солнечную Молдавию, на расстоянии.

Те из них, кто оставался работать в потомском университетском мире, сохраняли эту инерцию безразличия, имея узкие маршруты: квартира (комната в общежитии) — работа (аудитория, кафедра, библиотека, лаборатория) — и по дороге магазин с огорчительными, вынимающими душу очередями.

Среди учёного люда, начиная с ректоров и профессоров, в Потомске три четверти приезжих, живущих в таком маршрутном ритме. И любо им высокое, далёкое, но только не зияющий нынче бытом, не умеющий себя защитить старинный город.

И вот с 70-х годов Потомск решительно теряет память. И красоту свою увядшую — потому что её не замечают.

О Старце в атеистическом городе и не вспоминали.

Имя Лыгина забылось напрочь — потеряв чувство красоты, люди и не хотели спросить, кто же это придумал, такое изящное. Им было всё равно.

О Потанине знали, что он — памятник, на который, по преданию, топал ногами один профессор, ленинист-сталинист, ещё и поклонник Кирова впридачу.

Единичные краеведы воспринимались как милые чудаки-дурачки, занятые мелкой чепухой. К сожалению, были среди них и такие.

Потеря любви к близкому Потомску произошла от встречи данной неукоренённости с великой апатией и тоской зелёной, охватившей тогда страну, и провинциальной образованности — с особой и мерзкой липкостью. Рука об руку с тоской шли мелкий эгоизм, и больное самолюбие, и конформизм, и алкоголизм. И рядом с людьми светлыми, толкая, тесня и выжимая их, с новой убедительностью вырастали циники и предатели университетского же разлива. Но вино и водку они пили вместе и везде — и дома, и на работе, и в университетской роще, и на демонстрациях трудящихся, забегая, при остановках шествия, в подъезды и подворотни. Жили в очередь и в очереди — так жить плохо, невыносимо, «и оставь всякую надежду», если однажды осознаешь, что это навсегда.

О временах наиближайших говорить трудно. Были они полны бурных событий, спорили в них надежда и отчаяние. И сохраняется твёрдое убеждение, что разыгрывается на наших глазах древний сюжет о тришкином кафтане. «Пока солнце всходит, роса очи выедает». Длится это двадцать последних лет, и лоскуты перемещаются — латая одни дыры, обнажает потомец другие, и ничего по сути не изменилось в потомце в этом затянувшемся ожидании восхода.

И. Н. Северянинов, мыслитель, прикованный к постели и телевизору (укроюсь за его текстом), негодуя, описал эту стагнацию, эту эпохальную пробуксовку так:

«И, переживши с опущенной головой профанную, высасывающую нервы, тревожную свободу девяностых, «подняли» голову усталые потомцы и обнаружили: ротвейлерскими челюстями прихватила их глобализация со всем набором её усредняющих

человека ветеринарных слов, стимулов и щелочей, «трендами» и «брендами», с сакральными курсами валют и хохочущей пошлостью масскульта. Пошлость, оказывается, и есть здравый смысл; человек, чтобы быть «свободным» в «этой стране» «этого мира», оказывается, должен быть бесконечно мал и вопиюще обыкновенен. Цивилизованный человек считает Деньги и посмеивается над всем тем, что не подлежит примитивному обсчёту. И не страшно ему, что «всего того» ещё много — тем интереснее жить, уничтожая его. Это же хлам, развалины исчезающего мира Истории, которая в людях уже остановилась, уже не в людях она, и это жалкое «всё» риторично-анекдотично, а у нас есть стёб, и мы это всё перестебаем и перемолотим, развоплотим. И все дороги ведут к гламуру, к глянцу, рождённым в сюжете перемещения капиталов и приданных им тел.

И старинный Потомск, «обрендив» свою старинность, стал распадаться на не подлежащее подсчёту количество городов, вплоть до ситуации «одна квартира — один город». Ибо город теперь условная единица поселения для всемирных граждан.

Потомск похорошел, воспринял прелести гигиены и косметики; вернулись в него храмы; учёные мужи к юбилею Потомска заговорили об его истории. История эта принадлежит только им и их амбициям, их частному делу (ИЧП), их орденской игре.

Ибо обнаружила свою декоративность; и декоративность Потомска, города каменных и деревянных теремов, выгодно вписывает его в поле гламурной игры.

И в этом мире отрицательного отбора, когда убогие аутсайдеры сполна берут реванш у напыщенных профессионалов, мире имитаций и самозванства, увяла потомская интеллигенция. Уходят Учителя старой совестной складки, и бледнеют созданные ими школы. Не нужно нынче гнуться перед идеологией? — гнёмся перед чичиковской копейкой и чужим эгоизмом, чтоб возлелеять свой, — такие, как все.

Ни по облику, ни по повадкам, ни уже и по речи не отличается потомский интеллигент от прочих обитателей Потомска, озабоченный девиациями «социальной близости».

И без того обиженная и ставшая в этих обидах мелочной и спесивой, изучившая виртуозную науку самооправдания («я выше ваших потуг, мне претит ваш стрёмный дилетантизм, ваши *игры*…»), склонилась интеллигенция к очередной образованщине.

Разъедаемая изнутри, несолидарная, пеленается она в коконы узкого знания и милого невежества. И глубоко, как никогда, от этого несчастна. Но злая эта несчастность! И ведёт к замкнутой ролевой игре — отнюдь не в бисер. То добро бы!

И ждёт Потомск нового Диогена, что воспалит факел и при яр-

ком свете дня побежит по городу: «Ищу человека! Где же человек? Сохранился ли где-то человек, где, в каком заколдованном месте?».

Найдёт?

А что же Болото? А Болото закрылось в своём мире, живя приблизительными воспоминаниями о славной поре бакланов. Оно сообщалось с Потомском посещениями рынка через мифологический Обруб. Но рынок скудел и терял колорит; товаров, продавцов и собеседников становилось всё меньше, а нищих и дураков всё больше. Террор устрашил, хотя и коснулся Болота заметно умереннее, чем других территорий города, — сказалась во благо внеразрядность его обитателей, поскольку пожирающая машина работала матрично, и доносчиков здесь было мало.

Когда после войны убрали рынок, перенеся его дальше на север, иссяк пешеходный маршрут, и Обруб стал зарастать репьями и крапивой. Болото словно заснуло. Его драмы были внутренними и никого вовне не касались. Время здесь перепуталось и живёт в комках и разрывах. Дальнее бывает ближе нынешнего, как детство бывает милее старику, чем его бесполезная трудовая биография.

Кажется, сон продолжается? О чём этот сон?

Глава третья

Золотой век Болота

«Были когда-то и мы рысаками» — говорили и говорят жители Болота, встречаясь на Костровом месте, сегодня не зная толком, не помня ничего определённого, кроме имён-отчеств дедушек и бабушек и того семейно-мифологического, что прадедушка гнул подковы и пятаки, а прабабушка родила двенадцать детей и прожила 98 лет.

Но почему-то все уверены, что золотой век Болота относится к годам, предшествующим русско-японской войне, когда «политики» ещё не было и «лягушки», самые независимые из потомцев, «жили ещё *сами*», то есть сами по себе, без, так сказать, педагогов. Эпоха совпала тогда с Болотом.

Что примечательно, именно эти годы в истории Болота (примерно 1885–1900 годы), и никакие другие ни до, ни после, отражены, запечатлены в газетной хронике. Тогдашние потомские газеты переживали подъём интереса к конкретной жизни простых людей, отличались демократической физиогномистикой и добросовестной очерковостью. (Кто-то потом скажет, что не о чем серьёзном было тогда писать в газетах, вот и собирали в них всякую белиберду… Минуточку! Для нас этот хлам — золотой, и серебряный, и жемчужный, и стоит за ним человеколюбие и забота о Потомске

как общем для всех доме, с любовью к согревающим его печам и обидой за сорные углы, которые нужно бы вымести.)

В начале 20 века заявилась «политика». В газеты пришли новые журналисты, дружно презрели Болото и подобные ему местности и заспорили, как сделать россиян счастливыми. Тут уж глядели в будущее, а не в сегодняшние постные рожи, обидно равнодушные к словам «эксплуатация», «сицилизьм» и т. п., но оживляющиеся при словах «штоф очищенной», «балычок» и «Глаша». Глина! Зачем писать о глине — из глины нужно ваять, глину нужно обжигать, не спрашивая, нравится ей это или нет…

А в советское же время писать о запущенном Болоте было стыдно, и не находились там герои трудовых буден.

В последующем изложении в календарном порядке приводится всё найденное в газетах, что так или иначе связано с жизнью глухой потомской окраины, расположенной в центре города.

«На днях в городе разнеслась странная молва, будто в доме Колотилова, по Большой Болотной, в нижнем этаже, ежедневно после четырёх часов пополудни и до ночи раздаётся необыкновенно сильный, повторяющийся стук. В комнате кажется, что стучат снаружи, а со двора слышно, будто стук идёт из комнаты.

Хозяин дома, взволнованный необыкновенным происшествием, приглашал, как мы узнали, полицию и несколько посторонних лиц, чтобы убедиться, нет ли тут какого-либо мошенничества. Дом был тщательно осмотрен внутри и снаружи, все присутствующие слышали загадочный стук, но никто пока не знает его источника. Нам кажется, что всего естественнее предположить в данном случае почвенные звуки. Дом Колотилова выстроен на болотистом месте, и очень может быть, что в большие морозы почва сильно промёрзла, а с уменьшением холода даёт трещины, при образовании которых раздаются глухие звуки».

«В небольшом помещении, загрязнённом ремесленной работою, низком и душном, у стены размещены были двенадцать джентльменов в пимах, шубах и разных головных уборах, свидетельствующих о том, что все они были несомненно господа. На головах были фуражки и с оранжевыми, и с зелёными, и с жёлтыми кантами, и все с кокардами, и все эти головы были плотно приложены к стенам маленького помещения. Слушали они те неизъяснимые стуки-звуки, которые дали хозяину прозвище Стуколкина…»

«Читателям уже известно, что полицмейстер Н. Н. Петухов назначил особую комиссию для исследования причин стуков, повторяющихся ежедневно после четырёх часов до полуночи в доме купца Колотилова. Комиссия эта, под председательством советника городского управления Хаова, с участием помощника полиц-

мейстера А. Н. Сосунова, техников Шрайера, Владиславлева, университетского архитектора Нарановича, городского архитектора Хабарова, одного из инженеров путей сообщения, механика телеграфной станции, преподавателя физики в реальном училище г. Сухова и нескольких посторонних лиц собиралась неоднократно в доме Колотилова и посредством телефона и микрофона исследовала почву под домом и флигелем, а также и стены самых зданий, но пока ни к каким заключениям не пришла, потому что во время её присутствия стуков, как нарочно, слышно не было. В другое же время стуки продолжают беспокоить обывателей злополучного дома. Между прочим, во время литии по умершей тёще г. Колотилова начало стучать так сильно, что сейчас же послали за членами комиссии, но в доме вдруг воцарилась тишина.

Не даёт ли этот факт предположить чьи-то неуместные шутки? Мы слышали, что живущий в доме мальчик раз уже был уличён в намеренном производстве стуков каблуком сапога в стену около дома. Нет ли там и другого подобного забавника?»

«8 марта. Войнишки. За Истоком кулачные бои между русскими и татарами не прекращаются. А вчера в Кузнечном рву, под Вознесенской церковью (восточная окраина Болота), была войнишка между болотными и кузнецами с Белого озера. Вопреки обыкновению, победили болотные. Говорят, что кузнецы слишком перепили перед сражением».

«7 июня. Проходя по Обрубной улице и на Болото, всегда можно видеть массу купающихся людей и лошадей».

«Июль 17. Через Ушайку, по мостику от бани Лапина проходила молодая женщина, крестьянка Т. О. Навстречу ей шёл молодой человек, мещанин С. Н. Подойдя поближе, он вдруг выхватил у женщины из рук зонтик, тут же разломал его в мелкие куски и, обругав О., отправился дальше. Добавим, что С. Н., жилец Болота, был трезв, а с Т. О. незнаком».

«Рассказывают, что в ночь на 2 августа по Вознесенской горе и Болоту несколько раз проходила совершенно нагая женщина».

«Нам говорили, что в одной шапочной мастерской на Болотной улице пьяные подмастерья за несколько копеек, а иногда прямо за шкалик водки, дают своим товарищам и хозяину стегать себя розгами. Не мешало бы прекратить подобные соглашения!»

«На Загорной улице, в доме Серебрянникова, вечером раздал-

ся взрыв, когда хозяйка со свечою зашла в свой погреб. Взорвался болотный газ, хозяйка отделалась испугом, однако же стала слегка заикаться».

«Солнечное затмение 7 августа, как всегда, не обошлось без казусов и панических проявлений. В Заозерье собаки искусали о. Вениамина, на Миллионной улице коровы бросались на прохожих, и одного мальчика чуть не забодали. На стройке дома на Песках плотники побросали свои инструменты, схватили котомки и побежали домой. В деревне Аникиной мужики перепились и начали бить баб, чтобы в последний раз насладиться этим древним славянским удовольствием. На Болоте проститутки выбежали на улицу из трёх соседних домов и устроили «детский крик на лужайке», а местные жиганы ссадили с извозчика чиновника Г. М. и обобрали его до белья, приговаривая, что это «в последний раз» и добро ему не пригодится за концом света, а они, по крайней мере, поторопятся пропить его в кабаке Ю-ча».

«Жители Большой Болотной улицы просят нас обратить внимание на ежедневные безобразия, происходящие в двух желтофонарных заведених, одно из которых располагается в доме Хотимского, а другое в доме Скорбина. Обитательницы их доводят свою пьяную дерзость до того, что нагло раскланиваются с проезжающими дамами. Кроме того, около одного из них, помещающегося в доме Скорбина, находятся два кабака, где постоянные ссоры переходят в публичную драку и всегда под конец сливаются с площадными шутками публичных женщин. Мы не говорим уже о том, что оба этих «заведения» содержатся какими-то тёмными личностями, которые ради своих гешефтмахерских целей нисколько не заботятся о спокойствии и безопасности своих соседей».

«6 сентября, в воскресенье, в три часа дня известный трактирный боец-«баклан» плотник Алексей Иванов забрался в квартиру некоего Уманского, живущего на Болоте, по Горшковскому переулку. И, пользуясь отсутствием хозяев, которые были в другой комнате, отворил ящик, но, услышав, что идут, успел схватить только один узел, который лежал сверху, и выбежал на улицу. Хозяева подбежали к нему и отобрали узел. Иванов погрозил, что «теперь я не так ещё вас обворую», и преспокойно пошёл. Зная его за бойца, хозяева боялись к нему подойти, и он безнаказанно ушёл».

«15 января. Нам передают, что на Болоте мальчишки, катающиеся на коньках, придумали для себя новый вид забавы, не совсем безопасный. Кроме катанья на тротуарах (деревянных, уступча-

тых, ломанных), где они нередко сшибают с ног прохожих, мальчики, имея в руках особые крючки на длинных палках, целой гурьбой бегут за каким-нибудь проезжающим экипажем, цепляются за что попало и мчатся сзади до тех пор, пока их не отгонят бичом или пока им самим не надоест кататься. Рассказывают, что 12 января толпа ребятишек, цепляясь за сани своими крючьями, испугала лошадь, запряжённую в кошёвку, в которой сидели женщина с ребёнком; лошадь бросилась в сторону к чьему-то двору и едва не разбила ворота. Необходимо запретить мальчикам эту забаву, т. к., бегая по улицам и гоняясь за санями, они рискуют попасть под лошадей и заплатить жизнею за свою забаву».

«В настоящую банду сплотились на Болоте шорники купца Кострыгина при его радушном попустительстве. Хозяин, кажется, гордится тем, что его подопечные избивают и грабят людей на «Кострыгинской» улице. Проснись, полиция!»

«Всю осень Болото погружено во тьму; только на Большой Болотной горят несколько фонарей. Шалят на Ямах».

«Мы слышали, что пряничник Леонов на Болоте каждого поступившего к нему подмастерья обязательно посылает в воскресную школу. Настоящее чудо на Болоте! Спасибо, г. Леонов!»

«Январь. Обращаемся к городской управе: необходимо установить крытые помещения на Ишайке для полоскания белья. А то бедные женщины, полоскающие бельё, терпят истинные мучения».

«Богоявление Господне. В иордани на Ишайке искупалось-таки 10–15 мужчин и женщин, несмотря на запрет. Между тем, валят и валят навоз в Ишайку, бродят по ней коровы и носятся собаки. Здесь устроены катания и бега на призы. Катаются до поздней ночи и в темноте, когда уносят фонари, несмотря на трещины во льду».

«Январь, 19. Подробности драмы на Болоте, в доме Петровой на Загорной улице. Глухой ночью ограбили двух старух — знаменитую городскую прачку К. и её прислугу. Ограбили «грамотно», зная «пейзаж», два жигана из местных. Старух пытали, избили и связанных спустили в подпол. Они выжили чудом, благодаря соседу, навестившему ночью на дворе ретирадное место и услышавшему их стоны. Уже в 6 часов утра, несмотря на поднявшуюся сильную мятель, пристав Корольков отыскал и задержал преступников».

«Умер в 30 лет Семён Васильевич Изосимов от разрыва сердца, проживавший на Болоте. Протоколист суда, получая скудное жалованье, он и его никогда не приносил домой в целости, а получив его, раздавал часть по дороге разным беднякам».

«Обвешивают! В своей лавке на Болоте купчина Карукис недовесил пуд муки на 9 фунтов! Полиция обнаружила, что у него поддельные гири и коромысло, а в цепях весов большие гвозди. Бедных грабите, г. Карукис!»

«Дерзкий шалун. На Обрубе, из ворот дома Зеленевского, где винный склад, очень часто выходит какой-то мальчик и злорадно поджидает идущих на Болото из училища школьников, и как только заметит какого-нибудь мальчугана, то, не говоря ни слова, бросается на него и начинает бить по лицу, по голове и по чему попало палкой или травить собакой, которая рвёт одежду бедных ребятишек, преследуя их при громком смехе злого мальчишки. Выбирает этот мальчуган для своих проделок того, кто поменьше ростом и послабее на вид. Нет прохода мимо этого дома. Обращаем внимание на этот факт родителей драчуна».

«Апрель. Потомск задыхается от притонов и проституции. В особенности богаты притонами Болото и Солдатская слободка».

«Наводнение в Потомске (…). Большая часть Болота, до Загорной, залита водой. К обеду затопило толкучку».

«25 мая. На юг от Ишайки, на поле перед Мухиным бугром, развернулась массовая игра в карты и орлянку. Всем заправляют Мишка Бар-«Выкрест», известный своим буйным нравом, и «Монашка» Сполянский. Жители Болота, не имея простора в собственных пределах, охотно присоединяются к играм, форсируя Ишайку. В свою очередь, они правят бал на гуляньях в прилегающей с востока к Болоту роще при пивном заводе Ваганова, где тьма проституток и куда порядочные люди давно забыли дорогу».

«На Большой Болотной улице пастух, созывая скот на луг, так громко трубит, что обыватели просыпаются. А коровы лезут в чужие дворы. Кошмар!»

«17 июня был ливень, напугавший многих, особенно живущих у подошвы Горы, на Болоте».

«Нам жалуются, что по Б. Болотной улице нельзя пройти, благодаря тому, что из дома Поздняковой проведена из помойной ямы

канава, шириною в аршин, к Ишайке. Канава ничем не закрыта и прямо проходит по улице под тротуаром. Разит страшно!»

«Нам сообщают, что мимо дома К., на Обрубе, положительно нельзя проходить: на балконе этого дома постоянно собирается целое общество, и мужчины занимаются тем, что кидают окурки папирос на прохожих, а женщины обсыпают их ореховой шелухой. Иногда же бывает ещё хуже: над прохожими начинают грубо острить или даже плевать на них».

«Мы рассказывали о балконе на Обрубе, с которого молодые хулиганы издевались над прохожими. 3 июля они неосторожно «пошутили» над проходящими с базара домой, на Болото, двумя известными бойцами-бакланами М. А. и С. Г., последствием чего были, в количестве пяти человек, крепко избиты обиженными в кровь. Дело, однако, закончилось мирным соглашением при посредстве помощника пристава К.».

«18 июля. Есть в Потомске местность, носящая довольно характерное название Болото, изобилующая притонами разврата, портерными, питейными и иными заведениями, составляющими для других, мирных обывателей нечто вроде казней египетских. Каждую почти ночь, особенно по праздникам, на улицах, например, Загорной, слышны цинические песни, брань, а частенько бывают и настоящие битвы: подгулявшая компания мастеровых и рабочих, повздорив из-за какого-нибудь пустяка, оканчивает эти споры дракой. Не мешало бы обратить на эту местность особое внимание и хоть немного поочистить пресловутое Болото».

«16 августа, под вечер. На Болоте в доме Галичкина пьянствовала компания, и дело кончилось крупною дракой, ибо некто Лебедев ножом проколол руку крестьянке Нелидинской волости Ивановой. Причина ссоры — ревность, а вернее, опьянение. Лебедев бежал, но около пересылочной тюрьмы был захвачен помощником пристава Корольковым и ввержен в узы».

«В питейном заведении Юдалевича, на Болоте, умер мещанин из ссыльных Гамкрелидзе, человек небедный. Он поспорил с собутыльниками, что выпьет за раз три бутылки водки, три бутылки наливки и три бутылки пива. Он вылил всю водку в одну посудину — выпил. Потом наливку — выпил. Но пива пригубить не успел — моментально умер».

«Оказалось, что смерть Гамкрелидзе была спровоцирована Гелядзе и Чикуадзе, которые при помощи их любовниц Скорушинской и Муравьёвой хотели вытащить у пьяного, а вытащили у

мёртвого более 500 рублей и разные ценные вещи. Шайка арестована».

«Осень в Потомске, особенно в таких местностях, как Мухин бугор, Солдатская слободка, Болото, — время самого варварского разгула. Дикая молодёжь ломает тротуары, выворачивает фонарные столбы, мажет ворота дёгтем, бросает в окна камни и палит из револьверов. Наглые подростки пристают к женщинам с бесстыдными, скотскими словами. На Болоте без конца ломают единственную лестницу под Вознесенской церковью, как бы прерывая сообщение с Горой и самой Верой».

«19 сентября на Большой Болотной улице в портерной Ал. Платонова было совершено нечаянное убийство Лукерьи Кузнецовой, 48 лет, мывшей полы в этом заведении. Она была ранена из револьвера, которым играл 14-летний мальчик Александр Бруштейн, оставленный на попечение Платонову родителями его, заключёнными теперь в тюрьме по делу о краже золота из магазина Тельных. Раненую женщину тотчас же отправили в больницу, но потом почему-то возвратили обратно к Платонову. На обратном пути она умерла у самых ворот дома Скорбина, где арендуется Платоновым его портерная».

«В праздничные и базарные дни Болотная улица, в особенности перекрёсток ея взвоза сразу за Обрубом, получает какой-то своеобразный, дикий характер. Целый десяток помещающихся на этом пункте распивочных и других заведений на праздничный и базарный день точно оживают. В это время можно встретить там всевозможные сцены то и дело дерущихся пьяных и ругающихся извозчиков, которые нисколько не заботятся об удобстве и безопасности прохожих обывателей. Дикий хаос — и ни одного полицейского».

«2 декабря. Из бани Карукиса (бывш. Окороковой) спускают после трудового дня воду в Ишайку, и на берегу образовалась зловонная катушка».

«9 декабря. Из склада Карукиса, путём взламывания стены, похищено 300 тушек гусей. Как это могло произойти — ведь разом стену не взломаешь? Где был в это время обходной?»

«(Прошение, поданное в Вознесенскую управу обывательницей Болота, проживавшей по переулку Горшковскому, 12.) Ваше высокоблагородие! Крестьянская жена Дарья Иванова Панина просит.

Вследствие моего пьянства прошу меня выслать из Потомска, потому что я надоела уже моему мужу и дочери Аграфене. Сделайте милость, войдите в моё положение, вышлите меня из Потомска как пьяную женщину, чем премного меня обяжете, и я вечно буду молить за вас Бога. При сем присовокупляю, что если я и проживу здесь ещё, то нечаянная смерть моя сделает вашему благородию много хлопот. Панина».

«2 сентября сын каинского мещанина Яков Юровский, 14 лет, нашёл на Болотной улице вскрытый конверт с письмом и пятью рублями на имя Анны Плотниковой с передачей Балаховой. Письмо и деньги представлены Юровским в Сенную часть, куда потерявшая и может обратиться за получением потерянного».

«На Болоте держит трактирное заведение известный по Потомску силач Михаил Митрофанович Сидоров, недавний герой массы удалых дорожных с чаем и других приключений, имевший по этому поводу даже несколько недоразумений с властями уголовными, но кончившихся, благодаря прежним порядкам, для Сидорова, поуличному Митрофанова, благополучно. Порешив бросить опасные дорожные экскурсии, Митрофанов обосновался при трактирном деле, которое тоже цветёт, благодаря его старым, да, пожалуй, и нынешним связям…»

«3 декабря в пивной Ал. Платонова, на Болоте, в доме Скорбина, какой-то неизвестный человек ранил выстрелом из револьвера крестьянина Ив. Косенкова».

«На Болоте, в доме Ицковича, имеется трактир, которым распоряжается некто Еселевич. В этом трактире стоит пресловутая «фортунка», на которой происходят крупные азартные игры».

«Спесь Болотная! Собирая справки о цене на жизненные продукты, пришлось получить такой «камуфлет» из лавки г. Б.: «Не стоит эфтим языком для вас мочалить!»

«Любители кулачного боя, бакланы, всегда собирались на Большой Болотной улице, поскольку в основном здесь и проживали. Пили и шли драться за Ишайку, на луг под Мухиным бугром. Сейчас в кабаках сидят ветераны, племя их поредело. Но иной раз, заскучавши, лупят друг друга».

«Недавно мы были на Болоте свидетелями очень новой и забавной детской игры: мальчик лет 12 заставлял двух своих сестёр,

девочек лет 5 и 7, бегать по улице, а сам он стрелял в них из лука стрелою, в конце которой была укреплена иголка. Очень милая игра…»

«По мнению городской санитарной комиссии, самые грязные потомские клоаки — Мухин бугор, Слободка, Болото».

«Ученик пряничника Леонова, А. Тараканов, 17 лет, поссорился с кухаркой и от обиды ткнул её три раза ножом в мягкое место».

«10 апреля. Каботажное плавание вдоль берегов Ишайки уже началось: с утра до ночи несколько лодок режут навозные воды, несмотря на опасность, с которою сопряжено плавание среди льдин, тем более, что лодки все с «протекцией».

«Пивные на Болоте — учреждения совершенно энциклопедические».

«Трактир в доме Дятлова по Загорной улице — казнь египетская для обитателей этой злосчастной улицы. Крик, рёв, песни, площадная брань несутся из этого трактира постоянно. Особенный ужас на обывателей улицы навели посетители этого трактира 5 июля. Человек 7–8 плотников, вятичей, проживающих в том же доме, где помещается и трактир, часов в 12 ночи, совершенно пьяные, подрались с другой компанией. Тесно стало в трактире — и театр боевых действий был перенесён на улицу. Вятские победили, и один из побеждённых вбежал в дом номер 34, Денисова. Озверелая ватага плотников подступила к дому Денисова и потребовала выдачи беглеца, причём требования сопровождались бомбардировкой дома поленьями. Из осаждённого дома раздались выстрелы. Пальба привлекла внимание обходных, и кое-как порядок был водворён».

«8 сентября около Исаевой мельницы, за Болотом, состоялась крупная войнишка. Мы уже начинаем забывать про эту народную и вредную потеху, но, к удивлению нашему, в ней приняло участие до 200 человек — кузнецы с Белого озера, болотненские, мухинобугорские и даже отряд татар, на стороне кузнецов. Дело закончилось вничью. Старые знатоки считают, что правильно биться народ подразучился».

«Потерялся сотник из деревни, сопровождавший арестанта, обвиняемого в убийстве. Арестант — крестьянин Кожевников — сам пришёл в Сенную часть. Где-то на Болоте сотник занырнул в трактир и потерялся. Устав дожидаться его на улице, Кожевников само-

стоятельно довершил свой маршрут. А сотник в конце дня звонил в часть по телефону: дескать, сбежал от меня преступник. Был, натурально, уличён в обмане и сам посажен в кутузку».

«Около 10 часов вечера 29 июня каинский мещанин Яков Михайлович Юровский, проживающий на Загорной улице, в доме Яковенко, 51, выстрелом из револьвера убил наповал свою сожительницу, дворянку Веру Павлову Павлову же. Катастрофа произошла в квартире Юровского. В убийстве он сознался, говоря, что таковое произошло помимо его желания: выстрел произвёл он нечаянно, осматривая револьвер. Пуля попала в левый висок. Юровский часовых дел мастер, от роду ему 21 год, а Павловой около 20 лет. Труп Павловой отправлен в анатомический покой для вскрытия. Юровский арестован. Дознание производится».

«30 июля около 8 часов вечера на Базарной площади собралась огромная толпа народу. Герой водопада Иматры знаменитый канатоходец Алике Блонден два раза перешёл натянутый по диагонали площади проволочный канат длиной в 50 сажен на высоте 7 сажен! Первой пошла его дочь, прошла несколько шагов, но возвратилась — с Потомы дул сильный ветер. 1 августа состоялось второе представление. Алике Блонден, как стало известно, заработал на нём до 500 рублей».

«Пример Алике Блондена оказался весьма заразителен. Во многих дворах натянуты верёвки, мальчики и даже девочки ходят по ним, срываются, зарабатывая синяки и вывихи. Один мальчик даже сломал себе руку. Не отстают и взрослые. На Болоте известный боец-баклан Михаил Андросов натянул канат между двух желтофонарных заведений через Б. Болотную улицу, длиной саженей в 9 и на высоте 6 саженей, и прошёл по нему до конца, держа в каждой руке по штофу очищенной, да только, уже сходя, запнулся об узел и свалился на окно дома, выбив изрядным телом своим раму и серьёзно поранив себе лицо и руки осколками. Присутствующие, однако, признали, что он выиграл заключённое им с г. Платоновым пари».

И на этой жизнеутверждающей ноте заканчивается наша наивная хроника. Запасы тонкой папочки исчерпались. Впереди — век самого пренебрежительного замалчивания Болота.

Нет сомнений в том, что сегодняшние граждане Болота не читали старых газет — где бы они их взяли? И, за отсутствием потребности, не родился здесь свой летописец. Может быть, потому, что время здесь скорей круговое, чем линейное? Но, вглядываясь в наших болотненских современников, коммунистов и либералов,

и даже почитателей «Единой России», впавших в телевизионное рабство и вкусивших сладкий мёд банкоматов (впрочем, на Болоте почему-то нет ни одного банкомата, и всем, и пенсионерам, приходится выбираться в Город), как-то понимаешь, что они не помня помнят о былом кипении жизни в здешних пределах (на уровне идеала), как помнили-вспомнили своё ремесло руки у одного обаятельного пьянчужки из трогательного советского кинофильма времён Оттепели.

И, сдаётся, мало что принёс нового и симпатичного, по сути, в остатке этот прошедший, молчаливый к Болоту век его обитателям. Перенеси их *туда* — и как ни в чём не бывало будут они — с облегчением, словно отряхнувшись — мерно дневать и ночевать под слабый плеск Ишайки и невнятное отбивание часов с пожарной каланчи на Горе, над их головами. Скажем (превеличивая в искусе красного словца) так: Душа Болота осталась прежней, а менялись её упаковки и фасовки.

В незапамятные времена на Болоте — в низине, примыкающей к восточному склону Вознесенской горы, — поставили свой дом Сухонины, предки Алёши Сухонина. Тот дом наверняка сгорел, не дождавшись тлена, и другие дома предков сгорели или истлели, пока последний их собственный не отняла большевистская власть. Он, впрочем, тоже сгорел через пятнадцать лет. Но все эти дома стояли на Болоте, и тот, двухэтажный деревянный казённый дом, в одной из квартир которого родился и вырос и проживает Алёша, тоже стоит на Болоте, на самом его краю, в углу, образованном Горой и речкой Ишайкой, между которыми и тянется сквозняком к дому спуск с Обруба, из центра города.

Место сырое, комариное, речка нечиста и поддаёт миазмами. Пышный центр города на расстоянии одной выкуренной сигареты. Но туда, в тот «верх», ходят редко и мимо, а оттуда, вниз — ещё реже. Здесь высок авторитет алкоголя и картофеля. Здесь ещё живут люди — потомственные грузчики, сторожа, экспедиторы — частично не сменившие шаровары на трико с лампасами, носящие как уличную обувь пыльные войлочные тапочки с сердечками на взъёме и называющие все грузовые машины «полуторками».

Нигде, ни в каком другом городе нет такого близкого соседства и такого упрямого взаимоотрицания обыкновенного шика цивилизации и необыкновенной уездной глухомани, пахнущей печным дымом, трухлявым деревом, черёмухой и сиренью, и с беспечным зловонием всякой, как выражалась Алёшина бабушка, «дрисни».

Чужих здесь не любят, но и не губят — здесь смотрят сквозь них и могут игнорировать их топографические вопросы. Собаки здесь бесшумны, они молча пристраиваются к самым пяткам чужого случайного пешехода, и бывает, что, не издав ни звука, они, им не

замеченные, хватают его за щиколотку и отбегают, осклабливаясь, как Ксения Собчак.

Вместе с тем, здесь самый низкий в Потомске процент смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — научный факт, заставляющий играть лицом университетских мыслителей.

Глава четвёртая
Бабушка и Колокол

Бабушка начала стареть с большим запозданием, прилично перевалив за 70, но в какой-то год ничего не осталось в ней от того «вечного огурца», как звал тёщу Алёшин отец, всегда к ней приветливый и почтительный.

Настолько почтительный, что, уходя из семьи по-английски, в начале 90-х, не удержался, и с ней одной — не с женой, не с сыном — лично попрощался воочию и вслух. Это произошло летом, в начале июля, он знал, что она возится со своей клумбой у паперти «бывшей» Вознесенской церкви, где временно уже 50 лет квартировал какой-то серьёзный архив, не поленился, взобрался на Гору, подошёл к ней с чемоданом в руке, встал на колени в траве, без всякой фальши, и сказал: «Прощайте, больше не увидимся!». Кругом никого, солнце, тишина.

Она, с земли, подобрав одно колено, ответила: «Дело твоё, а удачи я пожелать тебе не могу, сам понимаешь, не заслужил». Подняла запачканную ладонь, покачала ею, как самолёт крыльями, и отвернулась.

И он подскочил и пошёл, не оглядываясь, на Соляную площадь, на автобусную остановку. Воскресенье, безлюдье, никого из знакомых он больше не встретил, да и откуда они там. А жена с сыном с раннего утра уехали купаться за мост, на Курью, и жена не позвала мужа, проводя с ним очередной (или уже внеочередной) сеанс воспитания чувств. Доехав до вокзала, он хватился, что оставил бинокль. Ладно, получается, оставил сыну на память. *Чёртжалконоладно*.

Бабушка вникла в суть дела сразу, потому что ждала этого, предчувствовала заранее, и он знал об этом, ёжась иногда под её задумчивым и, хотелось бы верить, жалеющим взглядом, в котором читалось: «Сбежишь, Коленька, и не прикидывайся божьей овечкой».

И зять так и не увидел, как бодрая, светлолицая и тихосмешливая Любовь Сергеевна, «огурец» и «грибок-боровичок», вдруг взялась подволакивать ногу и жаловаться на рябь в глазах, пожелтела и задышала валерьянкой. И достала из чердачного чулана души-

стую прабабушкину кофту (доставшуюся той от прапрабабушки) из китайской «чесунчи», чтобы носить её летом, потому что «застывала».

И эта столетняя кофта, бережно носимая в третьем поколении, смотрелась моложе бабушки.

Как все старушки, она медленно и верно отказалась понемногу от многих дел и забав на свежем воздухе (при том, что телевизор терпеть не могла, ей не нравилось, что в нём «кричат, лают», а не разговаривают). И, в отличие от старушек обычных на данном этапе развития, она резко сузила круг общения — и вволю, охотно, совсем не по-стариковски, спала и досыпала, выключая, не открывая глаз, будильник. Порожнего времени оставалось бы много, но, во-первых, ей пригодился оставленный зятем немецкий цейссовский бинокль. Во-вторых, она упорно занималась цветами — той клумбой у паперти, наверху.

Ходить туда, на Гору, было неблизко, утомительно; взбираться по разбитой лестнице, где от ступеньки до следующей уцелевшей нужно едва ли не шпагат делать, было вполне опасно. Но она ходила с апреля по сентябрь, почти каждый день, волокла лейку, тратя по три-четыре часа на дорогу и работу — цветы там ею разводились и весенние, и летние, и осенние — последние георгины и астры. А гладиолусов не любила.

Часто цветы топтали и выдёргивали. Хорошо ещё, что церковный-архивный двор находился на самом отшибе Горы. Она безропотно ходила, восстанавливала клумбу, втыкая над цветами фанерный щиток с надписью «Цвяты не меть! Пожалуста!» (писал Алёша).

Иногда с ней, по её просьбе («Что-то хреновенько мне. Вдруг *упаду*».) ходил, лет с семи, Алёша. И никогда мать. Её и не просили.

А завела эту клумбу покойная прабабушка, умершая в 1970-м году, и бабушка с детства приучилась ходить туда вместе с ней. А теперь, уже за четверть века, взбирается одна. Меняющиеся начальницы архива одна за другой косили глазом на их блажь, усматривая в ней, как и мать Алёши, какой-то робкий, но всё же религиозный протест, но бабушки отвечали начальницам: чем вам плохо? Красоту наводим, и место хорошее. Разве мы вам мешаем? И с грустью смотрели на луковки без крестов, и умягчались начальницы: действительно, что ж?

Где работала бабушка, кем? А прабабушка? — спрашивал себя потом Алёша, почему-то не желая получить у матери точный ответ. «Кем-то», как все, кроме, может быть, педагога-матери, женщины на Болоте. Конечно, работали добросовестно и никогда не подличали, — значит, рядовыми. Уж это ясно, это так. И мать, резкая и предвзятая, говорила: «Наша бабушка честнее всех живых. И

среди мёртвых ещё поискать надо такую же». И тут же ругала бабушку: путаешься под ногами; и критиковала за пристрастие к неочищенному постному маслу — «вонючему, портяночному». Будто сама до сорока лет знала какое-то другое.

Вечно задёрганная и усталая, срывающая школьные досады на близких, мать приходила домой, чтобы продолжить работу, садясь за планы и тетрадки перед зудящей, как комар, настольной лампой, и потом спать, свистя мозолистым горлом. Ей, собственно, ничего и не оставалось кроме того, чтобы избрать по отношению к сыну спасительную тактику «несюсюканья». В жизни часто бывает, что бабушка и дедушка выступают ласковым противовесом между внуком и родителями, заступаются, вытирают младенческие слёзы и снабжают ребёнка утешительной денежкой бедного пенсионера. Наверное, бабушке и хотелось быть для внука мягкой подушкой, но по каким-то доводам разума и с оглядкой на дочь она удерживалась от излишней нежности. Не всякий раз, но удерживалась, может быть, боялась приучить его к жизни на два цвета, разбаловать, помня, что скоро уйдёт, и внук не вырос бы беззащитным перед этой новой, загадочной для неё действительностью, которая представлялась ей совершенно недействительной и стремящейся в глад, хлад и мор.

Беседовала она с ним нечасто и коротко. И сама не была говорлива, и он рос молчуном. Чаще они общались глазами и кивками, им хватало. Например, пришёл Алёша из школы, встал на пороге — навстречу ему её глаза. В них юмор. Совпали зрачки — и два кивка: мой руки и садись за стол, обед готов. А вслух: «Привет, бабушка». — «Привет, Алёшка».

И рос он настолько ровным, спокойным, даже заторможенным мальчиком, что не было видно в нём ни мальчишеских бзиков, ни опасных переживаний в связи с открытием женского пола. Он не давал повода для всяких предохранительных, спасительных залезаний ему в душу.

Разве что компанейское, обычно вечернее, глядение в бинокль — на луну, на улицу, на далёкие чужие окна (был грех!), на тот берег Ишайки с восседающими там и там пьяницами — вызывало некоторые совместные комментарии, как бы сверку впечатлений.

— Смотри, как напился — в реку залез по пояс.

— Ага, одетый. Разделся бы тогда. Дурак?

— Ну, а кто ещё?.. Чай пьём!

Кладут бинокль и молча пьют чай и молча укладываются спать в их общей комнатушке. Бабушка под ковриком с Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной на Сером Волке, Алёша — под ковриком с лебедями, судя по их позам — больными.

Бабушка оставалась почти равнодушной к вере, снова же в от-

личие от других старух, ожесточённых атеисток во всю жизнь и всесторонних богомолок на её исходе. Не имела иконы и, возможно, не знала назубок «Отче наш». Ходила в ближнюю, одну из немногих незакрытых Троицкую единоверческую церковь на Горе дважды в год — на Рождество и на Пасху, а на Троицу не ходила. Не постилась, по-своему справедливо отвечая старухам-соседкам, что наша жизнь советская без того сплошной пост и нахожденье в пути.

Но даже блаженно и туповато ненаблюдательный Алёша заметил, что её взволновало возвращенье храмов, возобновленье крестных ходов и какое-то вольное хожденье («фланированье») по улицам размножившихся батюшек, о чём ей настойчиво рассказывали другие старухи под доносящийся со всех сторон слабенький на Болоте, но узнаваемый колокольный звон.

(Раньше-то в том же ближнем, но не близком единоверческом храме разрешали стучать в пустой газовый баллон, и такой «звон» до Болота не доходил.)

— Слышишь, Алёшка, — звонят?

— Слышу. Это с реки там.

Пауза.

— Говорят, монастырь им вернули…

— Не знаю. А где бинокль?

— Бинокль сейчас мой. А ты учи вон Лермонтова.

— Угу.

И, не возражая, учил: «Над Москвой великой, златоглавою». Учил про себя и выучивал. На «четвёрку», потому что, помня текст отлично, стеснялся читать стихи с выражением.

Но однажды она узнала, трудясь на своей клумбе, что Вознесенская церковь тоже будет восстановлена, и на её глазах съехал куда-то архив со всем своим добром, привезли стройматериалы, появился батюшка, настоятель и прораб в одном лице. И — надо же — хваля её за цветы и прося продолжать, он невзначай проверил её на священное знание, как любят батюшки, спросил, что означает именование церкви Вознесенской. Будучи «нетверда» — на самом деле зная ответ, — она «скуксилась» и выступила немогузнайкой. И он нахмурился.

Зимой поставили кресты, весной ожила колоколенка — и узенький в талии храм, несмотря на то, что верхний его придел не был даже оштукатурен, возобновился, встречая Троицу. И бабушка впервые сходила на берёзовый праздник, и сказала об этом матери, натолкнувшись на клоунаду: «Вот радость-то! Вот счастье! Мракобесие нас обступает! Ура!».

Мать была несгибаемой ленинкой, является ею и посейчас.

А бабушка не шибко на неё обиделась, её мучило другое: за-

чем-то ей был нужен этот поп, отец Феодор, а после того провала она затруднялась к нему подойти. Ухаживала за клумбой, он проходил мимо, приветливо здоровался, не дожидаясь, что она подойдёт к руке, и торопился дальше. Что бы ему остановиться, спросить о чём-нибудь? «Не успел подселиться, а уже балованный, тот ли он человек?» — думала она.

Всё разъяснилось в начале осени… 1997-го года, последнего школьного года Алёши. Он был теперь крепенький юноша, светло-русый, сероглазый, с забавным — тонким и курным носом. Умел себя накормить, обстирать и нагладить, а в доме починить, привинтить, провести и соединить, побелить и покрасить. Во все времена, исключая наше, цены бы не было такому юноше.

Бабушка сходила наверх и обнаружила, что все её цветы вырваны, видимо, ночью (много затоптанных), и, стало быть, сезон для неё закончился до срока. Но к ней, горюющей, подошёл сочувственный отец Феодор, и они наконец поговорили о нужном ей, 77-летней рабе Божией.

Прямо перед её приходом Алёша вернулся из школы, налил себе супа, но от ужина был отвлечён. В кухонном окошке он увидел на другом берегу Ишайки двух мужчин, которые пили вино, сидя на поваленном стволе под мелким дождичком, не переживая из-за дождичка, намочившего им пресловутую газетку и что-то закусочное на ней. Алёша взял бинокль.

Закусывали мокрыми сыром и варёной колбасой. Вино представилось портвейном «777», слишком дешёвым и грубым для этих приличных мужчин в костюмах и галстуках и при двух портфелях у их ног. Хотя, с другой-то стороны, забравшиеся в эти нечистые, осенённые бомжами заросли на берегу нечистой речки люди по определению должны пить портвейн. Не коньяк же, закусывая его лимонами и шпротами. Сам Алёша не пил и не закусывал, как уже приспособились его одноклассники. Но *нагляделся*, он жил на Болоте.

Алёша был потрясён тем, как общались — не трепались, не выли на судьбу — именно беседовали, разговаривали эти пришельцы из мира иного. Именно собеседовали, спорили, картинно вскидывая руки, восклицая и с некоторым торжеством дожидаясь ответной реплики. И посвящён их искрящийся разговор был вне сомнения материям серьёзным, в том числе, с какой-то высокой точки зрения, и Болоту (!), поскольку они нередко обводили руками противоположный им берег, привлекая болотные смыслы каждый на свою сторону. А пи́сать отходили в сторону, подальше, прятались!

А пили плотно, с настроением, и у ног их лежали две пустые бутылки, третью уполовинили, четвёртая, последняя, дожидалась

вскрытия, высовываясь из портфеля. Да, когда, выпивая, затягивают разговоры болотненские обыватели, это кончается дракой. *Эти* — не подерутся!

«Товарищи учёные», вспомнил Алёша. Серьёзные люди, счастливые люди. Работают, когда хотят. Им надо — и выпивают сегодня часов с 11.

А пришли сюда — *там* им, наверное, плохо.

В не меньшей степени подивило Алёшу, что оба эти немолодые мужчины были на кого-то похожи, и похожи, как говорится, с оплаченным ответом.

Похож на кого-нибудь каждый человек. Но если болотненские люди походили на других, то речь шла о перепутывании обыкновенных людей до «извини, брат, обознался», в общем просторе безвестности. А эти двое выделялись мандатно. Тот, кто постарше и пониже, — прищур в глазах, скулки, бородка, лысинка, енотовый нос — был вылитый Ленин, и виделось кощунственно-весёлое в том, что он пил портвейн из пластикового стаканчика, удобряя себе усы и бородку. А вот второй, повыше, помоложе, поджаристый, узколицый, черноглазый, с длинными чёрными волосами, был, можно сказать, *похож ещё больше*, но на кого — не мог себе Алёша уяснить с его бедным историко-культурным опытом. Но *похож, похож*, на таких людей оглядываются безразличные прохожие в городской спешке. Гоголь? Не Гоголь… Историческое лицо! Вон как шею-то гнёт, словно Москву с бережка видит…

И тут на своих полутора ногах прискакала бабушка. Умылась, отобрала у Алёши бинокль и усадила за остывший суп. А сама села напротив и сказала:

— Не знаю, нужно это тебе, нет ли, а должна посвятить…

Только что она открылась отцу Феодору в том, что не случайно, не по прихоти она десятилетиями содержала клумбу в его владениях, и клумба эта старше отца Феодора.

Сто лет назад на месте этой клумбы высилось надгробие, и похоронен в этой земле её дед, а Алёшин прапрадед Алексей Афанасьевич Васильков, купец-миллионщик. То была большая честь, и он её заслужил своей неусыпной заботой о храме и тем, что он поставил там, на Горе, в ограде Вознесенской церкви, Благовест, главный колокол города, обошедшийся ему в целое состояние.

Конечно, он был хороший, правильный человек, проживший век на Болоте, оно его не отпустило. Водки не пил, много молился, любил пить шаровой чай со сливками. Жил без излишеств, питал извинительную страсть к народным барнаульским полушубкам, чернёным до лакового блеска. Этих полушубков он имел большую коллекцию.

Умер он преждевременно, через пару лет после установки Бла-

говеста — простудился. За могилой ухаживали прапрабабушка с дочерью, потом прабабушка-дочь с бабушкой-внучкой, теперь она, просто уже бабушка. В конце 1934-го года церковь отменили и разорили, сбили кресты, опустошили звонницу, разбили и увезли кусками Благовест. А могилу Василькова сровняли с землёй, увезли и где-то выбросили крест и могильную плиту с надписью, как ни просила прабабушка-дочь выдать их ей. Что им слёзы сиротские! Ещё и грозили.

С весны 1935-го года вместо могилы появилась клумба. В те годы, довоенные, её мало зорили, зато густо засыпали папиросными окурками.

— А мама знает? — спросил Алёша.

— Не знает, — ответила бабушка. — Зачем ей знать, что она потомка миллионщика, себе дороже. Тогда и после ей это навредило бы. Сама бы переживала, — почему-то засмеялась бабушка холодным смехом, — от неправильных кровей, корней. Думала я, думала, а пока думала, она — в комсомол! А в партию подалась — и вовсе помалкивай. Ещё бы нам запрет выписала. Живи, дочерь, подсказать тебе уже некому — давно всё позабылось, кто знал — в могиле сырой лежит под звёздочкой. Жив ещё Исакыч древнейший, да наверняка забыл, ему-то, в его состоянии, своё имя бы не забыть. Он, злейший, знал, но нас, купечен, не преследовал. Другим-то от него доставалось! Всё-таки исконный, болотненский, соблюдал честь соседства, а сажал городских, образованных… Может, нас и остерегался: мы тоже кое-что про него знали. Никакой он не Коркин, а Карукис, и дед его родной тоже был буржуй, помельче Андрея Афанасьевича, но выжига тот ещё. Мамочка говорила!

И тебя Алексеем в честь прапрадеда назвали, я настояла назвать, по мамочкиному завещанию. За сто лет рождались одни девочки, фамилия ухнула. И ты первый потомок мужского пола.

— Во как! — сказал Алёша, вытаращиваясь и зачем-то сжимая кулаки. У него и в мыслях не было, что он будет модно хвастаться предком-миллионером. Он вообще-то с окружающими общался одними ушами, молчун. Но он почувствовал, как вокруг него сгущается время, словно он выпил кружку чифиря (пробовал, угощал младший Дьячков).

— Раз теперь можно, я поговорила с отцом Фёдором. Говорю ему, что жить мне недолго, и на кого я такую клумбу оставлю? Не на внука же — на тебя? Нет, не твоё и не мужское это дело. А может быть, по справедливости, и восстановить могилу удастся? Говорю, а сама боюсь, что он решит дедушкин прах перезахоронить. Где-нибудь у чёрта на куличках, по христианскому честному обряду? Не согласна! Заслужил Афанасьевич вечный сон у храма.

— Что сказал поп? — перебил Алёша.

— А он сказал, что тут тонкости, надо спросить у владыки, у епископа, он всё один решает, но по-человечески и по-божески хорошо бы могилу восстановить, да. Но надо подождать — сейчас ни времени, ни средств не имеется. А у нас с тобой они откуда? А клумбу он в любом случае не бросит, обещал, если что…

— Не обманывает, думаешь?

— Не похоже. Сказал ещё, что молиться будет по расписанию за раба Божиего Алексея.

Так и не притронулся Алёша к холодному супу. Бабушка пошла подремать, а Алёша, схватив кусок хлеба, подошёл к окошку.

Те двое ушли, исполнив свой урок. Небо прояснилось. Закатное солнце и закатная речка с двух сторон золотили четыре мокрые бутылки, художественно поставленные в ряд на берегу. Казалось, они снова полны.

В бинокль Алёша разглядел, что вокруг ствола ивы над ними тонко змеится что-то от рук человеческих, тёмное и с искорками. Что такое? Он хотел сесть за уроки, но любопытство победило. И он не поленился сходить, сделав приличный крюк — через Обруб, через Каменный мост над Ишайкой и по тому берегу налево — на то место.

На иве был привязан… галстук, новый, тёмно-фиолетовый, в серебряную крапинку. У Алёши одна из его рубашек была лиловой. И он, посмеиваясь, отвязал галстук, забирая его в свой гардероб.

Но и на этом не исчерпались арабески памятного сентябрьского дня. Подходя к родному дому, обшарпанной «деревяшечке» в два этажа, с трещиной на торце, с битым стеклом, подклеенным изолентой кое-где в окнах, со словом «жопа» на двери подъезда, вырезанным чьим-то ножом три года назад (и жильцам было «всё равно»), — Алёша увидел, что окно во втором этаже второго подъезда (он жил в первом) открыто, и оттуда доносятся знакомые, привычные постанывания Исакыча. Как всегда, старик Исакыч, ровесник бабушки, ближе к вечеру проснулся на обед — поесть, подышать свежим воздухом и снова заснуть на сутки. Чему уже семнадцать лет.

Алёша имел с Исакычем мистическую связь. Исакыч впал в свою спячку летом 1980-го года, в день своего окончательного выхода на пенсию и в заключительный день Московской олимпиады, в момент, когда отчаливал в небо Миша-талисман.

В этот же день, согласно пьяной болтовне сбежавшего Николая Петровича Сухонина, был зачат Алёшка, которого отец называл, лицемерно гладя по макушке, Олимпийский Алёшка или Мой Олимпийский Талисман. Отец был пошляк.

Алёше не по душе было, что он знает об этом и вынужден об этом думать, но куда деваться: окно регулярно открывалось при

нём, иногда и жена Исакыча, Тамара Георгиевна, просила его попутно купить для них буханку хлеба или что-нибудь ещё — и он вспоминал и думал.

Самого Исакыча он видел дважды, занося заказанное, когда Тамара Георгиевна оставляла открытой дверь в «зал». Там на диване почивал прибранный, чистенько выбритый седой и смуглый старичок.

Когда выяснилось, что Исакыч фантастически заснул, единожды в день подымаясь — сам, с отчуждённым взглядом, для кормления (ел сам, ложкой и опрятно), в квартиру Коркиных набежала медицина с учёным блеском в глазах; академики эти шумели и водили сюда делегации и даже студенческие группы. Объясняли, что эта загадочная сонливость наверняка вызвана двойным потрясением, пенсионным и талисманным, у Б. И. Коркина все показатели в полной норме, он здоров как бык, а помочь ничем не могли. И важные гости из столиц не могли.

Тамара Георгиевна сообразила, что наука бессильна, и прекратила утомительные визиты. В течение семнадцати лет раз в квартал (с перерывом на 91—94 годы) приходят избранные учёные лица с мелкими приношениями, берут на анализ кровь, мочу, кал, измеряют пульс и давление, слушают лёгкие. Восхищаются. Сначала ходил Дмитрий Сергеевич, потом Михаил Моисеевич, потом Алдар Дондопович, сейчас — Елизавета Максимовна. Все были молодые, задорные, и все, похоже, защитили диссертации на Борисе Исааковиче.

А он спал и спит, не доставляя любящей жене больших хлопот, и этот сюжет, некогда взвившийся над Болотом, оброс обыденностью, рутиной. Очень редко, с интервалом в год, кто-нибудь из одноклассников спросит Алёшу: что, жив ещё сосед, спит? Жив, ответит Алёша, спит. Сколько ему? 74, 75, 76…

А взрослые скажут: счастливый. Может, доспится до хорошего. И пенсия, поди, офицерская, и учёные, поди, мясо приносят, и всё проспал, не ведая наших мучений, — и перестройку, и ускорение, и ваучеры; и Ельцина переспит, дай Бог.

Действительно, Исакыч существовал отдельно, ел борщ и жаркое, не вмешиваясь в струи жизни, в её скверную явь, не глядя и на жену, не отвечая ни на какие вопросы и не спрашивая ни о чём. Он торопился поесть и торопливо валился на диван, уже зевая. На всё про всё — десять минут. Сохранял ли он способность к речи? Помнил ли прожитое? Если да, если видел сны, то они могли быть очень разнообразными, богатыми, но упирались в лето 1980-го года, в чёрно-белые Лужники, когда он, не допив стопку, сказал: «Полетел!» — и лёг бочком на диван, последним сознательным движением поправляя подушку.

Водка давно испарилась, но ту стопку Тамара Георгиевна хранит — в робкой надежде налить в волшебный миг ему свежей, ледяной беленькой в неё же.

А пока водку как бы за него пьют два соседа, Тараканов и Бычков, порознь и вместе. Потому что, разгулявшись и истратившись, они стучатся к Георгиевне и просят до получки взаймы — рубль, десятку, стольничек, согласно состоянию валюты, и это называется «занять у Исакыча». Георгиевна не отказывает из суеверия. («А если не хватит?» — «Займём у Исакыча!»; «Вчера сообразили на троих…» — «А кто был третий?» — «Исакыч всегда с нами!». Между прочим, прежний горделивый Исакыч ни за что не согласился бы выпить с ними, побрезговал бы ими, пустомелями.)

Внук негоцианта Карукиса, Борис Исаакович был сыном красного командира Коркина, сложившего голову в Каракумах, в погонях за басмачами. Трудился Борис всю жизнь в «органах», в войну был особистом, командировался в «Смерш» и т. д. В отставку уходил полковником-орденоносцем.

Впечатления кровавого сталинского палача он не производил, возможно, отдав дань эпохе, и на героя не был похож, возможно, будучи им в лучшие дни биографии. Но герои выглядят скромно. Доволен ли им был Сатана, или сердился на него?

Рвачом не был безусловно, проживая жизнь в скромной квартире, в доме, где унитазы внедрились лишь в 1978-м году, а до того, как и все, пользовался деревянным сортиром во дворе. Единственно, что лично врезал в его двери замки и убедил соседей, что это будет хорошо, с ключом. Кажется, этот пример для СССР уникален.

Обстановка в его квартире вызывала, конечно, зависть болотных соседей — что ж, мог себе позволить. Телефон — ответственное лицо. Но ни машины с гаражом, ни дачи у него не имелось. Много тратил на сына, купил ему кооперативную квартиру, обеспечил. Сын выучился на физика-ядерщика, делал крупные успехи.

Борис Исаакович был предан партии. Над диваном у него висел портрет Ленина, тот, где вождь в Смольном трудится за столом, кисти Бродского.

Нельзя не сказать о том, что он был очень жизнелюбив. Очень возможно, что даже и стал погуливать на сторону, когда поблёкла Тамара Георгиевна.

В годы перед второй, общей пенсией он, уже кадровик на закрытом предприятии, записался в тамошний казачий хор, где пел, подыгрывал на ложках и бил в бубен. Завёл себе чуб, сшил себе, или выдали ему, казачий верх, а сапоги и галифе с лампасами у него береглись с войны. Поздно приходил домой, не ужинал. В этом хоре пели моложавые пышные женщины, они звонили ему домой по

творческим вопросам. Тамара Георгиевна нервничала. Догадалась соблазнять его хорошей домашней выпивкой и научилась делать пряную буженину на закуску. Стал шататься пореже, но и буженина пропадала — в чужих напомаженных устах…

И он не знал, что в 1986 году его сын Аркадий, синеглазый красавец, командированный на строительство АЭС в город Сьенфуэгос, Куба, сошёл с женой и сыном в аэропорту Гандера, Канада, предав Советскую родину.

С 1991 года Аркадий присылает им деньги. А вот навестить родителей ему не разрешают его американские хозяева, он там фигура закрытая, да и сам он, видимо, опасается встречи с Россией.

(Внук к своим 30 годам уже подтянулся к миллиону, он работает в компьютерном бизнесе, и о нём пишут в американских газетах, но об этом в Потомске никто не догадывается. Узнают позже и расскажут Тамаре Георгиевне, и она упадёт в обморок, и будет ждать его. Дождётся ли?)

О путях-перепутьях потомков Коркина Алёша, как и все, не знал. Тамара Георгиевна, когда-то строго предупреждённая, помалкивала.

То немногое, что ему было известно об Исакыче, промелькнуло в юной Алёшиной голове, когда он, под лёгкие стенания питающегося соседа, методично выкуривал сигарету у дверей своего подъезда. Он выкуривал пять сигарет в день, эта была четвёртой.

Закончил, посмотрел с сомнением на порыжевший фильтр, бросил окурок в ямку, в тысячный раз прочитал «жопа» на двери подъезда, хмыкнул и пошёл домой.

Бабушка уже отдохнула, вязала ему жилет, он подсел к ней, доставая на показ галстук. И вдруг — громкий стук в дверь, на пороге Тамара Георгиевна, маленькая, кудри дыбом, в халате и вьетнамках на шерстяной носок — в чём была, в том и прибежала.

— Борис Исаакович сказал слово!!!

Они остолбенели.

Поевши и укладываясь, он посмотрел в сторону супруги и сказал: «Правильно». И заснул.

Это было событие! Это была надежда!

Какой получился вечер — эмоциональный, с живописью! Алёша с бабушкой и подоспевшей матерью (та так и бегала в шляпе) двинулись к Коркиным (косясь на недурные «остатки былой роскоши»), разглядывали Бориса Исааковича, взывали к нему… Увы, он спал как спал, и на лице его читалась мина исполненного долга.

То-то было разговоров, то-то спалось им самим, то-то не спалось Тамаре Георгиевне!

Но… шли месяцы, и Исакыч молчал, ел, очень опрятно. И не видел жену.

Но… через три месяца он вновь как-то рассмотрел жену и сказал: «Тамара!».

Ещё через три месяца он ободрительно сказал: «Подойдёт!».

Ещё через четыре: «Семёнов, Семён Сергеевич».

Потом Алёша отбыл в армию, и, пока он там взрослел, Исакыч говорил дважды, и уже подлиннее: «Этот Рейган» и «Вот это параша!».

И по сей день в установившемся ритме он приветствует жену. Все слова Тамара Георгиевна записывает. Вот они, на сентябрь 200... года.

«Сынок, ты умница!», «В Доме офицеров, в шесть», «Курить вредно», «Ну, заяц, погоди!», «Мао Цзедун откинулся», «Нит гедайге, Кацеленбоген!», «Под знаменем марксизма», «Рацию взяли? Взяли рацию…», «Это идут барбудос», «Электрон, позитрон, нейтрон», «Пригни голову, свистит», «Это, я вам скажу, грудь!», «Под знаменем ленинизма», «Молчишь? Молча сдохнешь», «Днепр какой холодный», «А я люблю Тамару (!)», «Обезьяна чи-чи-чи: кто такие басмачи?», «Я тебя не брошу, я доволоку!», «Семнадцать мгновений весны», «Потепления не будет».

Алёша закончил школу и устроился работать грузчиком в новый магазин «Продукты Аккорд», в двух шагах от дома. На Болоте его уже заметили: есть мальчишка, честный, не пьёт, не гуляет, малость не в себе, рот на замке. И хозяин магазина, Ильдар Сейдиахметович, сам пришёл приглашать его на работу. Неизменно хвалил его за труд, спрашивал его, почему он не татарин, был бы зятем, и передавал приветы матери.

Внезапно умер от инфаркта отец Феодор, бабушка ходила на клумбу и подружилась с новым батюшкой, отцом Святославом. Ясности с могилой прапрадеда по-прежнему не было. Однажды храм навестил новый владыка, молодой ещё, изящный, тонкокостный, с необыкновенной узорной речью. Бабушку смутило, что он, невысокий и хрупкий, носит обувь где-то 47-го размера. Он заметил её явное, бестактное смущение — знала бы она, как он сам стеснялся величины своих стоп!

Она подошла к нему. Мне известно про вашего достойнейшего дедушку, сказал ей владыка, но надо подождать. Потерпите. Никуда мы его прах не отдадим. Восстановим могилку. Но сами знаете — дефолт.

Дефолт, дефолт, закивала бабушка, а сама подумала: ну, опять двадцать пять! Глупые мои глаза, куда вы уставились, он обиделся.

Вскоре ей сообщили, что он по телевизору фактически рекламировал, воспевал местную минеральную воду «Альфа», что-то там (скважину?) освятив. И она сказала себе: долгий ящик!

Мать назначили директором школы в Заозерье. И она вовсе

превратилась в призрак собственного дома. Бывали дни, когда Алёша её вообще не видел.

Потом Алёшу призвали в армию. На комиссии с ним дольше всех беседовал психиатр, то кривясь, то хихикая на его ответы, и психиатр спросил, не пытается ли косить Алёша? В смысле — *закашивает*? Алёша искренне сказал, что со зрением у него всё в порядке, он всесторонне здоров и много чему обучен, и хочет в армию. Психиатр даже подпрыгнул, сказал врачихе-соседке, что теперь сомневается в психическом здоровье этого паренька. И сказал: «Совершаю преступление», написав в нужном месте «здоров» или «годен».

Пока Алёшу в городе Кургане учили ходить строем и давали подержать автомат, умерла бабушка. Легко, не болея, во сне.

А потом он оказался в горах Дагестана, провоевав один день. При высадке под обстрелом из вертолёта по кличке «Корова» его страшно контузило. Несколько месяцев он провалялся в госпитале в Моздоке, учась вертикально ходить и внятно говорить. Матери, по его просьбе, про его страдания не сообщили.

И вот, на пороге нового века и нового тысячелетия, он вернулся домой, необыкновенно обрадовав мать и обрадовавшись ей. Обрадовался Ильдар Сейдиахметович, позвал на работу. Алёша согласился, но предупредил: временно, у меня свои планы. Ильдар тоже согласился и передал привет маме.

Алёше было грустно и приятно, что за бабушкиной клумбой так же старательно ухаживают другие старушки. Они объяснили ему, что под цветами лежит прах богоугодного человека, купца Василькова, его могилу скоро восстановят.

А Борис Исаакович всё спал, взаправду переспав Ельцина.

И в квартире номер семь, напротив коркинской номер восемь, подросла одна девушка, на которую Алёша не обращал до армии никакого внимания и для которой он собрал на днях целый пакет крупных, алмазно-синеватых градин. Град был небывалый, баснословный! Град лежит в морозильной камере, дожидаясь своего часа.

Глава пятая

Дом на Болоте

С утра, после восхода, заберись на новодельную каланчу на Вознесенской горе, встань у перил рядом с бессонным манекеном пожарного, что торчит там, покрытый крупной росой. Сначала, вместе с пожарным, посмотри на запад, на главную площадь Потомска, где одноимённый с ней памятник уже призывно выкинул правую руку: «К новым свершениям, товарищи!». Он не оглядывается на Иверскую часовню, точную копию московской, восстановленную десять лет назад за его спиной.

А металлический ангел над часовней смотрит на него укоризненно, и один верующий потомский лозоходец уверяет, что под этим взглядом памятник отдаляется от часовни на пять сантиметров в год к юго-западу и отъехал уже на полметра. Он замерял.

Тогда часовню освящал сам Патриарх Всея Руси, которому пришлось делать вид, что он не замечает вопиющего соседства ленинской статуи. Но его сокрушённое внимание к ней прочитывалось в его тяжёлой поступи, в посадке львиной, тургеневской головы, в умном и цепком, перебегающем статую взоре.

Каждого из многих потомцев, которых огладил этот взор, умилило, что его увидел, выделил, выбрал в толпе патриарх.

С юга на север тянутся, со стороны берега, вдоль площади Серый дом, подпёртый парой кирпичных особнячков-редутов, то́ртовая серая коробка областного драматического театра и свежее розовое мороженое Богоявленского собора, ныне кафедрального, и однодворной с ним духовной семинарии. К спеху и звон, негромкий, но отчётливый, летучий.

Между этими китами фрагментами блещет утренняя Потома, с единичным на ней пятнышком сажи — резиновой лодочкой с болванчиком-удильщиком.

Площадь уже гудит, и взвизгивает, и трясётся. Несутся косяками автомобили, автобусы, троллейбусы, и торопятся по тротуарам люди трудовой спелости, и иные дамские каблуки так отбивают по звонкой плитке, что их стук доносится до каланчи.

И по небу ещё расплывается рыхлая золотящаяся полоса — след от вылетевшего в Москву самолёта.

А теперь, расставшись с манекеном, привязанным за руку к перилам, перейди на восточную сторону каланчи, навстречу солнцу.

Под тобой молчаливое Болото — бледно-зелёные и бледно-бордовые крыши двухэтажных домов, в основном деревянных, но по берегу Ишайки есть и четыре каменных, все возрастом от 60 до 120 лет. Среди них найдёшь три избранных терема, наивно отреставрированных. Солнце разливается по семи улицам и переулкам, лишь дальняя половина дуговой Загорной, прикрытая Горой, ещё час будет упрятана в густую тень.

Провода частично отвлекают взор, подрагивая от ветерка и дружных стрижиных присаживаний.

Первой здесь просыпается, как правило, бухгалтер Анастасия Юрьевна, знающая слово «Шамбала». Она обегает всё Болото, тем самым благословляя его на пробуждение. Изредка её опережают местные алкоголики (бомжей здесь нет, их здесь лупят, и это им давно известно). Пьяницы могут бесцельно и одиноко шарахаться по улицам, подавая голос. Или, наоборот, — один, за ним другой, очень осмысленно, по кратчайшей, направляться к задней двери

магазина «Продукты Аккорд», где их, как паук, дожидается сторож. Первые завершают затянувшийся старый день, вторые начинают новый, полный простых пантеистических удовольствий и огорчений.

Выходят на улицы школьники, собираясь в две струйки — одна течёт к лестнице на Гору, другая — мимо Алёшиного дома на Обруб. Дети учатся в двух школах, а своей школы на Болоте нет.

Просыпаются три магазина (привет, в частности, Ильдару Сейдиахметовичу, вот он, командует) и узбекская харчевня (дым на дворе).

Спешит выехать к магазину на своей ухающей филином коляске инвалид Павел Васильевич, чтобы не упустить скудную утреннюю дань.

(Хулиганы Болота проспят до обеда.)

И наконец выходят взрослые, торопясь во всех трёх направлениях на работу. Их не так уж и много, их можно запомнить и узнавать после нескольких утренних сеансов. С ними пересекаются бабушки, идущие за хлебом, за молоком. Их запомнить ещё легче, за постоянство в одежде и неповторимость в походке.

А вот и Алёша вышел из-за угла, озираясь на кого-то. Он идёт к Обрубу, а не к магазину «Продукты Аккорд» — у него теперь другая работа, за Ишайкой, в новых домах на Уржатке и Юрточной горе. На нём ветровка, джинсы; поблёскивают туфли (он не признаёт жарких кроссовок); на светлой голове дивный пробор, от которого не останется и следа, когда он поднимется на сквозняк Обруба. Выходит, он причесался ради первых пядей пути.

Сейдиахметович, толстенький и маленький, в пятнистой толстовке, уже успел сесть в свою «Ниву». Он догоняет на колёсах Алёшу, тормозит, бибикает, приветливо с ним разговаривает. Снизу доносится: «Очень прошу, передай привет маме». Алёша кивает. И они — машина с Сейдиахметовичем и Алёша — исчезают из поля зрения. В то же мгновение подаёт голос звонница Вознесенской церкви.

Можно спускаться с каланчи.

…Дома на Болоте старые, ветхие. Если их в кои веки ремонтировали, то халтурно, навскидку; сами болотненцы в это дело не вмешиваются, не располагая свободными капиталами, ибо живут от получки до получки, занимая друг у друга на «дотянуть». Летом — не каждым летом — они белят стены и потолки и что-то выборочно красят внутри квартир. Среди них хватает снобов: сломав, например, путём падения поскользнувшегося пьяненького тела, пару подгнивших ступенек на крылечке, такой сноб ни за что не будет исправлять свой грех из одного пролетарского высокомерия, а сердитым соседям сделать это за него будет «впадлу», и крылечко-капкан простоит нетронуто годы. А нужно всего лишь

прибить пару досок, которые даже покупать не нужно — их можно выпросить или стянуть у реставраторов, высмотреть во дворах новостроек на Горе.

В большинстве домов есть паровое отопление и холодная вода, в половине грохочут унитазы — и все дома щелясты, с трухой, сыроваты, плохо держат тепло и протекают. В иных квартирах установлены подпорки, атлантически страхующие ноздреватый потолок.

Жители Болота недовольны своим квартирным вопросом (или ответом) и энергично, с полуоборота заводятся на возмущение тем, что можно всю жизнь проработать, как проклятый, на самой чёрной работе, а ничего не изменится в допотопном быту.

Но не всё здесь просто и однозначно. Болото есть заповедник древнего, здорового и противоречивого славянского мироощущения.

Когда в Потомске развернулось движение в защиту многочисленных, славящих город памятников старинного зодчества, и большой исторической ценностью налились эти, так сказать, от века самопроклинаемые домишки (а ведь даже и неказистые, они образуют маленькие слободки — окна в прошлое — и надо их беречь как фоновую застройку), на Болоте появились энтузиасты, толкующие аборигенам, как душевно, гармонично они живут. Что может быть лучше жизни в деревянном доме? Он дышит, он лечит без лекарств, он поёт. Мы на пороге лучших времён, говорили искренние энтузиасты, ваши дома отлатают капитально, и заживёте вы лучше всех. И губернатор И. Т. Нарымов сегодня обратил на эту проблему свои зоркие очи. Нужно немного потерпеть — и весь город будет вам завидовать!

Болотненцы, искушённые в науке потерпеть, сильно негодовали, сатирически спрашивали у энтузиастов, в каких условиях обретаются они (как назло, жили они по прозаическим стандартам новейшей эпохи), а на самого увлечённого ревнителя старины яростно замахивались топором и спустили его с вековой деревянной лестницы, кувырком со второго этажа на первый.

С другой стороны, попробуй обругай их жилища, их уклад! Был характерный случай, когда в компанию выпивающих у магазина «Продукты Аккорд» затесался двоюродный брат болотненского Мишки Пухова, высокомерный вахтовик-нефтяник, живущий в новом микрорайоне Солнечном, где-то у чёрта на задах.

Как вы живёте, сказал он, — в конурах, в дерьме живёте! Ни школы, ни поликлиники, ни садика, ни автобуса, и одна баня на всех. Чтобы так жить, какими надо быть пентюхами! Бросайте вы это Болото вонючее, шевелите-ка бродниками!.. Да, видно, слабаки вы, лентяи, тормоза! Смотрите на меня — я, я, я…

И тут он услышал и про преимущества деревянного дома и соседственной жизни близко к земле, и про центр города, и про то, что «мы тут все не чужие, а вы там с соседями дверь в дверь не здороваетесь», и что «мы века здесь живём, а вы затычки и перекати-поле, крошку хлеба друг другу пожалеете. У вас там шайки и криминал, а у нас одна хулиганка, и та по естеству, из-за баб или по пьяной лавочке».

(И то: те местные жиганы, что просыпаются к обеду и долго, покуривая косячки, ритуально сидят на корточках посреди заплёванных ими тротуаров, бесплатно нюхая выхлопы пролетающих машин, — они, по древней традиции, воровали и хулиганили по-злому в Городе, на стороне, а на Болоте были «свои», «ребята с нашего двора».)

— Деревня! — закричал потерявший бдительность двоюродный брат, и это была роковая ошибка: деревенским-то ещё вчера был он, а люди с Болота чтили в себе многоколенное, эталонное горожанство. Ему «напихали» — и под глаз, и под дых, и по шее, не тронув только «помидоры»; Мишка Пухов дважды пыром пнул брата по окорокам. И, в завершение, не утерпел правдивый инвалид Павел Васильевич, подъехал поближе и уязвил его в спину своей знаменитой палкой.

Потом опомнились, пили мировую, гладили по спине, и морщил, смущённо хихикая, двоюродный брат своё жёлто-фиолетовое лицо: чего-то я не понял, чего-то не смекнул. А дружные вы… (И всерьёз думал с похмелья о переселении на Болото, пока не встретился через сутки с женой.)

Когда Алёша служил в армии, матери, как директору школы и человеку, умеющему за себя постоять, выделили — редчайшее тогда событие — трёхкомнатную квартиру в новом доме на Втором Каштаке, по дороге на Психбольницу. Неслыханно!

Квартиру давали на четверых, включая и невыписанного доселе с Болота и бумажно не разведённого с матерью отца, чей след простыл навечно. Квартира была улучшенной планировки, с двумя лоджиями и просторной кухней.

Сначала мать впала в состояние, близкое к гражданской экзальтации декабристского типа. Бабушка приняла эту весть с обидным для матери двуличием: на словах радовалась до юродства, а на самом деле сомневалась и сожалела. Начихать ей было на горячую ванну! С этим и умерла. Мать очень переживала, что там — убивалась по ней, — и после поминок вечером привычно съездила на стройку, посмотреть, нет ли подвижек.

Приблизился день переезда. Вернее, ночь, потому что мать назначила переезд на 20.00. Стоял апрель, в 20.00 на Болоте было темно, хоть глаз выколи. И мать была озабочена тем, чтобы болот-

ные люди не позавидовали ей при свете дня, не сглазили, и чтобы не увидел никто бедные пожитки семьи Сухониных. Берегла честь фамилии. Древней, но чужой.

В отсутствие Алёши помогать ей собирались Ильдар Сейдиахметович и соседи Тараканов, Доукша и молодой Дьячков. Главным был Сейдиахметович, обещавший подогнать свой фургон с надписью «Совтеро плюс», оставшейся от прежних владельцев. Он сам предложил помощь, сказав, что очень уважает Ираиду Петровну, воспитавшую такого хорошего сына. Мать тогда сделала вид, что у неё действительно есть такая заслуга.

Будучи человеком нетонким, прямолинейным, «из рядна скроенным», она не понимала этой почтительности Сейдиахметовича как чрезмерной и подозрительной.

(Ей приходило в голову, что в свои 47 лет она, безвозвратно попрощавшаяся со своей молодостью в 25, может представлять личный интерес для мужчины. А уж немолодой восточный человек тем более может быть охоч до неё, статной славянки. И вполне развратно охоч. Она не знала, что выросший без матери и не дождавшийся сына Ильдар, как восточный человек, возвышенно ценил порядочных женщин, невзирая на национальность, и был по-хорошему сентиментален.)

За несколько дней до назначенной даты она на прощанье обошла Болото, охваченное торопливой весной, переживая и ужасаясь, как мало, плохо она его знает и помнит, десятилетиями загнанная в свою работу, как белка в колесо. Она рассматривала его из своего детства, и даже слёзы выступили у неё на глазах, когда она подошла к Костровому месту и узнала его, неизменное, наверное, во все четыре сотни лет. Она вспомнила, как, красуясь перед нею, научно копал там яму, пока не одёрнули и не заставили засыпать, её первый ухажёр, случайный и ненадёжный, студент-археолог Зосимов — и всё была зола, зола, сплошная зола.

И неузнанный обтрёпыш-сверстник походя поприветствовал её у старой разрушенной бани: «Здорово живёшь! Однако, Ираидка? Привет, директор!». Он знал о ней последние новости, а она и не сообразила, кто он: одноклассник?

И совсем разомлела Ираида Петровна, когда присела на поваленную старую иву на берегу Ишайки, посмотреть, как бежит вода, послушать весенних птиц. Грачи прилетели! К ней подбежал лохматый пёс, всем, кроме неё, известный Пузырёк, и положил ей голову на колени. Здешние девчонки-малолетки приплели Пузырьку на голову, на спину, на бока и на хвост разноцветные бантики, и выглядел он ветераном цирка.

Она тоже когда-то привязывала бантики уличному псу Никитке. В честь Хрущёва был назван пёс: у него была круглая, чаном,

башка с самой настоящей плешью. И нрав соответствующий.

И мать подумала: *там* район плохой, люди чужие, *современные*; опять же — «далеко» (от чего далеко? До работы ей оттуда, заметим, было бы ближе). Отсюда в театр пешком дойдёшь, сумочкой помахивая. Одно удовольствие. Или на фонтан. (Когда она последний раз была в театре? В 1977 году, на спектакле «Сталевары».)

И подумала о том, что вдвоём с Алёшей им в старой квартире, где «зал» метров в 12, где ещё две комнатки-пеналь чики и кухня-«пытошная» (согласно бабушке), места хватит с избытком. Опять же дом деревянный. Хорошо. А Алёша с его вялостью, чистотой и робостью вряд ли расщедрится на семью, на внуков. А сподобится — так очень нескоро.

И само Болото… — эх ты, Болото, почто не отпускаешь? Или — спасибо, что не отпускаешь?

Необязательно знать древний миф об Антее, чтобы быть таким, как он.

Переезд не состоялся. Сейдиахметыч поддержал тогда мать, а Тараканов, Доукша и Дьячковы её осудили. А Тамара Георгиевна сказала ей, что она обязательно увидит, как проснётся Исакыч.

Мать жалела и жалеет о своём отказе, но как-то несёрьезно, как это бывает при чисто теоретической свободе выбора. Говорит, что если бы дело было зимой или поздней осенью, она бы не дрогнула.

Вернувшийся Алёша воспринял эту весть радостно. Пронесло! Правда, контузия ещё давала о себе знать, и настойчиво.

Квартира досталась другому директору, молодому прохвосту и чьему-то племяннику.

Третий год на Болоте с уважением и восхищением толковали о дуре, отказавшейся покинуть родные кочки.

Выходит, есть ещё люди, для которых не пустой звук вековое наставление: «Не должно оставлять наследственный дом, как не должно оставлять своих беспомощных стариков родителей».

А можно ли называть наследственным домом наследственную квартиру, одну из восьми в растоптанном, как старый валенок, типовом двуэтажном доме, где рядом проживают очень разные, до взаимной антипатии, люди всех возрастов, разных упований, разделённые уже по вековому национальному признаку «у нас на семью пьющую непьющая семья»?

Как сказать… Живут люди бок о бок, поколениями, сближаются и отдаляются в неизбежных общих сюжетах, привыкают друг к другу — и охладевают взаимно от простой скуки надоедания, и ведь до отвращения…

В тумане те годы (но они были, те годы!), когда в доме было полно детей, когда в Оттепель были им открыты все двери, за которыми нечего было прятать, когда всем домом прочитывали

одну книжку, и она, растрёпанная и засаленная, удваивалась в весе, когда съедалась одна на всех буханка ржаного или сберегаемый кулёк печенья «Шахматного» в какой-то из квартир — и ругались пришедшие с работы родители, попавшие под раздачу: ты опять приводил к нам эту ораву, эту прорву ненасытную, эту саранчу? А мы не должны ужинать? А в магазине хлеб разобран с обеда, придётся занимать пару кусочков у соседей, избежавших нашествия, или есть вечерний суп-рассольник без хлеба и пить чай наголо.

Но двери не закрывались до самого *ускорения*.

Закрыты они по сей день. Дети выросли и разлетелись. Их всегда рождалось на Болоте больше, чем оно может приютить. Взрослые постарели и устали общаться. И о чём нынче общаться — о деньгах, о сексуальной ориентации телевизионных тел? Но еле здоровающиеся соседи всё-таки объединены памятью о былом, и эта память для них как тайный запас, заначка на чёрный день, она может воскреснуть и согреть. Ничего, что они не отдают себе в этом отчёта.

А сегодня, в этой новейшей, обгоняющей людей на каждом шагу жизни, агрессивной, как война, появляются новые клеевые основания для посконной солидарности. Герой О. Генри приехал из захолустья в каменные джунгли и был настолько ошеломлён их внечеловеческим бурлением, что с отрадой и верой в лучшее обнял встреченного на перекрёстке своего деревенского врага, которого он, собственно, там искал, чтобы прикончить. А ныне и ехать никуда не надо — джунгли, вместе со стиральным порошком «Тайд», сами идут к нам, обступают нас с весёлыми прибаутками. И мурашки бегут по коже, и поневоле прижмёшься к соседу, пусть он и пахнет сволочью. По крайней мере, тебе известен его анамнез.

Как сказать… Дому, самое малое, лет 85. Он стоит, треща суставами, «попукивая» (согласно бабушке), на западе Болота, на его главной Болотной улице. У каждого подъезда по дереву, кривому тополю с пятнистой от железистого питания корой. Двора нет в помине, ограду разобрали в войну. Около северного торца дома, там, где стоял сортир, стол с двумя хилыми лавками под грибком, удобный тем, что с улицы можно высмотреть лишь краешек его, и то под острым углом: увидишь спину одного сидящего человека, а чем он занят, не увидишь. Не всякий же раз там пьют. В доме проживают… 22 человека, 10 мужского пола и 12 женского. И 6 котов мужского пола, все сибирские, серо-дымчатые, короткоухие и жирные, потому что их всех кастрировал по просьбам трудящихся старший Дьячков. Его отец был ветеринаром, кастрировал бычков и боровков, а когда их не стало, перешёл на клиентуру помельче. И обучил ремеслу сына. Котов не держат Сухонины и Коркины, у прочих — по одному.

Первый подъезд, первый этаж. В первой квартире живут Широковы, оба местные, им под 60. Две их дочери вышли замуж, живут одна в Норильске, другая в Находке. Об их приездах в родные пенаты никто не помнит. Он — завхоз бани, она там бухгалтер. Не отдыхают друг от друга, но так им легче: у них нет друг от друга тайн, отравляющих воображение. Они вообще люди предубеждённые, и в этом смысле двойники: смотрят на старых соседей, не говоря уж о прочих, мимолётных, так, что соседи начинают вспоминать, что же плохого они сделали или задумали. На окнах у Широковых решётки. В пьянстве не замечены.

Широковы — телерабы. Вечерами и в выходные напролёт они упиваются юмористическими программами, записывая их на видео, чтобы посмотреть ещё и ещё. Из квартиры их беспрерывно раздаётся смех, в котором сливаются смех из телевизора и смех Широковых. Очевидно, эстрадные персонажи отождествляются ими с окружающими живыми людьми. Но смеяться-то можно над безопасными виртуальными придурками — в жизни за ними нужен глаз да глаз, и никакой потачки.

Широковых не уважают.

Во второй квартире живут Каргопольцевы, удивительно безликие люди. Бабушка говорила: встретишь кого-нибудь из них вне Болота, в Городе — не узнаешь ни за что.

Свекровь — пенсионер лет 70. Её сын, явно поздний ребёнок, лет 30 — сторож в магазине «Рубин». Сноха сидит с ребёночком-мальчиком, единственным младенцем на дом (настали времена!), а работала продавщицей в том же «Рубине», жалком конкуренте магазина «Продукты Аккорд».

Люди тихие, разговаривают вполголоса, и рёбенок у них молчаливый, чем похож на Алёшу в детстве (Алёша чудесно в этом качестве сохранился). Заметный недостаток: по праздникам, по выходным что-то пекут, в основном пироги с дешёвой рыбой, и постоянно пироги у них (у свекрови?) горят — гарь, вонь. И ещё ни один сосед не попенял им за это, не язвил им в лицо — сама возможность разговора с носителями древней фамилии, наверное, потомками исконных обитателей Болота, кажется фантастической. Понятно, все местные.

К ним относятся хорошо, при встречах здороваются (а, не узнаём? Значит, Каргопольцевы). Их считают тактичными людьми.

Второй этаж. В третьей квартире живут Сухонины, мать с Алёшей. Их уважают. Мать — за характер суровый и стойкость, Алёшу, наоборот, — за мягкость и доброжелательность.

В четвёртой квартире — снова местные, чета стариков Рябининых. Они очень пожилые, за 70, пенсионеры. Единственные, у кого есть где-то огород. Огород без домика, под присмотром тамошних

соседей, таких же кержаков-староверов, как они. Рябинины — подчёркнуто религиозные люди, их очень уважают в Успенском, староверческом храме, что на Горе, за Белым озером. В быту они, соответственно, должны придерживаться правила своей чашки и ложки; давным-давно замечено, что старик Рябинин, Иов Флегонтович, никогда не здоровается за руку. Молодой Дьячков пробовал шутить над ним, то прося, то предлагая закурить, а то и выпить, — Иов с достоинством и без истерики, вежливо отклонял его инициативы. И бычок Дьячков от него отвязался. Закрытые люди!

А говорят, что они замечательно поют своё церковное, знают «знамена», и отец Геннадий, строгий, правильный пастырь, их ценит, выдвинул. В их жизни было много драм. И муж, и жена, Фаина Ивановна, преследовались и заточались в узилище и трудились «на химии» при Хрущёве. Их шестеро детей убежали все! На комсомольские стройки, на ГЭС, на БАМ (и на *хер*, как добавлял остроумный Тараканов). Не нужна им была отеческая вера, соблазнил и развратил их город комсомольского задора и лузги. Дети по очереди и вместе, сговариваясь, приезжают с внуками, правнуками — грустно! Старики их ждут не дождутся, готовят разносолы, а приедут — холод, не о чем говорить, чужие. Грустно и горько.

Жила с ними долго, после разлёта детей, младшая, сильно младшая, сестра жены Прасковья, Паша, незамужняя от своей чистоты (глупости, по мнению старшего Дьячкова, который цинично её разглядывал и нашёл хорошенькой). У неё обнаружили лейкемию, и она отправилась доживать и умирать в скит, что за Красным Яром, к окаянным беспоповцам. Уезжала слабая, томная, Рябинины подрядили машину за большие для них деньги (120 километров), наверное, не один потом месяц глодали корки с солёной капустой. А тамошние бабки-еретички отпоили её вроде бы рябиной, чистотелом и прочим в смесь — и ожила Паша, защебетала! Но жить в лесу ей так понравилось, что возвращаться она не хочет. И трудов там у неё неотложных куча. Теперь она сама ухаживает за старухами-скитницами, стирает им и хоронит их под холмиками без креста. Отец Геннадий расстраивается — те, скитские, — беспоповцы всех толков, знающие полтора таинства — можно ли так? А старая Рябинина кается перед ним, а потом, по старческой обессмыслице, изводит мужа грешными предложениями: давай продадим квартиру и поедем жить туда, в лес. Там свои, хоть и не очень, староверы, на макароны с концервами нам всем хватит, всему населению того лесочка. И там Паша, ягода, грибы, озерцо… В беспопы? Ни в коем случае, бесовское это помышление, отвечает Иов Флегонтович, лёгких да блядных путей, мать, искать стала? И давно ли ты стала такая блядная?

Их, Рябининых, уважают и даже любят — это безопасная совет-

ская любовь к Джомолунгме, Марианской впадине и т. д.

Да, забылось: хлеб они пекут сами — наверное, вкуснейший у них хлеб.

Второй подъезд, первый этаж.

Пятая квартира. В ней обитают четверо Дьячковых. Местные, сильно пьющие все, известные на Болоте своим буйным нравом, но вполне терпящие соседей. Свысока, конечно. Им сильно досаждал когда-то Исакыч, он их просто плющил, терроризировал милицией и возвышал на них голос, что было страшнее милиции. Дети родились после его ухода в сон, их пугали Исакычем. Когда он заснул, Дьячковы подраспоясались. И отец, и сын могут побить кого-нибудь чужого у магазина или где-нибудь ещё в сумерки. Они считают, что с наступлением темноты всё дозволено, «право имеют». Неприятно, что иногда во хмелю они честно не различают болотных с пришлыми. Правда, после перед болотными извиняются. Считается, что их предком был дьячок из старого, сгоревшего в 1818 году Троицкого собора, изгнанный из клириков даже не за пьянство, а за разбой на Иркутском тракте. Тогда, якобы, его фамилия была Варсонофиев.

Итак, по порядку. Старший Дьячков, Валерий Витальевич, 57 лет — грузчик в речном порту. Сам он называет себя стропаль. Ну, логично. Несостоявшийся ветеринар (см. выше), он любит рассказывать, что его хотели взять в разведчики, оценив его дерзкий характер и слоновью силу и «идеологическую стойкость» (у него образование в семь классов). Но на «проверках» перестарался, унизил генерал-майора, в борьбе уложив его на обе лопатки и вывозив в грязи. «И тут *они* прикинули, что дай мне волю — *непредсказуемо*! Я и сам думаю — точно, сука, *непредсказуемо*!» Уже дерётся редко и лаконично, притих, но одна его рожа в общественных местах нервирует всех присутствующих.

Жена, откровенно им нелюбимая баба, урождённая Татьяна Марина, — там же, в речном порту, сторожиха. Обиженная вечно, драчливая. Выпивши, бьёт мужа, но всё это несерьёзно. Он подставляет ей свою гранитную харю и говорит: ну, бей. Бей десять раз, а потом я тебя тресну разочек. Ему хоть бы что, а она после щелчка спит до утра. Он поит её рассолом и сочиняет ей, потерявшей память, что она-де нападала с матами на Доукшей, на Тамару. Она всегда поначалу верит и ужасается. Он хохочет, дети хохочут, и она нехотя присоединяется к ним.

Но ясно же, не каждый божий день такое происходит. Просто это помнится лучше.

Кстати, она намного старше мужа, лет на 7-8. Нагулявшись, как обезьяна, он однажды понял, что нужна ему верная подруга, надёжная мать его будущих детей. На всём Болоте нашёл он един-

ственную согласную предельного брачного возраста и привёл в родительский, «фершалский» дом. Ей до сих пор нравится наблюдать, как он, чтобы не утратить навыков, кастрирует то псов, то котов.

Дети. Сын Виталий — халдей, хулиган, хвастун, 25 лет. Делает вид, что работает по особому соглашению с охранным предприятием «Айсберг». Высокомерен, драчлив, Алёшу считает бараном. На самом деле — вор и по обстоятельствам дешёвый гопстопник, вынужденный не брезговать обиранием пьяных. Но надо же «имидж» держать. Он знает это слово и строит свой образ. В ближайшем будущем — главный враг Алёши, которого пока щадит и курит с ним, пугая рассказами о распутных бабах и зверствах уличных поединков. Алёша ему не верит.

Отношения с отцом почти любовные. Виталий хитёр и дальновиден. Он предлагает отцу померяться силой на руках и нарочно проигрывает. Вместе с тем пару раз выручал отца, уже потерявшего реакцию и наглеющего сверх своих возможностей. Сын мой, говорит ему отец, распивая с ним бутылку водки. Кстати, из гонора, Дьячковы не пьют портвейн. Виталик делится с ним наворованным, и отец прикидывается, что не ведает, откуда прибыли, и что это нормальная, патриархальная дань преданного сына благородному отцу семейства.

Дочь Алёна — продавщица («менеджер», как она представляется) в салоне сотовой связи рядом с Вознесенской церковью. Ей 23, была вполне симпатичной, по живости, пока не втянулась в курение «ханки». Веки набрякли, рот поехал, плохо закрывается, походка заковыляла. Девица полулёгкого поведения, в полупрофессию вошла непринуждённо и без раздумий, как дочь судьбы, как некая Клитемнестра. Пыталась соблазнить Алёшу, и дело не сложилось не по его стойкости (он бы не устоял), а в том, что он ей сразу наскучил. Ты какая-то будда немая, а не мужичок, сказала она ему, отводя его невольную руку, заползавшую ей под юбку. Время от времени развлекается тем, что собирается выйти замуж. Но доверительные отношения с молодыми людьми кончаются их бегством. Возьмут своё и дают дёру. Она же подаёт это так, что «ушла» сама, разочаровалась. «Женопоподобный какой-то, гомик. Я в Таиланд хочу, а он меня сначала с мамой желает познакомить».

Дьячковых для порядка побаиваются, не уважают и не здороваются с ними. И здоровались бы, да вдруг чёрт знает что услышишь в ответ.

В шестой квартире обитают Тараканов и его старухи. Снова местные, из древнейших. Он, Александр, — пьяница и охранник на автостоянке, и у него комплекс неполноценности, поскольку на этой болотненской стоянке только один пожилой джип-ино-

земец, а в основном российские, они же советские, тугие на всё автомобили, и их хозяева — жалкие жлобы, нет с них никакого навару, зато поднимают крик, если собака ночью обмочит им колёса. На морозе это, естественно, заметное явление, но как будто эта желтизна не исчезнет через два прокрута колеса напрочь. Что ему, Тараканову, гоняться за каждым беспонтовым Пузырьком? Он, Александр Тараканов, 45 лет, не имеющий проблемы подженироваться, для этого родился на свет? Он, Тараканов, может быть, человек поэтической души и потомок Робин Гуда, прадеда, который 500 лет назад воткнул лезвие в задницу нагрубившего ему полицейского пристава, сказавшего тогда, зажимая кровоточащую рану: спасибо за острастку, Саша (конечно, прадеда тоже звали Александром), я впрямь был с тобой неаккуратен. Все Тараканы испокон веку были Александрами Александровичами и никогда не держали в руках ничего тяжелее полена.

Наверное, именно поэтому от Тараканова (бадья налилась ночных слёз его) ушла жена с красавицей дочкой Сашенькой (была она из Новосибирска, дева бескорневая) — и остался он жить с двумя бабками. По отцу и по матери, урождёнными Скорбиной и Юдалевич. Бабки, не столь древние сами, сколь узловатые по древности болотных корней, замучили его своей пращурной гордыней. Ты-то из приёмышей, бездоказательно говорили они ему, из поскрёбышей леоновских, сами не зная, что такое «леоновский». Так вы мне не родные, что ли, спрашивал он. Нет, родные. А ты… Бредили старухи. Где логика? Тогда ведь и хотя бы одна из них — тоже приёмыш.

Тараканов был ритор, безобидный, готовый выпить всегда — всегда имевший для заедки перегара заветный обгрызенный мускатный орех, и клиенты не думали, что он выпивши, а думали, что идиот. Но бабки его мучили. Они, кажется, его обстирывали и кормили, дружные и услужливые, размеренно делились пенсией. Так и полагается относиться к потомку древнего мелкоуголовного рода. Но они лупили его пьяного и доброго ковшиком по затылку и заставляли мыть за собой тарелки и говорить им, ведьмам, «спокойной ночи».

И наводили дома, соревнуясь, такой порядок, такую чистоту, перед которой меркли, наверное, внутренние, самые отпылесосенные покои Кремля. И он ступай на цыпочках, разувайся, втыкай ноги в тапочки, меняй носки ежедневно, следи за словами. Он бунтовал, костерил старух — и в итоге страстно их любил, и когда тяжело заболела баба Маша, места себе не находил, и бросил портвейны с кагорами, сидел у постели и говорил ласковые слова и забывал подженироваться. Кореянку забыл из магазина «Рубин» — а как она его интриговала!

Человек из пены и стружек, он вызывал сочувствие, а две самоотверженные бабки — в лучшем случае снисхождение. Потому что никто не мог вспомнить ни о каком, даже случайном, с булавочную головку зле, которое Тараканов причинил бы кому-либо, кроме тараканов. А тараканы исчезли в 1993 году, вместе с женой и дочерью.

Алёша любил Тараканова и обнимался с ним при встрече, с двух своих лет и поныне. Сегодня Алёше представляется, что они с Таракановым примерно сверстники, учились в одном классе и заглядывались на одних и тех же девчонок. Тараканов знает тех девчонок из Алёшиного класса. А годится он Алёше в отцы! Но, брутальный на вид, он представляется Алёше именно ровесником, слегка огрубевшим, заматеревшим от лет, проведённых на Диком Западе, хотя Тараканов Болота не покидал никогда и в армии не служил, по причине разной длины ног, фактически байронической.

Второй этаж второго подъезда. С недавних пор там бродит Алёшина душа. В седьмой квартире живёт семья Доукша. Поди догадайся, на каком слоге ставить в этой фамилии ударение? Носители фамилии и сами этого толком не знают, договорившись о первом слоге. Покойная бабушка Алёши утверждала, что в её детстве она слышала вариант «Доукша́». «Кто идёт, словно кол проглотил, не спеша? Наш пся крев, битый пан, Сигизмунд Доукша́!» Доукши из местных, по отцу потомки ссыльных поляков, из какой-то мелкой шляхты. Их предка сослали в Потомск после польского восстания, в 1864 году. Их разросшийся некогда род был уничтожен в 30–40-е годы, уцелел один Владислав с его русской тёткой, вышедшей вторично замуж за милиционера Василия Карабатова, подселённого в их квартиру на Загорной. Потом, в 1952-м, они переехали в этот дом, на расширение, в квартиру, освободившуюся после того, как была арестована и растерзана семья Ивановых. В их горестной судьбе винили соседа Коркина как человека из органов. Тамара Георгиевна, чувствуя тяжёлое отчуждение и страх, исходящий от соседей, в своё время поклялась, что Исакыч здесь ни при чём, что Ивановых они считают пострадавшими невинно, что Исакыч имел неприятности за то, что проглядел вражеское гнездо, пристроившееся у него на носу, за стенкой.

Милиционер Василий не пользовался авторитетом, был нагл и истеричен; очень некрасив — у него была свёрнута челюсть и искривлён нос после побоев, причинённых ему легендарным Володькой Андросовым, скрывшимся где-то, говорят, в России. Но Василий полюбил тётку, буквально стелился перед ней и заботился о Владиславе. Владислав его тупо, сухо ненавидел. ещё важнее было то, что, живя «за ним», тётка могла не бояться, что за ней

придут. Детей у них не было, оба они, тётка и Василий, умерли в 1976-м году нестарыми, один за другим, с перерывом в три месяца.

Владислав закончил пединститут, работал в архиве на Горе (недавно архив съехал на улицу Карла Маркса, и ныне он там начальник отдела) — исполнительный, педантичный; честный карьерист и хитрый коммунист в недалёком прошлом.

Владислав был уже женат, на *городской*, первым браком, родился сын, но жили они недружно, свистящим шёпотом с пафосом отстаивали свою мелочную правоту. Оба были высокого мнения о себе, могли, поссорившись, неделями не обращать друг на друга никакого внимания.

Брак их был обречён. Но случилась беда: автобус, на котором жена с ребёнком отправилась в гости к родственникам на Алтай, перевернулся. Погибли оба.

После этого Владислав, без того замкнутый, надменный, совсем ушёл в себя, в свой, кажется, не очень богатый внутренний мир. Книг он не читал, а тягал гантели и читал журнал «Здоровье». Был он болезненно опрятен, наглаженный чистюля; дома готовил крайне редко, потому что не выносил запахов кухни, и питался в столовых в Городе, а вечерами вскрывал консервные банки. Его мусорное ведро наполнялось за месяц, и остатков пищи в нём не было.

С возрастом он хорошел — ростом выше среднего, «медальный» профиль, подстриженные густые усы, прямая спина, стройные ноги, барская походка. Для Болота он был слишком красив и осанист, будто и не здесь он прожил всю свою жизнь, а возвратился после долгих и романтических приключений из Аргентины, и первые приметы старения — ниточки седины на висках, прищур близорукости и мелкие от него морщинки на веках — придавали ему, как выдержанному коньяку, дополнительные достоинства. Очки он не носит до сих пор, на седьмом десятке, отчего на расстоянии обидно путает Тараканова с Широковым и всех соседских друг с другом.

Старший Дьячков звал его «Дон Педро», видимо, опираясь на фильм «Человек-амфибия».

Со старшим Дьячковым и состоялась у него «дуэль» своего рода — битва за девушку. В один осенний день он дал уговорить себя пойти в гости, на день рождения, на улочку Свердлова, где проживал его школьный приятель, некстати встреченный накануне на Болотной. И там он встретил соседку приятеля, Таню Зубкову, местную, много младше себя, и изумился, до чего она красива, и мила, и ни в чём не пошлá, не вульгарна, как другие девушки с Болота. Он рассыпался и загарцевал вокруг неё! Таня, конечно, была покорена — слишком грубые, примитивные болотненские юноши

увивались за ней, и сильно затруднялся тем её труд продавщицы бакалейных товаров.

Распалённые кобели не переводились в низкой палате магазина по двое, по трое, *шутили*, распугивая покупателей, на что Тане пеняла директорша магазина: душно было в магазине, будто за дверью его собиралась серьёзная гроза, и обмирало от такой атмосферы слабое сердце робкой директорши.

Таня была покорена — благородный Кларк Гэйбл, польский дворянин и с квартирой, приглашающий её в театр (где он сам ни разу не был, но откуда ей знать и зачем?). В театр она сходит охотно. Лишь бы ему не пришла в голову мысль о симфоническом концерте. Музей — туда-сюда, но концерт симфонический… Но если позовёт на симфонический — придётся пойти!

Для старшего Дьячкова Таня была «последней любовью», и он гонял кобелей, запугивал их. Он был на десяток лет младше Владислава, и на 10–15 лет старше этих сопляков. Обидно, но Таня оставалась равнодушной, говорила «не люблю» и просила оставить дурачков в живых.

Внезапно притоптавший дьячковскую тропу Владислав не являлся молодым кобелём и был его соседом. Дьячков попробовал поговорить с ним по-джентльменски, с минимальным набором угроз, навроде «руку сломаю», — бесполезно. Возвышал голос, хрустел пальцами в бронированных кулаках — зря! Доукша стал обзываться и унижать: посмотри, мол, на себя — ну кто ты рядом с ней, лилией нашей долины?

Разговор происходил в квартире Доукши, в прихожей-кухне, поздно вечером. Дьячков взялся форматно бить Доукшу по лицу и крепко его попортил. Владислав драться не умел. Зато у него были накачанные гантелями руки, он схватил Дьячкова за горло и *придушил* его.

То есть Дьячков потерял сознание и очнулся, когда трепещущий от ужаса хозяин лил на него четвёртый ковшик воды. Дьячков встал, хотел бить дальше, но голова закружилась, и он снова упал, уже в сознании. В итоге он уполз домой, на первый этаж, на четвереньках, унизительно сопровождаемый Владиславом, бормоча: «Завтра ты труп».

Он, безусловно, продолжил бы боевые действия, он был сильнее и злее соседа сверху, с его нечаянной победой. Если бы наутро не увидел в окно заходящую в подъезд Таню, не услышал бы её шаги по лестнице, стук во вражескую дверь, радостные возгласы, сменившиеся на «Ой!» (она увидела синяки на лице Владислава), — и потом хаотические постукивания её каблуков над своей головой — по своей голове. Хлопнула дверь, она сбежала вниз, колотила ему в дверь, а когда он не открыл, вышла на улицу и забарабанила ему в окно.

Он открыл окно и увидел перед собой не лицо, а гнев, и тонна презрения навалилась на него. Она молчала, кусала губы в кровь. Оскорби она его матерным болотным словом, покажи ему шиш или что пообиднее — он из принципа («Так не доставайся же никому!») превратил бы их жизнь в сплошное страдание.

А так — что-то понял и отпустил. Прошло время, и он уже здоровался с ними, ну, кивал, с поженившимися. Не более того, не менее того.

И женился на своей «Фёкле», и два ребёнка родились у него, а уж потом у них родилась дочка Ванда. Она, крохотная, плакала наверху от жалости, услышав снизу басистый рёв его сына, получившего подзатыльник.

Ванда подросла, окончила школу и сменила красавицу мать за прилавком, а мать повысили до склада. Семья дружная, мещанская, негромкая. Отец заметно постарел, мать расплылась, но он этого не видит. Дочь — хорошенький недоросток. Тайком покуривает; бывает, что разопьёт с подружками бутылку пива, посплетничает. На жизнь смотрит трезво и, слава Богу, очень нерешительно, примеривается пока совсем издалека. Пример Алёнки Дьячковой ей не по душе.

В последнее время начал на неё заглядываться молодой Дьячков, хватает её в подъезде за руку, так, легонько, без претензий, и говорит, как старичок, шамкая: «Фыросла девощка».

Совсем другие потомцы, *современные*, представали перед Алёшей галерейным образом на его трудовых маршрутах. Его взяли на работу в блатную ремонтно-строительную фирму, обслуживавшую новостройки в кварталах на юг от Ишайки, в малоэтажных стильных домах, которые архитекторы с большой долей условности вписывали в освежённую архаику центра Потомска, с его столетними особняками и каменными магазинами эпохи раннего Лыгина. Квартиры стоили весьма дорого и были по карману избранной части населения — хищным самородкам-предпринимателям и подросшим детям местной элиты, на чьих лицах было написано, что они знать.

Алёша, как электрик всеобъемлющего профиля, по совместительству умеющий делать всё — и столярку, и сантехнику — должен был исправлять обнаруженные недоделки и отзываться на дополнительные личные пожелания и причуды клиентов. Причуд было в достатке, работы было много, и скоро богатеи стали вызывать именно его — «этого светленького мальчика, воспитанного. Он уже приходил к нам». «Это не слесарь, а пианист какой-то», — сказал о нём влиятельный новосёл, зять областного спикера Дарьи Андреевны. Довольный Алёшин начальник, похмельный

франт Андрей Андреевич, так и стал называть Алёшу. «Ну, пианист, принимай заказ!» Ценил Алёшу, хвалился им. В нём не было, однако, отеческой теплоты Сейдиахметыча. Алёша чувствовал, что человек он подлый. «Эх, пианист, — говорил он, совсем неприязненно глядя на Алёшу, — денежки у нас с тобой очень разные, но попрут меня, а есть за что, пинком под зад, и пойду я на панель, а ты всегда себе на кусок хлеба заработаешь. Тебе никакая война с разрухой нипочём».

Зарабатывал Алёша прилично, больше профессоров потомских университетов. На Болоте его спрашивали об этом. И он, предупреждённый матерью, отмалчивался или врал, занижая зарплату вдвое. И то было пышно, болотненские цокали языками, глядели недобро. Враньё, выходит, защита от зависти, плата за повзросление.

Работа оказалась по-своему утомительным путешествием по стране незнаемой, и многое удивляло Алёшу в этих новых людях. Будучи младше хозяев квартир, он рядом с ними ощущал себя старинным человеком. И говорили они по-другому. Когда они при нём обсуждали какие-то свои дела и проблемы, он часто не понимал сути их разговоров, не понимал, хороши для них или плохи такие-то цены, такие-то условия, правду они говорят или прикидываются?

Он разве что легко научился различать тех, кто добился благодати своим горбом, от тех, кому благодать досталась по наследству, из шёлковой сорочки. Горбатые могли быть грубы и могли быть приветливы, вмешивались в его работу, чтобы ностальгически показать, что и они не лыком шиты, что начинали тоже с чёрной работы. И вот до чего поднялись, учись, брат! Им тоже когда-то досталось и нужды, и обиды, они помнили счастье от пельменей по праздникам. Могли о чём-то спросить, предложить стопку, употребляли матерные выражения — Алёша понимал, что это для него: мы, дескать, трудовая косточка. И спрашивали: как тебя зовут? Алексей? Значит, Лёша, Алёшка.

Знать — и это прежде всего — никогда не смотрела ему в глаза, была холодна, прилична, не опускалась до контроля за ним. Эти, наоборот, подчёркивали, что между ними и Алёшей дистанция огромного размера. Они никогда не бывали внизу. Они жили в «этой» стране, но не с этим народом. Имя спрашивали не всякий раз. Как вас зовут? Алёша. Алексей, сколько вам нужно времени, чтобы… И через пять минут: простите, забыла, как вас зовут? Алексей? Алексей, а нельзя ли… Да уж, будьте любезны (перебивая его объяснения).

Первые могли приплатить за работу, не оформляя дополнительно квитанцию, вторые — никогда. Первые говорили: проходи, не разувайся, вторые значимо смотрели вошедшему Алёше на

ноги, «забывая» поздороваться в ответ, и он сразу доставал из сумки сланцы.

Но и те, и другие вели себя дома, как на работе, или в магазине, или на вокзале. Он, конечно, понимал, что при нём они сдерживаются, но также понимал, что сдерживаться им легко: нечего прятать. Не было у этих людей сокровенных тайн, только денежные, коммерческие, карьерные, со всем шлейфом сопутствующего им смрада. То ли дело Болото, где даже Тараканов переливается, как ртуть, ежеминутно не зная, куда ведёт его кривая! Скучны эти удавшиеся люди!

И вот ещё что: квартиры великолепные, кричаще новенькие, при Алёше и обставленные, в них только начинают жить, и ещё далеко не все детишки в них перевезены, дожидаясь у дедушек. Хозяева с амбициями, что попало из мебели, из сантехники, из кухонного не купят. И от Алёши требуют чудес, вроде тройных бра в ванной или мигающих лампочек на потолке в лоджии. Кошелёк позволяет. А в итоге это их желание выделиться, соригинальничать, догнать и перегнать социально близких, соседей, приводит к тошнотворной *одинаковости* их дорогого (без единой иногда книжки, кстати) быта. Неуютная роскошь, химические жилища, не отражаются в их подробностях лики хозяев. И как-то странно видеть на таком диване развалившегося владельца, его поза тоже становится предложенной рекламным буклетом.

И вот ещё что: ни обстановка этих жилищ, ни вид и повадки этих людей не давали понять, чем же эти люди конкретно заняты, на чём зарабатывают, чем дышат. И не пробуй угадать — нет отпечатков! И чем дороже начинка квартир, чем вельможней хозяин, тем ненадёжней догадка. Если и висят на стенах картины или охотничье ружьё, то висят они по моде, понтово, и никогда это ружьё, ни в каком последнем акте, не выстрелит.

Удивительно! Раз Алёша осторожно спросил у одного из горбатых, чем он промышляет, и натолкнулся на негодующий ледяной взгляд. Неудобно ответить? Алёша поймёт, что он жулик, кровосос, спросит лишнее? Или наступило такое время, что надо скрывать свой род занятий? Алёша подумал тогда, что, в свою очередь, начнут скрывать свою профессию продавцы, работяги, инженеры, учёные, стесняясь и защищаясь от великолепия горбатых и знати. И только политики, артисты и некоторые журналисты не смогут этого сделать, потому что у них профессия быть на виду.

Попадались ему примеры и колоритного поведения, но это были исключения, подтверждающие правило.

В одной квартире, из окна которой видна Ишайка и на том берегу крыша Алёшиного дома, его встретил совершенно пьяный, в трусах, хозяин, тощий, как деревенский котёнок, от алкоголизма.

В шикарной квартире отовсюду торчали и повсюду валялись пустые бутылки обыкновенной водки и их осколки. Плохо пахло, а на хозяйской постели лежала, выставив голую грудь, проститутка средних лет. Она приветливо помахала Алёше ногой. Хозяин, с узким лицом пожилого пуделя, с босыми окровавленными ногами, надавал Алёше поручений и по ходу работы сам рассказал Алёше, что был у него десять лет назад «звёздный час, хапнули мы на одной приватизации с ребятами». Ребята все сгорели, ударившись о ненадёжный бизнес и сладострастие. «Начинали с красных пиджаков. У меня тоже был красный пиджак, но цепку я не носил — я же с высшим образованием». «А они?» — спросил Алёша. «И они с высшим, но они носили». Одни сгорели, других грохнули. «А я ленивый, но разумный. Сто таких, как ты, — один я. Нет, тысяча! Понимаешь?» Хозяин положил деньги в иноземный банк и живёт на проценты. «Я рантье, понимаешь? Не хрен собачий!» Главное, поделился хозяин, не брать ни гроша сверх процентов. Тем более, он копил на новую квартиру и новую машину. «Питаюсь скромно, пью родное, девчонок вожу. Хватает! Понимаешь?»

(Это же сколько ты украл, насосал из воздуха! — ахнул про себя простодушный сын Болота.)

«Пью десять лет. Запьюсь, почистят… Вот ещё расход — на капельницу, на медсестру закладываю в бюджет существования. Играю в преферанс с научными сотрудниками. День, два поиграю — снова пью». Семьи у него не было, никогда. Она не вписывается в бюджет.

«Скажешь, не завидуешь?» — с широкой улыбкой на узком лице заключил рантье. И без перехода: «Заканчивай поскорее, а? Надоели мне трусы, для тебя надел. Я люблю голышом ходить по владеньям своим. Я — Мороз-воевода».

Но этот был вечно пьян и когда-нибудь доиграется.

В другой квартире, с видом на площадь Батенькова, Алёшу встретил трезвый, поношенный человек в очках, ботанического кроя, очень любезный. Среди той публики такие отличаются любовью к мужской ласке, Алёше это было известно. Алёша, поёживаясь, делал свою работу согласно при нём распечатанному на принтере списку, а человек сидел за столом и читал книгу. И делился с Алёшей усвоенным. Алёше было смешно.

Человек зачитывал: «Сколь прям был Ши Ю! Когда в стране был порядок, он был прям, как стрела. Когда в стране не было порядка, он тоже был прям, как стрела».

«Пока вы, учитель, живы, разве посмею я умереть?»

«Благородный муж поступает на службу для того, чтобы исполнить свой долг. А то, что праведный путь неосуществим, это он знает».

Откуда у такого чудака бешеные деньги на такую квартиру? Может, он выродок знатного отца? Оказалось, ниоткуда. Он сторож, сокурсник хозяина и преподаватель университета, охраняет квартиру, владельцы которой запаздывают с приездом из Америки. А живёт он с семьёй в университетском общежитии, тому 24 года. Оттуда и вынесут вперёд ногами, сообщил он, сразу превратившийся в обычного мужчину. И, уходя, Алёша увидел краем глаза на кухонном столе открытую банку кильки за 13 рублей. Наш человек!

Долго Алёша не мог отвязаться от этого «прям, как стрела». Фраза эта точно укладывается в ритм его шагов. Он шёл вдоль Ишайки, по Каменному мосту, по Обрубу: «прям, как стрела, прям, как стрела». Пришёл домой, умылся. Пошёл в магазин: «прям, как стрела, прям, как стрела». Наваждение закончилось, когда он встретил Тараканова и сказал ему: «Ты, Тараканов, прям, как стрела». Тараканов обиделся и высказал что-то длинное, сбивчивое про двадцать лет вместе, которые не научили недалёкого Алёшу понимать Тараканова.

Все эти месяцы, зимние и летние, Алёша приходил домой с облегчением, по-детски торопился, словно чем быстрее он шёл, тем скорее освобождался от однообразных и связанных с неглубокими уколами зависти впечатлений от встреч с современностью. Именно это заставляло его на спуске в Болото заклинательно повторять про себя что-то вроде «вот моя деревня, вот мой дом родной».

Было подходяще, что мать приходила позже, и он мог поговорить вслух сам с собой о пережитом за день. Перебирая темы, он часто поправлял себя — нет, не так. Надо выразиться по-другому, Алёша. Хорошо, Алексей Николаевич, говорил Алёша, подумаем.

Как-то, этим августом, он закончил трудовой день в дальнем, восточном углу новостроек, в большом офисном здании над Ишайкой, и возвращался домой через стальной мостик, выводящий на противоположный от дома край Болота.

На мосту никого. Кряхтят сытые птицы, перекликаются, как дозорные, пьяницы по обоим берегам. От моста до угла Болотной попался грязненький мальчик на самокате. Его вопли были слышны издалека, с середины моста.

Алёша вспомнил, что он давно не проходил мимо дуба. Прямо за углом, за забором просторного по-местному двора-огорода, принадлежащего каменному двухэтажному дому, что стоял, в отличие от других болотненских, в глубине, на мысу (Ишайка в том месте круто изгибалась к югу и вскорости так же круто возвращалась на север), растёт, хочется сказать, проживает уссурийский дуб, лет сорока. Его саженец привёз в своё время отец,

ныне покойный, того самого Мишки Пухова, тоже лет сорока мужчины. Миша следит за дубом, гордится им, рассказывает о нём любопытным прохожим, сующимся через забор. Выращивает по два-три саженца в год и дарит желающим. Пока ещё ни один не пришёл, не отчитался, что дубок принялся. В Потомске есть ещё всего два дуба (и ещё один где-то в районе). Ботаники из университета высаживали дубы и там и сям, но климат и почва не подходили дубкам, они погибали. А вот в этом месте дуб заматерел — у незамерзающей, ядовитой ишайской воды, прикрытый от ветров Горой и плотным ивняком, защищающим его с запада, откуда в основном и дует.

Дуб чин-чином: листья как деки струнных инструментов, жёлуди — мешками. Миша разрешает детям их собирать, и Алёша собирал, и до сих пор в разных уголках квартиры он находит кучки этих желудей. Некоторые раскрашены акварелью, произведённой в советское время.

Дуб растёт впритык к забору, и, протянув с улицы руку, можно погладить его морщинистую ветку. Что и хотел сделать Алёша. Что и сделал, и увидел при этом: на скамеечке под дубом сидят Пухов, Алёна Дьячкова и Ванда Доукша. Они пили портвейн, дипломатически — одна бутылка на троих. Миша рассказывал девушкам про горькую жизнь Аллы Пугачёвой и своё знакомство с ней. Случайная встреча в Потомске, на служебном входе служебного зала, двух порядочных, немало испытавших людей, сразу угадавших в визави родственную, романтическую душу. Миша вряд ли уточнил, что он тогда работал в концертном зале сантехником.

Миша, и вообще-то порядочный мужчина и нежный отец, говорил очень целомудренно, он не собирался соблазнять девушек, навестивших дуб, ему было приятно их внимание. Алёна ему верила, что-то уточняла, и он на ходу подвирал что-нибудь новенькое, не обкатанное во рту; а Ванда здесь была явно за компанию, прогулочно, она слушала рассеянно и всё посматривала на Мишину дочку, которая поливала капусту и цветы из большой лейки, держа её ломкими спичками ручонок. Кажется, Ванда порывалась сказать Мише, что лейка для такой малютки слишком велика и тяжела, поднимала на него свои, как наконец-то разглядел Алёша, прозрачно-кофейные глаза с неровными бровями над ними — и опускала, не решаясь его перебить. Милая ты моя, ахнуло в Алёше.

Стаканчик портвейна она держала в левой руке (левша?), отставив тоненький мизинец. Алёша поймал себя на том, что тоже округлил праздные пальцы и отставил мизинец. На правой руке.

Он уже разглядывал только её, восхищаясь, что остра её девичья грудь, что руки у неё загорелые, а колени и ноги под короткой

кожаной юбкой — тёплой белизны и сияют, хотя она сидела спиной к садящемуся солнцу.

И она коленями почувствовала его взгляд. Посмотрела сначала на них, а потом, будто колени подсказали ей направление, недоумевающе подняла глаза и отыскала между ветвей глупое Алёшино лицо.

Ни Миша, ни Алёна не обратили на это никакого внимания. А Ванда одними губами, даже не шёпотом, обозначила, дунув на чёлку: *«Алёшкадурак»*.

Алёша прочитал эти слова, как немой у немой. Алёшка! Но дурак. Дурак. Но Алёшка же. Он согнулся, прячась за забором, и, ускоряясь, заспешил домой, ещё услышав:

— Там кто-то есть? (Пухов.)

— Нет-нет. («Да-да», Ванда.)

Прискакал домой. Умывшись, причесавшись, он встал к окну, сбоку, секретно, и битый час ждал её возвращения, всем сердцем любя её уже за то, что её деда звали Сигизмунд. Она всё не шла, и он ревновал и думал о ней неопределённо-плохое. На восток бежала Болотная улица, по ней бежали машины; справа, не удручаясь соседством с мусорным контейнером, сидели на корточках, курили и плевались, как верблюды, неумытые жиганы в майках и тапочках. И Алёша тревожился, не пристали бы они к ней. Знал, что не пристанут, и всё равно тревожился…

И, похоже, от волнения (дрожали и руки, и ноги), он забылся, как-то ослеп, что ли, потому что увидел её, одну, без Алёны, уже подходящей к дому со слабой, но весёлой гримаской на лице, и ветер ворошил её тёмные подрубленные волосы. А ещё она дважды потёрла, поморщившись, переносицу.

Её девчоночная походка заставила Алешино сердце биться в такт с ней. «Прям, как стрела». И дышал Алёша согласно сердцу и шагам Ванды.

Прошла и даже мельком не взглянула на сухонинские окна. Хлопнула дверь в том подъезде. Нет, это нарочито, так не бывает: сам он, подходя к дому, машинально обегает взглядом все окна на фасаде. Она нарочно не посмотрела!

Что же теперь делать, как себя вести? Следующая встреча не может быть обыкновенной, после пережитого! Надо обдумать своё поведение. Алёша смотрелся в зеркало, протерев его от пыли и налипшей мошки. Откуда она взялась? Наверное, мать недоглядела, оставила открытое окно. «Алёшка, дурак. Алёшка — дурак». А может быть, ему показалось?

Он включил телевизор, уселся в старое кресло, бывшее коркинское. Как и бабушка, Алёша не жаловал телевизор, но сегодня смотрел в него свежими, ищущими глазами. Как будто телевизор

может что-то подтвердить или как-то обнадёжить.

В телевизоре покачивалась серебряная голова губернатора, шли местные новости. Губернатор рассказывал о подготовке круглого юбилея города, до которого оставались считанные дни. Алёша вспомнил, что до этого юбилея у них будет свой. Городу исполнится 400 лет. А матери — 50. В конце речи губернатор сообщил, что в город прибывает Благовест, новый колокол-великан, и его установят на прежнем месте — у Вознесенской церкви, там, где 70 лет назад варварски убрали старый. Про прапрадедушку он не сказал, возможно, не знает о нём.

Ого-о, выдохнул Алёша-дурак. Может быть, это и есть какая-то подсказка? А Ванда не знает, чей он правнук. Праправнук.

После ретировки губернатора ведущая новостей рассказала о двусмысленной и небывалой шутке оставшегося неизвестным лица, мужчины, который заявился в Серый дом и попросил провести его к губернатору. Ему, естественно, отказали, но он, как выяснилось, дождался за углом выхода первого лица области. Дело было бы обычное, если бы неизвестный не был весьма профессионально загримирован под прославленного потомского Старца, умершего полтора века назад. Старцем он и отрекомендовался. Он приблизился к губернатору, окружённому свитой, и сказал: «Здравствуй, панок! Пора, пора нам поговорить, сын мой, и безотлагательно!».

Охрана на всякий случай прихватила его под руки.

В этой шутке было что-то несомненно бестактное и фамильярное. Но наш добродушный губернатор всего лишь попросил его удалиться и сел в машину.

Ведущая продолжила: кто-то из сопровождающих, видимо, театрал, узнал в «Старце» известного в Потомске Евгения Платонова, дивного характерного актёра, который в эти дни снимался в имиджевом видеоролике о Потомске, к юбилею города, именно в роли Старца. Предполагая, что актёр подвыпивши (сказано было тоньше, не запомнилось, как), чем и объясняется его эскапада (театр — в соседнем здании; вернулся со съёмок, замахнул на старые дрожжи, не стал разгримировываться, а решил покуролесить), театрал-единоросс (от себя: какое пикантное сочетание!) сказал «Старцу»: «Женя, вы рехнулись, идите проспитесь».

«Старец» повёл себя кротко. Прикрытый поношенным дешёвым плащом, в каких-то сапожках, он покорно ушёл в сторону Обруба — не театра — благословляя встречных и поперечных.

К сожалению, закончила ведущая, как вы сами понимаете, мы не смогли снять этот сюжет на плёнку. Но — уже через 20 минут после происшедшего — мы звонили заслуженному артисту России Платонову на домашний телефон. Евгений Александрович был

дома, уверял, что съёмок и «шквального» грима сегодня не было, и он находился дома с обеда. В вечернем спектакле он не занят. Дословно: «К этой непонятной истории я не имею никакого отношения, даю слово. И я буду оскорблён, если мне не поверят».

Алёша через силу рассмеялся — и заснул в кресле, пахнущем Исакычем. Он не услышал, как пришла мать, не услышал её вопросов. Она громко и свинцово, как положено педагогу-новатору, спрашивала, не веря себе и смеясь, не пьян ли он. И, растолкав, увела его в его комнату, и он спал до утра беспорочно.

Много позже узнали (не все, не все), что поздним вечером «Старец» был замечен завистливым приятелем Платонова, доцентом-гроссфатером Бириным, на Обрубе, и шёл «Старец» на Болото. Бирин тоже подумал, что Платонов развлекается, и опасно, идя в таковую слободу, окликнул, попытался догнать. «Старец» скрылся на спуске. Приятель побежал за ним — но «Старец» словно растворился в синем воздухе.

И дальше по известному уже сценарию: звонок Платонову. А тот дома и довёден уже до безумия: «Да что же это такое?! Отстаньте от меня, идите вы все к чёрту! Достали вы меня до самых кишок! Э-то-не-я!!!»

Глава шестая

Судьба губернатора

Позапрошлым летом, в середине июля, сразу после обеда, в городе Потомске пошёл густой, сильный дождь. Он извергался из на самую чуточку посеревших облаков, но в его пухлом молоке растворялись дома, и видны были одни округлые акварельные кроны довольных деревьев.

Губернатор запросто вышел на просторное крыльцо Серого дома, стоял среди расступившихся по случайному взмаху его руки подчинённых и смотрел на дождь. Сдерживая улыбку, он с какой-то земноводной радостью дышал влажным, тугим воздухом, от удовольствия перебирая плечами и заступая за границу сберегаемого портальным козырьком пятачка суши. Казалось, он нарочно, по порыву душевному, сбежал на крыльцо из своего высокого кабинета, заслышав с подоконника манящие позывные крепкого, нарастающего ливня, глянув в широкое окно и увидев, как приданная его резиденции река Потома без остатка сливается с небом.

Конечно, это было не так: ему нужно было ехать по делам хозяйственным, согласно графику. Влиятельнее графика для него были разве что президент и премьер-министр. Но ведь остановился же на хорошую минутку.

И в эту минутку окружающие (провожающие и сопровождающие), естественно, не спускающие с него глаз, как один, отметили, что эта его дань дождю, эта его встреча с белым ливнем наглядно подтверждает их накопившиеся мало-помалу наблюдения на тот счёт, что Иван Тарасович изменился, стал другим (а знали они его по двадцать, по тридцать лет), и дело здесь не в законах старения, не в опыте большого человека, забывшего, что ему могут возражать, — но в чём-то именно другом, перед чем бессильна поступательная логика политического и психологического свойства.

Это беспокоило, тревожило.

Ливень превратил окружающий окоём в изначальное лоно сырой и дикой сибирской природы и словно перенёс его свидетелей на сотни лет назад, когда на этом месте немногочисленные и лаконичные люди общались со зверьём и рыбами, не чванясь перед ними умом и силой, и ещё находили выгоду и мужество усматривать в них своих предков.

Губернатор *сливался* с этим пейзажем и сиял, как дождь, — сияла его седина, сияло его серебристое лицо. Сияла вся его фигура, отбрасывая на стоящих рядом тонкий металлический отсвет, какой отбрасывает большой лист жести, так, что хотелось убедиться, что оно так и есть, проверить это впечатление — чем-то сколько-нибудь широким и плоским заслонить от губернатора его соседа.

…Можно смело говорить о том, что слово «вдруг» потеряло в наши дни своё основное, праздничное значение. Помнится, в одной старой, когда-то азбучно приставшей к детской душе книжке, мальчик пошёл в лес: и *вдруг* зайчик из-под кустика выскочил, вдруг шишечка с кедра свалилась, *вдруг* ветер в вершинах деревьев зашумел, схватился за верхушки и ну их теребить! Но нет уже ни того мальчика, ни того леса, ни той радости, что распахивает глаза и превращает руки в семафор изумления.

Нас отучили удивляться. Удивляться нынче — себе дороже. В среде людей, держащих свой здоровый, мокрый нос по ветру, удивляющийся человек неприличен, несолиден и не вызывает делового доверия.

Наш мир устроился так, что пришелец из любого прошлого был бы обречён удивляться, главным образом почему-то негодуя с утра до ночи, ещё и подпрыгивая от дневных впечатлений во сне, — и ни на что другое у него не оставалось бы ни песчинки времени. А нынче надо, напротив, непрерывно действовать и действовать, выколачивая из копоти слов фактурные куски благодати, подобно ацтекам, что безостановочно вырывали сердца и проливали кровь своих пленников, чтобы солнце не прерывало свой небесный бег.

То есть в сегодняшнем мире отрицательного отбора, где удив-

ление должно превратиться в неизбывное горестное недоумение, всякая вопросительность самоубийственна, маргинальна, глупа.

Поэтому слово «вдруг» огрубело, приткнулось по смыслу к присказкам-междометиям наподобие «прикинь», «блин», «б…ь», стало связываться как раз с чем-то ожиданным и даже закономерным, но чего можно было всё-таки избежать, отвертеться, а оно всё-таки подловило вас раньше и всерьёз, а вы надеялись проскочить.

Речь идёт о типовых ситуациях, когда тебе заслуженно *дают сдачи*, нечаянно раскусив твоё коварство прежде, чем петух прокричит. Базовый пример: «…И вот я наливаю (продолжаю врать) ему (чтобы залезть в чужой карман) или ей (чтобы залезть под юбку), а он (она) *вдруг* (блин, прикинь, б…ь!) размахивается и даёт мне в табель! Смекнул(а), значит, по поводу моей темы!».

То, что случилось с губернатором одной сибирской области, не удивило окружающих его людей. Именно потому, что непосредственными, безотрывными, так сказать, очевидцами тому были всё-таки представители свиты, закалённые чиновники; а редкие обыватели — возможные носители старинного недоумения — были далеки, сидели в своих плохоньких квартирах с затрапезными обоями и даже через телевизор не общались, не виделись с ним годами. И если иногда они выбирались в театр или на симфонический концерт — так Иван Тарасович никогда там не появлялся, чтобы не смущать простой народ.

Тем более что происходило это преображение постепенно, исподволь, накапливаясь, как дурной воздух в шахте, но ведь не взорвалось. В наше время в избранной среде количество не переходит в качество, это отменено правящей партией, что записано в соответствующих партийных документах и убедительно закреплено в современной судебной практике.

В общем, изумиться сколь не могли, столь и не успели, привыкнув.

Наш губернатор Иван Тарасович Нарымов находился на кормлении почти уже двадцать лет и являлся одним из так называемых политических долгожителей новой России. Фамилия его представляется слишком «нашей», кажется псевдонимом. Кто-то утверждает, что его настоящая фамилия Скорченко, но в юности он-де поменял её. А городской сумасшедший профессор Мазурский был уверен, что фактически его звали Соломон Штейнбаум, но это вообще ни в какие ворота не лезет, даже неинтересно.

Сам Нарымов был хороший, а тиуны его, как ни переставляй их, были почему-то плохие. Так исторически сложилось. Жил он скромно, ни во что не вмешивался, особенно во второе своё десятилетие, и каждый новый год, как новый ребёнок в семье, приносил ему новые радости и награды. Раньше, бывало, вмешается,

накричит с чужих слов на лодыря, воришку или дурня, но нередко оказывалось, что наказывать-то надо было, скорей, того, кто вложил негодование ему через уши на язык, и Иван Тарасович представал исполнителем чужой воли. И он закрыл этот балаган, как умный человек, и перешёл на общеобразовательные речи с рефреном: «А будет ещё лучше».

В конце концов, жизнь при капитализме (он искренне верил, будучи по образованию инженером водного транспорта, что живёт при капитализме) обладает чудесным свойством самоорганизации, не надо ей мешать. И если, скажем, село завалилось и обезлюдело, значит, речь идёт об элементарной рабочей фазе перестроения данной ниши, потенциал инноваций накапливается и даст о себе знать фазой роста, и когда понадобится, люди появятся, подымутся хотя бы и из-под земли. Если, конечно, в них будет нужда.

Наши пафосные либералы (например, Пётр Мудряков, содержатель образцового публичного дома и двух бань, или Борис Фимин, владелец модельного агентства и рекламной газеты), похохатывая, трубили по дорогим ресторанам, что его кутузовский стиль есть во всём прямо пропорциональное порождение откатов, надёжная, *бесшумная* пирамида которых была кропотливо выстроена за эти годы над нашими болотами. Но на вопрос, вполне резонный, исходя из красоты на их тарелке, не участвуют ли они сами в сооружении этой пирамидальной штуковины, они отмахивались, восклицая: «Говорите по существу! Не о нас речь!». Доверять им было трудно: в барсетках они, как юнцы, носили напоказ пачки поддельных купюр и подозрительные пакетики.

Во всяком случае, в провинции (читай местные газеты, смотри местные каналы) не принято говорить и даже намекать на то, что первое лицо края берёт мзду или *пилит* бюджет, как простой собака-чиноз. Но ясно же, что губернатор в принципе, как символ мощи государства, не должен жить хуже своих тиунов. Другое дело, если он при этом нескромен, ломается, как конский подрядчик, сорит деньгами, на которых написано: «ворованные народные».

Иван Тарасович был приличный, опрятный человек, про «сорил» ничего такого не писали, не сообщали же, поэтому говорить о коррупционной составляющей его сюжета мы больше не будем. Мы — «люди мелкаго счастія», нас, если что, могут «в зъмской избе остерегать».

Мы — местные, мы гордимся тем, что мы тёплая пыль просёлочных дорог глубинной России и гранёная роса на её приватизированных лугах. Наше дело — мокнуть или высыхать.

Иван Тарасович имел внешность узнаваемо севернорусскую. Внук Двины, Онеги или Пинеги, среднего роста и в меру коренаст,

короткорук и коротконог, лицо белого мякиша с румяной припёкой; черты лица аккуратные; нос, который и заметен на лице, но никого не раздражает; губы тонкие, угорские, с годами приобретшие профессиональную мускулатуру; глаза светло-серые, чуть навыкате, под стекло; волосы исходно соломенные — в юности они вились в крупные кольца, но пошла седина — и они выпрямились и поредели. Зато седина была — наше почтение: светящаяся, как чищеное серебро или правильный мельхиор. В сумерки голова губернатора, выходящего из своей смоляной машины на какое-нибудь ярко освещённое крыльцо, где его ждали одеревеневшие от добрых чувств встречающие, производила впечатление величественной шаровой молнии.

Невозможно было представить этого человека в былых фуфайке и кирзачах — его бы сразу приняли за ряженого, за шпиона, тем более, что говорил он звучно, объёмно, но с присвистом в новых арктических зубах. А костюмы, которые мастерил ему англичанин Джейк Конотопски, шли ему, как никому в начальствующей Сибири. И находились губернаторы, которые самолюбиво избегали фотографироваться рядом с ним, хотя вымахали на полголовы и на целую голову выше, а жались к Людмиле Нарусовой или к приезжему высокопревосходительству…

Так вот, *губернатор сливался с этим пейзажем и сиял, как полуденный дождь, — сияла его седина, его серебристое лицо, сияла вся его фигура, отбрасывая на стоящих рядом металлический отсвет, какой отбрасывает большой лист жести.*

И было понятно, что источник этого мреяния — в нем самом.

И вот что ещё обнаружилось в нем на фоне прохладного сияния и в соответствии с ним. Голова у Ивана Тарасовича немножко присела на шее, а потому и глаза чуть подались к небу, но при этом и зрачки подъехали к носу, а сам нос, на грани неуловимости, заострился, потеряв горбинку. Да-да; и лицо будто поседело в тон волосам.

Дальше будут листаться день за днём, но указанные перемены останутся в силе. Чинозы примут это к сведению. Надо так надо. Разве что буфетчица с третьего этажа, всё ещё обаятельная женщина, как-то сказала, сомневаясь: «Запрокинулся Иван Тарасович — годы летят, наши лучшие годы!».

Но она являлась маленьким человеком, известна была, в частности, и тем, что лет 15 назад по молодой, тщеславной глупости придумала для судомойки из столовой с первого этажа, что однажды после банкета, случайно оказавшись с ней один на один, Сам якобы хотел потрогать её за прелестную грудь (она уверена), но не решился (?!). За такую дурь её собирались выгнать в общепит. Она повинилась, поплакала — простили.

Чердак ли, подвал ли — закон, к счастью, работает: «С Дому выдачи нет».

На сей раз её слова были совсем невинные, да и было уже кому за такую скоромную наташу заступиться.

С конца августа, когда пошли холодные, тёмные дожди, изменился голос Ивана Тарасовича. Он стал шелестящим. Причём между открытием рта и речью была заметная пауза, и после окончания речи рот также закрывался не сразу. Надо так надо. Шелест придавал словам губернатора некоторую задушевность. Возможно, это помогло ему выиграть переговоры с председателем правления крупного международного медицинского фонда, неуступчивым голландцем, матёрым геем, посетившим Потомск вместе с мужем.

А багряной осенью, когда уже подкрались первые заморозки, на очередном выезде в районы произошло важное, летописное событие. В райцентре Нельмачево тогда отремонтировали школу и установили в больнице передовое оборудование, включая томограф, за который, как у нас принято, было переплачено 7,35 миллиона рублей. Обозрев больницу, со словами «придёт время — и второй томограф вам поставим, лишь бы на пользу, на здоровье», Иван Тарасович вышел на близкий берег речки Нельмачки, рядового притока Оби, и задумался.

Сотня человек, ходивших за ним, толкаясь и оттаптывая друг другу ноги в адских коридорах школы и больницы, тоже задумалась.

Почему не подумать, когда светит розовое солнце и над головой ободрительно бормочут в небе улетающие журавли? Впрочем, предметно думал один молодой главврач больницы. «Зачем мне второй томограф?» — думал он.

Тут Иван Тарасович громко фыркнул, спустился к воде и стал снимать с себя одежду, бросая её на жухлую траву, и остался в одних трусах болотного, помнится, краеведческого цвета.

И все в молчании увидели, что тело у него тоже серебрящееся. Что отразила и студёная небыстрая речка, и сонная щука, высунувшая свой перископ посреди губернаторского отражения в воде, похожего на зеркало, окунутое в ленивые струи.

Присутствующие очень внятно почувствовали, что ветерок сегодня дует осенний, знобкий. И вот уже один за другим стали раздеваться чиновные люди, и немногие, защищённые справками, остались нетронуты этим вихрем, громко и с сожалением говоря, что они радикулитны и ревматичны.

Иван Тарасович бросился в воду, поплыл, нырнул, вынырнул — и, погружаясь в колючую стынь вслед за ним, перед тем, как прокричать разные междометия, чинозы на быстром глазу поняли: губернатор-то наш, оказывается, — настоящий осётр!

А молодой главврач бежал по взгорку к вратам больницы, поспешая за спиртом. Варя, кричал он, все полотенца сюда! Какие «все», негодующе отвечал ему фаготный девичий голос, где взять-то? У больных собери, задыхаясь, кричал главврач, у больных! Личные отбери, гос-с-с-поди!

Купался губернатор долго, искупался, и после гигиенических процедур как ни в чём не бывало сел в машину. И все как ни в чём не бывало сели по машинам и поехали в Потомск, «на базу», как они шутили.

Последствия тому были самые прозаические. Губернатор пободрел, приосанился и приобрёл запах речной воды, и этот запах пикантно сочетался с его тонкими дезодорантами и полюбившимся ему ароматом мужского «Кензо». Значительная часть искупавшихся стала чахнуть, застудив себе всякие места и отделы тела, главным образом лёгкие. Трое — что характерно, из одного кабинета за номером 314 — покрылись фурункулами и стонали при ходьбе. К несчастью, двое отдали богу душу. Первый, молоденький племянник… чей же? — от гнойного воспаления лёгких; второй, пожилой, старый соратник губернатора, большой любитель «Косынки», — от последствий перенесённого в тот день инфаркта. О нём Иван Тарасович погоревал, удручённо посидев в его навсегда упразднённом кабинете.

И ещё четыре районных выезда сопровождались купаниями в речной воде, пока не встали реки. Крупная партия исландских свитеров была распродана в ЦУМе в то предзимье, на радость предпринимателю Петровой. Она не уставала повторять: взяла их на свой риск, больно дорогие эти исландские. А пришлось дозаказывать. Кто бы мог подумать, с чего?

Свитера свитерами, однако люди свиты выходили из строя, и листопад бюллетеней наблюдался тогда в отделе кадров Серого дома. Редела свита. На последних хождениях в народ её численность падала до тридцати человек! Доходило до того, что на каждый второй вопрос губернатора некому было давать справку, и районные прохвосты безнаказанно врали что хотели или что придётся.

Когда же с первого декабря Иван Тарасович перешёл на сыроядение, катастрофой это показалось только в первые дни. Салаты, строганина, бастурма, бифштексы по-татарски, свежая рыба под лимоном, конечно, приелись быстро и нанесли свой удар по больным и здоровым желудкам серодомовской чади, плохо сочетаясь с алкоголем, статусно принимаемым по вечерам и в выходные. Желудки было засбоили, но уже по кабинетам бессознательно запахло сторонней готовой едой, а жёны научились варить диетические супы на домашний ужин. Надо так надо; но никто ведь не

запрещал чередовать то и это. И страусиное перо им было, было чем заменить.

Между тем, гиперборейский климат лишил Ивана Тарасовича купаний под открытым небом. Требовалось найти им достойную замену. Видимо, с этим поиском связан был его рождественский визит на Болото.

Болото, как известно, в двух шагах от Серого дома, гранича через заповедный спуск на Обрубе с губернаторским кварталом.

Никогда ни Нарымов, ни его коммунистические предшественники, ни их монархические предшественники не появлялись там ни днём, ни ночью, как не ступала туда ни одна епископская нога. Не спускались туда, не опускались дотуда, и правильно делали!

На Болото смотрели сверху, с Горы, от реконструированного фрагмента острога, с восстановленной каланчи, от Вознесенской церкви над восточным склоном Горы. И оно, охваченное толстой подковой Горы, лежало в своём подозрительном покое, со своими домишками и слепорождённым населением как вещественная цитата из неказистого сибирского прошлого.

Но южная граница Болота — текущая в ивняках речка Ишайка, что далее к западу, огибая с юга Серый дом, заходит через три сотни метров после Обруба в реку Потому. Ишайка согревается различными промышленными и коммунальными жидкостями и не замерзает во всю зиму, на устье коварно подтачивая ледяной панцирь Потомы. Иногда она курится, как банальный поток лавы, напоминая его и цветом своим.

Около 11 часов утра, в мелкий игольчатый снежок, одинокая (!) машина губернатора спустилась по Большой Болотной улице и встала в её середине, там, где в просвет между скрюченными, словно похмельными, ивами виднелось Костровое место. Это Костровое место было клубом местных жителей, что попроще, посещаемым и в зиму; здесь в сумерки собиралась разная болотная бессонница — недопившая, желающая поделиться радостями и скорбями, замышляющая плохое дельце или недообщавшаяся за скудный чувствами день.

Губернатор, в одном костюмчике, с шарфом на шее, вышел на мороз и, минуя костровище, подошёл к берегу.

Улица была пустынна. Кто-то трудится, кто-то отсиживается или отлёживается дома. Холодно, слышно, как вверху на каланче настойчиво скрипит флюгер.

Против костровища, на северной стороне улицы, у входа в магазин «Продукты Аккорд» мёрз в своей раздолбанной коляске безногий инвалид Павел Васильевич с засаленной фуражкой на коленях. К коляске прислонена была длинная палка, облитая в навершии свинцом. Она предназначалась для защиты от дерзких пьяниц, за-

бывавших о своём уважении к старику, и отдельных выродков из молодёжи, ещё не усвоивших вековые законы Болота.

Сбор Павла Васильевича был невелик, рублей 30, в чём уже дважды убедилась бдительная Фурия, или Фурка, супруга инвалида. Старик имел слабость. Когда у магазина собирались пьянчужки, они щедро делились с ним мелочью и давали ему допивать портвейн из пластиковых стаканчиков. Потом у них кончались деньги, но не охота пить, и сентиментальный, полный к ним любви старик сам отдавал, навязывал им, изображающим стеснительность, свою казну.

Супруга следила за ним из окна, но нужно же человеку и чаю попить, и пол помыть. Нет-нет, да и проворонит.

Увидев элегантного серебряного мужчину, который зачем-то мялся на берегу, не запуская пальцев в ширинку, Павел Васильевич начал озадаченно протирать очки.

Чудный незнакомец постоял над благовонным потоком Ишайки и подошёл к старику.

— Что, здесь не купаются, грязно? — отрывисто прошелестел Иван Тарасович.

Не зная губернатора в лицо, Павел Васильевич ответил вопросом на вопрос: не сумасшедший ли перед ним? Добавил: если хочете, чтобы у вас мясо от костей отвалилось, ныряйте, тут химия подходящая. И попросил в фуражку.

Озадаченный губернатор усмехнулся и дал ему сто рублей.

(Эту сцену наблюдал из окна Алёша Сухонин, вставший с постели, чтобы принять пентальгин из-за сильного жара; он знал губернатора в лицо, но не поверил глазам своим. Подумал, что бредит наяву.)

Губернатор кивнул Павлу Васильевичу, сел в свою машину и уехал восвояси. Старик проворно постучал палкой в окно магазина, показывая деньги. Ему вынесли бутылку красненького, он её выпил в три глотка и поехал по порочной земле Болота домой, запев «Поцелуй меня везде» при виде запоздавшей Фурки.

Но выход нашёлся, и губернатор не знал горя во всю затянувшуюся зиму.

На авансцену выходит фигура Трясогузкина, долгие годы малозаметного труженика администрации, а ныне, в ознаменование особых заслуг, руководящего всей областной культурой. Подумать только! Он вынырнул на свет божий на излёте Перестройки в качестве директора районного кладбища и прославился тогда тем, что повесил над его входом транспарант с надписью «Добро пожаловать!».

Его сняли с должности, придравшись к тому, что он подворовывал (нашли причину!). Но очень скоро он пристроился в Сером

доме, где зарекомендовал себя идейным демократом и показательным, истовым богомолом. У него обнаружились способности задавать секретный ход средствам из различных фондов с громокипящими названиями. А фондов этих было в те поры как опят на старой лесосеке. Интересно жилось!

И возвышение его пошло объясняли тем, что, обслуживая эти фонды, он оказывал Ивану Тарасовичу и другим старшим товарищам весомые услуги отслоения.

Любят у нас мазать грязью успешных, энергичных людей! Впрочем, у нас даже и несчастьям чужим от скуки жизни завидуют. Кстати, ещё один городской сумасшедший, самоуверенный профессор Шитиков вполголоса настаивал, что вдобавок Трясогузкин заинтересовал губернатора, на старости его лет, своей лакедемонской живостью. Шитиков не подозревал об осетрении Ивана Тарасовича и не мог, безнадёжно циничный, взять в расчёт хотя бы то, что осетры не приемлют поэзии гомосексуализма по соматической сущности своей.

Нет, главная причина стремительного взлёта Трясогузкина заключалась в ином. По образованию он был ихтиолог (что объясняет его одержимость культурой), в молодые годы, пусть и не без уныния и лени, занимался проблемой искусственных кормов для прудовой рыбы. Поэтому только Трясогузкин, с его научной зоркостью, мог угадать великую потребность губернатора и кое-что ему предложить.

Уму непостижимо, как он сумел подойти к губернатору в такой деликатной ситуации, какие слова нашёл! Но судя по тому, с какой грацией он употребляет нынче такие заветные слова как «бренд», «тренд», «креативность», «инновация» и даже «кластер», какие словесные аркады возводит, в собеседовании он дока, которому нет равных.

(Иногда вдохновение его превосходит рамки необходимого. Так, исходя из самых добрых намерений, он довёл гениальным своим красноречием до инсульта народного артиста России Первенцева следующим поздравлением в день его 91-летия:

«Закройте глаза, распахните душу, распахните как можно шире, чтобы все звуки времени и мира ворвались в неё и исцелили от утомительной повседневности, вернув неутомимую жажду жить и чувствовать. И вот уже слышен плач ребёнка — это Вы родились, это Ваш голос навстречу жизни. Слышите счастливый смех близких — Вы встали на ножки и сделали первые шаги. Звон колокольчика — первый школьный урок. Рыдания взахлёб — нечаянная двойка, сломанная игрушка, драчливый мальчишка. Скрип двери в подъезде, шорох листьев под ногами, соловьиный рассвет — первая любовь. А дальше — опера высоких чувств, оперетта лёгких

увлечений, драматический спектакль рабочих будней, какофония домашнего быта. И всё это — симфония радости бытия.

И я желаю Вам, чтобы не иссяк в душе поток мелодий. Пусть будет в нём и трепет птицы, и шёпот ночи, и стон бурана. Пусть будит утром Вас рассветный ветер, а усыпляет шум дождя и ласки лепет. Пусть серебром звенит Ваш голос для любимых и рокотом морским для недругов случайных. Пусть сердце петь умеет, нежным камертоном вторя движенью звёзд и солнца нотам. И пусть рожденье Ваше станет гимном жизни, что предстоит прожить под этим небом Вам бесконечно долго и счастливо!».

Перечитав этот текст шестнадцать раз подряд, ветеран сцены прошептал: «Пусть сильнее грянет буря!», после чего с ним случился удар.)

По совету Трясогузкина в загородной резиденции Ивана Тарасовича был ударно переоборудован бассейн. И потекла проточная вода, с флорой и фауной, присущей родным сибирским рекам. То-то раздолье наступило для губернатора! Якобы он поедал тогда, купаясь, свежую рыбу и червячков. Якобы в качестве кормовой добавки Трясогузкин предлагал ему смачные, по затёртости, списанные купюры из банка, нарезанные аппетитными полосочками.

Так или не так, но Трясогузкин зачастил к губернатору и превратился в держателя Большой тайны. А это чревато… ну и т. д.

Далее. От зимы к весне ещё новое происходило с Иваном Тарасовичем. Он принялся тучнеть, тучнеть в поясе. В начале апреля это стало слишком заметно. Обычный его вес приближался к сотне килограммов — теперь округление губернаторских боков добавляло ему ещё четверть центнера. Пиджаки вспархивали на нём, рубашки трещали.

И в лице Ивана Тарасовича появилось некое страдальчески-просветлённое выражение, как у императора Александра Благословенного в последние годы его жизни или у олимпийского Миши перед взлётом в небеса.

И тут-то он отменил на две недели свой нерушимый алмазный график и без комментариев исчез из Потомска. В приёмной сообщали, что он отбыл на север губернии, к нефтяникам, открывшим новое, перспективное месторождение. Что ж, энтузиазм губернатора был бы понятен. Но, видимо, правильнее будет догадываться о конспиративной миссии, потому что северяне не дождались Хозяина и звонили в Серый дом с угасающей патетикой победителей. Потом их успокоили, как были успокоены и люди «на базе». Неувязку исправили, наступило приятное ожидание Хозяина за вязаньем и кроссвордами. Вернётся непременно, глядишь — и аленький цветочек подарит.

В свою очередь, немаловажно, что в те же сроки на две неде-

ли осиротела и порядком уже изнасилованная местная культура. Перед исчезновением Трясогузкина не могли не заметить в магазине «Белуга», где он зачем-то скупал комплекты водонепроницаемой одежды, палатки, разнокалиберные сети и многое другое. Он щедро, очень демократично шутил с продавцами, примеряя кое-что из купленного и спрашивая: «Идёт мне? А это — идёт мне?», вертясь и не щадя ягодиц своих. И предлагал симпатичным продавцам роли в спектаклях областного театра драмы.

Много позже, задним числом, дошло до Потомска глухое известие, что один потомский инженер, навещавший больного отца в Салехарде, севернее которого только великая Обская Губа, мельком видел из окна самолёта на поле аэродрома Ивана Тарасовича, садящегося в минивэн. Он был бледен и забирался в машину с глухариной перевалкой. Машину окружали прищуренные мужчины с росомашьими головами и лядвиями. В Сибири всё похоже на сибирское!

Губернатор вернулся по-былому худой, иссиня-серебряный, весёлый, и в день возвращения как никогда обласкивал всех, кто ни попадался ему на глаза. Он дал конфетку пикетчице, у которой забрали в армию слепого сына, и погладил по руке при встрече своего пожилого секретаря Надежду Сергеевну, пошутив: «С вами я готов видеться ежедневно!». Ему доложили, что его любимец журналист Шуйский нашкодил. Выпив лишнего с товарищем, журналистом из соседнего края, тоже любимцем своего губернатора, Шуйский нанял конный экипаж, чтобы проводить любезного друга на вокзал. Во всю дорогу друзья призывали прохожих голосовать за Ивана Тарасовича, кричали: «Куда Марусе Климовой до нашего Нарымова!». Допились то есть до того, что забыли об отмене выборов. Иван Тарасович велел послать ему упаковку кефира. На свои деньги!

А вот Трясогузкин, напротив, явился заносчивым, фамильярно дерзил. Зампреду областной думы он посоветовал не носить галстуки в поперечную линейку, а заместителю губернатора по сельскому хозяйству сказал: «Ваше сельское хозяйство, если оно существует…».

На следующий день Иван Тарасович собрал в Квадратном зале первую сотню губернских чиновников и равноапостольных им лиц. Он произнёс короткую речь, посвящённую инновациям и нанотехнологиям (в том числе, цитируя Трясогузкина, нанотехнологиям в искусстве). Воодушевлённая аудитория не успела поделиться с ним своим воодушевлением, как Трясогузкин извлёк из-под президиумного стола несколько картонных коробок.

«Гул затих». Короткая заминка сменилась восклицаниями и долгими, продолжительными аплодисментами: Трясогузкин раз-

давал огромные, двухсотграммовые банки забытой (и вообще-то запрещённой) паюсной икры!

Вот тут-то чиновники, всем собором своим, впервые за двадцать лет удивились. Не понимая, что удивились, на модную наносекунду — но удивились.

Когда коробки опустели, Иван Тарасович поднял руку и в полной иконописной тишине сказал:

— Первое. Заводится добрая традиция. Такой символический подарок от вод наших я лично буду вручать нашим лучшим работникам. Пока я… на месте. Храните эти баночки, опустоша.

(Все с умилением посмотрели на баночки: стеклянные, с простой крышкой, на которой было написано: «Икра народная от Нарымова».)

— Второе. Друзья, на той неделе, на выезде в Коломенку — открытие купального сезона… Ешьте икру — это законная икра. Заслуженная.

И все увидели, что глаза Ивана Тарасовича подёрнулись влагой. Он как-то замялся и закончил несколько невнятно:

— Можно сказать, ешьте меня. Буду вам как Христос.

И скрылся в комнате отдыха за его спиной, а лучшие люди, смеясь на его шутку, выходили из зала и растекались по коридорам и этажам, далее улыбаясь уже по своему поводу. И не были удивлены.

А купаться им не пришлось, и затея эта прекратилась, как выяснилось, навсегда. Назавтра Ивана Тарасовича срочно вызвали в Москву, в администрацию президента. Вернулся он через месяц — всё такой же худой и осиянный, но голова его частично приобрела былую сухопутную осанку, и черты лица вернулись в былое, чудный запах пропал, а голос и вовсе огрубел, ожестянел. Когда он произносит, например, слово «модератор», многим кажется, что голова их попала в пасть тигра.

Пока его лечили в Москве, его загородный бассейн почистили и привели в санитарную норму, положенную объектам подобного назначения.

Да, его лечили и вылечили. По авторитетному свидетельству, история с Иваном Тарасовичем совсем не была каким-то исключительным казусом. В последние годы такие истории происходили со многими политическими долгожителями и в Москве, и в провинции, и в Государственной думе, и в Совете министров.

(К сожалению, раскрыть источники информации пока не представляется возможным.)

Причина превращений оставалась непонятной. Очевидна была лишь сама их связь с политическим долголетием. Но почему большие люди превращались, или, точнее, уподоблялись зверям, ры-

бам и пернатым? Кто-то — бобру, кто-то — волку, кто-то — чайке, кто-то (наш!) — осетру, а кто-то и давно вымершему туру (в Брянске, кажется?).

По одной версии, они становились живыми тотемами своих территорий и избирательных округов. (Вполне правдоподобно. Совпадения или полусовпадения с местными представлениями о царь-животных или хан-животных налицо. Есть нюансы — скажем, в нашем случае логичней было бы Нарымову обратиться лосем или медведем, поскольку осетры в нашем краю большая редкость, их перевели. Но карта Сибири давно ли кроилась по-другому? Что есть наш край с точки зрения высших сил? И всего 50 лет назад осетров водилось множество и в нынешних границах края. Не вернутся ли они, на что намекают высшие силы? Тогда превращение Нарымова в осетра есть акт оптимистический!)

По другой версии, в недоброе дополнение к первой, тут проявляется не столько почитание заслуг, сколько указание на чрезвычайные масштабы разворованного и разрушенного в данном кормлении. Забавно, но тоже логично.

(Однако многие признанные, самые заслуженные злодеи нашей новейшей истории не обнаруживают физиологического сходства с соседями по планете. Но, может быть, их постигла метаморфоза другого рода? Кто-то осётр, по почвенности, а кто-то, из федеральных, тех, кто отвлечён от конкретики территории, — к примеру, оборотень, и «знает только ночка тёмная» правду о нём? А клыки и лишнюю шерсть нынче можно вырывать и пропалывать без всяких последствий…)

Как всё запутано, как неочевидно! Голова идёт кругом.

В любом случае разворачивался сюжет периодического соблазна массового недоброжелателя. То ещё полбеды, если речь идёт о своих согражданах, со своими демагогами худо-бедно справимся. Что много хуже — вопрос международного резонанса. Тут обещается сокрушительный удар по престижу российской власти, тут, в конце концов, удар по самим пострадавшим. Ибо Запад без сомнения склонится ко второй версии с присущим ему лицемерием и двойными стандартами. И бог весть что будет: перестанут заслуженных людей и их семейных пускать к себе, запретят покупать недвижимость даже в Болгарии. Заморозят счета!

И когда-нибудь остановится этот чёртов Гольфстрим? Поди, когда рак свистнет.

В итоге в рамках чрезвычайного проекта МЧС создали закрытый институт, где собрались в единый кулак ведущие российские светочи науки, не сбежавшие ещё за рубеж. Разработали терапию, создали фармакологическую компоненту и т. п. Начали лечить, то есть возвращать людей к образу Адамову. Можем, когда захочем!

Не всё получалось, особенно поначалу, но и потом — слишком разными были превращения. До сих пор неразрешимы казусы с губернатором-змеёй и депутатом-оленем (как ни странно! Казалось бы, простой случай!), обоих до лучших времён перевезли в далёкий гостеприимный Гондурас.

Они, по крайней мере, живы. Ряд терапевтических неудач приходится на несколько загадочных для обывателей смертей высших чинов государства. Сколько стандартных глупостей говорилось по их поводу! Но ни при чём здесь передел рынков и алкоголизм, войны криминальных группировок и фатальные ссоры в сауне, и бабы.

Большую часть пострадавших вылечили, вернули к ответственной работе. Такими людьми не бросаются.

Известно, что остаются большие фигуры, уклоняющиеся от терапии, прикрываясь связями и своим высоким положением. Но долго ли верёвочке виться?

Если присмотреться, то вычислить этих людей возможно. Поступки и решения выдают их разительнее внешности. Но каждую пластинку заедает по-своему.

Наш Иван Тарасович выдержал своё испытание без ощутимых хозяйственных, политических и имиджевых потерь. Если лечение его и стоило дорого (и тут втрое, как у нас водится, накрутили), то счета оплатила администрация президента, и местный бюджет не пострадал.

Ситуация в регионе стабильна, реалистична. И до, и во время, и после оставалась таковой.

Иван Тарасович отказался от сыроядения и перешёл на любимые котлеты и малосольные огурцы. Он продолжает любить дожди, волнуется, одушевляется, когда они закипают. Его новое увлечение — наша вера христианская. Трясогузкин в этом ему большой помощник, почти что наставник. У каждого свой путь к вере.

Бывает, что, задержавшись на работе допоздна, Нарымов заходит, благо рядом, в Иверскую часовню, точную копию московской, на площади Ленина, помолиться. В дрожащем свете свечей на стены часовни, на иконы падает его тень, всё-таки похожая на вставшего на хвост осетра.

Глава седьмая

Матери — пятьдесят лет

Как нам быть, Алексей Николаевич? Не ведаю, Алёша, будем задумчивую думу думать. Алёша боялся поторопиться — и Алёша боялся опоздать. От следующей встречи с Вандой зависело всё. Это

будет не встреча — это будет свидание. Когда и где, и какие речи он должен повести? Он должен набраться отваги и подстеречь её — «случайно»? «Столкнувшись» с ней утром перед работой или вечером после работы? Или положиться на авось, на взаправду случайную встречу? Но слова-то надо приготовить в любом случае! Какие???

Не бухнуть же наотмашь: «Я тебя люблю»? Или «Я вас люблю» лучше? Ох, люблю, люблю, но это же будет атака, она же, поспешная, может и остудить, и обязать, и обидеть Ванду, даже если она неравнодушна к нему. Нет, какая-то часть её души будет невольно сопротивляться атаке, и заскучает Ванда при таком дешёвом раскрытии тайны.

А как же без тайны? Надо беречь тайну, она потом будет беречь тебя, беречь её.

Алёша удивлялся мудрости Алексея Николаевича, его тактичности по отношению к Ванде. Как это верно — про тайну!

И он за три дня перебрал сто возможных вариантов встречи-свидания с Вандой и сложил тысячу фраз для разговора с ней. Это сказывалось на его работе: он исполнял свои задания быстрее быстрого, бегущими руками, не думая о том, что может нанести вред своим обстоятельным коллегам по цеху (без того косились на него коллеги), ибо чем быстрее работает такой автономный труженик, тем меньше ему хочет заплатить заказчик, считая, что его дурят.

И все фразы были натянутые, скрипучие, пошлые, и на собственное лицо в зеркале при их репетировании было стыдно и больно смотреть.

Он был молчун. Он не умел говорить, не умел шутить — и хватался за слова чужие, потрёпанные, и сразу чувствовал, как врёт, подводит его голос, потому что рот набивался невидимой ватой.

Сейчас он прятался от Ванды, стараясь исключить любую возможность показаться ей на глаза. Уходил на службу заведомо пораньше, вольготно бродя между чистенькими домами на Уржатке, пока не откроется контора, и выкуривал по полпачке сигарет за час-полтора. Возвращался домой через Обруб, пробегал с опущенной головой те опасные метры от угла дома до подъезда. *Шнырял* в него. И уже сидел дома безвыходно. Продукты покупал в Городе и тащил пакеты домой за сто вёрст.

И уже охватывала его смертная паника, до дрожи в коленях, до самых дурных слов, переплетающихся в душе с самыми нежными, до мыслей «а не податься ли куда подальше, и совсем?».

И снилась ему Ванда, то сидящая на скамейке под дубом, сияя коленями под кожаной юбкой, то идущая домой — гримаска, чёлка, белые нежные ноги, идущие не по земле, а над землёй. Иначе они и устанут, слабые, им не целованные.

И он, жмуря глаза, бился головой о спинку неразложенного дивана — он спал, не стеля постель, и думал, не начать ли выпивать на ночь, так он мучился. Тараканов говорил ему как-то, что после бутылки «777» сон у человека волшебный. После одной, уточнил Тараканов, две будет вперебор. Бутылка стояла за диваном непочатая. Алёша ещё не сдался на волю волн.

И каждое утро он, без того верный друг Мойдодыра, грел воду в самодельном титане и забирался в самодельную сидячую ванну, и надевал свежее бельё, как моряк перед погибельным сражением: «последний парад наступает».

И Ванда была далеко-далеко, и он переносил любовь к ней на прогулочный старый Город, делился любовью с ним, таким болезненно красивым в своих древней и новой, извинительно-поддельной под старину, геометрии и красках, заметно и подходяще обезлюдевшим в этот неупиваемый август.

Небо над ним тёмно-синее; если в облаках — то в тёмно-серых, буроватых, как картофельная кожура. Дома, жёлтые, красные, серо-«дикие», словно подсвечены от земли, умытые, какие-то *оставленные*, грустные. Листва тёмно-зелёная, сомкнутая влагой, с редкими пятнами запаздывающей охры (на тополях, клёнах, ивах) и сурика (на немногих рябинках; осин в центре города нет).

Теплая Ишайка, меняя расцветку, как сошедший с ума хамелеон, ночью и по утрам уже дымится, парит; бежит под Каменным мостом, газует в последней петле у Концертного зала и прячется под главным проспектом, чтобы затем на последней прямой слиться с Потомой, начинающей по-осеннему рябить, терять прозрачность. Скоро она закиселеет, хоть ножом её режь.

Жалко, что запретили продавать с лотков на улицах в центре Города овощи и фрукты. В приглушённом, покорном свете августа самое их время. Цвет у них густой, плотный, зовущий, видно их издалека. Детство, азбука, «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Ванда покупает апельсины, бананы, баклажаны, яблоки, арбуз, дыню, гранаты… Как же она это всё уне… Совсем рехнулся ты, Алёша с Болота!

Рехнулся, Алексей Николаевич. Надо же такую фантазию слепить!

А юбилей матери был уже на носу, и набит был уже холодильник снедью, и уже купил Алёша матери подарок — золотой гарнитур с изумрудами! Такой раздачи подарка не получали женщины на Болоте с 1975 года, когда Исакыч подарил своей Тамаре некое колье на 55-летие. А до Исакыча что-то такое подносили дамам ещё до революции. Полгода копил на подарок Алёша, и Ираида Петровна заметила (но и догадалась о причине), что он отдаёт ей денег меньше, чем в первые месяцы работы.

Готовясь к юбилею, мать вела себя как-то загадочно, была на подъёме эмоций. И не только задерживалась на работе каждый день до отказа, но и где-то пропадала по выходным, тогда как обычно сидела дома, то есть лежала на диване, читала или готовилась к занятиям у себя в комнате, окружённая с трёх сторон почётными грамотами и благодарственными письмами в рамочках. Внимательный подумал бы, например, что у неё образовалась личная жизнь, как это бывает в кино про заслуженных женщин…

Но помешавшийся, ослепший и оглохший Алёша не придавал её вариациям никакого значения, и напрасно мать таинственно покашливала за ужином, как бы намекая на что-то, что обновит их жизнь. Сама же мать, увлечённая своей тайной или секретом, редко видя сына, тоже не замечала за ним очевидных демонических окаменений.

В день накануне юбилея Алёша договорился с Андреем Андреевичем, что тот отпустит его после обеда. Надо было прибраться в доме, и прибраться всесторонне, во всех пяти помещениях квартиры, да ещё и лестницу помыть, и поправить на ней расшатавшиеся перила.

Шмыгнув в подъезд, Алёша, однако, не сразу зашёл домой, а забрался на чердак и навестил чуланчик. Зачем, что подтолкнуло его барахтаться в пыли, согнувшись в три погибели под низким скатом крыши, он бы не ответил. Наверное, было в этом что-то юбилейное.

В чулане, под простым щербатым столом, скучали два облупленных сундука со старой одеждой; на столе располагались сепаратор, машинка для набивания папирос, коромысло и цинковая ванна. В ванне — толстый пакет с бумагами и фотографиями. Алёша открыл его: с фотографий смотрел на него отец; отец и сам Алёша-маленький; отец и мать. Тут были и свадебные фотографии: отец в костюме с галстуком, мать — в обычном шерстяном платье с какою-то брошью на груди, но всё-таки в фате, откинутой на затылок. Отец — «Сельдерей», вспомнил Алёша бабушкину обзывалку и засунул фотографии обратно в конверт. Погладил висящие у входа на гвоздике отцовские шаровары — Алёша их носил, да совсем заносил. Удобные, с глубокими карманами, невесомые.

Зайдя в квартиру, Алёша неминуемо упёрся взглядом в новую плиту и подумал по-мещански, что в доме Сухониных появилось много новых полезных вещей. Плита, японский телевизор, пылающий ковёр в зале, диваны, модный сервант, который настолько модный, что и называется другим словом, забылось, каким. Зарабатываем, Алексей Николаевич, сказал он себе, и мать не кто-нибудь: директор. Он не спрашивал у матери, какова её зарплата, понимал, что повыше его будет. (Если бы он знал, насколько, может быть, вознегодовал бы отчасти — ревниво, как пролетарий.)

Не разуваясь, прошёл в зал. По стенам фотографии разных лет: прабабушка, бабушка, мать, Алёша. Репродукция картины «Март» Левитана, подаренная матери в школе на сорокалетие, она тогда была «завучихой». Этот «Март» Алёше очень нравился. Там все-все были счастливы под солнцем — и лошадка, и зашедшие в дом неизвестные гости, и деревья, и даже млеющий снег. И, конечно, сам художник: он дышал вешним воздухом, слушал капель и птичий щебет, щурился на солнце (он же не мог не оглядываться!) и вытирал мелкие слёзки.

Ещё Алёша любил старый, столетний бабушкин комод, что стоял справа при входе в зал. Он его отлакировал, поменял фанеру в ящиках, выточил новые коротенькие ножки из обломившейся дубовой ветки, выпрошенной у Пухова. Но не стал восстанавливать отбитый уголок аппликации на верхнем правом ящике. Этот уголок был повреждён 22-го января 1924-го года бабушкиной головой, точнее, лбом. Ей было тогда три с половиной года. Она бегала по комнате, веселилась, а в стране был траур. Соседской девочке Тоньке, постарше, надоело бесполезно командовать: «Замолчи! Не балуйся! Ленин умер!». И она дёрнула в раздражении за свой край дорожки — и подкошенная с разбега бабушка ударилась о комод. Шрамик над бровью у неё остался на всю жизнь. И скол на уголке стал семейной реликвией, значимой и для ленинки-матери.

И ещё Алёше нравились деревянные полы в их доме, постланные на вечных лиственничных вагах. Он с удовольствием переложил половицы год назад, а перед тем долго выбирал доски, долго сушил их. Меняя половицы, он ознакомился с тем, что за годы накопилось под ними помимо ажурной винтовой пыли. Накопилось чуть-чуть: копейки сталинских лет, квитанция на починку валенок, выписанная от руки на газетном клочке, стальная цепочка (от часов?) и самое интересное: папиросная пачка — «Делегатка» — и листочек из письма на жёлтой бумажке в клетку, исписанный с обеих сторон.

Папиросы «Делегатка» были изготовлены в Ленинграде на табачной фабрике имени Троцкого. На фаске изображена была жгучая, довольная собой брюнетка в красной косынке и мятой белой блузе. Усмешка, вернее, ухмылка её Алёше не понравилась. Но понравилось то, что в этой пачке, выброшенной плотником в год, надо думать, строительства дома, забилась в уголок не замеченная им папироса. Алёша выкурил её с Тараканом, солдатиком. Папироса была сухая и ароматная. Поди, табак в ней турецкий, сказал Тараканов, тогда подделывать не умели, вкусна, сволочь.

Потом Алёша предъявил ему листочек письма. Текст его был вдоль и поперёк исчиркан химическим карандашом, но читался, по крупности почерка, без усилий.

«…Ни хлеба, тем боле ни сахара. Веришь ли друг, живём на калбе, жуём свечки еловые, чтобы голод загасить. Ещё вар — вдоволь его, да он без толку. Турок у нас в бригаде проглотил кусок — чуть не окочурился. А главна еда — сорожка, окуньки. Ловим украдкой, запрещают!!! Бредешок самодельный. Ловим, сушим. А соли тоже не вдруг достанешь, чтобы завялить впрок, так печём пресную в золе. Вывешивали бы на дворе, так махом скрадут или полномочный умордует. Картошка только в супе, чёрная, по субботам. У местных мало её — не родится. Заместо чаю, слава Богу, лист смородинный, брусничный, мятка.

Жили мы в Потомске, тужили — голодно нам. А то был не голод, а мелкий дефект жизни. Сказка была впереди.

Ивана Агапитовича нема. И других иванов агапитовичей нема. Понимаешь? *На Егория Майского за околицей подснежников нарвали полную охапку.*

Сошёлся тут с одной ФБС. Голод голодом, кубы кубами, а жисть имеется на один чудный миг. Оно и щепка на щепку весной зарна. Товарка с Черемошников, была активистка-значкистка, стала пораженка-кренделистка. Порченая, как все с Черемы. Худа, как колхозна корова, но, скажу я тебе…»

Алёша спросил тогда у Тараканова, кто такая «ФБС». Тараканов просветил: «ФСБ — это федеральная служба безопасности. А ФБС — это фабричная б...дь-сиповка». Подумал над письмом и сказал: «Нда, нда. Выходит, не выдумки это. А я думал, выдумки, преувеличивают. А это не выдумки. Ишь ты!.. Пока!». И затрусил на свою стоянку, как премудрый пескарь, топыря руки-плавники от работы жабер.

Пустую пачку и письмо Алёша положил обратно, захоронил под полом, переписав текст в тетрадку.

Припомнив про это, Алёша прошёл в свою комнату. Быт у него был простой, холостяцкий. Диван, стол с тумбами, набитыми всякими инструментами и метизами, полка с историческими книгами матери, которые почитывал и сам Алёша. Напротив дивана стояла пружинная кровать бабушки. Бабушка её очень хвалила, отказалась заменить её диваном наотрез. А ведь для неё первой копили на диван! Кровать накрыта клетчатым пледом. Её давно уже можно было вынести на чердак, в чулан, и не ленив был Алёша, но… пусть побудет, не мешает. Мать с ним согласилась и была растрогана.

А вот картины-коврики пришлось убрать — они выцвели, разлезлись, «порепались». Над бабушкиной кроватью — голая белёная стена (обои плохо приживаются в сыром доме; у Сухониных они только в зале, и каждый год Алёша пристёгивает новые). Над Алёшиным диваном — фото бабушки и цветной плакат с изобра-

жением Фудзиямы, снятой сквозь цветущие ветки сакуры. Плакат ему подарил клиент, он говорил, что был в Японии. Там жить невозможно дорого, сказал он при этом, там я — как ты.

С чего начать? С пылесоса, конечно. И весь оставшийся день он, не торопясь и думая о Ванде, наводил «бриллиантовый» (согласно бабушке) порядок. И ни разу не посмотрел в окно.

Мать, освежённая моросившим дождиком, пришла поздно, оживлённая по-дневному, пробежалась по квартире, восхитилась наведённой чистотой, блеском в окнах и дважды обнимала и целовала Алешу в обе щеки. Поскольку она целовала его не каждый год, ему было приятно и конфузно. Потом она примеряла новый, «юбилейный» костюм, строгие, прямые и элегантные жакет с длинной юбкой. Костюм шёл к её крепкой фигуре, и удачно скрывал издержки этой крепости, и гармонировал с её широковатым и плосковатым лицом.

Мать заставила Алёшу оценить этот завтрашний наряд, и он высоко его оценил, конечно, сказав: «Идёт. Отлично. С лицом хорошо». Она, довольная, засмеялась, и тут уж он не удержался и вручил ей подарок. Она ждала достойный подарок, но гарнитур превзошёл её ожидания, и она опять поцеловала его — в нос-курнос, потому что он в смущении уклонялся.

Теперь, с украшением, она снова завертелась перед трюмо, сдвигая и раздвигая его створки. «Какие там пятьдесят, игриво говорила она, сорок — и то много будет! Разве это мать взрослого сына? И директора красотками бывают!»

И отослала его спать. «Ты своё грандиозное дело сделал. Цветов завтра не покупай. Надарят целое море в школе, я привезу. Не прозевай — завтра в час привезут горячее, я заказала всё-таки. Чего мелочиться, чего угорать за плитой? Гости *припрутся* в три».

— Ну и ну, — сказал Алёша, — как это: «бежим в ширину»? «Земство обедает»?

Лёг с книгой, первой попавшейся. Книга была про расцвет Османской империи при Сулеймане Великолепном. Алёша прочитал, что янычар не получал звания воина, пока не вытачивал из берцовой кости убитого им христианина рукоять для своего ятагана. Такое сведение отчасти взволновало его, и он вынужденно потрогал одну из своих берцовых костей. Книга закрылась сама, и он ещё лежал и лежал в непрочной дрёме. Заснуть окончательно не давала мать. Она до глубокой ночи готовила салаты, стуча ножом и звякая ложкой по хрустальным салатницам, и пела вполголоса, задыхаясь, мимо нот, одну и ту же песню: «А может быть, ты лучше всех? В чём дело — сразу не поймёшь. Одна снежин… ка — ещё не снег, ещё не снег, одна дождинка… эх, ещё… не... не дождь!».

На следующий день, в субботу, Алёша проснулся поздно и встал

не сразу, слушая, как гудит в проводах поднявшийся ветер. Он думал вперемешку о Ванде и об осенних цветах на клумбе прапрадеда на Горе. Ветер и заставил его представить себе качающиеся над клумбой цветы. Мать не знает…

Мать ускакала с утра: её должны были поздравлять в школе, и она накрывала там «скромный» фуршет, положение обязывает, сказала она вчера, задирая бровь. Мало я знаю мать, подумал тогда Алёша, она пыжится, пыжится! И впервые в жизни задался вопросом: каково с ней, с её норовом, с этой вот появившейся пыжливостью, приходится её подчинённым? Уж мужчинам-то достаётся с прицепом! Учителя, наверное, по струнке ходят? Боятся, бздят её? А дети-то точно ходят строем! А она справедливая? Или дурная, как паровоз? Должна быть справедливая. Чего бы её столько уже лет держали в директорах, награждали?

(Алёша не мог знать, в каких масштабах развелись в наше время начальники, осатаневшие от безнаказанности и властного сладострастия. Но если бы и знал, то почему таким начальником обязательно должна быть его мать?)

К обеду ветер усилился, далеко на западе, налегая на горизонт, нарисовалось какое-то ныряющее облако из сизого крахмала. Чердак трещал и жаловался.

Привезли горячее, и мальчишка-посыльный, пока Алёша перегружал в свою посуду бефстроганов, солянку и сёмгу с грибами, сумел его разжалобить и выпросить полтинник на пиво. Давай мы все будем полтинники выпрашивать, сказал Алёша, подражая Тараканову, что будет? Но бумажку дал. Мы-то по крайней мере не воруем, ответил мальчишка, а просим. А *они* не просят, зато воруют, нам не снилось, как. Россия! Россия, согласился Алёша, птица-тройка.

И вот приехала мать. Именно приехала, а не пришла, не подвезли. Приехала на своей машине. Алёша выглянул из окна на настойчивое, надоедливое бибиканье какого-то, может быть, слишком нервного таксиста, недоумевая, кто же это в их пешеходном доме мог заказать такси? Что это за «барство дикое»? А увидел мать за рулём зеленовато-серой «Шкоды». Спустив стекло, она махала ему одной рукой, а другой нажимала на клаксон, но молча. Она от волнения не могла говорить.

Алёша выбежал к ней.

— Ты теперь жених с машиной, — выдохнула мать, — учись водить, записывайся там. Я сама оплачу, с барского плеча. А я уже научилась, у меня права имеются.

И показала права.

— Машину делим в мою пользу, но и тебе достанется. Выходные все твои, — добавила она.

Заднее сидение машины было завалено цветами. Тут же два торта и несколько коробочек поменьше. На переднем сидении рядом с матерью — какие-то грамоты, адреса в багете и красных кожаных папочках. Юбилей.

Так вот почему мать пропадала из дому с марта по август.

— Но это же дорого, — осторожно сказал Алёша.

— А я и копила семь лет. И я же не уборщица, а директор школы. И получаю не просто больше тебя, а скажем… вдвое больше.

— Тогда мы самые богатые люди на Болоте! — ахнул Алёша. Ему стало как-то нехорошо, он заозирался вокруг и вспомнил о Ванде: вдруг она смотрит на него из окна. Мать цинично сказала «брекеке». Алёша приосанился — машина и машина.

— Тебя не посадят? — тихо уточнил он.

— Не посадят, — ответила мать, — за это не сажают. Что ты как кол проглотил? Садись рядышком.

И открыла ему дверцу. Он сел на стопу поздравлений. В машине пахло «горной лавандой». Дезодорант перебивал запах цветов, собственно говоря, не запах, а дух, который скорее шёл от сочных стеблей этих роз, тюльпанов и гладиолусов, чем от их лепестков.

— Пошли, — сказала мать, — забираем всё и пошли. Гости уже на подходе.

И затем, придерживая дверь подъезда для Алёши, убранного цветами и коробками, придержала и его, заходящего, сзади, за ремень на брюках — и приказала:

— Оглянись-ка, Алёшка!

Он оглянулся. И она торжествующе, с наслаждением *пикнула* пультиком, закрывая машину.

— Да-а-а-а-а… — открыл рот Алёша, заходя в гулкий подъезд, и не захлопывал рот, пока не вошёл в квартиру.

— «Шкоду» мы обмоем с гостями, — сказала мать, — а потом я отгоню её на стоянку к Тараканову. Я уже с ним договорилась, заплатила за месяц.

Каков Тараканов! Он знал о машине и не проговорился. Кремень-человек.

Гости, вернее, гостьи, посыпались одна за другой.

Ираида Петровна поначалу рассматривала вопрос о приглашении кого-то из соседей. Как сообразил Алёша, ею руководила не привязанность к ним, которой, по графику её жизни, неоткуда было взяться, а зыбкая мысль о соседственном этикете и надёжное тщеславие: пусть, наконец, поймут, с кем их свела болотная судьба.

Но в итоге была приглашена одна Тамара Георгиевна. По разным веским причинам сразу отпали: Широковы как неприятные, Каргопольцевы как неизвестные, Рябинины, хоть и ближайшие сосе-

ди, но староверы, Дьячковы как варвары, которым, не хочешь зла, не показывай, что у тебя в доме имеется.

Далее: добряк Тараканов немедленно напьётся и понесёт чушь, думая, что юбиляр — это он. Значит, и бабки его отпадают. Доукши? Алёша забраковал Доукшей очень решительно, и мать недоуменно, с подозрением посмотрела на него, но согласилась. Владислав всё-таки интеллигент, но, наверное, у Алёши неприязнь к нему, а скорее, он стесняется его продавщицы-дочери или знает о Ванде что-то скользкое, болотненское, решила она.

Обрадованная приглашением старуха Тамара было замялась: как же оставить Исакыча? Часов в пять, в шесть он проснётся, и вообще. Он ведь ей не позвонит.

А мы пошлём ему еды, вам и готовить не надо будет, сказала мать, и договоритесь вы с Таракановым или с этой девчонкой Вандой: пусть посидит кто пару часов, а как подымется Исакыч, вам позвонят на сотовый. Вы и прибежите. У меня нет сотового, огорчилась Тамара Георгиевна. Позвонят на мой, я его рядом с вами положу. (Тамара Георгиевна договорится с Вандой.) Покормите, Борис Исаакович заснёт — и пожалуйте обратно на банкет!

Гостьи заходили, снимали плащи, и Алёша заставил их мокрыми зонтами свою и материну комнаты. Да, погода портилась, на улице лил дождь, потемнело, и пришлось зажигать свет. Стол засиял, «как эпоха Возрождения», по словам Марии Сергеевны, учительницы истории, как и мать.

Кроме этой учительницы истории пришли директор соседней школы Надежда Игоревна, очень похожая на свою должность, завуч материной школы Светлана Андреевна, вылитый завуч, и секретарь школы Флюра Хасановна — самая старшая, несомненный секретарь.

Одни женщины. Не находятся в школьных пределах мужчины, достойные разделить праздник с видной педагогической женщиной. Мать, конечно, пригласила бы этих неявных своих подруг с мужьями, но муж Светланы Андреевны не годился, по мнению Светланы Андреевны, для приличного застолья; муж Флюры Хасановны умер в прошлом году; а от статной Надежды Игоревны муж давно сбежал к некрасивой методистке из института усовершенствования учителей, на прощание назвавши Надежду Игоревну Марфой-посадницей. А Мария Сергеевна была безнадёжно незамужней.

Тут случился первый конфуз: Надежда Игоревна, в отличие от прочих женщин, не успела, занятая своими хлопотами, отдариться утром и принесла свои подарки сейчас. Это были какие-то серёжки с аметистами и картина. Она сказала, что её любимая. Она сняла с неё упаковку, и взорам предстал «Март» Левитана. ещё один такой «Март» уже висел на стене перед ней, ею незамечаемый.

Все эти женщины были в доме Сухониных впервые. И этот казус подчеркнул по-своему сложившийся дефицит свободного общения в современном мире. Раньше друг о друге знали больше, и такие пассажи были практически исключены.

Огорчённую Надежду Игоревну успокоили, бывает, мать сказала, что повесит второй «Март» у себя в кабинете, в школе. «Всюду будет март».

Тамара Георгиевна пришла последней, принесла букет хризантем и какой-то тостер. Подарки по её просьбе купила Ванда. Согласилась с готовностью. Она и сидит сейчас с Исакычем, взяла с полки «Три мушкетёра», читает. «Милая девушка, как я раньше не разглядела. Называла меня тётя Тома. Не баба Тома, а тётя Тома. Тактичная. Так, глядишь, и наладятся отношения с соседями».

Алёше захотелось спросить, во что одета Ванда, не кожаная ли на ней юбка, не прозрачные ли колготки под юбкой, по случаю сегодняшней сырости? Не спрашивала ли она про него как-нибудь? Конечно, промолчал, но от его взгляда Тамаре стало не по себе: ей помни́лось, что он на неё сердит. Ляпнула что-то и сама не заметила? Вроде бы нет…

После первого тоста (Алёша выпил глоток шампанского) вышли на улицу «прописывать» машину. Разлили ещё бутылку шампанского, каждый плеснул остатки из фужера на крышу, а мать осторожно разбила свой фужер о бампер. Сказали ура. Машина, облитая дождём, блестела тускло и загадочно, как гангстерская.

Алёша прижимался к двери подъезда, нечаянно прикрывая спиной «жопу». Надежда Игоревна посмотрела на него и спросила: «Ты, похоже, не рад машине, Алёша?» «Я рад», — ответил он. «А ведь мне всё равно, подумал он, наблюдательная».

Сыро, промозгло, на улице пустынно, как вымерли обитатели Болота. Уже вздулись лужи, уже раскатывает их по асфальту, по земле нетерпеливый ветер.

— Не буду я сегодня отгонять машину, — сказала мать, — я и приняла, как говорится, на грудь. Пусть стоит.

И они вернулись домой под преувеличенно-жизнерадостные возгласы на лестнице. Надежда Игоревна давала матери советы, как опытная гонщица.

Хорошо ели, восхищаясь едой, и умеренно пили, хваля рейнское вино и настоящий коньяк, в котором на самом деле не разбирались. Говорили не умолкая, но именно поэтому Алёша ощущал неожиданные тоску и скуку. Они наплывали волнами, перебивались чьим-нибудь восклицанием, введением новой темы в разговор, но наползали снова и снова.

В ярких, театральных декорациях этого преждевременного вечера сидели актёры. Можно разыгрывать роль счастливого любов-

ника и думать при этом, что не оплачен кредит, что сын попал в дурную компанию, а на ужин осталась пачка вареников без масла.

За столом сидели бедные, измученные заботами женщины — но и не безобидные, и, быть может, с корявыми душами, с больным самолюбием, разучившиеся общаться искренне и просто уставшие от такого затратного общения по долгу раз и навсегда им данной службы. На клеймо профессии наложилось общее клеймо этой жизни.

Только Тамара Георгиевна, немножко, в меру раздражавшая других своим простодушием, «старческим», смотрелась живым пятном: она, засушенная одиночеством и ожиданием, была довольна общением, каким ни на есть, и симпатически, заинтересованно разглядывала соседок. Что им, на всякий случай, по инстинкту, было совсем не нужно.

Алёша сверился с матерью: в её глазах на улыбающемся лице он увидел разочарование, растерянность вместо праздничного блеска. Она поняла, что он понимает и разделяет её состояние, и показала ему вытянутые трубочкой губы. У него дрогнуло сердце. Нужны ей дружба и любовь, а не триумфы. Эти цветы на столе, на подоконниках — цветы запоздалые.

Он обострённо видел, как эти женщины считаются статусом, как три из них под юбилейную помпу заискивают перед матерью, а четвёртая, Надежда Игоревна, наоборот, не забывает напоминать, что они с матерью ровня, но она, пожалуй, ровней.

Они не могли скрыть — прищуры и медовость в голосе выдавали их — что считают Алёшу чем-то вроде облагороженного идиота: не захотел учиться в университете, чуть ли не сантехник, должно быть, «материнская боль». И хвалили его за то, что он работник, что никак не выпьет свой бокал шампанского: молодец! Так здоровые глупые люди брезгливо хвалят больного, параличного ребёнка за то, что он, плеснув на себя, донёс остатки супа в ложке до рта.

А я вот хлобыстну стакан коньяку, подумал он. Что помыслите? Что притворялся, да победила дурная кровь отца-пьяницы. Сколь верёвочке ни виться…

Да что это я, обрывал он себя, это я придумываю, это я по Ванде тоскую.

Но уж говорили пышно. Речи со стихами собственного приготовления (в них неприлично почему-то намекали на половую жизнь; и одна, и другая — что, теперь так принято шутить?); зачитывание адресов, приказов о награждении и телеграмм от далёких сокашников по высшему образованию. Естественно, зачитывала Надежда Игоревна, и зачитывала покровительственным тоном.

Заставили выступить и Тамару Георгиевну. Она поотнекивалась, потом налила себе рюмочку коньяку и сказала: «Вы, Ираидоч-

ка, трудолюбивая пчёлка и гордость нашего дома. Почаще бы вас видеть, было бы лучше. Но — понимаем важность стези. Видел бы вас Борис Исаакович, подарил бы вам свои погоны. Вы тоже полковник. Полковница! (Потом с подачи гостей «полковница» прилипнет к Ираиде Петровне.) Как славно, что Алёша всегда с вами, у вас под мышкой! Но вы, дорогие мои красноречивые педагоги, и без меня знаете, какой молодец Ираидочка Петровна! (Педагоги переглянулись в четыре пары глаз. Они что, в этом сомневались?) Выпьем!»

Вот тут Алёша налил себе бокал коньяку и выпил залпом, засунув себе в рот толстый кружок лимона, застрявший на губах. Педагоги снова переглянулись («Что и требовалось доказать!»).

— А теперь, — подскочивши, поспешила сказать Надежда Игоревна, — а теперь (она дважды поперхнулась) — поздравление от Трясогузкина, из департамента культуры. У нашей *Петровны*, как вы знаете, передовая школа искусств. Я — даже я — завидую. И оставила я сей розан напоследок, потому что догадываюсь, и вы догадываетесь, что ждёт нас нечто, потому что умеет Олег Сергеевич слагать дифирамбы. Вскрываем конверт!

Она распечатала конверт и достала из него зелёненькую открытку. На ней было золотом написано: «Департамент по культуре Потомской области», вверху в гербе бежал белый конь в зелёном поле с по недосмотру поднятым хвостом, а внизу располагался стильно-скромный букет цветов. Распахнула открытку и стала зачитывать.

«Любезная Ираида Петровна!

Сударыня! Я рад припасть к Вашим ногам и, голову склонив седую, молвить: «Люблю!» («Люблю!!!» — ещё раз воскликнула Надежда Игоревна и обвела присутствующих полным неги взором; присутствующие и Алёша ответили ропочущим «О-о-о!».)

Вы та, о ком я грезил наяву, терзаясь муками, томимый жаждой ласки и прелестью заворожённый! Вы — женщина! И, значит, Вам — моё признание и радость, и восторг, и обожание! И шёлк ланит, и трепет спелых губ, сиянье глаз и роскошь форм чудесно соединились в Вас, как свет и ветер в ивах, склонившихся над лунным прудом. И пусть с другой судьба меня связала, в весенний день, когда бурлит природа и нет границ для половодья чувств, я Вас люблю как чистый образец бездонной красоты и вечного соблазна. И я желаю утонуть Вам в садов вишнёвых розовом кипенье, в медовом вкусе долгих поцелуев, в молочном облаке объятий нежных, и в звёздном вихре вечного полёта…

(Ох, перевела дыханье Надежда Игоревна, чтоб мне так жить и умереть в объятьях Трясогузкина.)

…полёта туда, где гаснут искры бурь смятений и солнечным

лучом разбужен лазурью отливает берег неги. Сок жизни пусть струится бесконечно, живётся Вам воздушно и беспечно, алмазы слёз напрасно не роняйте, тревоги из души тесните и разрывайте обручи, что давят сердце. И будьте счастливы! Вы — королева жизни! Ваш трон вселенная, а подданные — все мужчины! Так правьте нами! И любите нас… Ваш О. Трясогузкин».

Наступила глухая тишина. Героический поступок Алёши был забыт, и сам он про него забыл. Первой очнулась Тамара Георгиевна.

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Тоже где-то пятьдесят, — ответила Надежда Игоревна.

— Понятно, — кивнула Тамара Георгиевна, — мышиный жеребчик. Видала такого в Ессентуках в 1956 году, ходил в женских панталонах…

— Но он же видел меня всего один раз, — хлопнула, как заржавленная пушка, мать, — как он мог про шёлк ланит? Про *пышные формы*? Какие-такие медовые поцелуи? Негодяй! Бессовестный!

Гостьи дружно и на сей раз честно хохотали, до алмазов слёз. Хохотала и мать, до того, что принялась лупить ладонью о стол, и с него, подпрыгнув, улетели на пол вилка, нож и само посланье Трясогузкина. Сейчас Трясогузкин придёт, залился смехом и Алёша.

Это была минута единения, и настоящей дружбы, и греющего заглядывания в глаза.

А многое, многое разбудил в матери, многое напомнил и из того, чего не было, не случилось с ней, этот «звёздный вихрь вечного полёта». Потому что затем мать опустила плечи и обнаружила явную усталость, плохо слышала, что ей говорят, и без конца переспрашивала.

А гостьи были уже сыты, и отработали своё и утомились, в самую меру захмелевшие, понимая хозяйку. И стали было говорить «нам пора», и богатая Надежда Игоревна вызвала на всех такси.

И тут случился ещё один конфуз, если происшедшее можно назвать конфузом. Стихийное бедствие! На улице налетел такой шквал, что, показалось, встряхнуло весь дом и чавкнула под ним древняя мезозойская жижа, и послышались снаружи, сквозь закрытые окна, такие странные, непонятные звуки, что все семеро в секунду подскочили к двум окнам, смотревшим на восток.

В природе шёл град. Огромные синеватые градины, с то самое куриное яйцо, сыпались с неба, и сыпались на «Шкоду», и глухо зудела машина, получая вмятинку за вмятинкой.

— Караул! — закричала мать. — Алёша!

Алёша выбежал под град, получил по спине, по затылку (шиш-

ку набил!). И, растерявшись, придумал распластаться на крыше «Шкоды», жертвуя своим телом и, может быть, душевным здоровьем. Расталкивая сгрудившихся под ноготком козырька над входом в подъезд гостей (Тамара осталась у окна), выскочила под град мать. Алёша увидел, что у неё в руках клетчатый плед с бабушкиной кровати, и это его как-то задело, укололо. А мать согнала его с крыши и постелила плед, он был широкий и толстый, как войлок, его хватило на всю машину.

Потирая ушибленное градиной плечо, мать повела гостей обратно: обмыть теперь первый грядущий ремонт. А Алёша задержался.

— Где ты, Алёша? — позвала его мать из подъезда.

— Сейчас, — отозвался озябший, стучащий зубами Алёша.

Его осенило, и очень затейливым было это осенение: он выпустил долгополую рубашку из брюк и стал собирать в её низ, как в подол, эти роскошные матовые градины. Ему везло. Ушибленный ещё раз двадцать, он как-то избегал прямых попаданий в голову, и как-то не боялся градин, словно забыв, что они опасны.

И когда в «подоле» гремело уже арсеналом, он выпрямился и увидел прямо перед собой высокого старика с благородной, заслуженной лысиной в венчике седых до мшаного отлива нестриженных волос, в промокшем насквозь старом плаще, застёгнутом на пару уцелевших пуговиц. Старик пристально, но ласково смотрел ему в глаза, и Алёша смутился, и резкое слово обороны застыло у него на губах. Это походило на видение, и Алёша может поклясться, что град заканчивался уже в принципе помимо них, огибая их по каким-то кривым.

— Знаю, знаю, молодой панок, твою заботу, — мягко сказал старик, — а град для сего Града ***я*** попросил! Тебе будет впрок, а им в укоризну. Не хотят меня услышать эти сановные люди. Истинно поколение с собачьими лицами… А здесь, на Болоте, сберегло сь грубое, да простое, людское… Ещё приду. Ещё увидимся, после Колокола.

Поклонился. И Алёша ему подыграл, поклонился в ответ. И старик скрылся за домом. Град закончился, как оборвался. В тишине Алёша пошёл домой, разное думая об этом сумасшедшем старике. И на лестнице вспомнил: репортаж! Был же репортаж об этом безумце. Откуда он взялся, из какого далека? Где он ночует в эти холодные ночи? Впрочем, возможно, он хорошо известен где-нибудь на Черемошниках, или есть у него приют в какой-нибудь загородной деревне, и просто сбрендило ему отправиться на гастроли в сердце Города?

А что он говорит — так все они что-нибудь такое говорят, пророчат. Известно, что и Паша рябининская как-то кликушествова-

ла, навестив Иова с Фаиной. А они её ругали за это, считали, что притворяется от радости выздоровления…

Зайдя домой, он высыпал на кухне градины в пластиковый пакет, засунул его поглубже в морозильную камеру — и явился к гостям.

Тётки пили отвальную стопку коньяку и не видели, ни чем он был занят, ни старика. Загудело за окнами запоздавшее и помятое градом такси. Поцеловались, сказали Алёше «до свидания, будь счастлив с такой мамой», и закрылась за ними дверь.

— Ой, — всполошилась Тамара Георгиевна, — а что же это Борис Исаакович не просыпается, и Вандочка не звонит. Шесть часов!

И Ванда, будто приняв заказ, немедленно позвонила, и Алёша наставил ухо, пытаясь услышать из сотового, прижатого к уху старушки, голос Ванды. («Не помню, какой у неё голос. Слышал давно, в той жизни, до. Кажется, низкий, грудной?») Не услышал, а Тамара Георгиевна с облегчением сказала: «Просыпается, бегу!». Мать вручила ей заготовленные судки и велела Алёше проводить Тамару. Однако он, извинившись, укрылся в туалете, где простоял минут десять, пока пережитый холод не взял своё. Хмель улетучился напрочь.

— Устала, — сказала ему мать, — погодим убираться. Давай посидим, ещё чаю попьём. Смотри, сколько к чаю осталось — и торту, и конфеты.

Присели.

— Тебе понравилось? — спросила мать.

— По-всякому, если ты о своих тётках, — ответил Алёша, — а так-то — куда с добром, рад за тебя.

— Вот ты и вырос, людей читаешь, — сказала мать, — что мне ещё надо?

Пили чай, мать перебирала подробности, а Алёша кивал.

Звонок в дверь. Вернулась торжественная Тамара Георгиевна.

— Дадите чаю? Посижу минутку-другую, можно?

— Рады будем, Тамара Георгиевна. Что-то случилось, точно? — пригляделась к ней мать.

— Борис Исаакович сказал, — молвила соседка, — не просто что-то сказал-вспомнил, а прямо по поводу… Он сказал: «Питание кремлёвское, вкуснее не едал. Что у нас, рай наступил?». Но как-то осуждающе сказал? А дальше как обычно — завалился и заснул. А лицо в соусе измазал, такого ещё не было, чтоб измазался. Он заснул, и я ему личико помыла.

— А Ванда что? — задала мать Алёшин вопрос.

— А она, солнышко, ушла, застеснялась. От неё пахнет так хорошо, до сих пор, наверное, аромат стоит. Духи такие, или что-то ещё…

— Господи, отстали вы от цивилизации, Тамара Георгиевна, — сказала мать, — небось, дезодорант дешёвый, «Карибское ассорти», а вы и купились.

— Может быть, — кротко согласилась старушка, — а только я помню, как пахло в автобусах в старые времена. То была спираль, «Ассорти скверное». И вы, хоть молодушка, тоже должны это помнить.

— Вы правы, — сказала мать, — это мы избаловались. Нам хорошего мало!

Они поговорили о разных пустяках, о гостях, об еде, о бабьей доле. И тут Тамара Георгиевна чересчур, пожалуй, горячо рассказывала о своём полном женском счастье, которое успел ей дать Борис Исаакович. И мать занервничала, захандрила.

Тамара, наконец, собралась домой, мать переоделась и пошла умыться, снять «боевую раскраску», Алёша проводил гостью до дверей подъезда, прихватив с собой новый «Март» Левитана. У подъезда, под жидкий боковой свет из окон, он отдал картину старушке, сказав ей с непринуждённостью: давайте отблагодарим Ванду, подарите ей. Мама велела, соврал он.

Тамара Георгиевна не сопротивлялась, отлично помня, что мама ничего подобного не велела, и, судя по её лаконизму, о чём-то догадывалась. И пусть. Она пожала ему руку, а он поцеловал её в щёку. Наклоняясь, он почувствовал, что от неё пахнет старушкой, как пахло от бабушки. Конечно, не «Карибское ассорти».

Она резво пошла к своему подъезду, а он подошёл к машине, снял с неё забытый и никем случайно не сворованный плед и долго выжимал из него, тяжёлого, набухшего, пахнущего осенью, струи стылой воды. А потом повесил его в подъезде, на перила на втором этаже.

Зашёл домой и увидел, что мать, в халате и без очков, сидит за столом и вздыхает, как слониха, роняя слёзы.

— Что ты, мама? Всё в фольге, и ты у меня полковница. Перестань, ты элементарно устала, расслабилась, перестань, — заговорил Алёша, понимая, что усталость матери здесь дело последнее и неважное, и плачет она по судьбе.

— Не всё в фольге, Алёша, — ответила мать, водя рукавами халата по лицу и водя рукавами халата по тарелке с остатками торта, — это ты Трясогузкину скажи, что хорошо. Не всё хорошо и на работе… завидуют, судачат, что ни попадя. Да и я-то не ангел, Алёша. И с деньгами проклятыми не всё чисто, сын. Уж не стерильно — точно. А куда денешься, заставляют, можно сказать. Система! Ей-богу, ты не поверишь, как доводят до греха эти трясогузкины…

И они поговорили с матерью, не вдаваясь в ненужные отравлен-

ные детали, о жизни, о несправедливости, о непонимании. Опыт общения с хозяевами Уржатки чему-то научил Алёшу, и ему было чем поддерживать разговор. А до этого была служба в армии, и он решился вспомнить и об этом. И даже наблюдения за сегодняшними гостями были неутешительны. За всем этим вставал мир, обещающий большие страдания и массу маленьких неприятностей. И неизвестно, что тут опаснее. Страшен был былой, пристрастный к тебе мир, страшен нынешний, к тебе безразличный. Тот сжигает, этот леденит, как открытый космос. Убого наше Болото, да нами согрето.

— Как же я с тобой раньше не поговорила, — сокрушалась мать, — как же мне легче стало. Да как же? — сама не была готова, не созрела. Сегодня и созрела. И никакой ты не молчун.

И Алёша говорил в ответ что-то тёплое и бережное, и решился, и рассказал матери о могиле прапрадеда. Она слушала его внимательно.

«Ну, бабушка, ну, прабабушка! Правы они были, что меня не просветили. А сейчас — хорошо, что я узнала. Есть мне о чём подумать. О верности их человеческой, о… Спасибо, что рассказал».

И они выпили за прапрадеда-буржуина. Назавтра мама откатит машину и сходит на семейную клумбу. А сейчас она перестала плакать и взялась за мытьё посуды. «А может быть, ты лучше всех, в чём дело, сразу не поймёшь…»

Алёша засыпал, просыпался. За окном, в тишине, без конца вспыхивали зарницы. Ему казалось, что он едет в ночном поезде, и вот-вот локомотив подаст голос, подходя к станции. И он был уверен, что на зарницы смотрит сейчас Ванда, тоже не может заснуть. А в углу её неизвестной комнаты или на её неведомом столе лежит картина «Март», которую она обязательно будет рассматривать с утра, при ясном солнечном свете. А куда выходит её окно — на восток? Лучше бы на восток, Ванда, спасение моё.

О чудовищном граде напишут в газетах и покажут его и его последствия по телевидению. Град накрыл весь старый Город и нанёс существенный экономический ущерб. Несколько горожан было госпитализировано. Оскандаленные синоптики уверяли, что никакие приметы его не предвещали.

На Болоте после узнали, что жертвой града стал инвалид Павел Васильевич, потерявший сознание от удара с небес, едва град начался. Град добивал его беспомощного несколько минут, пока Фурка не спохватилась и не укатила его домой. От госпитализации инвалид отказался. Пухов принёс ему портвейна, и старик поёт современные песни, уже изнурив соседей своим музыкальным марафоном.

Глава восьмая

День Болота

В эту ночь жители Потомска спали крепко, и спали долго, в массе своей прихватив весомый краешек воскресного, холодноватого, но ясного утра. Не считая горожан, обязанных трудиться в любой день и в любое время суток, на своём рабочем месте, в епархиальном кабинете, с половины восьмого находился владыка Парфений, а в приёмной громко дышал его невыспавшийся секретарь, протоиерей отец Николай. Владыка дожидался приезда софринской братии. Софринские должны были приехать субботним утром, но почему-то застряли в Новосибирске. Владыка был раздражён, ломал карандаши, идеально зачиненные отцом Николаем, успел обругать самого отца Николая растяпой. Потому и дышал громко отец Николай, чтобы владыке стало совестно.

Владыка не любил хозяйственной суеты, предпринимательского пафоса, он был книжник и иконник. Проблемы ему решать приходилось, но он брал авторитетом, а не сноровкой. По слухам, в избранном кругу он говорил, что от софринских его пучит. Но что делать, погоду не выбирают, а епархия должна цвести.

На облитом солнцем подоконнике прыскал зеленью, как ящерица, долгожданный лимончик на шнуровой веточке. Приветствовал солнышко святой Николай Чудотворец, сложивший длани словно бы по по этому поводу. А владыка разглядывал чудовищные, прямо-таки страстотерпные носки своих туфель и хандрил, уросил.

Шаги, и говор в приёмной, и стук в дверь детским кулачком тучного отца Николая. На пороге он и дежурный семинарист.

— Владыко, — тихо доложил семинарист, — ломится какой-то старичок, долговязый такой. Говорит, пустите к Парфению ногастому… извините, владыко, проговорился… важный разговор-де. Что вы, что вам надо, спрашиваю. «Я тот, кому архимандрит Виктор другом был, а что мне надо, не твоего дитячьего ума дело. Пусти, я знаю, что владыка у себя». Что делать?

Владыка вскипел.

— В толчки его! — рявкнул он. — Ни днём, ни ночью покою от них нет! Теологи самозванные! Провокаторы, казачки засланные!

— Слушаю, владыко, — сказал семинарист.

Они на пару с отцом Николаем вышли к старику на проспект и привычно-вежливо отказали ему в приёме.

— Не узнаёте меня, нет, — покачал головою старик, — толкуете о Чуде, фарисеи, а сами встретиться с Чудом не готовы. Других пастырей знавал я. Они на «Мерседесах» не езживали, Мамоне не кланялись…

И пошёл на площадь, к Иверской, не оглядываясь.

— Сумасшедший, псих, — сказал семинарист.

— Провокатор, — не согласился отец Николай.

И оба перекрестились и пошли пить чай с лимоном.

Но это была мелкая неприятность. А большая настигла владыку и всю епархию через пятнадцать минут. У дверей резиденции взвизгнули тормоза, и из машины выскочил игумен Преображенского монастыря отец Феодосий. Его ладное великорусское лицо в светлой ухоженной бородке было, без преувеличений, перекошено, губы вздрагивали, словно по ним пробегало электричество.

И вот какую дурную весть принёс он владыке. Непосредственно перед утреней в Спасском храме, он же монастырский, монах Пётр, подойдя к раке с мощами Старца Потомского, обнаружил, что серебряный замочек, запиравший раку, ключ от которого был как раз у него, лежит рядом с ракой. И рака, следственно, отперта. Замочек был целый, закрытый на два оборота. Кем, Господи Боже ты мой?! Пётр заглянул в раку — и обнаружил, что мощи Старца *исчезли*!

Пётр упал в обморок, как человек пожилой и нервный…

Игумен был весь серый, а владыка, слушая его, побелел и на себе испытал, что значит выражение «волосы дыбом».

— И никаких следов, владыко. И в каком же состоянии отвёл я утреню — не высказать… Петру велел молчать, и никого опрашивать не стал, ибо, думаю, это нам боком выйдет, любая огласка…

— Правильно, — сказал потрясённый владыка, — погодим, никто не должен знать. «Ничего не случилось». Пётр не проговорится? Болтуны они все, сплетники…

— Не проговорится, владыко, — уверенно сказал игумен (и с облегчением, потому что ждал взрыва. Взрыва не произошло — владыка, капризный в мелочах, умел, когда нужно, собирать волю в кулак), — если уж на кого можно положиться, так на нашего Петрушу. Да и запер я его пока.

Они перекрестились — на всё воля твоя, Господи!

— Свидетелей не было? — спросил владыка. — Знаем мы трое?

— Да, — ответил игумен, — и замочек я повесил. На удачу, я Петра и поднял, привёл в чувство.

— Расследуй сам, как — учить тебя, по твоей прошлой жизни, не надо, — сказал владыка, — не всё ещё пропало. Испытание ещё не смерть. Искушение не поражение.

— Кто же это сотворил, кому это нужно? — вздохнул Феодосий.

— Не больше твоего понимаю, — ответил владыка Парфений, — пока не больше. Думать надо. Возвращайся, смотри в четыре глаза.

— Ага, — по-детски отозвался игумен и, ероша свою ухоженную, волосок к волоску, гриву, похожую на парик, выскочил вон.

Гром гремит, земля трясётся. Силён был удар, и мало сказать, что владыка расстроился. (Он забыл о софринских напрочь; они прибудут только после обеда, проколов два колеса на дрянной дороге от Тайги.) Он испытал обиду, горькую обиду. Подобную сильную обиду, точнее, близкую по силе обиду ему нанёс когда-то лучший друг из его воронежской юности, глумливо и глупо отозвавшись о Вере, зная, как больно будет владыке, тогда Васе Сумцову. Дружок приревновал Васю — девочка, в которую он втюрился, сказала ему, что чистый Вася её кумир. А Вася уже тогда избрал себе стезю иную и не мог отозваться на её чувство. А друг, Андрей Стариков, всё равно его хлестанул. И дружба кончилась, и не было с тех пор друзей у владыки.

И тут владыка вспомнил песню, которую они пели с этим Андреем под гитару, сидя на скамеечке на Крестьянской улице. «Деньги не водятся в карманах расклешённых брюк. А жить так хочется без всяких забо-от и мук. И снова пьяненький иду по бульвару один. И закурить мне какой-нибудь даст гражданин».

Какой же это Андрей нагадил ему и потомскому клиру православному на сей раз?

Он думал с полчаса, и что-то смутное, неопределённое связалось у него с явлением сегодняшнего непрошеного гостя.

— Николай! — позвал он. Вошёл тучный добродушный отец Николай. Он уже не обижался. Заходя, он брюхом зацепился за дверную ручку.

— Разъелся ты, Николай, — заметил владыка, — надо тебя на селькупские хлеба сослать. Как выглядел этот старик, опиши-ка мне его?

Николай описал. И владыка велел ему призвать старосту семинарского курса Константина, дельного паренька, и дать задание: отыскать этого старика и проследить, как он, что он, где обитает и прочее. Не входя в контакт, конечно. И не появлялся ли он в монастыре?

— Ну уж? — усомнился Николай. — Не велика ли честь? Если каждого…

— Не велика, — сказал владыка, — исполняй, шевели булками своими. Прямо сей момент.

Николай двинулся в семинарию, через проспект наискосок. А владыка взял с книжной полочки, им собственноручно изготовленной, некую книжицу и внимательно разглядывал в ней разные изображения одного и того же лица: Потомского Старца, не очень-то, впрочем, веря в свою рабочую версию.

Перед обедом его навестил местный магнат, хозяин заводов и пароходов, с которым владыка должен был дружить: тот прилично давал на развитие епархии, а самого владыку возил по осиян-

ным местам Святой Руси, и на Афон, и в Иерусалим. Магнат, симпатичный и ещё молодой человек, явно провёл ночь в клубе и крепко дышал духами шотландской выделки. У владыки закружилась голова. Визит был приятельский. Магнат, Юрий Владимирович, предложил владыке в октябре «слётать» на Кижи. Владыка сразу согласился, чем озадачил Юрия Владимировича: обычно Парфений церемониально отказывался до трёх раз.

— Что-то случилось? — спросил магнат. — Вы какой-то пасмурный?

— Ничего. Это я софринских ждал, да уже не жду: позвонили — опаздывают, — ответил владыка и предложил Юрию Владимировичу водочки на померанцевых корочках. И тот выпил пару стопок (сам владыка выпивал рюмочку только простудившись). Это была честь — потчевание из владычных рук. Юрий Владимирович предложил ему, вполне серьёзно, стать его завхозом и снять с него груз меркантильных забот. Посмотрим, сумел улыбнуться владыка, посмотрим. А сам думал: вот если бы этим делом занялась служба безопасности магната, истина открылась бы, возможно, уже сегодня. Но увы. Посмотрим.

В это же время вернулась домой Ираида Петровна. Она отогнала машину и сходила на Гору, к Вознесенской церкви. Она разбудила разоспавшегося Алёшу, принесла ему кофе (он терпеть не мог кофе), присела к нему на диван и дала ему полный отчёт о своих странствиях.

Отчёт начинался с того, что церковь вблизи понравилась ей ещё больше, чем снизу, что церковный двор ухожен восхитительно и вид оттуда замечательный, и что клумба перемещена со своего места.

— Как! — подскочил Алёша, и на его майке нарисовались кофейные пятна, и обожгло ему грудь. — Как! Чёрт бы…

— Ты не дослушал, — с подъёмом сказала мать, — клумбу чуть-чуть переместили, потому что могила Алексея Афанасьевича Василькова — *восстановлена*! И на ней — та, старая, настоящая, сто лет назад возложенная плита. Она сохранилась! На ней написано: «Здесь покоится прах Алексея Афанасьевича Василькова, воздвигшего на свои средства… такие-то… Колокол-Благовест… умершего тогда-то…».

— Это чудо или что? — спросил Алёша. — Откуда она взялась? её же унесли тогда, грозились расплавить, помню.

— Чудо или что, — ответила мать, — отец Святослав рассказал: о плите, о том, что она сохранилась, узнали месяц назад. Летом 1935-го года задумали наши благоустроить вокруг Белого озера сквер, поставить там хурду-мурду: девушку с веслом, пионера, пограничника с собакой. И для постаментов взяли плиты с хоздвора

милиции, не хватило — с самих кладбищ старые буржуйские надгробия. Так тогда везде делали, по всей стране. Перевернут тыловой стороной и на бетон кладут.

Отец Святослав говорил: уже сделали новое надгробие. А нашлось старое. Его однажды ночью выкорчевали… или как сказать… два брата-кузнеца белоозерских, старики. Они работали когда-то на прадеда и эту плиту сами работали. И вдруг узнали по меткам на тыловой стороне, по каким-то чёрточкам. Забрали и унесли, вдвоём, силачи же кузнецы белоозерские. И спрятали в сарае. Ну, и лежало оно, и забылось. А нынче на месте их домишка собрались ставить большой, многоквартирный дом, жильцам халупок дали квартиры, помнишь, там пожар был, хотели сжечь сначала их, чтобы самим не тратиться строителям этим, мошенникам, но дело это им не выгорело… Дали квартиры — и съехали люди. Наверное, отбирая свой хлам по стайкам-сарайкам, хозяева, внуки тех кузнецов, и увидели надгробие, и вспомнили, и пришли к отцу Святославу. Ну, чудо или что?

— Чудо человеческое, — зрело высказался Алёша, — самое главное чудо.

— Ещё не всё. Сейчас там работают люди, там новый Благовест, больше старого, будут к юбилею Города устанавливать. Завтра ночью привезут, будут охранять, закутают как-то по обычаю, чтоб раньше времени его не увидели. А сейчас арку для колокола заканчивают, такие балки стальные вмуровывают, постамент для звонаря складывают. И говорят, что одному с языком не справиться, несколько звонарей сразу нужно. Но не каждый же день Благовест звонит!

— Как-то поздно арку делают, — заметил Алёша, — поди и проверить не проверят, как бетон, как перекрытия, надёжны ли?

— Это Русь-матушка, Алёша, — сказала мать, — у нас и детей производят, не просохши, и отцы за ними с наволочкой в роддом приходят, нарвав цветов в университетской роще.

Тут прозвучало что-то личное, и мать опомнилась, смутилась.

— Шишка болит? — спросила она.

Настроение у них было превосходное.

Но расслабиться им не пришлось. Страшный шум, крики донеслись с улицы, со стороны соседнего подъезда. Мама выглянула в окно. Она увидела, как на отдалении быстро идут, почти бегут к магазину «Рубин» Татьяна Доукша с дочерью. Ванда заходит в магазин, мать медлит у двери, держа её полуоткрытой. Глядит назад, на дом, и что-то взволнованно говорит внутрь.

Заходит в магазин.

А снизу — шум, грохот, вопли. И весь дом пришёл в движение: слышны поспешные шаги в квартирах, щёлкают оконные створки.

Широковы до минимума убавляют звук в своем весёлом телевизоре. Алёша высунулся из соседнего окна по пояс. У второго подъезда лежал, не соглашаясь лежать, мертвецки пьяный Дьячков-отец, а младший Дьячков шёл, покачиваясь, в сторону первого подъезда. В руке он держал бутылку водки.

Увидел Алёшу, встал под ним.

— Эй, баран, выходи! — заорал он. — Убивать тебя буду! Я тебе говорю!

Алёше стало весело и жутковато одновременно.

— Ты с Болота или нет! Выходи законно, баран!

— Не ходи, — сказала мать, — он в драку полезет, он за себя не отвечает.

— Да ну, — ответил Алёша, — пойду, куда тут денешься, засмеют же. Что он мне сделает, такой пьяный? Да и с чего? Это он так, изображает злобищу, на самом деле несерьёзно.

Подвело его хорошее настроение. Недооценил он Виталия Дьячкова, и не знал, что с дьячковской точки зрения «было с чего». Он спустился на улицу.

— Ты что, ополоумел от водки, Виталик? Со вчерашнего пьёшь? Ты…

А тот ударил Алёшу в челюсть, очень сноровисто, и полетели искры из Алёшиных глаз. И Дьячков сграбастал Алёшу за плечи и ударил его лбом. Алёша без ног улетел в пустоту.

Дьячков встал над ним и опрокинул себе в глотку бутылку и выпил её разом.

— Сохнет *она* по нему, — сказал Дьячков и пнул лежащего Алёшу, но не слышал эти слова Алёша и не почувствовал пинка.

Негромкий голос Петросяна умолк в широковском окне. Сверху закричала мать и бросилась вниз. В руках у неё была хрустальная ваза, схваченная со стола вместе с яблоками. Яблоки выпали из неё ещё в квартире. На третьем шаге от подъезда мать изо всех сил опрокинула вазу на голову Виталика. Ваза рассыпалась в мелочь, Дьячков уронил пустую бутылку и сел на землю. Казалось, он буквально окосел от этой встречи водки с ударом.

Мать наклонилась к Алёше.

— Я ничего не вижу, — пробормотал он, держась за лоб.

— Сыночка! Звери! — утробно завыл стоящий на карачках у своего подъезда старший Дьячков.

Диспозиция сложилась такая. Старики Рябинины с утра уехали на картошку. Широковы оставили телевизор и рисовались в окнах, круглые люди с круглыми мордахами. Владислав ушёл на сбор польской общины. На старости лет он озаботился корнями и уже вторично заседал с поляками в костёле (он даже принялся готовить какой-то там доклад). Тамара в этот момент обмывала

Исакыча и, глуховатая, не обратила внимания на шум. Бабки Тараканова трясли его: он вчера пил с Дьячковыми, но отвалился с вечера и спал до сих пор, «как труп меж гробовых досок». Алёна Дьячкова «ночевала у подруги» и ещё не вернулась. Каргопольцевы затаились. Их могло не быть дома — и они могли спрятаться от греха подальше в западных комнатах, на них это было похоже.

Потом выяснится, что Дьячковы, наложив новые дрожжи на старые, собрались кого-нибудь побить или просто погулять на свежем воздухе, пристать, например, к Павлу Васильевичу и принудить его попеть матерные частушки, в чём был он дока. Пока они выбирались из подъезда — сын тащил отца, крепко выражаясь, — мать и дочь Доукши собрались на работу. У Ванды была воскресная смена, а мать, заодно с ней, решила поготовиться к учёту. Внизу, у лестницы, столкнулись. Дьячков-младший схватил Ванду за руку и хотел её полапать. Она его оттолкнула и сказала, чтобы он к ней не лез, он ей не симпатичен, и если надо, она попросит защиты у Алёши Сухонина, он порядочный, *не чета тебе*, хаму.

— Вот они какие, сыночка, эти девки Доукши, — сказал вцепившийся в перила отец, — одна мне жизнь отравила, другая над тобой глумится!

И упал на сына. Благодаря этому мать с дочерью прорвались к дверям и ушли. А молодой Дьячков 180 секунд стоял и думал об *измене*.

У него получалось, что его чувство поругано, а Сухонин — поганый хлыщ, подлый совратитель наивной, но ещё не потерянной для него Ванды…

А он десантник, воин; пока он воевал, проливал кровь… Конечно, он забыл, что воевал как-никак Алёша, а он *парился* два года, охраняя склады в Забайкалье (откуда и приволок гранату РГД-5). И вернулся он из края сопок три года назад и забыл, что значит «тарбаган».

Выволок отца на улицу и пошёл мстить.

Итак, под домом лежит молчаливый Алёша. Из носа у него хлещет кровь. Над ним причитает мать. В пяти метрах от них сидит, приподнимаясь и заваливаясь, молчаливый молодой Дьячков с окровавленной макушкой. У второго подъезда лежит на боку, приподнимаясь, старый Дьячков, стеная: «Сыночка, убила директорша». В окнах первого этажа покачиваются бессердечные пятачки Широковых.

Павел Васильевич, вечный свидетель болотненских переполохов, пребывает в домашней нирване. На улице по-прежнему пусто; пробежало несколько машин, одна приветственно просигналила: давай-давай, Болото, поддай чаду, заваривай!

Но вот поднялся трупно пьяный Дьячок, и на версту несло от

него сивушным потом. Встал, пошатываясь, Алёша. Рванулась к Виталию мать, но Алёша перехватил её за руку и завёл к себе за спину. Он шагнул навстречу Виталику и занёс, прицеливаясь, кулак. Лицо Дьячкова ездило перед ним и справа налево, и сверху вниз. Дьячков попытался пнуть Алёше под коленку — и промахнулся. А Алёша — кулаком — попал ему в морду увесисто.

И упал, теряя пространство, молодой Дьячков, и оказался на земле лицом к лицу с подползшим родителем. И тот, рыдая, поцеловал его в подбитый глаз. И Ираида Петровна от нервного потрясения засмеялась, увидев это.

Алёша присел на корточки. Слабость охватила его всего, в голове бегали мелкие существа и топтали его мозг.

А молодой Дьячков медленно поднимался, словно его накачивали насосом. И в руках у него был большой щербатый камень, тот камень, что лежал перед домом всегда, сколько помнили жильцы. Легендарный камень, занесённый на Болото, где не было своих камней, в те царские времена, когда Большую Болотную пытались засыпать щебнем. Тысячи других камней ушли под землю, упали в Ишайку, кому-то где-то пригодились, а этот, из немногих, лежал и сторожил въезд в Болото.

Виталий поднял его над головой. Алёша смотрел ему в глаза и видел в них вместо зрачков гвоздевые шляпки. «Увернуться — и убить его, — подумал он, — выбора нет».

Но в эту же секунду над Дьячковым навис вылетевший из подъезда Тараканов, пнувший снизу Виталика по рукам (так, что сломал ему два пальца) и по ходу заехавший ему коленом в лоб.

— Мы же в одном доме живём! — закричал Тараканов.

Камень взлетел в воздух и *раскололся* надвое, и куски упали на голову старшего Дьячкова, и тут же сверху, скуля, свалился на него сын всем своим тяжким телом. Отец завыл без слов, протяжно, как речной теплоход.

— Мы же в одном доме живём! — снова прокричал Тараканов. — Мы же болотненские!

— Молодец, Санька, так ему, воровской роже! — запели от подъезда таракановские бабки.

И между ними нарисовалась внушительная наружность Татьяны Мариной-Дьячковой.

— Есть справедливость, — прорычала она, — получили вы своё, животные! Простите, люди, что я такую скотину родила!

— Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж! — вторил ей хрипловатый девичий голос от северного торца дома: и все обнаружили там Алёну Дьячкову, несомненно помятую после «ночёвки у подруги», кутающуюся в ворот своей китайской куртки, как в ворот норковой шубы.

— Алёшка, — удивилась она, — ты *вырубил* братика? Не такой уж ты и будда! Эх, не разглядела я тебя!

— Если б не Саша, — наконец ожил Алёша, глядя на мрачно сосущего свои пальцы Дьячкова. Лицо у Виталика было томатное, глаза закрыты.

— Эх, Тараканов, и тебя я не разглядела! — воскликнула весёлая Алёнка.

И польщённый Тараканов подмигнул ей, отходя от волнений, и намекнул:

— Ещё не поздно разглядеть, ещё не вечер, подруга. Мы же в одном доме живём!

И она показала ему коленку своей захватанной и готовой к новым свершениям ноги.

Но вновь над Болотом прозвучало громкое слово:

— Что здесь происходит?! Александр, в чём дело? Ираида Петровна, вы здесь при чём? Что за позор? Алексей!..

От Обруба пришёл Владислав Доукша, начинающий летописец польской диаспоры в Потомске.

— Абсурд! — протрубил он. Но не успели ему разъяснить суть происшедшего.

Потому что на втором этаже второго подъезда открылось окно. Из него высунулся негодующий Борис Исаакович. Седые пряди развевались ветерком, лик его был суров и прекрасно-ужасен.

И медный глас раздался над Болотом:

— Прекратить немедленно! Молчать! В струнку мне! Всем стоять! Ждать меня, я сейчас с вами разберусь!

Ираида Петровна стоит, как оловянный солдатик, руки по швам. Очки висят на кончике носа, голые ноги в гусиной коже, одна из них босая — тапочек располагается отдельно, в траве рядом с ней, как партизан.

Алёша встал, распрямился. Он только что смотрел на свой победоносный разбитый кулак, но сейчас его лицо обращено к коркинскому окну, и кулак висит в воздухе ненужно. На лице встреча веры с неверием. Вверху лба — светло-розовая шишка (вторая за сутки. Повезло, что Виталик выше ростом и не угостил его по переносице, тогда бы Алёша походил бы на лемура. А так — милый человек). Ветер и дрожащие ноги покачивают его, как большую резиновую куклу.

Оба Дьячковых лежат. Наверное, не понимают, что Исакыч *проснулся*. Старший, очевидно, задремал, уткнувшись лицом в мокрый песок. У него бычий круп. Младший замер, но открыл глаза и вытаращил их, как камбала. Зад у него поменьше, мокрый и грязный. Возможно, мокрый и по особой причине. Пальцы отдыхают во рту.

Таракановские бабки сцепились всеми четырьмя руками. Головы запрокинуты вверх — Исакыч практически над ними, они видят его выбритый подбородок. Следит за мужем дряхленькая Тамара Георгиевна, настоящая жена.

Сейчас видно, до чего обе бабки похожи на Тараканова.

Рядом с ними Татьяна Марина. Просто стоит, опершись рукой на дверь подъезда. Голова опущена, вид бесконечной усталости. Может быть, она замерла раньше, может быть, и не услышала Исакыча, закрывшись на все ставни.

За бабками стоит, расставив ноги, вытянув лицо (так фотографируются), Алёна Дьячкова. Руки у неё сведены у живота полукругом. В такой позиции девушки — ведущие потомских теленовостей докладывают прогноз погоды: «Одевайтесь потеплее, не забудьте дома зонт». Вот эдак, не шевелясь, она напоминает небесам, что могла бы быть порядочной девушкой и хорошей женой.

Владислав Доукша возвышается, сузив свои близорукие глаза до точек. Пиджак расстёгнут, бело-красный галстук вьётся по ветру, лаская ухо Владислава. Но он, как столпник, не отвлекается на какой-то там галстук, приподняв от пояса правую руку с раскрытой ладонью. Левой рукой он прижимает к груди пару книжечек. Что ни говори, есть в его облике нечто евангелическое. Красив этот постаревший человек, вызывает доверие. На Болоте он смотрится убедительно, подчиняя себе пейзаж, как был бы убедителен среди лапидарных долин древней Иудеи.

Но Тараканов! Тараканов нарушает чистоту литературных воспоминаний. Неполно отозвалось в нём вещее слово Гоголя. Нет, он молчал и не сходил с места (при первых глаголах Исакыча он отскочил, как тушканчик, в сторону дороги, на самый край её). Но сухой, подтянутый, пружинистый, он принялся бешено чесать себе спину, поводя во все стороны своим монгольски жёлтым, совершенно не похмельным озорным лицом. Сейчас он бы заслуженно выпил! И выпьет, и закусит, спасибо Дьячковым и Исакычу, Петровна проставится, есть у неё, юбилейной, и яства, и меды тройные! Ей-богу, всё это прочитывается на его физиономии, и на лопатках, и между лопаток, где творят вибратто его пальцы.

И вышел из подъезда Исакыч, и за ним ликующая Тамара Георгиевна. Исакыч был в пижаме, под которой голубела водолазка, и в туфлях на босу ногу.

И все, кроме поверженных отца и сына, бросились к нему, здороваясь и трогая его за рукав. И он назвал всех по имени. Не только тех, кого знал юными и молодыми двадцать с лишком лет назад, но и тех, кого никогда не видел, как Алёшу или Алёну. Это, надо думать Алексей, говорил он, а это — беспутная Алёнка.

— *Всё* знаю, всё слышал, — с напором сказал он, обернувшись к Тамаре Георгиевне, обнимая её за плечи, — ох, и скучно мне было, ох, и горько! А жить будем.

И все вспомнили, что он уже шагнул в девятый десяток, и все подумали, что годы сна возместит ему природа, и поживёт он ещё долго.

— Спасибо, что разбудили. Чувствовал, чувствовал толчки — и встал. Аппетит звериный. А вчера-то, Ираида, угостила ты меня на славу!

— И сегодня угощу, хоть прямо сейчас, — заявила мать.

— Сначала разберёмся, — строго сказал Исакыч, — стоит ли с вами обедать? Распустились без меня. Чего эти босяки валяются? Живые хотя бы? Дрянь-то порядочная, чтоб я так жил!

И они оптом и в розницу рассказали историю битвы. И он сказал, что Алёше этот опыт пригодится.

А потом пошли обедать к Сухониным, все, и Алёнка, кроме Татьяны. Она затащила мужа и сына домой, отказавшись от помощи соседей, которые на ней и не настаивали. Её пожалели, поговорили об её, халды, трудной судьбе.

Доукша сходил в магазин «Рубин» и вернулся взбешённый. Новые подробности, неведомые ещё в начальных очертаниях другим, ярили его. Рассказывая, он схватил кулинарный молоточек и побежал бить им Дьячковых. Алёша с трудом догнал его на улице и упросил вернуться. Увидел два камня, подумал и, хоть голова кружилась сильно, не поленился, подобрал их, дошёл до Ишайки и бросил их в воду. И вымыл в речке руки, испачканные кровью с камней, кровью обоих Дьячковых.

Пообедали отлично, задушевно. Исакыч, как новенький, руководил застольем, ел как лесоруб, выпил в одиночку целую бутылку коньяку, шутил, играл на ложках и спел «Мать надела белую косынку» на диво сохранившимся голосом… Тамара Георгиевна была при нём счастливой кудрявой старушкой, говорившей одними междометиями. Потом он распрощался, сказав, что ждут его газеты, телевизор: надо изучить обстановку, выяснить «вводные» новой жизни. (Пришёл домой и ухнулся спать, рассказывала Тамара Георгиевна. Она боялась, как бы не случилось повторения пройденного. Не случилось! Вечером проснулся и сел за газеты при включенном на полную громкость телевизоре. А потом отбросил газеты, выключил телевизор и задумался об изменнике сыне. Тамара, сказал он, надумавшись и навздыхавшись, дед был буржуй, отец — герой Гражданской, я — понятно, кто. Сын брандахлыст, внук — американец. А правнук, по кругу жизни, будет прогрессивный, только дайте мне с ним разок побеседовать. Нит гедайге!)

Алёна просидела недолго, всё-таки переживая за семью, за мать. Она была грустна и думала о своей жизни, и, уходя, сестрински погладила Алёшу по голове, напомнив ему, что шишек у него две.

Доукша ушёл с Исакычем, как добрый сосед. Алёша внимательно смотрел на него, отца Ванды. Он то ли ждал, то ли боялся, что мать Ванды и сама Ванда зайдут к ним, приглашённые Ираидой Петровной через отца, но они остались на работе, передав всем привет, в особенности Алёше и Тараканову. Тараканов сразу передал ответный привет, «вдвое больше».

Понятный привет, и ничего больше, во всяком случае, в устах Владислава Сигизмундовича. Но Владислав тоже изучал Алёшу, и обнаружил, что Алёша изучает его, и был сдержан и даже скован. И, прощаясь, задержал Алёшину руку в своей и потрогал его шишку. Улыбнулся и дунул на неё. Наверное, и Ванда могла так дунуть.

Тараканов выпил, на удивление прилично участвуя в разговоре, нетронутую вчерашними гостями бутылку водки и улёгся подремать на Алёшином диване. Попытки разбудить его оказались тщетными, и извиняющиеся бабушки были отпущены без него.

Он проспал до заката. Алёша с матерью уже убрались, выражая друг другу надежду, что третьего такого денёчка им не достанется, ибо не вынести третьего денёчка такого накала жизни. Мать читала у себя, не столько читая, сколько пытаясь отвлечься от пережитого ералаша; у неё поднялся жар. Алёша прилёг на диване в зале: болела голова, ему было худо и всё-таки радостно. Если Ванда к нему неравнодушна, он сделал убедительный к ней шаг, и цена за него, в сущности, пустяковая. Он не успел забояться Виталика, а сейчас и подавно не боялся: знал, что победит. Незаметно куда-то провалился и очнулся в горах Дагестана. Он лежал под синим небом, и кто-то размеренно, механическим голосом декламировал: «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я». Михаил Юрьевич Лермонтов. «В полдневный жар…».

Он открыл глаза. Над ним стоял смущённый Тараканов и шёпотом говорил ему: «С винцом, понимаешь? Не со свинцом, а с винцом. Смешно, да?». Тараканов обнял его: «Я дико извиняюсь, что упал. Пока, брат». «Ты, Тараканов, прям, как стрела. Захлопни за собой», — шепнул Алёша. «Лежи, лежи, не вставай», — ответил Тараканов и ушёл, не захлопнув, а тихонечко притворив дверь, так что замок даже не щёлкнул, а пикнул.

И снова заснул Алёша, чтобы рано утром проснуться сказочно бодрым, будто бы в кольчуге, с мечом и щитом. Разве что на голове у него был не шишак. А полторы шишки. На лбу — малиновая.

Рядом с подушкой, примятый им, тянулся бесконечный хвост

бордового гладиолуса, а под ним лежала лазоревая пачка дорогих сигарет, таких, что открываются как-то сбоку и бумага у них бездымная, по японской технологии.

У окна в зале стояла мать, её тёмный контур был обведён лучами рассвета. Она была одета по-директорски и нескромно разглядывала свой брелок от автомобиля.

— Проснулся? — сказала она. — Как голова твоя башка? В порядке? Не врёшь, правда, в порядке? Ну, как говорит Марина-Ларина, есть Бог. Я поскакала на службу. Может быть, в обед вернусь. Что-то температурю. Сбила жар, а надолго ли? И нос заложен… А как я его отоварила, ась? Я тоже с Болота!

И рассказала, что вчера вечером, пока он спал («А выглядел плохо, лицо бумажное»), к Дьячковым приезжала милиция, и Виталия забрали по обвинению в грабеже прохожей женщины на улице Некрасова. Он так во всех отношениях наугощался, что не мог и встать. Как лежал на полу, так и взяли за четыре копыта и загрузили в машину, и наручники надели. Было ему на что погулять, сказал капитан, будет ему и похмелье по заслугам. Он мало что ограбил — он женщине руку сломал, и ждёт его длительное заключение. (Алёша испытал некоторое разочарование, словно Дьячков сбежал от него.)

Все Дьячковы встретили милицию и проводили с Виталиком, не издав ни звука. Тараканов свидетель, они с бабками были понятыми. Мать ужинала — из-за стола не поднялась. Нашли часики этой пострадавшей, её сотовый телефон, духи. И гранату! Тут особая статья! Конец Виталику, выродку Болота.

А позже, совсем к ночи, приходили Татьяна и Ванда Доукши. Зашли, увидели тебя, такого простёртого, велели не будить. Татьяна сказала: Алёша благородный, как Владислав, даже не ожидала. «Не ожидала она, скажи, пожалуйста!»

— А Ванда-то — полячка, манерная девочка! Подошла к тебе, возложила подарки, сложила губки и поцеловала в шишку. Тёплая девочка, стройненькая, чинара. Явно к тебе неравнодушна, жаль, что продавщица… Ты меня слышишь, друг ситный?

Ситный друг сидел на диване, как султан, и махал матери обеими руками, словно отчаливал на диване в путешествие.

— Слышу, мама! Я тебя слышу! Езжай в свою школу! И мне пора собираться, в дальнюю дорогу, к своим розеткам.

И встал и топнул ногой. Ему не терпелось прижать к лицу гладиолус и выкурить здесь, в зале, сигарету из лазоревой пачки. И перед этим, глядя в материнскую спину, он успел подумать о том, что вставало над ним наследственное болотное Лихо, когда он бил Виталика по морде.

Глава девятая

Любовь

Ванда проснулась поздно. Сегодня она работала с обеда, и торопиться ей было не к спеху. Её окно выходило на восток, вся комната была залита светом, таким ярким, что жгло глаза даже от стен. Она прислушивалась к шагам матери, уже обутой в туфли. Наверное, постукиванье каблуков её и разбудило. Отец, пан-папа Владислав, конечно, находился на службе в своём архиве, там, где Ванда никогда не бывала и не собиралась побывать. Дети на Болоте были любопытнее своих сверстников из других районов Города, внимательнее к родителям, но не настолько же. Далеко трудился отец. И хотя для обычного потомчанина пройти Обрубом (300 метров), свернуть на Ленина (ещё 150 метров), перейти через проспект в проулок (ещё 100 метров), там, на Карла Маркса, свернуть направо (ещё 100 метров) было походом пустяковым, для дочери с Болота это было далеко, «загранично». И что ей там делать, дочери-продавщице? Отец бы забоялся, что женщины-коллеги спросят, чем занимается его дочь. А они бы спросили, естественно, о чём им ещё спрашивать?

И как же, да и зачем же объяснять им, что она не дурочка, что она, закончив школу без троек, интересуясь потихоньку науками и художествами, не захотела учиться дальше, потому что уставала от общения даже со знакомыми на родном ржавом Болоте? Что, встречаясь с Городом и горожанами лицом к лицу, она испытывает страх и удушье, почти физическое, почти астматическое, такое же, как при включении телевизора, навязчиво воспевающего одинаковость людей. Она бы и рада стать студенткой, а потом в кого-то вырасти, да *диагноз* не позволяет.

Она не одна такая. Алёше Сухонину тоже *диагноз* не позволяет слиться с этим миром в экстазе.

Она пережила два или два с половиной девичьих года, когда ей чудилось, что она не жилец на этом свете. И не раз, глядясь в зеркало летним или зимним утром, перечёркивала себе горло губной помадой. И сразу же стирала эту проверочную алую полоску, словно убеждаясь, что жить пока интереснее. Утром было тяжелее всего, потому что мир может меняться с утра, а он не менялся.

Она завидовала родителям. Мало кто любил своих родителей так, как она. Но в их согласном сожитии, на фоне их сдержанных и по-своему горделивых рассказов о пережитых и преодолённых треволнениях она видела древнюю историю о двух голубках, которая повторялась и повторялась со времён царя Гороха, но больше не повторится, и этот сбой произошёл при жизни Ванды, отделив её и тех, кто вступал в жизнь вровень с ней, от всех других преды-

дущих, мёртвых и ещё живых людей. Теперь между мужчинами и женщинами всё будет по-другому, мертво и страшно.

Отец до сих пор смотрит на маму ненасытными мужскими глазами. Они сильны своим прошлым, и оно, как прочнейшая скорлупа, защищает их.

У матери появилась чуть слышная одышка, следствие её полноты и курения. Но ходит она легко, музыкальными, чёткими шагами. Первая, на многие годы первая красавица Болота Таня Зубкова! Ванда знала, что материнская красота проступает в ней, пусть и отражённо, вторично, намекающе, и, скорее всего, она будет хорошеть и хорошеть. А к добру ли?

Хлопнула дверь. Ванда, как была, голышом, выглянула в окно: мать шла на восток, к магазину, куда и выходило окно Ванды.

Последнюю неделю Ванда ложилась спать голой. Она понимала, почему, и ей не было неловко. Она просыпалась и босиком медленно подходила к зеркалу, неторопливо входя в него. И с каким-то облегчением видела, как при мысли об Алёше оживает её грудь. Сегодня, как и вчера, она взяла в руки картину «Март», присела перед зеркалом и принялась её разглядывать снова.

Прекрасная картина! Уже тем прекрасная, что двухэтажный дом справа отдалённо напоминает о доме, в котором она — они жили. Этот дом был обшит свежей плашкой, может быть, он являлся какой-нибудь господской конторой, а не жильём, и окна тогда делали какие-то узкие — и всё равно прекрасный дом! И в его открытую дверь низом плывёт мартовский чистый воздух, проветривает прокуренные, пропотелые покои. А вот лошадь стоит далековато, она мелковата и не разглядеть её наверняка милую морду, на которой вполне человеческое удовольствие от весеннего утра, от гулких лесных звуков, от того, что она, лошадка, совсем не устала — вон как прямо держит морду! И дровеньки при ней лёгонькие, махонькие, на подвозный груз и на одного, много на двух человек. И как седок или два седока с них не вываливаются? Сноровку надо иметь. И сидят в них близко к земле и, хочешь не хочешь, глядят снизу прямо в лошадиный зад, под хвост. Может быть, час глядят, и два глядят. А если…

Жили эти люди больше ста лет назад, и издержки цивилизации у них были свои. Зато проехались с ветерком, продышались, сидят сейчас и чай пьют из самовара. А художник высадился рисовать. Попил ли он хотя бы чаю? Если не попил — догадаются ему вынести?

Разглядывая деревья, Ванда озадачилась. С лесными сосенками всё было понятно. А какие деревья, лиственные, стоят поближе к дому? Может быть, репродукция неважная, но у тех, что за лошадью, какой-то зеленоватый отлив? Пожалуй, не берёзы. Вот слева

— похожи на берёзы. Но за лошадкой, тонки и двоятся, скорее осины? Или вётлы? «Плохо я знаю родную природу», подумала Ванда.

И уж совсем она пришла в затруднение, когда в вышине, на тоненьком стволике раздвоившейся «осины», обнаружила беленький, белилами обмазанный скворечник. Как он мог туда попасть? Не придумал ли его от щедрости душевной художник Левитан? Человеку туда не забраться — сломается ствол, что тоньше иных веток. Ребёнка туда не пошлёшь, если ты не изверг. Да и ребёнка не выдержит этот прутик.

Или скворечник приделали-привязали-зацепили, когда дерево было юным, в три-четыре раза ниже? Много-много лет назад? Но почему тогда он такой беленький — смыло бы с него с годами любую краску?!

И потом: на ветру, даже самом умеренном, этот скворечник должно так швырять-раскачивать в небесной вышине, что никакая птица в нём жить не согласится. Ужас!

И Ванда настолько увлеклась этими размышлениями, что не услышала, как вернулась на минутку мать, забывшая дома свои дальнозоркие очки, как открыла её дверь — и увидела голую дочь в холодной комнате, держащую перед собой картину и что-то бормочущую.

— Вот это да! — вымолвила мать, а Ванда, вставши во весь рост, повернулась к ней.

— Вот это да-а! — повторила мать. — Видел бы тебя… («отец», хотела она сказать, но вовремя остановилась)… И что это значит?

— Я переодевалась, — быстро сказала Ванда, — и вот увлеклась. Смотри: откуда там взялся скворечник?

— От верблюда, — ответила мать, — думай иногда!

— О чём думать? Меня кто-то увидит? Так получилось, — сказала Ванда и потянулась за трусиками.

В чём её можно было уличить? В чём предмет преступления? На словах всё было убедительно. Но мать на то и мать, чтобы почувствовать: дело нечисто.

Татьяна суеверно посмотрелась в зеркало, обратила внимание на поспешность, с которой одевалась невинная дочь, и застучала каблуками на работу.

Она была настолько ошеломлена увиденным, что, встретив подъехавшую к дому на «Шкоде» Ираиду Петровну и услышав вопрос, не случилось ли чего (выдало лицо!), не задумываясь ответила:

— Захожу домой — а там дочь нагишом разглядывает картину и бормочет. Голая! Гламурная! А дома холодина!

— Какую картину? — удивилась Ираида Петровна.

— Пейзаж! «Март» Левитана! Ей позавчера Тамара Георгиевна

подарила, в благодарность за Исакыча и «по-соседски», так она сказала.

Ираида Петровна открыла рот и закрыла рот. Она всё поняла.

Ильдар Сейдиахметович был очень расстроен. Вчера выяснилось, что сторож, и грузчик, по совместительству, его магазина Ваня Сорокин, сорока лет, работник, которому он доверял больше, чем доверяют работнику, обворовывал его. Из подсобки исчезли два ящика коньяка, две коробки со шпротами и четыре блока дорогих сигарет «Кент» (их на Болоте никто не покупал, и лежали они целый год). Ваня признался, что пал он жертвой проснувшегося женолюбия, расплачиваясь с городскими девушками-похабцами по очереди указанными продуктами. Жил человек и жил — семья, порядок. Молодость прошла без бурь, без пьянства, без хулиганства. Появилась было в Ване степенность, и даже разумные речи слышались от него иногда. И — хлоп! Погубил его ночной телевизор, растравил его остывающее тело. Сам Ильдар Сейдиахметович и принёс ему заботливо проклятый маленький телевизор, в котором, кажется, и дамские прелести транслируются в такой мелкой гомеопатии, что похожи на птичьи, то есть тьфу. Сломала человека какая-то телевизионная Анфиса, на которую демагогически перекладывал свою вину лысеющий и ушастый, как игрушка, Ваня Сорокин.

Что за время пришло? Злые становятся злее, бессовестные — ещё бессовестнее, а слабые слабеют бесконечно, превращаясь в слизь. Ильдар выгнал Ваню. Удержанная зарплата не покрывала нанесённого им ущерба, но Сейдиахметыч отказался от денежных претензий. Предательство и малодушие Вани огорчили его настолько, что он даже и не тронул его пальцем, несмотря на то, что Ваня подсовывал ему своё лицо с рекомендацией дать по нему хоть рукой, хоть ногой.

Ильдар думал сейчас о троюродном племяннике из их ветвистого семейного куста в Заисточье: придётся заменить Ваню им. Но и племянник, Руслан, не вызывал у него доверия, какой-то не по-татарски развязный. Говорят, «курилка». Но придётся взять, он уже два месяца околачивается без работы, и родня, поддавливавшая Ильдара загодя, не поймёт, осудит его, если уж в такой ситуации он не пойдёт ей навстречу.

Алёшу бы мне, сожалел Ильдар Сейдиахметович, но Алёша теперь почти что номенклатурный работник, он ломоть отрезанный!

Ильдар ехал по городу, в самом центре, и остановился, замученный поисками места, рядом со стадионом, чтобы позвонить родным, вызвать Руслана. Он никогда не звонил на ходу, сидя за рулём.

Вышел из машины, позвонил, вызвал. Первые листочки, от-

дельные и сухие, сыпались с деревьев, один приземлился ему на макушку. Перед ним, словно ниоткуда, словно тоже спустившись сверху, вырос высокий старик в старом плаще, с измученными глазами, но осанистый, с прямой спиной. Такая спина была у деда Ильдара, Абдулвахита, человека, не знавшего, что такое грех.

Среди русских Ильдар тоже встречал человека с прямой спиной, полковника в Афганистане, в Мазари-Шарифе. Красиво ходил. Потом его подстрелил в плечо снайпер, и, падая, полковник развернулся и упал лицом вперёд, так и не согнув спины.

— Здравствуй, мурза, — сказал старик, — салям-алейкум! Довези до Болота. Ты ведь едешь до Болота?

— Откуда вы знаете? — удивился Ильдар. — На мне не написано.

— Я всё знаю, милый паночек, — ответил старик, — видал я тебя там. Везёшь?

— Садитесь, отец, — сказал Ильдар, — прошу.

Садясь в машину, старик спросил:

— Почему машина называется «Нива»?

Ильдар, как мог, объяснил. Объясняя, он заметил, что на другой стороне узковатой улицы мнётся внимательный к ним коренастый паренёк. Судя по мине, он был недоволен, что дедушка сел в машину и, следовательно, ускользает от него. Досады он не скрывал.

Странно, но какое мне дело, подумал Ильдар, а дедушка необычный, гипнотизёр прямо. Я пригласил его в машину, а он одет, как бомж. Когда бы это я бомжа подвозил? Когда бы это за бомжами ходила бы охрана, или кто ещё, наоборот? Если бы был он жулик или шайтан какой-нибудь, паренёк его давно бы скрутил — но ведь нет? Секрет! Не жулик, нет. И я готов его слушаться, этого дедушку.

Пока они ехали, старик спрашивал Ильдара о делах, но так, будто заранее знал ответы. Ильдар пожаловался на Ваню Сорокина. Старик поругал Ваню, сказав, что, впрочем, и в его далёкое время таких вань было предостаточно. Только раньше они заводились, плодились от бедности, а теперь их плодят от сытости, нарочно. Хотят, чтобы люди были или стадом, или отрядом. Противно это природе человеческой.

Мудрец, дервиш, подумал Ильдар. Он хотел спросить, о каком «своём» времени говорил старик, но постеснялся.

— Но не эта забота для тебя главная, — сказал, улыбаясь, старик, — эту заботу ты переварил, с ней ты разобрался…

— А какая? — в очередной раз удивился Ильдар. — Дела идут, слава Аллаху, стабильно, всё ровненько…

— Да знаю я, — поморщился старик, — и что жаден ты в меру

— знаю… А сына ты хочешь, зубами по ночам скрипишь. Три дочки — и нет сына.

— Может, вы и по именам их знаете? — вновь удивился, но и насторожился Ильдар. — Вы, наверное, всё-таки агент? Может, вы татар не любите, всё про них собираете?

— Что ты, чадо! Какой русский татар не любит? — засмеялся старик. — А здесь вы и вовсе насельники… В Кавказскую войну у меня был лучший друг — татарин… По именам я твоих девочек не знаю. А вот о сыне у тебя душа болит. Верно?

— Верно, — сказал Ильдар, — правильно, почтеннейший. Сердце обливается кровью.

И понял, что Кавказская война старика была очень давнишняя, и старику двести лет. И понял вдруг, что глядит на старика с надеждой. Они уже подъезжали к магазину, и махал им палкой вернувшийся на свой малокалорийный пост Павел Васильевич.

— Будет у тебя сын, — просто сказал старик, — спасибо, что подвёз. Верь мне.

Ильдар затормозил. Старик проворно вышел из машины и пошёл к Ишайке, к Костровому месту. Похолодевший Ильдар с трудом выбрался на асфальт и, веря и не веря, крикнул ему вслед:

— А как вас зовут, почтеннейший? Назову сына вашим именем!

Старик оглянулся:

— Имя моё монашеское, мирянам неподобающее. А мирское своё имя я забыл. Назови сына Фарид. Как того моего друга, татарина, он мне жизнь спас под Шемахами. Ширин-вырин, штык молодец! Фаридушка!

И скрылся за деревьями на берегу. И тут же сомнение охватило Сейдиахметыча: одурманил его старик, сумасшедший старик. Но неполным было его сомнение, расступалось оно.

Привычно ругнувшись на Павла Васильевича, он вошёл в магазин и увидел там, среди немногих покупателей, Бориса Исааковича с Тамарой Георгиевной. «Я схожу с ума», подумал трезвый, уравновешенный Ильдар Сейдиахметович.

Тамара Георгиевна повела Исакыча в современный продовольственный магазин «Продукты Аккорд». Ассортимент в нём был не бог весть какой, под тощий кошелёк болотненских, но Тамара боялась, что муж, изрядно сотрясённый изучением современности, испытает очередной и особенно болезненный, в силу наглядности, шок. Он проводил лихорадочные сутки, захлёбываясь информацией («всё» он знал, как же), и притом не мог сидеть на месте, вился вьюном по комнатам и снова читал и спрашивал, читал и спрашивал. Больше всего его потрясла чеченская замятня. Он приговорил Березовского и Лебедя к смертной казни и, зная войну во всех её

жестокостях, зная её непреложные правила, мучился мыслями о погибших зазря мальчишках. (Распад Союза он пережил во сне и, конечно, считал трагедией. Но это в нём давно отболело.)

Вторым сильным потрясением для него было упразднение любимого казачьего хора. Секретное предприятие выжило, но дышало на ладан. И вкусы изменились, вместо хора там учредили для молодёжи танцевальную студию «Модерн дансинг», как рассказала ему по телефону плачущая бабушка-подружка: скачут, принимают неприличные, порнографические позы, мальчишки крутятся на голове, девчонки все матерщинницы. «Ваше вытьё про кони-шашки нам по барабану, говорят они, свистели вы прикольно, это да, а прочее мутота».

Зайдя в магазин, Исакыч сразу притих. Это всё можно купить, тихо спросил он у жены, просто так? Можно, ответила Тамара, были бы деньги. А денег мало, оживился Исакыч, денег у народа не хватает. Не хватает, ответила жена, половину за квартиру отдают. А у нас хватает? У нас хватает, спасибо сыну, сказала Тамара, и много ли нам надо? У нас всё есть. Лекарства дорогие, лечение. Если решишься — я тебе на два зуба отложила. Подумаешь, сказал Исакыч, дырка сбоку, их не видно. Зубов мне достаточно. Проедим!

Внимательно рассматривал продукты, упаковки, читал ценники. Колбасы шесть сортов! заметил он. Жена не смогла не усмехнуться: на проспекте есть магазины — там по тридцать, по сорок сортов! Хочешь, сходим? Попросим Ираиду Петровну, она нас на машине отвезёт. Импортной! Не надо в магазины, мрачно сказал Исакыч, пусть по городу провезёт, посмотреть. Не откажет, милая, провезёт, сказала Тамара Георгиевна, много нового увидишь.

Обе продавщицы слушали их, плечом к плечу, опершись локтями на прилавки. Им обеим почему-то хотелось зареветь. Не дали покупатели, они не знали или забыли про Исакыча и спешили домой.

Закончив просмотр, Исакыч вздохнул и, качая седой головой, сказал веское слово:

— Зачем мне всё это изобилие, *если хора уже нет*?

В этот момент в магазин вошёл хозяин, Ильдар Сейдиахметович. Он знал историю Исакыча и знал Тамару Георгиевну. Значит, этот дедушка с умными, как у того старика, глазами и есть проснувшийся Борис Исаакович Коркин. «Я схожу с ума», — подумал он.

Намётанный взгляд Исакыча сразу определил в нём некоего начальника, в данном контексте — владельца магазина. Как уверенно держится, как завотделом райкома, оценил Исакыч, — маленький, а с достоинством. Вежливость Сейдиахметыча, сказавшего, что он *рад* видеть Бориса Исааковича и поздравляет его

с выздоровлением, привела старика в большое замешательство, и он опустил глаза. А классовый враг, неожиданно для себя самого, считающего каждую копейку, взял да и сунул Тамаре Георгиевне единственную палку сухой колбасы и пожал при этом двумя руками руку Исакыча. А рука у старика стальная, заметил он.

— Спасибо, — сказал растроганный и осунувшийся Исакыч, — рахмат, как говорится. Но хора уже нет.

— Я вас понимаю, — сказал Ильдар, не понимая толком насчёт хора, — но, товарищ полковник, родятся новые дети, могут поумнеть. Хор не хор, а мы, татары, сабантуй не похерим.

— Вашими бы устами да мёд пить, — сказал Исакыч, и старики покинули магазин, ободряюще похлопывая друг друга по спине.

Минута в минуту Олег Сергеевич Трясогузкин благословлял свои банковские карточки. Их у него было семь, и две из них были золотые. Только что он проверил последние поступления и планово обнаружил, что содержимое карточек перевалило за двадцать миллионов рублей. И он благодарил Господа за то, что Он закрывает глаза на его воровство, видимо, понимая относительность всех этих законов перед небесами — и ценя тот огромный вклад, который вносил Трясогузкин в развитие и модернизацию регионального культурного пространства.

Трясогузкин разложил карточки на своём рабочем столе и крестил их мелким крестом, и не мог остановиться. Это была уже вторая радость за этот день, вернее, за полдня. А первой была та, что они вместе с губернатором и спикером, втроём, будут участвовать в *презентации* нового Благовеста, и они трое первыми ударят в Колокол. Это будет незабываемо!

Он, высокий, стройный, как кипарис, стоя над городом, на виду огромной толпы, осенит себя крестным знамением — и за себя, и за всех этих людей…

(Он относился к народу сочувственно, покровительственно, правда, злые языки в связи с этим уподобляли его Наркису из пьесы Островского, сказавшему: «Наш народ хороший, добрый, терпеливый. Ей-богу, можно грабить!»)

Дело в том, что трудолюбивый и дотошный мэр города вчера сильно простудился, принимая новую объездную дорогу, попал под град, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких. Ура! Он должен был быть третьим в высоком ритуале первого прикосновения к колокольному языку. А теперь его место займёт Олег Сергеевич, без труда уговоривший Ивана Тарасовича. Ему и по чину.

Трясогузкин подошёл к окну, сказал грохочущему проспекту «Мяу-мяу», обошёл в кабинете иконки (их было пруд пруди в его

кабинете) и покрестился на каждую. А потом снова перекрестил карточки и решительно сгрёб их в нагрудный карман.

Рассказанное само собой объясняет, почему мы вспомнили о Трясогузкине в этой главе.

А у старшего Доукши в обед неожиданно возникла проблема. Месяц назад он взял приработок, достаточно трудоёмкий, но и неплохо оплачиваемый: важное губернское лицо, из потомственно местных, обратилось через своего помощника в архив с просьбой поискать документы, связанные с биографией отца и деда важного лица. Проснулась в господах любовь к генеалогии! С его отцом, обычным, работящим чиновником советской городской администрации, Владислав Сигизмундович разобрался быстро, а вот с дедом, погибшим на войне, поиск шёл через пень-колоду. Он был сотрудник НКВД, а с «органавтами» всегда извилистая архивная история, тут и запросы, и хожденья в новые документохранилища, и разные режимы допуска.

Сейчас перед Доукшей лежало дело (добытая тайком, вслепую, ксерокопия его — помогли связи, солидарность архивистов) «Оперуполномоченного пятого отдела УНКВД НСО имярек», и дело касалось морального облика Имярека: его судили за половое разложение. Кончилось, за недоказанностью, понижением в должности. И что с этим добром делать Доукше?

Он читал: «Морально неустойчивое лицо…»; «Имярек, в прошлом лентяй, склочник и есенинец…»; «На судебном заседании Андреева подтвердила правильность моих показаний, заявив, что интимная связь, основанная на любви, не носила характера моего разложения…»; «Лихтман заявила, что с моей стороны не было сделано никаких попыток к использованию её как женщины…».

Отдашь такой материал заказчику — мало что его огорчишь, сам окажешься в дурацком положении, как знающий щекотливо-неположенное. А собрано мало, и непохоже, что грядущие находки будут приятными: чекист-исполнитель в тридцатые годы в чём участвовал, под чем подпись ставил? И Доукша испытал личную ненависть к нему, душегубу… А всё-таки Исакыч?..

Надо посоветоваться с помощником, сообразил Владислав, на него и ответственность свалится. Пусть убедит Лицо, что *там* копаться не надо. Часть денег, если что, верну. Фу-у…

А всё-таки, подумал примерный семьянин Доукша, копаться в грязном белье, как *они*, мерзко, спору нет, но и нынешний разврат хуже Содома и Гоморры. Что-то надо же делать! Вот бы сегодня всю эту знать, всех этих… да в руки *тех*! И Доукша захохотал!

«А что я ржу, — одумался он, — ржу-то над пропастью!»

Староста Константин появился в приёмной владыки после обеда. Он пришёл к отцу Николаю расписаться в своём бессилии. Дважды он садился на хвост к колоритному старичку, и дважды юркий старикан, не обращая вроде бы на него никакого внимания, тут же и с лёгкостью необыкновенной уходил от него.

В первый раз растворился в воздухе за углом роддома (в роддом же не заходил, Константин проверял), а во второй раз сел в машину к случайному, незнакомому ему маленькому восточному человеку, остановившемуся на миг, чтобы позвонить, и тот увёз дедушку куда-то в северном направлении. Почему восточный человек сразу пустил его, в грязном, гадком плаще в машину — загадка. Старик сказал ему пару слов, не больше — какие же это должны были быть слова?

И в монастыре его не видели.

— Я все ноги исходил, — бубнил Константин, — снимите с меня эту обузу, отец Николай! Или давайте машину и хотя бы объясните, зачем он вам сдался, этот старичок, взаправду подозрительный. К нам он какое отношение имеет? Провокатор-сектант?

— Сам не знаю, — пожал плечами отец Николай, дал Константину сушку и постучался к владыке.

Он говорил с владыкой недолго и негромко; судя по характерному треску, владыка сломал несколько карандашей, и Николай, выходя от него, с сердцем сказал:

— Где я вам напасусь карандашей, владыко, уймитесь — на свои покупаю, а вы хрясь, а вы хрясь!!

Оборотясь к Константину, Николай сообщил:

— Можешь быть свободным. Завтра, как Благовест будем освящать и прочее, с начала до конца побудь в монастыре, присматривайся.

Константин чуть не выпалил: «Чёртов старик!». Ему очень хотелось побывать завтра на Горе, ибо свидетелем такого великого дела доводится быть раз в жизни. И на тебе, ссылка!

— К чему присматриваться, — уточнил Константин, — он что, на колокольню с гранатомётом залезет, сей древний-ветхий?

— Не знаю, ну не знаю я, — отвечал Николай совершенно честно, — владыка, ума палата, зря не придумает. Всё разъяснится завтра, сказал владыка. Иди уж!

Константин пошёл, взялся за дверную ручку, но, припомнив важное наблюдение, остановился и поделился им с отцом Николаем.

— Сдаётся мне, отче, что этот старик скорее блаженненький, что ли, чем злец. Уж очень он похож на нашего Старца Досточтимого.

Он ушёл, а Николай подумал: «Не всуе владыка просил меня

вчера описать его внешность. И правда похож, как загримирован. Как же я-то, простофан, не сообразил?»

И успокоил себя: потому-то владыка на всякий случай остерегается. Мало ли что, провокация какая-нибудь образуется. Может, и сам старик здесь ни при чём, а согражданам соблазн.

А владыка позвонил в монастырь, и Феодосий снова подтвердил прежнее: рака пуста, и паства прикладывается к пустой раке.

— Завтра, в крайнем случае, послезавтра, будет нам ответ, — твёрдо сказал владыка, — прошу тебя об одном: никуда не отлучайся, будь на дворе, смотри.

— А что же делать, если… что? А что это что?

— Ничего не делать. Твори молитву. Прочее пока не в нашей воле.

Владыка положил трубку и забарабанил по столу. Целый день он барабанил по столу, как только оставался один. То, что произойдёт завтра или послезавтра, может быть неслыханным. Но обязательно ли к худу произойдёт? А вдруг…

Александр Тараканов дежурил на стоянке, на восточном краю Болота, когда на ней прописался огромный иноземный джип.

Из огромного джипа-танка вышел маленький человечек с ногами-обрубками, такими короткими, что непонятно было, как он дотягивается ими до педалей. У человечка была огромная барсетка, сработанная, видно, по специальному заказу, плоскостью в боковое окно огромного джипа. Этой барсеткой можно было прикрываться во время перестрелки. Пулям она была явно не по зубам.

Человечек, лет тридцати, стриженный под Крепкого Орешка, проявил большую спесь. Низенький, он ухитрялся смотреть поверх глаз Тараканова и его рослого хозяина.

Он абонировал дорогое место в самом центре стоянки, под сторожевыми окнами, и заплатил наличными за месяц вперёд, не забыв ни об одной дополнительной услуге. И ушёл, погрозив им зачем-то пальцем, в новый богатый дом неподалёку, через Комсомольский проспект.

Кажется, его появление сразу повысило статус стоянки. Но честолюбивый Тараканов, напротив, испытал душевное стеснение. А хозяин, прочистив нос, сказал ему:

— Ну и фрукт-персик! Погоди, чую я: огребёмся мы с этим клиентом по полной программе! Над ним точно облако чёрное висит.

Тараканов согласился с ним, разделяя его мнение всецело. Страшная, кромешная скука наступившей на наши души сегодняшней жизни воплотилась в этом человеке. И просвета не предвиделось.

Сегодня Алёша вновь возвращался на Болото с востока, через железный мостик. Но не домой лежал ему путь, и впервые за все дни работы на Уржатке он не торопился с возвращением.

По чужому-то берегу он прошёл, как обычно, размахивая руками и не глядя по сторонам. Но ступил на мостик, загудело у него под ногами — и он сбавил шаг, и шёл теперь, словно пятился. Так ходят, кто видел, по оперной сцене. Так ходят, истратив последнюю спичку сознания, пока она догорает, законченно пьяные люди.

Он шёл размеренно, так, словно за каждым шагом должна была вставать новая мысль и её нужно было дожидаться.

Он смотрел вниз, на бегущую шумную Ишайку. Снизу вкрадчиво, не без нежности, поддавало смешанным запахом фенола и патоки. По течению ровной лавой неслись бледно-жёлтые ивовые листочки. Между ними затесалась пустая пластиковая бутылка. Листочки были на своём месте, а бутылка выглядела несчастной.

Под мостом, на родной стороне, сидел на траве, уткнув голову в колени, задумчивый лысый человек, ушастый, как игрушка, и обутый на одну ногу.

Закат никто не отменял. Небо было чистое, скользкое, масляно-голубое, а закат, тем не менее, был преждевременно розовым — где-то над горизонтом солнце прикрыли бордовым стёклышком.

На перилах мостика сидела розовая сорока, давилась какой-то едой и смотрела на закат. Алёша прошел в сантиметрах от неё и мог, при желании, дать ей под зад, от чего не удержался бы, наверное, ни один житель Болота. Она не могла знать, что у Алёши нет такого желания, но не повела и крылом. «Крепкие у тебя нервы, сорока», подумал Алёша.

Короткий безлюдный проулок до Большой Болотной дымился. В середине его кто-то (не тот ли грязнуля на самокате?) запалил первую кучку из опавших листьев. Листьев было ещё маловато, и кто-то ребёнок добавил в кучку несколько толстых рекламных газет. Речка дышала на костёр, алое пламя подпрыгивало и подбрасывало в воздух пепельные вымпелы. Осень на Болоте.

Алёша дошагал до главной улицы и свернул налево. Навстречу ему появились отдельные прохожие, с размытыми лицами, и с кем-то он поздоровался, но с кем, забыл сразу. Его дожидался дуб. Он подошёл к забору, облокотился на него. Пуховский двор был пуст. По капустной грядке бродил рыжий котёнок, пробуя коготки на вилках. Головастые астры, как одна, сдержанно косились на закат.

Дуб стоял над равниной желудей и матовых пегих зелёно-жёлтых листьев неподвижно, уже остановив свои часы. Отдыхал. И сплошной жухлый припой его густой ещё кроны говорил о том, что все эти гитарные, альтовые, скрипичные, виолончельные и

контрабасные листья-деки ему уже не принадлежат. Внутренне дуб был уже голый.

Не опоздать бы! Алёша посмотрел на пустую скамеечку, пожал холодную дубовую ветку, протянутую ему из-за забора, и побежал, захлёбываясь горьким воздухом, к магазину «Рубин».

Битая дверь магазина медленно открылась перед ним, будто потянулась к нему. Нет, не сама она открылась — вышла старая женщина с покупками, а за ней, торопя её, неповоротливую, выбирался на свет белый местный гопник Володя с тремя баллонами пива в охапке.

Алёша вспомнил, что он не заходил в «Рубин» с полгода, и за прилавком тогда была не Ванда, а другая продавщица, ещё молодая, но бледная, невидная. Каргопольцева?

Да, там же люди, покупатели. Они будут приходить до самого закрытия, будут *перебивать*. И там охранник, пожилой и болтливый Александр Викторович, жеватель газетного мусора, мимо которого на улице пройти невозможно — навязчивый просветитель.

Но и откладывать нельзя. Другого времени и другого места уже не будет. И будь что будет.

И Алёша зашёл в магазин.

Два покупателя у кассы, мужчина и женщина. Мужчина, крупный, широкоплечий, получал сдачу. Ванду за ним не было видно. В дальнем углу спал, сидя за столиком, Александр Викторович, положив сальную каракулевую голову на кроссворд.

Два шага вперёд. Мужчина развернулся, сдвинулся: Ванда, в синем халате, уже обслуживала, кивая, женщину: «Пачку масла. Творожок. Десяток яиц».

Ванда! Алёша понял, что можно ничего не говорить. Нужно ничего не говорить. Она пошла вдоль прилавка к светящемуся холодильнику, открыла его, достала ячейку яиц — и вдруг замерла, спиной к нему и опустив голову, — и стала потихоньку поворачиваться к Алёше. И только развернувшись к нему, подняла лицо, сияющее лицо с сияющими глазами. У него отнялись ноги, иначе он перепрыгнул бы через прилавок.

И так, глядя на него, прижимая к груди ячейку с яйцами, она пошевелила губами: «Приветалеша». А он, не сводя с неё глаз, поставил на пол сумку с инструментами и пошевелил губами в ответ почему-то: «Никогданикто».

У неё распахнулся халат, Алёша увидел блузку с широкой пуговичной планкой и верх кожаной юбки, а ноги скрывал прилавок. И Алёша наконец сумел шагнуть к ней и встал, упираясь коленями в прилавок и потянулся к ней лицом.

— Молодёжь, — тихо, тактично сказала женщина, — молодёжь, вы уж отпустите меня…

Ванда опомнилась — настолько, чтобы не глядя достать из холодильника ещё и пачку творога и пачку масла. Отнесла продукты женщине, молча отсчитала ей сдачу.

И женщина быстро ушла, грустно улыбаясь, а Алёша занял её место. И они обнялись через прилавок и поцеловались, в губы, в глаза, в губы, в брови, и нежно, и больно.

Александр Викторович спал в своём углу. Они оглянулись на него, и снова целовались, торопились, пока кто-нибудь не пришёл.

— Ты не уйдёшь? — шепнула Ванда.

— Что ты, — прошептал Алёша.

— Два часа, это долго.

— Чепуха какая.

— Я бы обиделась, если б ты ушёл. Зачем тогда приходил?

Алёша стал целовать ей руки.

— У меня руки в сдаче, грязные, кислые.

Он поцеловал ей ладошки тридцать раз, соскучился по губам, — но раздались громкие голоса, послышались шаги, взвизгнула дверь — и вскинулся с подавленным воплем в углу Александр Викторович, и снова уронил голову.

И быстрая Ванда, то ли растерявшись, то ли, наоборот, не растерявшись, принялась, с серьёзным лицом, накладывать на прилавок алёшины «покупки» — и колбасу, и сыр, и бутылку вина, и какие-то конфеты. В магазин ввалилась куча народу — возвратившиеся с работы болотненские речники, и тайну первой встречи надо было теперь оберегать от посторонних.

До самого закрытия магазина покупатели шли и шли, и больше Алёше с Вандой не удалось побыть наедине при спящем охраннике. И Алёша переминался со своими «покупками» в руках, изображая только что отоварившегося человека, который напоследок прикидывает, не забыл ли взять чего-то ещё, важного, или выбирает какой-то особый целевой продукт, хотя в магазине «Рубин» отродясь не водилось никаких особых продуктов.

А потом, в глубокие, фиолетовые сумерки, под растущей Луной, взяв с собой только бутылку вина и два стаканчика, они обнялись на пороге магазина и пошли гулять, целуясь при первой возможности.

И не то чтобы много у них было таких первых возможностей: вечером, одним из последних тёплых, уже туманных вечеров на Болоте, на улицах копошился народ, и жались парочки, и чуткие старухи гуляли, заложив руки за спину, и стайками бегали дети, пронзительно чеканя в тумане плохие слова. Негде, оказывается, спрятаться с первыми поцелуями на Болоте!

И Алёша повёл Ванду проулком, где дотлевал костерок, к Ишайке, к железному мостику. Они встали на берегу, наудачу свободно-

му от публики, и, посмотрев на запад, на недалёкий свет ещё одного, занявшегося костра, на его отражение в воде, Алёша понял, что публика собралась, стянулась на Костровом месте. Давно там никто не собирался!

Алёша открыл бутылку вина и налил в стаканчики. Ему не терпелось увидеть, как Ванда возьмёт стаканчик в левую руку и отставит мизинец. Она взяла и отставила. И он взял и отставил, показал ей, что отставил, и она поцеловала его в губы. Они выпили вино, и Алёша вылил всё оставшееся вино в Ишайку, положив затем осторожно бутылку на воду: плыви до самого Ледовитого океана!

Они поцеловались и ушли под железный мостик, где пахло ржавчиной и гнилью, и там Алёша целовал у Ванды грудь и ноги, и она у него плечи и грудь: в сердце целовала.

— Приходи ко мне завтра утром, — сказал Алёша, — можно завтра?

— Конечно, приду. Не послезавтра же, — засмеялась Ванда и прижала его голову, его губы к своим ногам.

— Я подарю тебе град, — прошептал Алёша, — собрал для тебя. Не знаю, зачем. Красивый, синий, град такой небесный.

— Алёша, любимый, — ответила Ванда, — поляки собирают град на счастье. И пьют из него чай. А я всё-таки полячка. Или полька, не знаю. Это ты счастье собрал.

И после этого Алёша повёл её на Гору, к храму, к могиле прапрадеда. Посвежело, загустел туман, их бил озноб от счастливой усталости, от пережитого. И от осенней прохлады, конечно. Алёша обнимал Ванду и видел, что ни его объятья, ни её тоненькая ветровка не помогают: она дрожит и ёжится, целуя его, и грудь её отвердела и заострилась.

— Тебе холодно? — спросил он, почему-то счастливый от того, что ей холодно.

Она вдруг засмеялась.

— Мне хорошо!.. А знаешь, чем папа окончательно покорил маму, когда ухаживал за ней и они бродили по ночам? Мама замёрзла, а он ей, с понтом под зонтом, по-польски: «Пани *зимно*?». «Зимно»… И мама — всё, готова.

И Алёша спрашивал её о родителях, о корнях, и она рассказывала, и её прадед Владислав Сигизмундович, дворянин (честно!) вынырнул из тьмы времени безумным потомским лошадником, и однажды у него отравили его победоносного скакуна Петушка, и он от горя попытался отравиться сам, шведскими спичками, его спасли, промыли ему желудок, но с тех пор он рехнулся и вёл себя как босяк…

И Алёша рассказал ей о славе прапрадеда и о происхождении своего имени, и с тем они пришли на церковный двор.

Там было темно, церковь тянулась в небо, дрожа куполками — по небу неровно бежали дробные облака. Они обошли церковь слева и вышли туда, где должна была быть арка с установленным на ней Колоколом. Еле различимый под серпиком растущей Луны, Благовест громадился, закрытый тёмным полотном. Навстречу им вышли два здоровенных парня-охранника с дубинками в руках.

— Идите отсюда, — сказали парни, — всё равно пока не на что смотреть, упаковано! И ходят, и ходят! Надоели!

— Тот, первый Благовест мой прапрадед ставил, — сказал им гордо Алёша, — понимаете? И не собираемся мы тут трогать, заглядывать…

— Врать не надо! — отвечали парни. — То-то вы явились на ночь глядя. Шатались, мимо шли — и зашли. А это вам не зоопарк. Брысь отсюда!

Алёша с Вандой прошли мимо них, обогнули церковь и с другой стороны двинулись к выходу со двора. Потому что клумба, а значит, и могила Василькова будет у них теперь на пути.

Они подошли к могиле. Где-то залаяла собака, и где-то, далеко внизу, на юге, кто-то запустил в Городе зелёную рассыпчатую ракету.

— Здравствуй, дедушка Алексей Афанасьевич, — сказал Алёша.

— Здравствуйте, — сказала Ванда.

И они приложили ладони к намогильной плите. И с трудом удержались, чтобы не вскрикнуть. Чугунная плита была тёплая, почти горячая. И на какой-то миг, показалось им, высветилась, так что проступили на ней буковки.

Глава десятая

Колокол

На следующий день Алёша опоздал на работу на добрых три часа, а и ушёл с неё преждевременно, впрочем, выполнив все заявки. В контору он заходить не стал, чтобы, не дай бог, Андрей Андреевич не подкинул ему чьих-нибудь недоделок. Позвонил Андрею Андреевичу, сказал, как и утром, что всё ещё плохо себя чувствует: давление, сильное головокружение. Начальник знал, что Алёша контуженный на войне, а днями получил по лбу. И отступился от него, впрочем, сказавши: «Не знаю, как сейчас, а утром ты выглядел совсем неплохо. Не зазнался ли ты, пианист?». Отработаю, отработаю, отвечал Алёша.

А Ванда поменялась сменами с Каргопольцевой, и они теперь могли сходить на Гору, где после трёх должно было начаться торжество, как выразился Тараканов, «по введению Благовеста в эксплуатацию».

Утро они провели вдвоём, и на память об этом утре есть у них секретная фотография, снятая «Полароидом», давно заброшенным матерью. Случайно, совершенно случайно сохранился в кассете единственный, как та папироса, кадр. Утро было ярким, скорее весенним, поэтому вспышка не понадобилась, и глаза у них на фото не красные: у Ванды, как обычно, прозрачно-кофейные, у Алёши, как обычно, светло-серые. За спиной у них ослеплённые солнцем обои, потерявшие свой цвет и обронившие узоры.

Они сидят, обнявшись, за столом, на котором перед ними пламенеет хрустальная ваза, доверху наполненная горящими алмазными градинами. Показывать эту фотографию нельзя никому, потому что Алёша с Вандой на ней, мягко сказать, неодеты.

Когда у них появятся дети, эту фотографию придётся уничтожить. Тут вопрос в том, скоро ли появятся, — известно, что полароидные снимки быстро выцветают, а прежде времени данный снимок ликвидировать будет неправильно. С другой стороны, фотографию можно как-то скопировать. Она очень дорога им.

После, когда градины подтаяли, они напились счастливого чаю.

Когда они расставались, уставшие, измученные друг другом, понимая, что усталость эта пройдёт через четверть часа, а они уже будут обидно далеки друг от друга, Ванда пригорюнилась и сказала:

— Я не должна больше работать в магазине. Не потому, что я белоручка, тут другое, понимаешь?

— Мы что-нибудь придумаем, я уже думаю, — сказал Алёша, — мы будем вместе всегда. Разве мы когда-нибудь надоедим…

И испугался сказанного, и Ванда испугалась тоже. Жизнь со всей её скукой выглянула из-за угла. Ого что им предстоит!

И они особенно нежно и крепко целовались в открытую у подъезда, впервые прощаясь как родные люди. И смотрел на них издалека, теребя очки, невыспавшийся инвалид Павел Васильевич и бормотал «чистое кино».

После трёх, под и после весёлого перезвона колокольцев на звоннице Вознесенской церкви, значительная часть праздного населения Болота поднялась наверх, на юго-восточный мыс Вознесенской горы, к парящей над Болотом церкви.

Её видно с Болота всем, кроме тех, кто живёт на Загорной улице прямо под ней. Видно по плечи и из Алёшиного окна.

Кто-то остался в родных палестинах, вышел на улицу, чтобы задрать голову на происходящее наверху, хотя Благовест перекрывался церковной оградой и увидеть хоть что-то на самом деле было невозможно. Только почувствовать было можно. У этой части болотненских сработали некие тормоза: они знали, что там соберётся уйма городских. И стеснение пополам с гонором удержали их от восхождения на Гору, не хотелось им смешиваться с городскими.

Эти «лягушки» в основном переминались у пуховского забора, откуда тоже ничего не рассмотришь, но, видимо, как-то лучше не рассмотришь, чем с другой точки Болота, — и отвлекались на дуб. Один дурень, из редких новосёлов Болота, хотел забраться на дуб, но Михаил энергично прогнал его, единодушно поддержанный общественностью. Он сам никогда не лазил на дуб, не полез и сейчас.

Среди прочих здесь был и Алёша — пока был, он дожидался Ванду. Он взял с собой бинокль, но толку в разглядывании многократно увеличенных балясин церковной ограды не было. Сверху доносился неясный плавный ропот.

И Алёша принялся разглядывать церковь. Конечно, среди присутствующих нашёлся человек, по случаю от всей души похваливший нашу Вознесенскую церковь за красоту, за изящество, за сохранённую в веках юность облика.

Её поставили в конце восемнадцатого века, архитектором был русский ученик Растрелли, и она, дочь русского барокко, действительно очень хороша, воздушна, просится в небо и снизу кажется плывущей в нём, обгоняя облака. «Смотришь на неё — и понимаешь, каких женщин тогда красавицами считали».

Местные живописцы много, много раз за истекшие два века пытались её нарисовать и маслом, и акварелью, и карандашами, на холсте и на бумаге, но, какого бы таланту они ни были, с каких только сторон к ней ни присматривались, церковка им никак не давалась. Изображения получались аляповатые, слащавые, пряничные, вычурные. В них исчезало её тонкое, строгое, девичье обаяние, её полётность, невесомость. Видно, вынимать её из ландшафта, обрезая и небо, и твердь, — дело обречённое.

Прежний, первый и единственный, Благовест прописался здесь сто лет назад. Лучшего для него места в Городе не находилось. Три храма в Потомске в разное время принимали на себя звание соборных, но все они находились на равнине, в «глуби», и на пересечённом холмами городском окоёме, сквозь вой вьюги, слабо, ненадёжно разносился звон их лёгких, маломочных колоколов. Это было просто неприлично — целый век до установки Благовеста самым голосистым колоколом в Потомске был монастырский, весивший всего-то девяносто пудов.

Не везло Городу с колоколами. Город крупнел, тучнел, набирался авторитета, а колокола в нём были сельские, домашние, а настоящего Благовеста вовсе не имелось.

В таком же городе он необходим, «дабы вси, слышаши звенение его во дни и в нощи, возбуждались к славословию Господня Имени».

И всем было понятно, где ему место, откуда должен раздаваться его голос: с Горы. С первой Горы, конечно. Понятно это было и

истовому ревнителю Веры прихожанину Вознесенской церкви купцу Алексею Афанасьевичу Василькову, который в самом конце девятнадцатого века дал обет восставить Благовест в честь венчания монаршьей четы Николая и Александры 14-го мая 1896-го года.

Он заказал Колокол в Ярославле, на знаменитом тогда заводе братьев Оловянишниковых. Весил Благовест полных семнадцать тонн, а язык его тянул на две тонны, и работать с ним по полной могли шесть звонарей. Изображены на нём были, по обычаю, горельефным образом, евангелисты.

В декабре 1902 года Колокол привезли по железной дороге, погрузили в нарочитые гигантские сани, и они его приняли, выдержали. А вот сдвинуть сани с места не могли долго. Пришлось изустно и через газету собирать охотников с лошадьми — сорок пять лошадей и несколько сотен горожан доставили наш Царь-колокол на Вознесенскую гору!

На следующий день, 19-го декабря, при молебне, колокол вознесли на отдельную кирпично-стальную колокольню. Умилялись, плакали, услышав его чистый и мощный глас. Такой густой и плотный, что доходил он до окрестных деревень за тридцать, за сорок вёрст.

И какой был отныне красный звон на Пасху, на Рождество, когда под началом Царь-колокола выстраивалась симфония с участием всех городских звонниц!

Свершив свой обет, на будущий год умер купец Васильков, похороненный рядом со своим даром Потомску.

А колокол погубили большевики. В 1934-м году в стране Советов запретили колокольный звон. Колокола изымались сплошь и отправлялись на переплавку. Новой вере нужны были радио и духовые оркестры, а стране был нужен металл.

Так погибал потомский Царь-колокол: под Рождество, в жгучий холод, его сняли с колокольни. Много бессильного, притихшего народу собралось тогда вокруг Вознесенской церкви. Вывезти его целиком оказалось невозможным — а хотели целиком и спешно, чтобы «избежать контрреволюционных выходок и провокаций». Решили разбить на куски, и, пока носились за нужными инструментами и собирали отборно-бессовестных нужных людей, колокол стоял на снегу, у паперти храма, охраняемый испуганным милиционером. И тогда прихожане, и среди них прабабушка и бабушка Алёши, стали прощаться с колоколом, целуя его в первый и последний раз. На морозе губы приставали к его полотну, и весь колокол был в пятнах крови, сгоревших потом вместе с Благовестом при расплавлении его. «Дураки, невежество», причитал замёрзший милиционер-комсомолец, мечтая о спирте и сале к нему.

Колокол разбили и увезли на колонне саней и хрюкающих грузовиков, и ни намёка на бунт не исходило от серой публики из «бывших», плачущей, шепчущей и окончательно, может быть, в этот день осознавшей, какая такая радостная жизнь дожидается её в ближайшем грядущем.

Вознесенскую церковь, сбив кресты, превратили в архив. Тут ей повезло, что не в заводской цех, как Богоявленскую, не в спиртовый склад, как Петропавловскую, не в клуб. Не жгли на паперти образа, не мочились на амвоне задорные комсомольцы — всё-таки Потомск не одичавшая деревня. Или им не разрешили? Или они побоялись?

Могилу Алексея Афанасьевича сровняли с землей, но косточки его не тронули. И на том спасибо.

Когда через шестьдесят лет вновь освятили Вознесенскую церковь, её главный из колоколов весил несчастных девять пудов и говорить мог только о вящем смирении.

И вот нынче прибыл в Потомск новый Благовест, на законное Своё местоположение, в достаточную, надо думать, половину веса своего предшественника. Горельефов на нём нет, зато есть на нём приличные надписи о казённых персонах — радетелях его обретения. Отливали его на сей раз в Воронеже, и с доставкой его на конечную остановку трудностей не возникало.

Сегодня, в начале сентября 200. года, клир потомской епархии, весь цвет потомской бюрократии и тысячи простых горожан приимут новый Благовест и поклонятся ему. Газеты и телевидение уже широко, с историческими экскурсами оповестили об этом событии, и ничего страшного в том, что одна милая девушка-журналист назвала его «презентацией», а другая славная девушка-журналист озаглавила свою статью «Набат над городом», имея в виду, что «набат» — это очень громко и празднично.

Алёша опустил бинокль и увидел Ванду, идущую к нему от дома. Она была ещё далеко, шла, почему-то спотыкаясь, и одета была в бежевую ветровку и неизвестные ему чёрные брючки, для неё широковатые. Бессмысленно собравшиеся у забора люди не знали, что по Болотной идёт его любимая девушка. Он хотел пойти ей навстречу, но его прихватил за локоть подошедший с другой стороны Тараканов и сказал: «Актинии живут вечно, ты слыхал?». «Кто такие актинии?» — спросил Алёша. «Не в курсе, — растерялся Тараканов, — они в море живут». «Спасибо, — сказал Алёша, — жить стало полегче. Ты, Тараканов, прям…» «Знаю, знаю, — замахал на него Тараканов, — молчи, люди кругом».

Подошла Ванда. Ввиду людей они скромно потёрлись носами. Вечный сосед Тараканов отнёсся к такому знаку несомненной близости до обидного равнодушно, будто так и должно быть.

— Почему ты в брюках, — спросил Алёша, — боишься, там ветер, холодно?

— Мы на лестницу пойдём, — ответила Ванда, — и другие пойдут, а она длинная, высокая. У меня все юбки короткие.

Они втроём пошли на Загорную, к лестнице. Алёша с Вандой прижимались друг к другу, не разнимая рук, и Тараканов, уже, пожалуй, подлец, шёл рядом как ни в чём не бывало и говорил смешные слова о своих бабках.

По лестнице поднимались разные люди; у её подножья топала ногами и пронзительно кричала маленькая девочка. Ей тоже хотелось наверх, но родители оставляли её с бабушкой. Кричала она так отчаянно, что лежавшая почти под её ногами загорненская собака, молчаливая по природе своей, не выдержала и завыла в ответ, а потом поднялась и, словно чертыхаясь на девочку, затрусила прочь.

Забираясь под девочкины вопли по этой раздолбанной лестнице, они обогнали низенького, странно одетого человечка. На нём был долгополый какой-то зипун, шаровары и на ногах, похоже, *лапти*. На круглом, пучками заросшем лице моргали косенькие глазки. Он отдыхал на середине подъёма, держа в зубах тоненькую стальную струнку, вроде гитарной, и теребил её пальцем. Зудение струнки, неожиданно громкое, говорило о его музыкальной опытности и составляло достойный аккомпанемент воплям снизу.

— Иосиньку дедушка послал, — сказал он им, — Иосинька спрашивает: там лошадки будут? Иосинька любит лошадок.

— Лошадок не будет, — отвечал ему приветливый Тараканов, — а вот *кони* будут, много коней, нажравшихся овса с мясом.

Иосинька ему не поверил, брехуну. Лошадки ли, кони ли — мяса не едят. Все они врут и шутят.

— Вы идите, — сказал он, — он тоже придёт.

— Кто он? — спросил его сверху Тараканов.

— Иосинька же, — ответил Иосинька, — не видишь, что ли?

— Ой, вижу! — обрадовался Тараканов и повернулся к Алёше и Ванде, застав их в лаконичном полевом поцелуе. И опять — полное равнодушие.

Переступая с лестницы на Гору, Алёша не выдержал и сказал:

— Ты что, Тараканов, не понял, что мы влюблены?

— Я помню чудное мгновенье, — с достоинством ответил Тараканов, — всё я понял, а хотел вас помучить. Получилось, однако. Хвастаются они!

Алёша и Ванда поняли, что они обожают Тараканова.

Тараканов убежал от них — «занимать хорошее место», а они немножко постояли, чтобы покурить про запас, у храма курить было неладно.

Мимо к церкви двигались горожане, и двигались в добром настроении, представляясь верующими христианами. От церкви явственно доносилось пение хора семинаристов: «Коль славен наш Господь в Сионе».

— Послушай, послушай, — сказала Ванда, — мне кажется, что всё это в чём-то и в нашу честь, и про нас. То есть неслучайно: мы с тобой — и такой день.

— Я тебе то же самое хотел сказать, — ответил Алёша, — ты меня опередила.

Тараканов был прав, поспешив занять «хорошее место». Огромная толпа заполнила церковный двор, люди плотно стояли и за воротами, и дальше вокруг церкви, и на улице Пушкина, и во всех прилегающих дворах. Церковь заслоняла от них Благовест, установленный в юго-западном углу двора, и подавляющему большинству пришедших доведётся поначалу только услышать его голос. А увидеть его они смогут потом, когда закончится церемония, и избранные увидевшие, насмотревшись, уступят всем прочим подходы к Колоколу.

С одной стороны, это напоминало похороны большого, уважаемого человека. С другой, Алёша почувствовал, что в происходящем есть какой-то стандартный мирской тон, словно открывают очередную школу или детский сад на селе, и, не избалованные зрелищами, пришли селяне всем числом, от мала до велика, прихватив с собой из дому за пазухой толику скепсиса — мало ли что.

Внутри двора, в его юго-восточном углу, оставался незанятый клочок пространства, мёртвая зона, куда и пробрались Алёша с Вандой. Видна оттуда, за головами, была лишь самая верхушка арки перекрытия, и оставалось непонятным, снято ли с Колокола покрывало, видит ли избранный народ? Ведь перед молебном его, наверное, должны снять, чтобы кропить святой водой и так далее? Ничего не знали про эти тонкости Алёша с Вандой.

Хор пел, звенели безостановочно детские колокола церкви. Алёша посмотрел на часы: без пятнадцати четыре. Значит, начнут в четыре.

Владыка был взволнован. Высокое, торжественное настроение перебивалось в нём набегающей тревогой. И прорывалось раздражение. Подчинённые отлично знали, что такое раздражённый владыка, улавливали сразу эти накопления грозового и морозного в нём, и с утра взирали на него с опаской, недоумевая, но не знал и не мог знать и почувствовать того сам себе оттоптавший душу игривый Трясогузкин. По дороге к храму он, с видом главного действующего лица, при каждом удобном и неудобном случае бестак-

тно подбегал к владыке с какими-то репликами, уточнениями и непрестанно крестился, крестился и крестился, крестился и крестился. И случился скандал.

Владыка, всегда чрезвычайно осторожный, элегантно-снисходительный в общении со светскими властями, сорвался. Он ядовито и грубо сказал Трясогузкину при свидетелях: «Не употребляйте вы крестное знамение всуе! Не уподобляйтесь вы фарисеям! У вас руки превратились в пропеллер, это неприлично! Вам ли, с вашими фокусами…».

Трясогузкин побелел парализованным лицом и отскочил мячиком, и владыку окатило волной здоровой плебейской ненависти.

Владыка пожалел, что сорвался; не потому, что испугался Трясогузкина (что было бы смешно), а потому, что чистота предстоящего великого ритуала прямо зависела от чистоты его душевного настроя. А на душе были пятна.

И более того: глядя на толпу, в особенности на умильноликих чиновников, он не мог отделаться от мысли об отчётливо декоративном оттенке данного сущего. И много ли здесь истинно верующих, не профанов, не дешёвых индульгентов? Они пришли «расправить» душу, выразить «уважение» к «вере предков». А были ли когда-нибудь такая шаткость в нравах, в убеждениях, как сегодня?

Заняв своё место у паперти церкви среди выстроившихся по ряду и чину клириков и знатных мирян, он забыл о Трясогузкине и последующих горьких мыслях, потому что его охватило новое ощущение. Сначала он увидел за толпой прижавшегося к ограде с внешней стороны вполне юродивого человечка. Человечек этот, зацепившись локтями за парапет, зависая на нём, держал в зубах что-то, видимо, струну, потому что под носом у него подпрыгивал указательный палец правой руки. «Знаю его, подумал владыка, Иосинька-со-стрункой!»

И тут же почувствовал несомненное давление чьего-то, не то чтобы недоброго, но пристального, поддавливающего взгляда. Кто-то глядел с юга, снизу, и, поскольку на пути этого взгляда были взлобье горы, ограда, люди, Благовест, прямого визуального контакта быть не могло: кто-то глядел сквозь землю, сквозь живое и неживое, и взгляд властно проходил и доходил до владыки.

И владыка Парфений знал, чей это был взгляд. Почти напугав клириков, за считанные минуты до начала молебна он прошёл, заставляя себя улыбаться, между расступающихся людей к южной стороне ограды. Там, внизу, далеко, у широкого проёма колокольни монастырского храма стоял невидимый ему Старец и смотрел на него уже напрямую.

«Что же ты явился, Старец? Зачем? Что же ты мне, нам сулишь? Наказание? Неужто так всё плохо?.. Да плохо, плохо, сам знаю. Но не

сижу же я сложа руки…» — думал владыка, оправдывался владыка.

Рядом случились поклонившиеся ему юноша и девушка, красивые в своём взаимном притяжении. На груди у юноши был бинокль. И с огромным трудом удержался владыка от того, чтобы попросить у него бинокль. Перекрестил простор — «вижу тебя, досточтимый» — перекрестил Алёшу с Вандой, глубочайше вздохнул и пошёл обратно.

— Волнуется владыка, сосредотачивается, — между тем объясняли его поход духовные мирянам, — принимать Благовест даётся в жизни однажды, это и в столетиях великое счастье!

А вставший на своё место владыка собирался с духом, опустив глаза на чудовищные носки своих туфель. «И никому, и, может быть, никогда нельзя рассказать об этом. Мы не готовы к чуду. И для меня это — чудо? Или я всё-таки болен?» — размышлял он.

(Потом, поздним вечером, по следам *произошедшего*, дознавал владыка у Константина: появлялся ли пресловутый старик в монастыре, пробирался ли на колокольню? И уже равнодушный Константин отвечал: нет, владыко, не появлялся. Весь день провёл он на монастырском дворе, без присеста, без маковой росинки во рту, под ярким слепящим солнцем, и стояла на дворе тишина, такая, что слышны были кошачьи переступы по асфальту, и никого из посторонних не увидел Константин.

— А звонарь Серёжа?

— Что звонарь, простите, владыко?

— А звонарь не видел старика, не принимал его на колокольне?

— Нет, владыко. Не мог я просмотреть, но на всякий пожарный… простите, владыко… спрашивал я его о гостях. Сергей рассердился: с какой стати он пустит кого-то без благословения, без разрешения. Немыслимое это дело. Откуда и взялся такой дикий вопрос?

— Всё забудь, — сказал ему тогда бледный владыка, — объяснения потом.

Но объяснения не потребовались.)

Алёша приложил бинокль к глазам: куда, на что глядел владыка? И бинокль сам отыскал интересное: широкий проём монастырской колокольни. И в нём — глядящий на Гору, на Алёшу знакомый старик с поднятой в троеперстии рукой и шевелящий сейчас губами, сказавший в град Алёше: «Знаю твою заботу». Волнение забилось в Алёше ключами.

А за спиной старика — вызолоченный солнцем торс звонаря: голова его была невидима, срезанная ракурсом, трудился звонарь в глубине колокольни, топчась на возвышении, напоминающем трибуну.

Алёша передал бинокль Ванде.

— Что это значит? — спросила она. — Что делает там этот дедушка?

— Не знаю. Но что-то значит… И, к примеру, почему он там, а не здесь?

— Ты его знаешь? — удивилась Ванда.

— Знаю. И ты понимаешь…

И тут замолчали весёлые колокольца, оборвалось пение. По толпе прошёл гул, подхваченный людьми за церковной оградой. Это значило: сняли покрывало, и люди увидели Благовест и любовались им. Начинается молебен.

И Алёша с Вандой услышали высокий голос владыки, искусной чеканки голос, в котором строгость встречалась с надеждой.

Молебен закончился, и могучая твердь Благовеста дожидалась первого рабочего прикосновения слабых рук человеческих, и народ приглядывался к колокольному языку, и кому-то с мирским воображением он казался выменем особого назначения. Золотом горело полотно Благовеста, и платиной вспыхивали усыпавшие его капли святой воды.

Тараканов стоял в толпе, в первых её рядах, напротив Благовеста, видя всё, там, где и при желании упасть было невозможно, и почесать нос было затруднительно. Перед ним, через узкую ладонь свободного прохода к колоколу, готовились к решающим слово- и телодвижениям главные действующие лица. Серебряный губернатор Иван Тарасович Нарымов поправлял галстук; бессознательно, но изящно подтянул брюки Трясогузкин; репетировала народную улыбку спикер Дарья Андреевна Мигунова.

Вот они подошли к владыке, и он их кратко проинструктировал и перекрестил. Вот под гул толпы произнесли свои речи владыка и губернатор. Владыка красиво говорил о значении и назначении Благовеста, а губернатор говорил мало и понять его было трудно: слова он произносил резко, словно скрёб по жести, и они распадались, не успев связаться в предложения.

Потом трое подошли к цокольной площадке под Благовестом, оглянулись на владыку. Владыка кивнул, и они взялись за «вожжи» — и замерли под вспышками фотоаппаратов со счастливыми лицами. Счастье читалось на лицах во всём его многообразии: у Дарьи Андреевны оно походило на вспомянутое материнское, у губернатора это было сдержанное гомеровское торжество победителя, а Трясогузкин изображал пиитический восторг и рвался в небо, как накачанный гелием в мягкое место.

Они снова оглянулись на Парфения, и Парфений кивнул. И — …

Первое слово Благовеста оказалось не просто скомканным.

Язык глухо лязгнул, а Колокол не отозвался, ибо тут же стальная балка перекрытия беззвучно пошла дугой вниз, и огромный Колокол плавно опустился на землю, запечатав под собой видных представителей губернии.

Напрасно дожидались на колокольнях городских и пригородных храмов звонари — отвечать им было не на что, и опустятся их руки и головы.

— А-ах! — выдохнули тысячи ртов, и это «а-ах» побежало по толпе во все стороны, на прилегающие улицы, как степной пал в сильный ветер.

И наступила поистине жуткая тишина, в которой громкими и наглыми слышались переклички редких воробьёв и голубей. А откуда-то из южных глубин города доносилось адово уханье копра, забивающего сваю.

И тут петухом прокричал за спиной у Тараканова Иосинька. И Тараканов, не озираясь, понял, кто прокричал. И холод пробежал не по одной его спине.

Никогда, ни до, ни после, не доводилось владыке Парфению так властвовать над людьми. Не велит владыка причитать, суща херувимская в нём стать.

Одними скупыми жестами подъятых дланей утихомирил он взрыв панической истерики в самом зародыше. Именно на него, только на него глядели с надеждой люди — и вот: успокаивались от церковного двора до улиц.

Осунувшиеся люди, конечно, переживали, но уже согласны были подождать. Но переживали-ждали с тревогой, и не в одной заботе об узниках колокола, скрюченных и прижатых под ним, была их печаль. (Многим, увы, многим в толпе они были чужды, и роились в головах многих соблазнительно-ёрнические мысли.) Другое: нисхождение колокола могло быть каким-то важным, и важно-нелестным для всего города знаком Свыше, в череде других за истекшие века.

И охватили застывшую толпу неясные воспоминания о том, о чём большинство не осведомлено было фактически, но что с пронзительной силой напомнило о себе в миноре подсознания.

Так. Но переживали тихо, целомудренно, вслушиваясь не столько в утешительные слова молитвы чрезвычайной, сколько проникаясь её настроением, и всё-таки шёпотом высказывая опасения: живы ли, не задохнутся ли, послано ли за неким могучим краном-избавителем.

И те, кто сам не видел произошедшего и не мог расслышать молитву, вели себя подобно: молитва доходила от слышащих до неслышащих моторным образом, так же как и образ владыки несогбенного — беда случилась, но Бог даст, и всё образуется.

А за краном послали; он уже громыхал по улицам Горы — недалеко было гнездо этого крана. И никто в толпе не заметил, как догадливый пресс-секретарь губернатора, отойдя в сторонку, пытается дозвониться патрону по сотовому. Не отзывается Иван Тарасович, и роботный женский голос гадит в ухо: «Абонент вне зоны связи», и весь ледяной кромешный Космос воплощается в этом голосе для пресс-секретаря, любившего начальство своё и по службе, из выгоды, и по-человечески, без особой на то нужды и выгоды.

Пришёл кран. Толпа раздалась — и сейчас народ загудел в нетерпении, и, утонувшая в гуле, онемела молитва в устах священников. Вот в колокольное ухо продели питоний трос, вот подбежал крановщик, неверующий человек, к владыке за благословением (до того он и не знал, что это такое — толкнуло его как-то!), получил его, забрался в свою кабину.

И вот — бережно потянул колокол вверх.

И — о-о-о! — воскликнула разом толпа, потому что под ним, на цокольной площадке, было пусто, чисто. *Узники исчезли.*

На гладком пьедестале лежали очки в золотой оправе, целёхонькие, в которых признали очки с переносицы губернского спикера Дарьи Андреевны Мигуновой.

Изумлённые люди смотрели на них — и на то, как голубь, лохматый и грязный, как заслуженный малярный квач, спикировал на очки, шевельнул их взмахом крыл, клюнул пару раз, растопырил крылья, вызывающе оглядел толпу своими глупыми глазами — и взмыл, полетел. Полетел куда-то на восток, пропадая в небе.

— Полетел, — громко сказал кто-то в толпе.

— Полетел, полетел, — подхватили многие.

— Полетел, — качая головой, сказал владыка, — однако ж, на восток?

И все, как по команде, закрыли на секунды измученные глаза.

И никто не увидел, как Александр Тараканов, раздвинув стоящих перед ним, прокрался к цокольной площадке и подобрал очки, засунув их в нагрудный карман своей китайской безрукавки.

Глава одиннадцатая

Старец и Синяя птица

С отлётом голубя, с этого самого момента потомцы перестали удивляться и тому, что произошло, и тому, что ещё произойдёт. И те, кто видел осечку, и те, кто, живя далеко или безразлично, не видел этого, не знали и не догадывались, что в Город пришёл Благовест, да присел Благовест. Никто ничему не удивлялся, воспринимая всё подряд как должное и обыкновенное, а между тем

замёрзло в Потомске море Интернета и оборвалась сотовая связь. Да ведь никто и не будет пытаться связаться с родственниками и знакомыми в Потомске и других городах, чтобы рассказать или обсудить сие необычайное.

Потому что и разошедшиеся с Горы, и все прочие потомцы не будут вспоминать про Благовест, ни про беду с ним. Не будет об этом вечерних репортажей на телевидении, ни завтрашних заметок в газетах, кто бы их читал, эти газеты. Газеты вообще не выйдут, а в телеэфире что вечером, что утром не сменят местные каналы привычных прелестей грудастого и мордастого столичного вещания.

А между тем под Москвой, на секретном аэродроме уже выруливал на взлёт синий, шарового оттенка, самолёт, по габаритам — стратегический бомбардировщик, без иллюминаторов и опознавательных знаков, известный в очень узких кругах как Синяя птица.

Потомск, 16.30—19.30 (пока летит к Потомску самолёт).

Хроника этих трёх часов из жизни города отрывочна, лоскутна, в чём-то неизбежно легендарна, ибо только одиннадцати свидетелям дано было помнить всё, но из этих одиннадцати только один владыка имел доступ к серьёзной информации — и то в основном с чужих слов.

Прежде всего: чиновничьи ноги привели их владельцев на службу, каждого на свою. Те же ответственные лица, что не принимали участия в несостоявшемся празднике духовности, её и не покидали. Так как рабочий день продолжался.

Сегодня он затянется на добрых полтора часа.

Губернатор Иван Тарасович Нарымов обнаружился на четвёртом этаже Серого дома, в заполненном до отказа зале заседаний областной администрации. Он сидел на своём президиумном месте за микрофоном, будучи серебрян, спокоен и нордичен. Ни тени пережитого огорчения, ни следов ужасного узничества — напротив, судьбоносная бодрость и решимость читались в его облике: не провал праздника, не конец его, но его начало.

Прежде чем открыть чрезвычайное заседание руководства Потомской области, он объявил: я приглашаю всех присутствующих выйти в коридор для прохождения необходимой очистительной процедуры.

И присутствующие, с весёлым птичьим гомоном и пошучивая друг над другом, выходили в длинный просторный коридор, где они, стекаясь на совещание, уже заметили нескончаемую череду столов, выстроенных вдоль сплошных окон. И по команде невысокого приветливого человека в зелёном халате принялись, не спрашивая лишнего, укладываться на столешницы, на спину, обнажая свои белые мягкие, как опара, животы.

Спикер государственной думы Потомской области Дарья Андреевна Мигунова, торжественная, как матушка-царица в фильме «Ночь перед Рождеством», подержав в руках букет белых хризантем, объявила в заполненном согласно списочному составу зале думы, на третьем этаже, что сегодняшнее заседание будет чрезвычайным, догадываетесь. Догадываемся! — возопили депутаты. Но прежде нужно будет выйти в коридор и пройти одну очень важную процедуру. Для этого нужно лечь на выставленные в коридоре столы — «вы, наверное, обратили на них внимание» — и обнажить животы. Для женщин, с их платьями, столы приготовлены в первом переходе направо. Очки можно не снимать, пошутила она, потрогав свои изумительные модные золотые очки со стразами. (И никто не вспомнил, что она их потеряла.) И законодатели, толкаясь в проходах и дверях, радостно двинулись в коридор, где их ждал невысокий приветливый человек в зелёном халате, и стали ложиться на столы. Белизна их животов ничем не уступала белизне животов представителей исполнительной власти.

Начальник департамента по культуре Олег Сергеевич Трясогузкин, не кобенясь, как обычно, но невредимый и оптимистичный, но почему-то в новом, на сей раз ослепительно белом костюме, объявил сотрудникам департамента те же вводные, и так же выстроились в широком, только без окон, коридоре департамента столы. Дело происходило в здании напротив Серого дома. Коридор здесь один и прямой, поэтому он был гендерно перегорожен повешенными поперёк него оливковыми бархатными кулисами, доставленными из театра юного зрителя. И встречал сотрудников, в основном дам, всё тот же невысокий человек в зелёном халате.

Приходится согласиться, что в этом его единовременном присутствии не только на разных этажах, но и в разных зданиях города (и, надо думать, и ещё, и ещё где-то) есть несомненный мистический момент, находящийся за пределами научного объяснения. Но сам этот человек авторитетно принадлежал медицинской науке.

Его звали Аркадий Владимирович Пак. Кореец по корням, выученник Потомска, он давно проживал и трудился в столице нашей Родины, но как-то очень вовремя очутился в этот знаменательный день в Потомске. Добрейшей души человек, он освоил, путём двадцатилетней учёбы у наставников из Сеула и Пусана, древнее искусство *прижигания*. Прижигая разные точки, по две, по три, на теле человеческом (эту боль от огня, по-своему святую, терпели люди, чая обновления), он исцелял от обжорства, пьянства, похоти — или, напротив, возвращал человеку аппетит, стойкость или отвращение к спиртному и состоятельность в личной жизни.

Десятки тысяч животов, ключиц, локтей, колен и ягодиц отме-

чены ныне следами его спасительных ожогов. Есть в России Орден Пака!

И очень важно, что в последние годы, поднимаясь по ступеням своего знания, доктор Пак научился уже и лечить огнём саму истерзанную меркантилизмом и колючей пустотой душу человеческую, чистить и возвышать её.

Какой же блистательный шанс давали ему в этот сентябрьский вечер видные представители потомской гридницы! Какой же блистательный шанс обретения смысла жизни получали они от доктора Пака!

Ныне процедура была для всех одинакова, и целью её было освобождение чиноза от грехов мздоимства и алкоголизма. И, в некотором роде, и обнаружение степени заблуждения человеческого, так как чем глубже увяз человек в трясине зла, тем больнее ему было, тем громче издавал он своим честнеющим ртом звуки нравственного освобождения.

И вот почему доктор Пак прижигал всем, за некоторыми исключениями, две точки выше и ниже пупка — и прижигал их, запаливая чудные бомбочки из сухой полыни, смазанной масляной смесью, рецепт которой изобрёл в шестом веке нашей эры мудрец, живший в устье великой реки Туманган.

Исключением, но не единственным, явился, например, Трясогузкин, коему, бросив на него проницательный взор и перевернув, Аркадий Владимирович дополнительно прижёг серединки ягодичных долей.

И зарядились конвейеры на двух этажах Серого дома и в коридоре департамента по культуре (и в других весях?). Доктор Пак поджигал бомбочки с одного конца и, пока он доходил до другого, завершалась процедура у первых его пациентов. И, торопясь вспять, большое душевное и профессиональное удовольствие получал Аркадий Владимирович, усмехаясь на выделяющиеся в общем санационном хоре голоса сугубых грешников, дымящихся пуще других.

Запах горящей полыни мешался с запахом горящей плоти, сизый дым заволакивал коридоры, и царственными по точности, по артистизму были осанка, иноходь и пластика рук всеприсущего доктора Пака.

И возвышались в коридорах власти над простёртыми заслуженные артисты России Поляков, Казаков и Тарасов, декламируя воспитующие гражданские стихотворения Н. А. Некрасова. Тут тоже мистика: они помнили и читали наизусть то, что они никогда не учили наизусть, а иногда и не читали даже вовсе. И каждого хвалил за помощь всеприсущий Аркадий Владимирович, и повторял за ними: «Вот парадный подъезд!».

О том, что подобное происходило и в других официальных присутствиях, с восторгом свидетельствовал отец Георгий. Проезжая мимо здания областного управления внутренних дел, видел он махрящийся из окон густой сизый дым и слышал страшные, душераздирающие вопли. Видимо, у них был сеанс коллективного лечения, резюмировал отец Георгий, а вот в соседнем здании УФСБ окна были закрыты, спокойствие; перед зданием стояли двое спокойных подтянутых мужчин, наверное, офицеров, они без эмоций смотрели на милицейские окна, безусловно слыша доносящиеся вокализы. («Ну да, подумал владыка, их обнесло. Так и должно быть».) А под окнами ОУВД собралась толпа и с воодушевлением, с поднятыми вверх указательными пальцами внимала и обсуждала представшее.

— А у нас будет такое лечение? — с надеждой спросил отец Георгий. — Хорошо бы… Или нам не надлежит?

— Не надлежит, — отвечал угрюмый владыка, один из немногих, способных оценить вакханалию происходящего, — а вот порку я бы вам устроил, да Синод не велит.

Потом он пожалеет, что хотя бы не прошёлся по городу, ограничившись прогулкой с отцом Николаем до крыльца Серого дома и обратно. Народ был оживлён, как в 1917-м году, говорлив, и, однако, ни в одном лице (включая о. Николая, как и о. Георгия) не усмотрел он вопрошания, удивления или скепсиса. Вокруг владыки сгущалась новая, пугающая реальность, и он был один-единственный гость из старого мира в этом новом. Он догадывался, что это ненадолго, что надо потерпеть, но сколько же и за какую плату? «Не дай мне сойти с ума, Господи, воззвал он мысленно, если я уже не сошёл с ума, конечно».

Действительно, епархия осталась нетронута. Может быть, не тронуло и мечети, и синагогу, и имамов, и раввинов, но владыка об этом не знал и уже не узнает никогда.

О дальнейшем владыка узнал, в частности, от зашедшего к нему по губернаторскому поручению чиновника из Серого дома (18.50 — 19.25) следующее.

Совещание у губернатора прошло под лозунгами борьбы за соблюдение законности во всём её буквенном содержании; всемерной и опережающей федеральные инициативы заботы о культуре, здравоохранении, образовании, стариках и детях (тут звучали тезисы революционнейшие, и согласные во всём присутствующие плакали от умиления); принято было решение об отказе следовать современному федеральному налогообложению (плакали!) и т. п.

Губернатор предложил, хорошенько покаявшись (покаялись, очень было шумно!!!), создать Благотворительный Фонд Попече-

ния о Любимом Потомске на средства собравшихся, и сам первым сделал громадный взнос в рублях, валюте, недвижимости и движимости.

И что тут началось! (Тут чиновник зарыдал, и рыдал уже до конца своей баллады, что очень вредило связности повествования.)

На больницы, школы и детские сады, и детские дома, и на городской и на областной ландшафт, на дороги, и на несчастных и даже на некоторые категории счастливых хлынул ливень взносимых денег, особняков, квартир, автомобилей. И даже обнаружились замки-заимки в лесной глуши, и даже заветная недвижимость в Краснодарском крае, Крыму, Греции, Испании, Черногории, Болгарии и ряде других стран — всё приносилось на алтарь губернского счастья, и говорили плачущие собаки-чинозы Ивану Тарасовичу: «Берите, берите! Мы ещё заработаем!». И явились среди них и новые, и старые, находящиеся на покое, акулы энергетики, ЖКХ и дорожного строительства, опекуны великих труб и прочие и говорили то же.

И все писали обещательные бумаги — и все нотариусы города обнаружились в полынной дымке за теми столами в коридорах.

«Не торопитесь так, друзья, — говорил им Иван Тарасович, — постепенно, постепенно, тут главное обратить наши накопления в рабочие места, это обсуждать будем! Думать надо, так мы тунеядцев расплодим и всё профукаем!»

И наконец, по-хорошему остервенясь от свежей боли в обожжённых ранках около пупков, приняли решение: «Покончить с откатами жирным московским котам! Им и так жирно! Да здравствует Россия, да здравствует Сибирь!». И договорились, что завтра с утра примут подготовленное этой ночью «Обращение к жителям Потомской области».

И в завершение а-капелла пропели «Славься!».

Точно так же, но с законодательным уклоном прошло на третьем этаже экстраординарное заседание Государственной думы Потомской области.

Как, оказывается, богата наша Россия и Потомская область в ней! Не только хорошими людьми! Вот и открылся секрет наших-пренаших средних зарплат!

В департаменте по культуре всё было, понятно, не столь грандиозно, хотя Трясогузкин и его заместители не подкачали. Здесь звучал лозунг превращения древнего, богатого традициями Потомска в культурную столицу всей провинциальной России. Работники департамента поклялись никогда в жизни не употреблять такие слова, как «бренд», «тренд», «инновация», «кластер» и подобные, и выражения типа «ты передо мной на брюхе будешь ползать», «перед рынком все равны» и соответствующие.

Затем Трясогузкин предложил принять письмо-поздравление с Новым годом, адресованное деятелям культуры, поскольку с началом этого сентября, как во времена Петра Великого, поистине наступил Новый год. Это письмо, одобренное единогласно и написанное Трясогузкиным в порыве звёздного вдохновения, каким-то чудом сохранилось. Вот оно.

«Тишина… Молчание… Пустота… Три сестры у колыбели Нового года… Тишина хрупкая… Молчание долгое… Пустота звенящая… Ждут… И мы ждём…

Ждём того мгновения, когда проснётся младенец Новый год и нарушит тишину серебряным звоном ручейков Времени. Прервёт молчание хором голосов Вечности, заполнит Пустоту светом грядущих Дней. И тонкую нить Жизни опять потянет прясло веретена, вращаемого самой Судьбой. Держась за эту путеводную нить, переступая невидимый порог неведомого, из прошлого в будущее переходя, мы получаем в дар от Неба драгоценный сосуд Желаний.

И мелкими глотками в течение года пусть будет дано нам отпивать Счастья безмерного, Удачи нежданной, Любви торжествующей, Верности благостной, Вестей поразительных, Благополучия водопадного, Нежности снежной, Свежести горной, Бодрости румяной, Учёности знатной.

По правую руку от нас пусть ступают Гордость, Отвага, Братство и Рвение. По левую руку пусть нас провожают Забота, Покров, Трудолюбие, Терпение. А впереди светозарно сияет Звезда Новогодняя в объятиях Месяца.

И пусть, смущая Тишину, шумно спешит Новый год на наш двор, где Воля и Правда Молчанье теснят и где Пустота переходит в Простор!

А Лунная дорога от Новогодней колыбели пусть продлится Солнечным путём до следующей смены Времени. И пусть будет путь этот лёгким и добрым для всех и каждого, и для вас лично!

С Новым годом!»

Письмо это, в отсутствие электронной связи, решено было разослать назавтра.

Собрание в департаменте закончилось много раньше серодомовских заседаний, и Трясогузкин, с данным поздравлением в руках, пришёл, по недальнему маршруту, к владыке, поделился с ним содеянным и попросился в монастырь. Владыка отказал ему, испугавшись за агнцев своих, и Трясогузкин смиренно принял его отказ и пошёл пить кофе в одно дружественное кафе (18.25—18.44).

К половине восьмого владыка сидел в обморочной задумчивости в своём кабинете, положив горячую голову в ладони рук, опертых локтями на стол, даже поначалу не обратив внимания на то, что над городом раздался низкий, тяжёлый гул самолёта, то при-

ближающийся, то удаляющийся: в нарушение всяких параграфов самолёт кружил над Потомском на предельно малой высоте.

Другим, избранным судьбой помнить всё, в эти три часа впечатлений досталось значительно меньше. (И владыка, из сострадания к ним, не поделится с ними своими.)

Миша Пухов вернётся на Болото, зайдёт за портвейном «777» в магазин «Продукты Аккорд» и, сопровождаемый покладистым инвалидом Павлом Васильевичем, направится на Костровое место. Он разведёт костёр и будет под неторопливый портвейн рассказывать инвалиду подробности про незадачу с Благовестом.

Присутствовавшие на церковном дворе два учёных товарища отправятся на то привычное для них местечко, где их когда-то усмотрел Алёша, на южном берегу Ишайки, и будут с теми же портфелями и тем же портвейном «777» обсуждать увиденное на своём высоком интеллектуальном уровне, поглядывая на Пухова и Павла Васильевича. Пухов и Павел Васильевич принципиально не будут на них поглядывать.

Ильдар Сейдиахметович с утра мотался по базам, заезжал в налоговую, в татарскую деревню Вахитово, не знал ровно ничего и кое-что узнал после половины восьмого, когда, измордованный, пропотевший насквозь, подъехал к своему магазину на Болоте.

Тараканов ушёл домой и прилёг: он с ночи заступал на дежурство на стоянке. Время от времени он открывал глаза и рассматривал очки: они были безусловно из натурального золота, а в искрящихся камешечках, насыпанных по оправе, он усматривал бриллианты и предвкушал себе от этого солидную выгоду. «Но до поры припрячу их, мало ли что», решил Тараканов.

Алёша с Вандой ушли к мосту, подавленные. За три часа они поцеловались всего раз пять. Сели на траву, обнялись и задремали, опираясь друг на друга. Им было с чего дремать. Разглядывали водомерок, бегущих по воде против течения Ишайки, бросали в воду камешки и снова дремали.

Борис Исаакович и Тамара Георгиевна всё это время находились дома. Они сочинили письмо в Соединённые Штаты Америки, а потом до сумерек обсуждали установившийся в стране общественный строй, который всё меньше нравился Борису Исааковичу, потому что не обнаруживал признаков общественного строя. «Рассыпали нас, с горечью говорил он, засрали людям головы». Китайский вариант? От него разит угрозой и полной бездуховностью.

Вот и весь расклад. Прочие люди с Болота разделили участь забывших всё. Например, Ираида Петровна весь день провела на работе, в школе и на директорских курсах, вернулась поздно: для неё это был бы день как день, если бы ночью не заявились Алёша

с Вандой и не подпрыгнуло в ней снова материнское сердце. Оно успокоится, когда она покатает их по ночному Потомску.

Болото, Костровое место, 19.30—24.00.

Потемнело. На садящееся солнце опустились, нанизываясь, сбившиеся войлочные облака — одно, второе, третье; навстречу Ишайке побежал ветер, вернее, ветра, отдельными, резкими порывами, выдёргивая с веток листочки ивняка. Потемнело и похолодало. Небо словно перешло на экономное дежурное освещение. Речка прибавила голос, осмелела.

— Пробило! — сказал Павел Васильевич, достал платок, выбил нос и оставил платок на сиденье, подоткнув его под култышку правой ноги.

Миша Пухов засуетился: он стал подбрасывать в огонь ветку за веткой, собирая их по берегу охапками. Над костром выросла башня из веток, он громко трещал, побеждая их сырость, — скоро высоте и силе пламени позавидует любой старинный маяк. А Миша тащил и тащил ветки, обрубки, обломки деревянных ящиков.

— Ты что, — спросил Павел Васильевич, — всю ночь здесь просидеть собрался?

Миша пожал плечами — и, кряхтя, приволок три павших осиновых ствола, гармонично расположив их вокруг костра. Присел на каждый — сидеть можно.

— Ну вот, — сказал он.

— Зачем ты это делаешь? — спросил инвалид.

— Не знаю, — ответил Миша, — так, потянуло.

— Тянет, извини меня, на девок! — возразил Павел Васильевич.

Напротив них, наискосок, западнее, давно допили вино учёные люди. Они собирались уйти сразу, каждый в свою жизненную нору, но вдруг одновременно сказали друг другу: «Давай ещё посидим-постоим. Когда ещё… Холода на носу и закрытие сезона». И присели, получая все три удовольствия евразийского человека: глядели на бегущую воду и змеение костра на ней, на сам костёр и на хлопотливые труды Миши Пухова. И, конечно, не сговариваясь, представили себе в сумерках, что на дворе какой-нибудь 1608 год и на свет костра пробираются в зарослях кыргызские разведчики с арканами. Образованность берёт своё. Алкоголь ей помогает.

Над ними загудел самолёт. Ближе, ближе — задрожали небо и земля, и барабанные перепонки в ушах: самолёт пролетел так низко, что, казалось, в него можно попасть из рогатки. Прошёл — и вскоре вернулся, и так и пошло.

— Да он кругами летает над городом, — сказал похожий на Ленина.

— Над нами кружит, — сказал похожий ещё больше, но неиз-

вестно на кого, — ты заметил, Степаныч, он тёмный, тёмно-синий, что ли? Военный?

— Да, — сказал старший, — огромный. Что бы это значило?

— Опыляет, — пошутил младший, — и кто разрешил?

— Скорее, утюжит, — с тревогой отозвался первый, — зачем утюжит?

Ни они, ни пара на северном берегу не знали, что с появлением самолёта опустела Болотная улица, и не проедет мимо Кострового места этим вечером ни один автомобиль.

Вдруг из-за деревьев, с Болотной, вышли к костровому пламени ещё двое. Впереди ровно, плавно шёл, как плыл, высокий старик в длинном светлом плаще, с просторной, куполом, лысиной в венце длинных развевающихся волос, с ужатой, клинышком, бородой. А за ним шёл, как пританцовывал, кидая коленки и вправо и влево, маленький, простоволосый же пожилец, держащий правую руку на высоте подбородка. В свете костра между рукой и зубами проблеснёт металлическая нитка, которую он наяривал пальцем. И музыкальные последствия этого наяривания были слабым жужжанием, слышным лишь тогда, когда самолёт уходил на предельную дальность. Они постояли с минуту перед огнём, перед изумлённым Павлом Васильевичем, ухватившимся даже за свою грозную палку, и вскочившим на ноги Михаилом, а потом присели на принесённое Михаилом древо, спиной к улице. Присел и Михаил.

— Здравствуйте, панки́, — сказал высоким голосом Старец, — вот и мы.

— Ждали, ждали, — ответил Михаил, — добро пожаловать к нашему шалашу!

Павел Васильевич опустил свою палицу.

— Шалаш, кхе-кхе, — сказал Старец, — и в моё время так говорили! Принёс ли жёлуди?

— Жёлуди? — переспросил Михаил, а рука сама нащупала в кармане горсть желудей. — Принёс, досточтимый.

И подал их Старцу. Старец же положил их в карман плаща. И посмотрел через Ишайку.

— Здравствуйте, панки́, — повысил он голос (самолёт пролетал над головой), — подите и вы сюда. Через речку и идите, тут мелко.

Учёные товарищи готовы были поклясться, что «тут» как раз мелко не было, но повиновались — и перешли речку, всего лишь набрав ледяной воды в туфли. И присели напротив, узнавая, узнавая Старца — и не веря, не веря себе.

Старец же углядел у колеса коляски Павла Васильевича две пустые бутылки портвейна и одну недопитую, взял у инвалида его палку и прикоснулся концом её к каждой. Вспыхнули цифры

на этикетках «777», «777», «777», погасли, вспыхнули снова, уже «666», «666», «666», — и погасли со свистом.

— «Ессентуки номер два» во всех, — сказал Старец, — настоящая минеральная вода. В лавке не купите. Хорошая вода, пил я её на Кавказе в 1808-м году…

Посмотрел на небо, удручённо проводил взором мелькнувший силуэт самолёта и сказал:

— Не по зубам мне…

И сказал:

— Сейчас помолчим. Помолимся про себя. Подождём.

Иосинька всё играл на струнке.

И тем же путём, молчаливые и сдержанные, как на похороны, в одиночку и парами подошли к костру, занимая места на стволах, знакомые между собой люди: Ильдар Сейдиахметович, Борис Исаакович с Тамарой Георгиевной, Алёша с Вандой и Тараканов.

Каждому из них в одно и то же время, несколько минут назад, дано было неслышимое повеление, словно бы дуновение, и двинулись они, зачарованные, неспешной поступью, твёрдо держа на Костровое место.

Ильдар Сейдиахметович находился ближе всех, в магазине. Его «Нива» была последней машиной, проехавшей по Болоту. Он и пришёл первым. А Тараканов явился позже всех, находясь этажом ниже небыстроходных Коркиных, потому что, видно, получил двойное повеление: он, изменяя себе, задержался, чтобы умыться со сна и почистить зубы.

— Брат Иосиф, — сказал Старец, вставая, — оставь теперь свою струнку в покое.

И, с удовлетворением погладив взором присутствующих, сказал ещё:

— Не все. Подождём немного — грядёт последний. Он уже спускается с Обруба.

Костёр разгорелся вовсю, выбрасывая длинные языки пламени под порывами ветра и, кажется, при каждом приближении самолёта. Тепло было сидящим, и набирались их одежды и волосы кострового аромата. На ближнюю иву опустилась сорока и затарахтела, и задумалась, как человек, и тем стала своей в кругу ждущих.

И с новым набегом ветра вышел из-за деревьев, хлопая своими великанскими башмаками, владыка Парфений, осеняя всех крестным знамением и кланяясь в пояс Старцу.

— Извините, если припоздал, — несмело сказал он, — но у меня, похоже, путь был самый длинный.

И сел между Борисом Исааковичем и Вандой в мирской простоте.

— Теперь все, — сказал Старец, — теперь послушайте меня, дети!

Он возвышался над ними, и им чудилось, что он высок чрезвычайно, и темя его упирается в небосвод, на котором будто бы при его последних словах загорелись звёзды, а над теменем поспешила повиснуть Луна, молодая, белая, нежная.

Вот что говорил Старец.

— Я покинул Небесную свою Отчизну и вернулся в человеческое время, потому что смущён был, испуган, огорчён до отчаяния тем, что свершается нынче с человеком и в человеке. Никогда такого не было, чтобы люди посягали на родовые свои свойства, отказываясь от души, от дома, от семьи, взаимно выращиваясь как «цивилизованные потребители». Да, так нынче диктуется, увы, увы. Всё в жизни человеческой приведено сей день к копейке, всё ей измеряется, проверяется; копейкой живы, ей одной тщеславятся, на копейку дышат. Не нужны ныне дивные, самоотреченные люди, заржавело в них последней, праховой ржавчиной геройство, высохла жалость. И приказано всем быть одинаковыми плясунами и распутниками — едиными во грехе пустой жизни.

Сего зверя глобализации не предсказано и в Апокалипсисе, нет там ни образа его, ни числа!

Для того ли творился Мир, замысленный как Вертоград многоцветный? Для того ли Господь наделил людей свободой воли? Знаю, что наказан буду за вмешательство в дела человеческие, и нет оправдания мне. Но, любя сей град и молясь за него вечно, не утерпел я, как русский человек!

Низошёл по причине благовестной и юбилейной к вам — и атаковал, скажу по-военному, ибо бывал я воином. Атаковал, так сказать, любезный предел земли, зная, что вольны вы выбирать себе и радости, и горести, и должны расплачиваться за свой выбор сами… Но как черство, черство живете! Но сердце — сердце моё болит!

— И лишь убедился я в том, что знал заранее — можно творить чудеса, большие и маленькие, можно удивить и взволновать, но оборачивается это одними соблазнами на руку Сатане, но инаковый, во зло получается исход. Ибо невозможно помочь тем, кому не нужна эта помощь, кто не верит в чудо. И через страшные страдания пройдут нынешние люди, чтобы либо очиститься, либо погибнуть. Что моё попечение перед всем этим миром новым? Сильнее меня этот синий самолёт. Эта Синяя птица, орудие невиданной силы, что утюжит сейчас город, и отутюжит до того, что не останется в городе никого, кто запомнит события последних дней. Ничто не останется в памяти, сомкнутся без зазора дни предыдущие и дни последующие.

Ошибся я. И не хотел я говорить об этом, но скажу: и без оного самолёта, и без вмешательства сильных мира сего, позже и боль-

нее по последствиям, и безобразнее во сто крат вернулось бы всё на круги своя. Опомнились бы копеешники и без самолёта, победило бы в них нутро. Ещё бы и побезобразничали, и покидали бы с раската чистых как нечистых с криками: «Пех? — Пех, перепех-пех!». Простите меня, а тебе, самолёт, кланяюсь — ты исправил мою ошибку, снял с меня русский мой грех неуимчивости, нетерпения!

— И только вы, одиннадцать потомских жителей, будете помнить всё. Тяжёлое это бремя, и для тебя, Парфений, тяжёлое вдвойне. Вы мой последний оплот, и вас я не отдам копейке-глобализации. Живите, как жили, не святыми вы мне нужны, но людьми, со всеми слабостями человеческими. Достаточно мне драгоценной совести, живущей в вас.

Простите же мне, что обязал вас. Вы будете молчать про эти дни, чтобы не вводить во искушение малых сих, и одна гадкая белиберда разведётся вокруг ваших воспоминаний, и объявят вас сумасшедшими. Но вы будете молчать.

…И затем Старец сказал каждому о нём, обнаружив глубокое знание пути каждого, и снова желал каждому быть таким, какой он есть. «И даже я, пьянчужка матерщинная, — спросил его инвалид, — и даже мне?» «И ты, и прежде всех ты, — ответил Старец, — только слова матерного втуне не произноси. А частушки свои пой со всем, что в них есть, Господь любит русский смешок».

И Старец распростёр свои длинные руки над ними, над Болотом.

— Любите своё Болото! Грязное и пьяное, убогое и скучное! Неимущее и никому, кроме вас, не нужное, само собой живущее, но само себя и сохранившее! Ибо несчастное это Болото под своею золой вековечной сберегло ещё искорки великой простоты человеческой и совести, и отступает перед ним Дурь, пронзившая и город, и страну, и мир! Чтобы славить Болото и трясины его — до этого надо дожить. Но дышалось мне нынче только здесь. И нет пока другого места для души! Нема!

И, как по команде, все поднялись, а Иосинька заиграл на своей струнке.

— Теперь последнее, теперь пойдём, — сказал Старец, охрипший, как обыкновенный человек, и всем захотелось его потрогать.

У них появилась такая возможность, потому что он раздал каждому по жёлудю, и шляпки у желудей оказались серебряными. Дающая длань Старца была тёплой, а гладящая по плечу рука — настоящей, подрагивающей по немалому возрасту.

Они следовали ему, и путь их лежал к Вознесенской церкви. И в темноте, под скупыми фонарями, не встретился им никто, ни даже собака или кошка. В окнах горел свет, но жильцы в окнах не просматривались, видно, поверженные самолётом.

Рычал в небе, гвоздил город неутомимый самолёт, но когда они подошли к лестнице, наступила полная тишина.

Ушёл самолёт, выполнил свою задачу, и они не видели на прощание его огней — не было у него огней.

Луна засветила ярко, белила улицы и лица. Они поднимались, некие немые апостолы, помогая Исакычу и его голубке, а Павла Васильевича (коляску оставили внизу) нёс на закорках Миша Пухов.

Старец шёл впереди, прижимая палец к губам: молчим, молчим. И только струнка звенела. Владыка поднимался последним и вспоминал в себе мальчика из Воронежа, засидевшегося до ночи у реки и очень голодного; мама заждалась его дома, она поругает его и накормит горячей картошкой в мундире из закутанной в ватник кастрюли.

Во дворе Вознесенской церкви в полной тишине под луной обнаружилась большая, густая толпа. Но кто были эти люди, потеснившиеся и пропустившие пришедших к паперти?

Они были одеты в наряды столетней давности, и мужчины все были в головных уборах, а женщины все были в платках. Они переговаривались, посматривая на гостей, но делали это беззвучно. А слышали друг друга отлично, и в жестах и мимике подтверждалось, что слышат.

А против паперти заканчивали установку перекрытия арки для Благовеста, и высилась гигантская лебёдка, и мастеровые уже продевали ему в ухо стальной трос. Эти люди, видно было, покрикивали в трудовом энтузиазме, и должны были стучать или громыхать их инструменты, но стучали они в другом времени.

Рядом с папертью стояли, дожидаясь, духовные лица, и в главном духовном лице опознал владыка Парфений владыку архиепископа Макария, с его неповторимо резкими чертами лица и с нимбом над головой; и рядом же выстроились лица казённые — должно быть, этот — губернатор, а этот — городской голова Карнаков с его бородой-мочалкой… И знающий узнал бы в толпе и пристава Королькова, могучего, как лось, и знатного баклана Михайлу Андросова; и Алёша затрепетал, увидев рядом с Благовестом, ещё принадлежащим земле, пожилого луноликого купца, широкоплечего и улыбающегося, и не мог оторвать от него глаз — это же был его прапрадед Алексей Афанасьевич Васильков!

Алёша хотел окликнуть его: «Дедушка-прапра-дедушка, это я, Алёша, твой внук, я назван в твою честь, я здесь!» — даже шагнул к нему, но остановил его Старец, улыбаясь и всё так же прижимая перст к губам.

Кладку закончили и тут же толпой потянули вверх колокол, и зашевелился народ, и сняли свои картузы мужчины. «Как же так, всполошился про себя Алёша, кладка свежая — разбегутся кир-

пичи, и…» Но голос Старца внутри него успокоил: «Не разбегутся кирпичи эти, мощные по старинке, не разбегутся, ибо раствору уже сто лет. И сталь в балке такая, что нет ей износу, путиловская сталь».

И началась беззвучная служба, и сделали всё как положено в лунном ласковом свете — и, посветлев душой, перекрестились на первый удар в Благовест, и не слышен он был, зато видно было, как дрогнул воздух — и поплыл неслышный величавый гул во все стороны на десятки вёрст.

И исчезли, вернулись в свои могилы потомцы столетней давности. Растворились. Двор опустел, и ветер слышно гулял по георгинам и астрам. И тихонько-тихонько отзывался на ветер обретённый Благовест.

И Старец сказал:

— Прощайте, Господь с вами.

И пошёл к колоколенке, и за ним Иосинька. Они вошли в колокольню сквозь стену и поднялись наверх — оттуда, сверху, донеслось прощальное зуденье струнки.

И оборвалось, а колокольня будто вздохнула, и кратко и кротко звякнули на ней детские её колокольчики.

— Полетели, что ли? — спросил со спины уже таракановской Павел Васильевич.

— Полетели! — ответил владыка. Глаза его были полны слёз.

В этот момент послышалось гуденье машин с улицы Пушкина, а в карманах тех, у кого имелись сотовые телефоны, раздались сигналы их пробуждения.

Владыка вытер слёзы, усмехнулся и позвонил игумену Феодосию, заранее зная, что ответит ему Феодосий.

Он спросил в полночи — и Феодосию это показалось дурной и невероятной для владыки шуткой, — давно ли отец игумен открывал раку со мощами Старца, на месте ли они? Помилуйте, владыко, отвечал Феодосий, что за вопрос? Вы… уже полночь… не понимаю…

Через минуты, достаточные для того, чтобы добежать до раки ещё одетому человеку, так как монастырь и храм стоят крыльцо в крыльцо, а игумен злоупотреблял чтением на сон грядущий (и читал, гм, всякое), Феодосий перезвонил, и слышно было, как его голос отдаётся под сводами храма:

— Мощи досточтимого невредимы, но может ли быть иначе? Но почему…

— Кто-то глупо пошутил, позвонил, напугал меня, — ответил владыка, терзаясь, во спасение он солгал или уж прямо согрешил?

Глава двенадцатая

День города — завтра

И было раннее, серенькое, в охвостьях тумана утро, когда, перед рутиной работы, Алёша посватался к Ванде и заключён был в мягкие объятья её отца Владислава и её матери Татьяны, а Ванда была крепко, собственнически обнята Ираидой Петровной, что было уже отрепетировано ей ночью.

Отдавая дочь в соседний подъезд, Доукши усмотрели в этом древний юмор жизни, так как лучший жених для дочери являлся и ближним женихом, и, выпив успокоительного чаю, дошутились до упоминания картины «Март»: раз она есть влюблённый подарок Алёши, она должна быть с Вандой, но раз Ванда переезжает к Сухониным, то в квартире Сухониных будет два «Марта», а значит, Ираиде Петровне придётся свой «Март» куда-то убирать. Или она не захочет? Обескураженная Ираида Петровна не знала, что и ответить.

Оставив родителей, Алёша с Вандой — времени ещё вагон — сходили ещё раз к Благовесту. В церковной ограде подметал послушник, новообращаемый узбек по имени Файзулла. На Благовест пришли полюбоваться, сказал он понимающе, прекрасен Благовест, смотрите на здоровье.

Они смотрели на Колокол, и он, в мелкой росе, недвижный, давал на себя любоваться с неким предостережением. Кирпичи в арке были крупные, необычные, а виделись новенькими, гладенькими — кто разберёт, сколько им лет? Но, обойдя арку, Алёша увидел, что там, с тылу, на кирпичи привинчена металлическая табличка: «1902 годъ». Если и заметят, то как-нибудь объяснят, подумал Алёша. А сам Благовест был новый, воронежский, привезённый днями.

Уходя, они отметились у могилы прапрадеда — и что-то, видно, боязнь расстаться с чудом, не позволило им потрогать надгробие ладонями. Всему своя мера, и впереди было самое трудное — жизнь обыкновенная, без чудес и приключений, вдруг ясно и тревожно подумали они глаза в глаза. Просто Ванда, просто Алёша, житие рядом, завтраки и ужины, и болезни, и счёт денег, и вся прочая мелочёвка жизни, саднящая и подстерегающая, и невыносимая, если ты согласился с ней соглашаться. «А мы сумеем?»

И Алёша проводил Ванду до её прилавка, и пошёл, через железный мостик, на свою работу.

В это время проснувшийся Борис Исаакович, выпивая с Тамарой Георгиевной по чашке крепчайшего запрещённого кофе, обсуждал с ней идею создания общественной организации «Россия с человеческим лицом». Он, ободрённый Старцем, хвалившим его

за мужество и честность, уже наметил ряд проверенных, надёжных кандидатов в неё, и среди них была пара молодых, готовых на риск ребят лет шестидесяти. Тамаре Георгиевне отводилась роль секретаря, на которую она соглашалась, если будет компьютер, — и почерк у неё никудышный, и связь по Интернету — всем связям связь. «Добро, — приговаривал Исакыч, — добро! Нечего оплакивать прошлое: смотрим вперёд, мы ещё споём колыбельную империалистам и олигархам!»

Не спавший от изумления всю ночь Ильдар Сейдиахметович, до сих пор изумлённый, гнал машину по городу, направляясь туда и туда. «Старик сказал мне добрые слова, а знал, что я бываю жадным. А не намекнул, не поучил. По-другому поучил. «Люблю тебя за уважение к старшим, к достоинству человеческому!» А! Педагог!» И лицо Ильдара расплывалось в улыбке: ему виделся новорождённый мальчик в чепчике и над ним лицо его ответственной немолоденькой супруги, узбечки Юлдуз. И для водителя такое видение было неуместным и опасным, но оно вставало перед ним снова и снова. И Ильдар остановился, приткнул машину к обочине и привалился поспать.

А Тараканов выкинул штуку. За своим джипом явился тот противный хам, Барсетка, Коротышка, и Александр, не моргнув глазом, сообщил ему, что дважды за ночь какой-то в тёмном молодец пытался прокрасться к его танку, но был отогнан бдительным Таракановым, несмотря на то, что в руках молодца была пухлая бита. Я и сам с усами, говорил Тараканов, случайно подсовывая к самому носу спесивца милицейскую дубинку и взмахивая ею со свистом. То-то перекосило физиономию Боровичка, то-то он закукарекал, набегая на хозяина стоянки и переспрашивая Тараканова о подробностях, и шипя: кто это, знаю, он у меня попляшет.

Мелочь, а приятно.

Никаких признаков похмелья не испытали сегодня вчерашние потребители портвейна. Обязательный Михаил Пухов с утра приберётся во дворе, нарвёт на букет астр и отнесёт его одной разведённой и симпатичной ему соседке: постучит ей в окно, подаст его в тумане, мокрый и холодный, и без слов скромно отправится обратно, готовить завтрак дочери. Перед школой они с дочерью проведут друг для друга маленькие диктанты. И в результате дочь заткнёт отца по грамотности за пояс. Да так убедительно. Ишь ты, скажет Пухов, любуясь её худобой, ишь ты, Паутиныч! Ишь ты, стрекоза голодная!

Павел Васильевич уже выдвинулся на свой пост и встречал-провожал народ на службу и на учёбу, и, грешным делом, надеялся, что наберёт к обеду хотя бы на пиво, которого не любил, но не Фурке же всё отдавать да отдавать, жадюге, накопившей на десять гробов

и две тонны поминальных пирогов с красной рыбой. Скучая, он перебирал известные ему анекдоты и за часы просеивания нашёл не более двух с половиной нематерных. «Великий шутник наш Старец, — сердился он, — а доведись ему тот же гвоздь забивать да промахнуться — что бы он сказал? И жизнь наша — такое говно, то есть дерьмо…»

Учёные люди на юго-западе Города вошли в студенческие аудитории и читали лекции согласно утверждённой программе, но в лекции они, не советуясь, напустили столько пассажей о любви к родному краю и грядущих судьбах Сибири, что студенты плюнули на конспектирование такой непрактичной и не упругой в схемах словесности и занялись кто чем: другими предметами, перепиской, игрой в морской бой и т. п. Но было в аудиториях несколько остаточно восторженных юношей и девушек, что прислушались и немножко замечтались, и увидели в похожих на чьи-то лицах профессоров их собственные, траченные временем, но исполненные любви к благу.

И в полдень все они, и все горожане с ними, услышали, как заговорил, по велению владыки, с Горы Благовест, приподнято, веско, душеободрительно, и ответили ему, наше вам, все городские звонницы. И ничего, что кто-то из горожан, мимолётно восхищаясь, восклицал: «Какой славный, заводной набат у нас появился!».

И словно встряхнуло небосвод: с него посыпался мельчайший осенний дождичек, умиротворяющий, как шёпот, успокоительный, как капли корвалола.

Услышали звон и чиновники областной и городской популяции. Губернатор с утра был срочно вызван в Москву, и улетел, недоумевая, а вернётся к ночи. И спокойные чиновники ходили по кабинетам и сравнивали, у кого ожоги на животе больше, а у кого меньше, не ведая, почему так, но не смели их пока почёсывать. И говорили, что Иван Тарасович, «Сам», придумал забавную акцию для них в честь четырёхсотлетия города, и здоровье их безусловно улучшится. А вот доктор Пак, пожалуй, сладострастник — мы воем, а он губы облизывает, садист! По себе судили они Аркадия Владимировича, улетевшего с губернатором в одном самолёте.

Владыка вызвал машину и уехал за город вместе с отцом Николаем. Сразу за Семилужками, за кладбищем на гриве, машина углубилась в лес и катилась, поелику возможно было, — и там владыка вышел, попросив Николая не ходить за ним: в кои веки побуду один.

Кропал дождичек, владыка бродил между ёлок и берёзок, осинок и ёлок, по палой листве, по шишкам, бедным и низким смешанным леском, и запахи прели, хвои и грибов трогали его. В сущности, ничем не отличался этот клочок леса от тех клочков, в которые он, будучи в Лавре, выбирался иногда в осеннем Подмосковье.

На маленькой елани, посреди которой валялся ржавый прицеп сеялки, ему встретились старик и подросток, местные, хозяйски громогласные. Старик был привычно пьян, подросток вытаращил на владыку порочные, пустые глаза, будто хотел пристать. Старик, узрев панагию на груди владыки, что-то понял о нём, потому что смутился; поклонился ему через силу и дёрнул подростка за рукав, торопя разминовение. И владыка с печалью подумал о том, что расскажет старик об этой встрече в селе, какими словами: «поп», «шлялся по лесу, что ему надо, на кладбище заезжал?» и прочее.

А потом он нашёл один подберёзовик, другой, ещё, ещё. Все грибы были целые, чистые, большие. Он вернулся к машине, где его, переминаясь, дожидались водитель и отец Николай.

«Следил за мной, Николай?» — улыбнулся владыка. «Было немного, — ответил Николай, — я ведь не знаю, какой вы в лесу. Вдруг заблудитесь». «А я тебя не приметил и не слышал. Силён, по стати своей ты тут должен даже галок распугать». «Галки сейчас в городе, а я вырос в лесу, сказал Николай, в глухом лесу с детства, в шишкинском».

И владыка покорил себя: не помнил он об этом. Николай что-то да говорил, а он не помнил, не запомнил… Да, а в бороде вода.

После работы, натощак, Алёша и Ванда отправились в Город, на проспект, и повторили ночной маршрут, проделанный на машине с Ираидой Петровной. Они двинулись от площади до университета, зайдя по дороге в какое-то кафе и обнаружив, что ужинать им рано, не хочется. Попили кофе.

Смотрели на прохожих, тихонько обсуждали их: люди и люди, не замечающие их, молодых и, может быть, красивых. Тут не Болото, тут не узнают, не любопытствуют, отчего ни холодно ни жарко. Вечер, самое пешеходное время, улицы забиты транспортом, на тротуарах иной раз приходится то тормозить, то ускоряться, даже устаёшь, непривычно.

Вечер прозрачный, светлый — настолько робок дождик, настолько тонка облачная кисея над головами. Они сложили зонт и шли под руку, как интересные герои из французских фильмов, думая о походке и наклоне головы, — так решила Ванда.

А город выглядел не хуже, чем ночью, хороши были старинные каменные здания, будто одним умницей придуманные и расставленные им по порядку; только бюст Пушкина как-то выпадал, как показалось Ванде, из общего стиля. Она не могла понять, почему, они подошли к бюсту, обошли его кругом, и она наконец нашла определение: «Пушкин здесь всё-таки какой-то слишком пухлый, и бакенбарды как шницеля. Не мог он быть таким откормленным». Верно, согласился Алёша, а Ванда сказала: «Не носи ни усов, ни бакенбардов. Тебе не пойдут». «И не буду», — заверил Алёша.

Пока они от этого Пушкина добирались, именно добирались до университетской рощи, восхитительно не известные никому, у них сложился разговор о завтрашнем и послезавтрашнем и вообще грядущем дне. Странно, очень странно, говорила Ванда, как только я тебя полюбила, мне сразу же захотелось с тобой куда-нибудь, но не куда попало, уехать. Куда вот только? И в то же время — мы с Болота, и полюбили, потому что мы с Болота, — и где и кому-чему мы ещё нужны? И — не знаю.

То есть, сказал Алёша, или уж уехать так уехать, или уж остаться так остаться! Так остаться, что!

С Болота уехать на Болото, сказала Ванда.

В университетской роще было оживлённо: слабенький дождик не помешал студентам занять почти все скамейки. Понятно, начало учебного года, ещё не наговорились с каникул, не приелись друг другу студенты, и много у них новостей о себе.

Одна скамейка, у самой дорожки, ведущей ко входу в университет, как по заказу, освободилась. С неё встали и почти побежали на Алёшу и Ванду трое мальчишек, по всему, первокурсников, и тот, что был сзади, на секунду оступился, увидев Ванду, помотал головой и поскакал мимо. Алёша оглянулся на мальчишку — мальчишка оглянулся на Ванду, влюблённо и горестно.

И Алёша посмотрел на Ванду и снова увидел её там, на скамеечке под дубом. И Ванда поняла всё, и здесь, рядом с университетом, снова обозначила ему губами: «Алёшкадурак».

Они присели на сырую лавочку, частично вытертую задами мальчишек, торжественные, как фараон с фараонихой.

И тут их *узнали*. К ним подошёл и поздоровался пожилой учёный человек, тот самый, что был похож на Ленина и которого звали, однако, Николай Степанович. Он показал им жёлудь с серебряной шляпкой, и они охотно показали ему свои. И от этой полудетской игры им похорошело — мы не капли, не песчинки, у нас есть своя тайна. Своя, так сказать, бригантина.

Алёша хотел сказать учёному человеку что-нибудь доброе, но не нашёлся, пришлось спросить, как дела. Устал, аки пёс, ответил тот, две пары откудахтал. А их ничем не проймёшь. Когда профессор говорит о себе «пёс» и «откудахтал», это очень смешно и располагает. Ванда засмеялась и спросила: «Почему, когда влюбишься, хочется вместе куда-нибудь уехать?»

Профессор демократично почесал лысинку:

— Задала вопрос. Другой Николай Степанович ответил бы тебе: «Давай, Маша, чай пить». А я буду прост, как дрозд: любовь — *новая* жизнь. Это я, дети, ещё помню. А раз новое — значит другое. А раз другое — хочется в не здесь. Билет-то уже куплен. А бывает, что хочется от всех закрыться. Тоже вроде бы как уехать. …А мне

вот в любви не очень везло, а всё время свербило: уехать, уехать… Уже опаздываю я на третью пару, в другой корпус. День скорби у меня сегодня — три пары! Мы обязательно увидимся! Мы придём!

И побежал в боковую аллею, кивая им и помахивая рукой и папкой в руке. И в последний раз махнул, уже не оглядываясь, задрав руку повыше — и исчез.

— Жалко профессора, — сказала Ванда, — душа-человек! Николай Степанович!

Когда они спустились с Обруба и подошли к своему дому, обрызганной деревяшечке со словом «жопа» на двери их подъезда, глазам их предстала удивительная нравственная картина, редкая даже для изобретательного в мелочах, по общей скудости жизни, Болота.

Навстречу лучам пробивающегося заката от магазина «Продукты Аккорд» к ним стремительным бегом, но черепашьими шагами приближался старший Дьячков, пьяный уже «в соску» и очень испуганный. За ним дико ухала коляска Павла Васильевича, и мартеновским огнём полыхали его очки. Инвалид посильно, левой рукой наяривал рычаг коляски, что позволяло ему не отставать от Дьячкова, но и нагнать злодея он никак не мог.

В правой руке старика была его палица, и свинцовый её конец опускался на спину Дьячкова, отчего Дьячков ухал в ответ коляске.

— Забыл, забыл, сволочь, порядок, — рычал мужественный инвалид, — обомжел!

Высшим приговором звучало на Болоте слово «обомжеть». Позорнее, чем украсть простыню, было обомжеть!

Дьячков дотащил себя до подъезда и, изнемогая и трезвея, поставил на землю спиртную бутылку и, выставив локти, взмолился:

— Пощади, чёртов дед! Ну бес меня попутал, пьян я, козёл я!

— Раньше не путал, — сказал, задыхаясь, Павел Васильевич, — раньше ты у меня кровь мою не пил. Лучше бы ты меня кастрировал! Опустился ты. И на сына не ссылайся, горе-де. Тоже мне горе. Я, брат, горя побольше твоего видел. А не опустился. И не чёртов я дед, я святой по-своему старикан, есть такое мнение.

Он опустил палку, прихватил с земли бутылку и приложился к ней, обливаясь вином. Дьячков заполз в подъезд. И слышно было, как он рухнул сразу за дверью.

Павел Васильевич оторвался от бутылки и запел для Алёши и Ванды древнюю песню победы:

— Чечери да чечери,
Гуляли мы на вечере,
Залетали к нам бакланы —
Мы их укалечили!

Геннадий АНКУДИНОВ

Пьесы

Геннадий Степанович АНКУДИНОВ

Родился в Томске 31 декабря 1955 г. Окончил автомобильно-дорожный техникум. Служил в Забайкалье. Работал горнорабочим очистного забоя на одной из шахт Донбасса в Украине. В 1980 г. вернулся в Томск. С 1989 года работает на Томском нефтехимическом комбинате.

Первая публикация в газете «Красное знамя» состоялась в 1982 г. с юмореской «Полёт мысли» в рубрике «Юмор всегда с нами». Много лет сотрудничал с многотиражными газетами п/о «Сибкабель» и «ТНХК», писал статьи, очерки, зарисовки, рассказы.

Стихи, песни и басни опубликованы более чем в 20 коллективных сборниках поэзии и прозы. Печатался в газетах и журналах г. Томска.

Написал 14 пьес, среди которых драма о Николае II, трагикомедия по мотивам неоконченных романов Не-Крестовского «Томские трущобы» и «Человек в маске», а также комедии, фарс, одноактные пьесы, сказки.

В 2015 году стал дипломантом международного драматургического конкурса Лито/Драма, организованного Литературным институтом им. М. Горького. Его пьеса «Яшка» о нашей землячке Марии Бочкарёвой, герое Первой мировой войны, была признана лучшей в исторической номинации.

В декабре 2015 года принят в Союз писателей России.

ЕРЁМА–ДРЁМА

СКАЗКА

(По мотивам сказок народов Сибири)

В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ, ПЯТИ КАРТИНАХ

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

Е р ё м а.
О т е ц.
М а т ь.
С т а р и к.
В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а.
М е р ц а н а — дочь Владыки Верхнего мира.
Х о з я и н в о д ы.
М е д в е д и ц а.
Р ы с ь.
К о р ш у н.
Ё ж.
Х и т р ы й Л и с.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Утро.
На берегу реки — избушка.
Рядом с ней, на сушильных кольях — сеть. В воде — лодка.
За домом лес с радугой, растворяющейся в густых ветках елей и сосен. Из избы выходит отец Ерёмы.

О т е ц. Надо улов идти смотреть. На завтрак рыбы принести. Вставай, Еремей, поможешь сеть вытащить.

Тихо прикрыв за собой дверь, на сцене появляется мать Ерёмы.

М а т ь. Отмахнулся, на другой бок перевернулся наш сынок.

О т е ц. Придётся опять одному улов выбирать.

М а т ь. Вставай, Ерёмушка! Пойдём со мной за земляникой. Будет чем с утра полакомиться.

Е р ё м а *(из избы).* Иди одна, не мешай спать.

Отец с матерью покидают сцену.

Наверху радуги появляется сильно расстроенный Владыка Верхнего мира.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Ну дева-девонька! Расстроила ты меня, теперь не знаю, что будет…

К Владыке Верхнего мира подходит и пытается обнять отца дочь М е р ц а н а.

М е р ц а н а. Отец, дорогой! Пойми, не по сердцу они мне.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а *(отстраняясь от объятий дочери).* Я бы понял, если бы к тебе сватались в первый, а не в сто первый раз! Скажи, чем тебе Близнецы не подошли. Оба красавцы писаные. Неужели ни один не приглянулся?

М е р ц а н а. Нет.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. А Стрелец чем не жених?

М е р ц а н а. Не нравится он мне.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Водолею почему отказала?

М е р ц а н а. Скучно с ним.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а *(подняв палец).* Сказочный богатырь, не побоявшийся двух разъярённых медведиц, вцепившихся друг в друга, по разные стороны неба развести, отказ получил! Онто тебе чем не угодил?

М е р ц а н а. Не по душе…

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Хватит! Разозлила ты меня. Принца ждёшь? Будет тебе принц!

Оглянувшись по сторонам, смотрит вниз. Из избы доносится храп спящего человека.

(Злорадствуя.) Во! Есть у меня для тебя жених. Пойдёшь за лентяя и лежебоку. Сама виновата. Не захотела за сказочных героев идти, помыкай горя с лодырем на земле.

М е р ц а н а *(с вызовом).* Уж лучше за лодыря, из которого, если постараться, можно настоящего человека сделать, чем за твоих богатырей, с которыми поговорить даже не о чем. Скукотища одна.

Уходит.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Ах, так!.. Тогда пеняй на себя. А я своё слово сдержу! Свадьбу осенью сыграем. *(Уходит вслед за дочерью.)*

С возвращением родителей сцену заливает яркий свет.

М а т ь. Солнце высоко. Поёт, играет тайга, а наша кровинушка всё ещё спит.

О т е ц. Вставай, Ерёмка! Посмотри, каких жирных кастрюков я принёс.

Е р ё м а. Отстань! Я спать хочу.

М а т ь. А я полную корзину земляники набрала, выходи, попробуй.

Е р ё м а. Вставать лень…

Разведя и махнув руками, родители начинают чистить рыбу, разводить костёр и варить уху. Некоторое время спустя в окно высовывается лохматая голова Ерёмы.

(Позёвывая.) Чем это так вкусно пахнет?

М а т ь. Ухой.

О т е ц *(с хитрецой.)* Хороша ушица, наваристая…

Поглаживая живот, на сцене появляется толстый и неуклюжий Е р ё м а.

Е р ё м а. Где моя большая ложка?

М а т ь. Умойся вначале.

Е р ё м а *(плюнув на руки, вытирает их об живот).* Сойдёт и так.

О т е ц. Сходи, искупайся, вода тёплая.

Е р ё м а. Раздеваться лень.

О т е ц. В одежде нырни.

Е р ё м а. Чтоб утонуть?

О т е ц. Ухватишься за осоку, так не утонешь.

Е р ё м а. Порезаться можно.

О т е ц. Рукавицы возьми.

Е р ё м а. Они же промокнут!

О т е ц. Высушишь.

Е р ё м а. Мам, ну что он ко мне пристаёт? Я есть хочу.

М а т ь. Не обращай внимания, сынок, отец шутит.

Е р ё м а. Вам шуточки всё, а я с голоду помираю.

Семья рассаживается вокруг котелка.

М а т ь (умилённо глядя на сына). Кушай, дитятко, кушай…

Наевшись, первыми с места встают родители. Их великовозрастное чадо продолжает есть, измазавшись ягодами.

Появившись наверху радуги, Владыка Верхнего мира начинает прислушиваться к разговору людей на земле.

О т е ц. Жениться тебе пора, а ты всё, как маленький, ешь! Посмотри на себя, весь вымазался…

Е р ё м а. Наелся! Устал ложкой махать. Теперь и отдохнуть можно. *(Засыпает.)*

О т е ц. Глянь, мать, ребёнок-то наш опять заснул.

М а т ь *(качая головой).* Уморился работничек.

О т е ц. И в кого он, такой Ерёма-дрёма, уродился только?..

М а т ь. Не знаю.

О т е ц. И я не знаю…

Покачав головой, Владыка Верхнего мира хватается за голову.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Ах я старый дурак! Что я натворил? За кого единственную дочь, Богиню утренней зари — Мерцану, замуж решил отдать?! Что делать теперь, не знаю. Обещание моё весь Верхний мир слышал. Не сдержу слова — какой же я после этого Владыка? Посулил в сердцах дочери лежебоку, теперь делать нечего. Придётся самому потрудиться, чтобы успеть до наступления холодов из него настоящего человека сделать.

Сбрасывая с себя на ходу волшебное одеяние, Владыка Верхнего мира начинает спускаться вниз по лестнице, в виде разноцветной радуги, скрытой перилами.

М а т ь. Остаётся смириться. Другого сына у нас всё равно нет.

Отец. И не будет. Только кто нас накормит, когда мы состаримся?

М а т ь. И что с ним будет, когда нас не станет?

О т е ц. Пропадёт…

М а т ь. Вот именно, кто за лежебоку пойдёт? Лентяй он у нас!

О т е ц. Во всём мы с тобой виноваты. Надо было с детства к труду приучать, а не жалеть его.

М а т ь. Вот и пожалели на свою голову.

Спускаясь с неба на землю, рослый, полный сил и энергии Владыка Верхнего мира перевоплощается в небольшого щупленького старика с реденькой бородкой.

С т а р и к *(выходя из леса).* Здравствуйте, люди добрые, не покормите ли вы меня чем?

М а т ь. Ох, дедушка! Пришёл бы чуть раньше, мы бы тебя ухой, ягодой угостили. А сейчас у нас ничего нет.

О т е ц. Всё, что было, сынок доел.

С т а р и к. Что ж это вы его так раскормили? И почему он у вас днём спит? Ему что, ночи не хватает?

О т е ц. Он, как поест, всегда спит.

С т а р и к. Сами-то, я вижу, люди работящие, а сын — лентяй!

М а т ь. Твоя правда, дедушка, лодырь! Не знаем, что с ним делать!..

С т а р и к. А хотите, я научу вас?

О т е ц. Хотим!

М а т ь. Научи, дедушка.

С т а р и к. Тогда слушайте…

Шепчутся.

(Улыбаясь.) Помните, сделаете так, как я вам сказал, к концу лета не узнаете сына.

М а т ь. Хорошо, дедушка.

О т е ц. Пусть будет по-твоему.

С т а р и к уходит.

М а т ь. Ох, отец, даже не знаю, что делать.

О т е ц. То-то и оно, что и я не знаю, что с ним делать. Ничего не умеет! Ничего не хочет! Только спит да ест.

М а т ь. Спит да ест…

М а т ь, сходив в избу, выносит и кладёт рядом с сыном небольшую резную дудочку.

О т е ц, сняв с себя пояс с ножом в ножнах, кладёт его перед спящим Ерёмой.

О т е ц. Ерёмка, пойдём с нами по грибы!

Е р ё м а *(сквозь сон).* Идите одни, не мешайте спать.

Поцеловав по очереди спящего сына, родители прячутся за дом.

Проходит часть времени.

(Проснувшись.) Поесть, что ли? *(Рассматривает лежащую утварь.)* Котелок, корзина — пустые. Тоже мне родители, ушли, ничего поесть не оставили. Придётся голодным ложиться спать.

Наверху радуги появляется Мерцана. Посмотрев вниз на спящего Ерёму и брезгливо поморщившись, уходит.

Начинает вечереть.

(Озираясь по сторонам.) Мам, я есть хочу! Вы где? Куда спрятались? Ма-ма! Па-па! Я есть хочу. Где вы?

Подобрав оставленные ему вещи, подходит к реке.

(Недоуменно.) Лодка здесь?.. Может, вдоль берега поискать? Найду, они меня кедровыми орехами, лесной ягодой накормят.

Сев в лодку, начинает грести обратным концом весла.

(Смеясь.) Зачем мне, как отцу, широкой стороной весла грести, силы тратить? Рукоятью легче. А можно и вообще не грести, течение само меня к ним вынесет.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

В отличие от декораций первой картины на подмостках отсутствует дом и сеть на сушильных кольях.

Быстро темнеет.

На сцену выплывает лодка с сидящим в ней Ерёмой.

Е р ё м а *(оглядываясь по сторонам).* Скоро совсем темно станет. Надо к берегу приставать. Есть хочется. Может, хоть что-нибудь съедобное найду.

Сойдя с веслом на берег, забывает про лодку, которую тут же сносит течением.

(Подбежав к берегу.) Ой, ой, ой! Что я наделал, лодка уплыла. Как я теперь домой вернусь? Ма-ма! Па-па! Заберите меня отсюда, я есть хочу! Я домой хочу!.. (Оглядываясь по сторонам.) Кругом тайга. Где ночевать? Страшно-то как! Злой дух ко мне подкрадывается, лапами машет, схватить хочет. Что делать? Вон и огни засветились. Зелёными кошачьими глазами играют. Рысь, наверное. Сейчас она меня съест. Выручай, весло!

Размахивая веслом, некоторое время бегает по сцене.

(Устав.) Ух, уморился! Огоньков-то всё больше и больше. Может, это и не звери вовсе, а светлячки? Всю ночь, что ли, мне тогда за ними гоняться? Не лучше ли вздремнуть с часок-другой, травы много, спать мягко будет.

Засыпает.

На сцене появляется медведица.

М е д в е д и ц а *(переваливаясь с ноги на ногу).* Не спится! Душно в лесу. Жажда мучит. Пойду к реке, водицы попью.

Остановившись возле спящего Ерёмы.

(Удивлённо.) А это кто? Откуда взялся? Весь жиром оплыл. Лодырь, наверное. Фу ты, не то чтобы съесть его, даже пить расхотелось. Лучше уж к себе вернусь. Заснуть попробую.

Уходит.

Начинает светать.

Проснувшийся Ерёма, некоторое время походив по сцене, подходит к реке и входит в воду.

Е р ё м а. Мама! Папа! Где вы? Я здесь. Найдите меня быстрей. Ау!..

На сцене появляется старик.

С т а р и к. Здравствуй, Еремей!

Е р ё м а. Здравствуй, дедушка.

С т а р и к. Решил искупаться?

Е р ё м а. Нет. Рыбу хочу поймать.

С т а р и к. Как?! Голыми руками?..

Е р ё м а. Что тут хитрого? Её вон сколько! Из воды сама выпрыгивает.

С т а р и к. Вылезай! Пустая это затея — голыми руками рыбу ловить.

Е р ё м а *(выходя на берег).* Откуда, дедушка, ты знаешь, как меня звать?

С т а р и к *(усмехаясь).* Я всё про тебя знаю.

Е р е м а. Я есть хочу…

С т а р и к. Посмотри на себя, ты же словно гусь осенью.

Е р ё м а. Я домой хочу…

С т а р и к. Домой ты теперь не скоро попадёшь.

Е р ё м а. Что же мне делать? Я ж ничего не умею…

С т а р и к. Научу. И рыбу ловить, и из лука стрелять. С голоду не умрёшь.

Е р ё м а. Где ж мне лук взять? Чем рыбу удить? У меня кроме весла ничего нет.

С т а р и к. Всё будет! Всему обучу. Но сначала огонь добыть надо, костёр развести.

Е р ё м а. Как же я его добуду?

С т а р и к. Из этих вот двух сухих палочек. Начинай одну об другую тереть, пока дым не пойдёт. Дымок покажется, искорка сверкнёт, огонёк вспыхнет… Пробуй! А я пока из бересты и сухих веток костерок сооружу.

Появившись с хмурым лицом на верху радуги, Мерцана некоторое время смотрит вниз.
Понаблюдав за Ерёмой, заулыбавшись, уходит.

Е р ё м а *(вытирая пот со лба).* Бесполезно всё это!

С т а р и к. Нет! Ты шибче усердствуй.

Е р ё м а. Ура! Горит!..

С т а р и к. Ну вот! С огнём тебе теперь ничего не страшно. Он тебя и согреет, и накормит. *(Указывая на костёр.)* Только потухнуть ему не дай.

Е р ё м а. Есть хочу!..

С т а р и к. Это беда небольшая. Вот тебе крючок с клубком ниток, вяжи сеть.

Е р ё м а. Я не умею.

С т а р и к. Смотри и запоминай как ячею вязать.

Е р ё м а. У меня не получится.

С т а р и к. Получится. Давай теперь сам. *(Смотрит на пробующего вязать сеть юношу.)* Не путай, не путай нити…

Е р ё м а *(опуская руки).* Не могу больше!

С т а р и к. Можешь! *(Заставив вязать дальше.)* Если не знал, то знай: «Усердные руки приносят удачу. Ленивые — бедность с несчастьем в придачу!».

Е р ё м а. Устал!

С т а р и к. Потерпи.

Е р ё м а *(радостно).* Начинает получаться!

С т а р и к. Молодец! За день довяжешь. Вечером сеть поставишь, утром проверишь. Весь день сытым будешь.

Е р ё м а. Так это ж завтра? А я сегодня есть хочу!

С т а р и к. Иди в лес. Срежь своим острым ножом гибкую ветку для лука. Стяни её звенящей тетивой. Настрогай острых стрел. Добудь мясо.

Е р ё м а. Лук я себе сделаю. Он меня вместе с огнём от злых духов оберегать будет. А в зверюшек с птицами стрелять не стану. Как-нибудь грибами да ягодами прокормлюсь.

С т а р и к. Тебе решать! В лесу много съедобного, с голоду не помрёшь. Только запомни: кто другом к тебе придёт — хорошо встречай. На дружбе — мир держится! Если о помощи кто попросит, выручай, не задумываясь. Тогда твоё же добро к тебе вернётся.

Е р ё м а. Хорошо, дедушка, всё сделаю, как ты сказал.

С т а р и к. И ещё! Если хочешь настоящим человеком стать, перестань рассчитывать на других. Чужим трудом не проживёшь и человеком не станешь! В твоей жизни всё от тебя самого зависит. Начиная от костра, который вот-вот погаснет.

Е р ё м а *(засуетившись).* Я сейчас, дедушка, в лес сбегаю, старых веток насобираю, на всю ночь хватит. (Убегает.)

Следом за Ерёмой сцену покидает и старик.

Начинает темнеть.

С вязанкой хвороста за плечами и луком в руке на сцену выходит слегка похудевший Ерёма.

(Скинув с плеч хворост.) Дедушка, ты где? (Обречённо.) Придётся вторую ночь одному ночевать. Эх! Мама, папа, вы где?..

(Подбросив сучьев в еле-еле тлеющий костёр, оглядывается по сторонам.) Красота-то кругом какая! На небе звёзды, в реке луна отражается. И что это вчера меня здесь всё пугало? Рыба из воды выпрыгивает. В лесу грибов, ягоды, шишки много. Медоносной травы столько, что на всю зиму чай заваривать хватит. Завтра же возьмусь за заготовку даров природы. Отцу с матерью помогу. Ищут меня, непутёвого, беспокоятся. Найдут, а у меня целая гора запасов на зиму. Вот обрадуются!..

Усевшись возле разгоревшегося костра, достаёт из-за пазухи дудочку, пробует играть. Вначале ничего не получается, но вскоре начинает звучать мелодичная, навевавшая тоску, музыка. Из леса выходит ёж. Садится на пенёк, слушает. Наверху радуги появляется Мерцана. Прислушавшись к щемящей душу мелодии, начинает рассматривать небо, стараясь найти искусного музыканта. С окончанием музыки ёж, смахнув набежавшую слезу, встаёт и возвращается в лес. Недоуменно взглянув сверху вниз, Мерцана узнаёт в Ерёме, укладывающемся возле костра спать, исполнителя обворожительной музыки, счастливо улыбнувшись, уходит. Наступает ночь. Воцарившуюся тишину нарушают крики выбежавших на сцену зверей. Лес озаряется красным светом. Проснувшийся Е р ё м а смотрит то на зверей, то на горящий лес.

М е д в е д и ц а. Горим! Что делать? Кто спасёт моих деток малых?..

Ё ж. У меня же кладовая с запасами на зиму. Сгорит, как зимовать буду?

Х и т р ы й Л и с. Как жить стану? Норы лишусь, прилечь отдохнуть негде будет!

К о р ш у н. Летим на тот берег! Там наше спасение…

Р ы с ь. Я плавать не умею…

Е р ё м а. Стойте! Куда вы? Огонь тушить надо, лес спасать. За мной, друзья!

Е р ё м а со зверями исчезает в лесу. Слышны крики зверей и человека.

Минутой спустя лес, озаряемый последними всполохами огня, растворяется в темноте.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

К декорациям второй картины добавляется шалаш с сетью на кольях. Заметно похудевший Ерёма, сидя на пне, доплетает корзину.

Е р ё м а *(рассматривая с разных сторон).* Хорошая получилась корзина! Будет с чем по грибы-ягоды ходить.

Оставив возле пня лук и стрелы, уходит с корзиной в лес.

Минуту спустя на сцене появляются звери, рассаживающиеся вокруг костра.

Ё ж. Что делать будем? Чем и как отблагодарим нашего друга?

Р ы с ь. Раньше я, человека учуяв, за версту его обходила. Но после того, как Ерёма наш лес от пожара спас, люди для меня родными стали.

Х и т р ы й Л и с. Может, невесту ему подыщем?

М е д в е д и ц а. Я за то, что он моих медвежат из огня вытащил, на всё согласна: и дров наломать, и мёду заготовить. Только где ж мы ему в лесу невесту найдём?

Ё ж. Ты, Лис, хоть и хитрый, но говори да не заговаривайся. Медведица права! Я тоже для Ерёмы грибов и шишек насобирать готов, но где в нашем лесу мы ему невесту сыщем?

Х и т р ы й Л и с. Почему в лесу?

Ё ж. Где же тогда?

К о р ш у н. Мне, в отличие от вас, вся округа видна.

Р ы с ь. Ну и как? Есть поблизости хоть одна невеста для нашего жениха?

К о р ш у н. На сто вёрст ни одной человеческой души.

Ё ж. Слышал? А ещё Хитрый Лис называешься…

Х и т р ы й Л и с. Коршун прав. Ему из поднебесья больше нашего видно. Но я о другом думаю.

М е д в е д и ц а. О чём же?

Р ы с ь. Что ты имеешь в виду?

Х и т р ы й Л и с. Только то, что всем нам отсюда видно.

Ё ж *(зверям).* Что вы завертелись на месте, куда смотрите? Не видите, он же смеётся над нами…

Х и т р ы й Л и с *(обиженно).* Ни над кем я не смеюсь. Сами смотрите не туда. Поднимите головы кверху, так и догадаетесь, к чему я клоню.

Ё ж. Совсем, что ли, ополоумел, Хитрый Лис! С дочерью Владыки Верхнего мира Ерёму сосватать хочешь?

Х и т р ы й Л и с. Почему бы и нет?

Р ы с ь. Потому что Владыка Верхнего мира свою дочь-красавицу никогда не отдаст за бедняка…

М е д в е д и ц а. Подождите, подождите... Ведь это мысль! Ай да хитрый лис, ай да молодец!

К о р ш у н. Какая мысль, медведица! Рысь права. У Ерёмы ничего нет. О чём ты?..

М е д в е д и ц а. Сегодня нет, а завтра? Мы-то здесь для чего собрались!

Ё ж. Чтобы решить, чем и как отблагодарить человека за то, что он наши гнёзда и норы от огня спас.

Х и т р ы й Л и с. Я, кажется, знаю, что делать, чтобы наш друг разбогател!

К о р ш у н. Что?

Ё ж. Говори.

Р ы с ь. Не молчи!

М е д в е д и ц а. Ну же…

Х и т р ы й Л и с. Надо завладеть большой жемчужиной, которой цены нет.

М е д в е д и ц а. Интересная мысль. Только как нам её в жизнь воплотить?

К о р ш у н. Пустая затея. Хозяин воды днём и ночью сторожит свою бесценную жемчужину.

Р ы с ь. Многие из тех, кто пытался выкрасть её, теперь в прислуге у него ходят.

Х и т р ы й Л и с. Мы красть не будем.

Ё ж. Как же тогда драгоценный камень нашим станет?

Х и т р ы й Л и с. Выиграем у него.

М е д в е д и ц а. Как?

Х и т р ы й Л и с. Устроим соревнования. Позовём его поучаствовать. Если трижды нам проиграет, отдаст свою бесценную реликвию.

К о р ш у н. А если не проиграет?

Х и т р ы й Л и с. Давайте думать, как нам его обхитрить…

М е д в е д и ц а. Я побороться могу. На суше он слабее. Стыдно будет не одолеть Водяника.

Х и т р ы й Л и с. Молодец, медведица! *(Ежу.)* А ты в беге…

Р ы с ь. Ну, ты, Хитрый Лис, уморил! Из ежа бегуна решил сделать! Ха-ха-ха…

Х и т р ы й Л и с. Поэтому, не теряя минуты, отправляйся, ёж, с коршуном в лес. Он поможет тебе расставить на каждом перекате, мысе по собрату.

Ё ж. Зачем?

Х и т р ы й Л и с. Чтобы они вместо тебя до самой вершины реки оказывались каждый раз впереди Хозяина воды.

Ё ж. Понял!

К о р ш у н. Хитро придумано, летим…

Ёж и Коршун покидают сцену.

Х и т р ы й Л и с *(Рыси).* Что бы тебе придумать?..

Р ы с ь. Подумай лучше, как Хозяина воды на берег выманить.

Х и т р ы й Л и с. А тут и думать нечего. *(Указывает на колья.)* Сеть, что Ерёма за лето сплёл, нам поможет.

Сняв сеть с кольев, подходят к воде.
Закинув сеть в воду, начинают трясти ею.

Немного погодя из воды показывается Хозяин воды.

Х о з я и н в о д ы. Хуг, хаг… Что вы делаете? Зачем тревожите меня, спать не даёте?

Х и т р ы й Л и с. Хотим всю рыбу сетью вычерпать.

Х о з я и н в о д ы. Я не отдам вам рыбу.

Р ы с ь. А мы и тебя самого на берег вытащим.

Х о з я и н в о д ы. Что вам надо?

М е д в е д и ц а. Желаем, чтобы ты с нами силой померился.

Х и т р ы й Л и с. И быстротой в беге!

Х о з я и н в о д ы. Я с вами?! Вы что, мухоморов объелись?..

М е д в е д и ц а. Выиграешь — до конца света жить тихо будешь.

Р ы с ь. В своих богатых палатах из ракушек и разноцветных камушков.

Х о з я и н в о д ы. А если нет?

Х и т р ы й Л и с. Проиграешь — отдашь нам свою большую жемчужину.

Х о з я и н в о д ы. Что? Жемчужину! Нет. Только не её. Половину добра из своего добра на кон ставлю.

Р ы с ь. Не надо нам половины твоего добра. Ставь жемчужину! Иначе всей рыбы лишишься.

Х о з я и н в о д ы *(отмахивается).* Согласен! Всё равно вам у меня её не выиграть.

М е д в е д и ц а. Выходи из воды, бороться будем.

Х о з я и н в о д ы. Давай.

Х о з я и н в о д ы на равных борется с медведицей, но, оказавшись на лопатках, стучит ластами по настилу сцены.

Х и т р ы й Л и с. Проиграл, жемчужина наша.

Х о з я и н в о д ы *(вставая).* Полагается до трёх раз. *(Отряхиваясь.)* Завтра опять бороться будем. *(Спускаясь к воде.)* На этом месте.

Р ы с ь. Некогда нам завтра ждать, жемчужина сегодня нужна.

Х о з я и н в о д ы *(зайдя в воду).* Привязались! *(С хитринкой в голосе.)* Так и быть, давайте попробуем…

Х и т р ы й Л и с. Что?

Х о з я и н в о д ы. Кто дальше забросит то, что в руке окажется.

Р ы с ь. Согласны.

Х о з я и н в о д ы. У меня горсть воды.

Рысь, оглянувшись вокруг, поднимает муляж небольшого булыжника.

Р ы с ь. У меня — камень.

Х о з я и н в о д ы. На счёт раз, два, три — кидаем!

Незаметно от Хозяина воды р ы с ь, взмахнув рукой, сбрасывает камень позади себя.

(Самодовольно.) Видели, на облака воду забросил? За брызги потяну, дождь пойдёт. Смотрите! *(Тянет.)* Ну, как? *(Умывается дождём.)*

Р ы с ь *(отряхиваясь).* Эко невидаль, на облака. Я-то свой камень на луну забросила. Вон он, видишь?

Х о з я и н в о д ы *(недоуменно).* Нет!

Р ы с ь. Правильно, днём луны не видно. Ночью рассмотришь, куда камень упал.

Х о з я и н в о д ы. Что? Разлюли-караси! Выходит, второй раз проиграл. Не может быть!

Х и т р ы й Л и с *(смеясь).* Может, может… Отдавай жемчужину.

Х о з я и н в о д ы. Нет! Раз такое дело, давайте в плаваньи состязаться. Кто из вас плавать умеет?

М е д в е д и ц а. А зачем нам плавать уметь? Плыви по воде, а хитрый лис берегом побежит.

Х и т р ы й Л и с. Ну ты, медведица, даёшь! Я ж Водяника в два счёта обгоню.

Х о з я и н в о д ы. Ты меня?!

Х и т р ы й Л и с. Я.

Х о з я и н в о д ы. С места сдвинуться не успеешь, как я туда-обратно сплаваю…

Х и т р ы й Л и с. Не смеши, хозяин воды. По бегу мне равных нет.

Х о з я и н в о д ы. Так давай проверим, какой ты бегун.

Х и т р ы й Л и с. Проиграешь.

Х о з я и н в о д ы. Отказываешься? Значит, я победил!

На сцене появляются Ёж с Коршуном.

Х и т р ы й Л и с. Не отказываюсь. Хочешь проиграть, давай. Только я знаю — тебе не то что меня, даже ёжика не обогнать.

Х о з я и н в о д ы. Ну, зверьё! Видать, страх совсем потеряли. Да я вашего ёжика в два счёта сделаю…

М е д в е д и ц а. Вначале обгони, а уж потом хвастайся.

Х о з я и н в о д ы. Хорошо! Но, если первым назад вернусь, к реке больше никогда не подойдёте. Идёт?

Р ы с ь. Чем же мы жажду утолять будем?

Х о з я и н в о д ы *(смеясь).* Колодец выкопаете.

Х и т р ы й Л и с. Идёт.

Х о з я и н в о д ы. Значит, договорились.

М е д в е д и ц а. Договорились…

Х о з я и н в о д ы *(подошедшему ежу).* Готов?

Ё ж. К чему?

Х о з я и н в о д ы. Бежать наперегонки со мной.

Ё ж. Почему я?

Х о з я и н в о д ы. А это ты у них спроси. Они так решили. Ха-ха-ха…

Ё ж. Что ж, давай пробежимся. Выходи на сушу.

Х о з я и н в о д ы. Как бы не так! Ты по земле беги, а я под водой.

Ё ж. Когда?

Х о з я и н в о д ы. Сейчас! На счёт: раз, два, три. Догоняй, ё-жи-к-к-к…

Запрыгав от радости, звери обнимаются, смеются.

(Вынырнув из воды.) Ты где, ёжик?

Ё ж. Да тут я, тут. Что долго так? *(Отмахивается.)* Устал ждать тебя.

Х о з я и н в о д ы. Как тут?!

Х и т р ы й Л и с. А вот так! Мы — свидетели.

Х о з я и н в о д ы. Не может быть? На каждом перекате, мысу, излучине окликал тебя. Назад в два раза быстрей…

К о р ш у н. Хватит оправдываться! Проиграл, отдавай жемчужину.

Х о з я и н в о д ы. Не верю…

М е д в е д и ц а. Э-э-э! Хозяин воды, мы так не договаривались. Куда ты?

Х о з я и н в о д ы (показываясь из воды). Я слово держу. Получите…

Р ы с ь. И мы тоже сдержим. Не будем тебя больше тревожить.

Ё ж. Живи спокойно в своём подводном царстве.

Х и т р ы й Л и с (машет). Прощай!..

С полной корзиной дикоросов на сцене появляется сильно похудевший Ерёма.

Е р ё м а. Здравствуйте, друзья! Угощайтесь кедровыми орешками, грибами, ягодами.

М е д в е д и ц а. Спасибо тебе, Ерёма, что ты лес от огня спас.

Е р ё м а. Рад, что помог вам.

Х и т р ы й Л и с. Прими за это от нас большую жемчужину.

Р ы с ь. С ней ты будешь самым богатым человеком в нашем крае.

Е р ё м а. Спасибо! Но эта бесценная жемчужина принадлежит Хозяину воды! Как она оказалась у вас?

К о р ш у н. Мы честно выиграли её у него.

Ё ж. И отдаём тебе.

Р ы с ь. В награду за твоё доброе дело!

Е р ё м а. Какое?

М е д в е д и ц а. Тушение ночного пожара в лесу.

Е р ё м а. А-а. Спасибо, конечно, только зачем она мне?

Х и т р ы й Л и с. Ты что, собрался всю жизнь в лесу жить?

Е р ё м а. Не знаю. Но мне пока и здесь хорошо.

Ё ж. Нравится, пока не встретил красавицу.

Е р ё м а. Не смешите, друзья! Откуда ей здесь взяться?

К о р ш у н. А вот сосватаем за тебя дочь Владыки Верхнего мира, так узнаешь…

Е р ё м а. Шутите?

Р ы с ь. Он в людях разбирается…

М е д в е д и ц а. За тебя свою единственную дочь с удовольствием отдаст.

Е р ё м а. Что вы, что вы! Владыка Верхнего мира царицу утренней зари Мерцану за сказочных богатырей, прославившихся великими подвигами, отдавать не хочет. А кто я? Не бывать этому…

Х и т р ы й Л и с. Не бывать, говоришь? А это мы ещё посмотрим. Вот возьмём и прямо сейчас отправимся сватать тебя.

Е рё м а. Не надо!

К о р ш у н. Надо!

Ё ж. Вот и посмотрим, надо или не надо…

Х и т р ы й Л и с. За мной, друзья!

Хитрый Лис, Медведица, Рысь, Ёж и Коршун входят в лес и начинают своё восхождение по радуге к небу. Не переставая смеяться, Ерёма некоторое время машет им рукой.

Е р ё м а *(к залу)*. Давно я так не смеялся. Насмешили меня друзья! Владыка Верхнего мира не только слушать их не станет, но и близко к своим владениям не подпустит. Зря пошли… *(Поёжившись.)* Проходит лето! Начинают дуть холодные ветра. Птицы в стаи сбиваются, начинают готовиться к перелёту в тёплые края. Зима не за горами. *(Подойдя к шалашу.)* Надо и мне вместо шалаша настоящее жилище строить. Грибов, ягоды, ореха на всю зиму заготовил. С дровами проблем нет. Одно плохо. *(Грустно.)* Родителей жалко. Как они там без меня? Скучают, наверное! *(Достаёт дудочку, играет.)*

Наверху радуги навстречу поднимающимся зверям выходит Владыка Верхнего мира.

М е д в е д и ц а *(кланяясь).* Здравствуйте, Владыка Верхнего мира!

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Здоровья и вам с процветанием.

Х и т р ы й Л и с. Да будет, Владыка небесного мира, жизнь ваша протекать в спокойствии и блаженстве.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Спасибо, спасибо за хорошие слова. Но не томите, говорите, зачем пришли?..

Ё ж. За Ерёму пришли просить.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Что за молодец такой, чтобы за него звери всем лесом просили?

Х и т р ы й Л и с. Владелец самой большой жемчужины!

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Самая большая жемчужина у Хозяина воды, он её никому не отдаст. Даже мне…

К о р ш у н. А ему отдал!

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. За какие заслуги?

Постепенно грустная мелодия, играемая Ерёмой на дудочке, переходит в весёлую, задорную музыку.

Р ы с ь. За то, что мало спал и много работал.

Ё ж. За то, что, живя в лесу, зверей, птиц не обижал.

М е д в е д и ц а. За то, что спасая других, себя не жалел.

К о р ш у н. За то, что…

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Хватит! Лучше покажите мне вашего молодца.

Х и т р ы й Л и с. Смотрите.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Не вижу.

Х и т р ы й Л и с. Не туда смотрите, Владыка Верхнего мира. Вон наш Еремей, сидя на пне, на дудочке играет.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. А, теперь узрел! Вижу, что под бедным седлом ходит добрый конь. В худой рубашке растёт богатырь непобедимый! Только ко мне вы зачем пришли? Он лёгок на ноги, силён на руки, ни в чьей помощи не нуждается.

М е д в е д и ц а. Пришли просить вас, Владыка Небесного мира, отдать за нашего молодца вашу дочь-красавицу.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Что?..

Р ы с ь. Вы на нас не сердитесь!

Ё ж. Не обижайтесь…

К о р ш у н. Еремей — хороший человек! Поэтому мы всем лесом желаем ему счастья.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Гм-м… Я бы согласился породниться с хозяином самой большой в мире жемчужины. Только вот что дочь скажет, не знаю. Многим она сказочным героям и богатырям, добивавшимся её руки, отказала…

Х и т р ы й Л и с. Давайте об этом у неё спросим?

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Мерцана! Подойди, пожалуйста, поговорить надо.

На радуге появляется красивая девушка.

М е р ц а н а. Я пришла. Зачем звал, отец?

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Сваты пришли. Просят отдать тебя за Еремея. А ты как? По сердцу он тебе или нет?

Посмотрев вниз, М е р ц а н а, счастливо заулыбавшись, кланяется отцу.

М е р ц а н а. Я согласна. Но воля твоя, дорогой отец! Как скажешь, так и будет.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Вот и хорошо, доченька! Еремей мне сразу понравился. Красавец писаный, богатый…

М е р ц а н а. Не в богатстве счастье!

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Согласен. Главное, чтобы любил тебя крепко. Не обижал и в обиду никому не давал.

К о р ш у н. Ерёма не обидит, он — добрый!

М е д в е д и ц а. Правда, правда…

М е р ц а н а *(улыбаясь).* Я всё лето за ним наблюдала. С каждым днём он мне всё больше нравился.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Ну и славно! Рад за тебя, доченька. Будь счастлива!

Х и т р ы й Л и с. Позволь, царица утренней зари, твою ручку.

Подхватив ладонь Мерцаны, Хитрый Лис с большим почтением в голосе обращается к Владыке Верхнего мира.

(Поклонившись.) Кланяемся тебе, Владыка Верхнего мира, и просим разрешения покинуть вместе с Мерцаной твои владения.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Ступай, моя любимая дочь, с миром. Разжигай большой костёр с человеком и будь счастлива на земле!

М е р ц а н а *(кланяясь).* Спасибо, отец! Пойдём с нами.

В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а. Я завтра к вам в гости приду. Закатим пир на весь мир.

Звери вместе с М е р ц а н о й, поклонившись В л а д ы к е В е р х н е г о м и р а, начинают спускаться вниз.

Х и т р ы й Л и с, держа на вытянутой руке ладонь М е р ц а н ы, идёт с ней впереди всех. В л а д ы к а В е р х н е г о м и р а, смахнув со щеки набежавшую слезу, машет им вслед.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

Декорации третьей картины.

К Ерёме, сидящему на пне и смотрящему в зал, подходят звери вместе с Мерцаной.

Р ы с ь. О чём задумался, Еремей?

Вздрогнув от прикосновения за плечо, Ерёма вскакивает с места.

Ё ж. Мы сдержали слово.

М е д в е д и ц а. Дочь Владыки Верхнего мира перед тобой!

Х и т р ы й Л и с. Покровительница утреней зари (артистическим жестом указывая на Мерцану) дала согласие разжечь с тобой один большой костёр!

Замерев на месте, молодые люди зачарованно смотрят друг на друга.

Из леса выходит старик.

С т а р и к *(на ходу).* Я рад за тебя, Еремей! Многому научился ты здесь. *(Остановившись.)* Труд изменил тебя в лучшую сторону. Посмотри на себя, каким ты стал стройным, красивым юношей. О твоём смелом и добром сердце по всему лесу идёт славная молва.

А потому хватит мне тебя испытывать, собирайся домой. Зима не за горами…

Е р ё м а. Как и на чём мы можем добраться до моих родителей, если я даже не знаю, в какой они стороне?

С т а р и к. Это беда поправимая! Стоит только хлопнуть в ладоши, как к берегу причалит потерянная тобою лодка. Смотри!

Хлопает. На сцене появляется лодка.

Е р ё м а. Здорово! Но куда плыть? Вверх или вниз по течению?..

С т а р и к. Об этом не беспокойся. Лодка сама дорогу найдёт.

Е р ё м а. Спасибо тебе, дедушка, за всё, чему научил меня. Если уж лодка ко мне вернулась *(обнимает Мерцану),* то я поспешу поделиться своей радостью с моими родителями.

С т а р и к. Поспеши, Ерёмушка, порадуй отца с матерью.

Е р ё м а. Чем же мне тебя отблагодарить, дедушка? Может, большую жемчужину в подарок примешь?

С т а р и к. Оставьте её себе. Она вам и вашим деткам жить, не зная бед, поможет.

М е р ц а н а. Берите, берите, дедушка. Никакие трудности нас не разлучат…

С т а р и к. Молодцы! Так и живите всю жизнь, заботясь друг о друге. (Приняв с поклоном жемчужину, прячет её внутри своей бедной одежды, но тут же достаёт из-за пазухи переливающийся всеми цветами радуги цветок.) Примите и от меня подарок.

Е р ё м а. Вот это да!..

М е р ц а н а. Так это жар-цвет, дедушка! Мы не можем принять волшебный цветок.

С т а р и к. Почему?

М е р ц а н а. Он чужие мысли читать помогает. Видеть сквозь землю научить может.

С т а р и к. Он много чего может. Но главное в другом! В случае опасности невидимыми вас сделает. Любые замки и запоры перед вами откроет.

М е р ц а н а. Это уже не жизнь у нас будет, а сказка! Нам такого не надо.

Е р ё м а. Мы как все люди жить будем, поэтому не обижайся на нас, дедушка, но цветок твой мы не возьмём…

Переливающиеся огоньки внутри цветка тухнут, и в руках старика оказывается обыкновенный хрустальный цветок.

С т а р и к. Что ж, я на вас не в обиде. *(Возвращает цветок на прежнее место.)* Живите по совести. Не желайте худого другим, и

всё у вас тогда будет хорошо! (Зверям и птицам.) А вы, друзья, помогите молодым донести все запасы на зиму, заготовленные Еремеем в вашем лесу.

М е д в е д и ц а. Конечно, поможем!

Ё ж. Угу!

К о р ш у н. Да, да.

Р ы с ь. Обязательно.

Х и т р ы й Л и с. С удовольствием поможем!

Е р ё м а с М е р ц а н о й, войдя в лодку, отплывают от берега.

М е р ц а н а. До свидания, дедушка!

Е р ё м а. Спасибо за всё…

С т а р и к *(махая рукой)*. Будьте счастливы, дорогие мои…

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Декорация первой картины.

Вечер.

Возле костра отец и мать грустят о Ерёме.

О т е ц. Зря мы своего сына на погибель в глухую тайгу отправили…

М а т ь. Как он там один?..

О т е ц. Научился ли уму-разуму?..

М а т ь. Расстался со своей ленью?..

О т е ц. Перестал днём и ночью спать, ничего не делая?..

М а т ь. Хотели же, как лучше, а теперь вот гадаем: жив ли, здоров?..

На сцене появляется старик.

С т а р и к. О чём грустите-тужите, добрые люди?

О т е ц. О сыночке грустим, дедушка!

М а т ь. О кровинушке своей печалимся!

О т е ц. Как он там один?

С т а р и к. Не печальтесь. Жив, здоров ваш Еремей!

М а т ь. Правда?!

С т а р и к. Правда. С молодой женой-красавицей к вам спешит.

О т е ц *(вскакивает с места).* Где, где наш сынок?

С т а р и к. Да вон они по реке к вам на лодке плывут. А его лесные друзья берегом подарки несут.

Пока родители Ерёмы смотрят на реку, с т а р и к незаметно от них покидает сцену.

М а т ь *(прижимаясь к мужу).* Ты что-нибудь, видишь, отец?

О т е ц. Нет.

М а т ь. И я нет…

О т е ц. Смотри, мать, а старичка-то нет!

М а т ь. Где стоял, трава примята. Куда ушёл, следов не видно…

О т е ц. Расспросить толком не успели…

М а т ь. Что ж это мы так?

О т е ц. Садись к костру. Сами во всём виноваты. *(Не успев присесть, вскакивает с места.)* Смотри, смотри, мать! Прав старик был. Ерёма наш с молодой женой по реке плывёт.

М а т ь *(встаёт).* Где, где?..

О т е ц *(указывая).* Да вон же!

М а т ь. Неужели сынок это наш? Его ж не узнать, похудел-то как сильно!

О т е ц. На ствол медноствольной лиственницы походить стал. А невесту-то себе какую нашёл!

М а т ь. До чего же хороша!

О т е ц. Как ясное солнышко, от счастья сияет.

М а т ь. Красоты неописуемой!

О т е ц. Неземной!

На сцену выплывает лодка с Мерцаной и Еремеем. Родители, счастливо улыбаясь, подходят к берегу. Соскочив с лодки, Е р ё м а помогает сойти на берег своей молодой жене.

Е р ё м а. Здравствуйте, мои дорогие родители! Посмотрите, с какой помощницей домой я вернулся…

М а т ь *(целует).* Здравствуй, сыночек!

О т е ц (обнимает). Здравствуй, дорогой!

Е р ё м а. Заживём теперь мы все вместе лучше прежнего.

М а т ь. А как звать нашу солнцеликую красавицу?

М е р ц а н а *(застенчиво).* Мерцана.

О т е ц. Ах ты мать честная! Сама лучезарная красавица, и имя распрекрасное!

М а т ь. Здравствуй, доченька! Дай-ка мы тебя расцелуем…

Родители Ерёмы обнимают и целуют Мерцану.

На сцену с подарками выходят: Хитрый Лис, Медведица, Рысь, Ёж и Коршун.

Е р ё м а. А вот и наши друзья! Они помогли заготовленные мною на зиму запасы в подарок вам принести.

Родители за сложенные у их ног туеса и корзины, наполненные доверху разными дикоросами, низко кланяются зверям.

М а т ь. Спасибо вам за помощь нашему сыну!

М е д в е д и ц а. Спасибо и вам за хорошего сына. Он моих медвежат во время пожара в лесу из огня вынес.

О т е ц. Что! Тайга горела?

Ё ж. Сильно горела…

Р ы с ь. Но Ерёма огонь в лесу потушил, жилища наши от огня уберёг.

К о р ш у н. Всё лесное богатство в целости сохранил.

Х и т р ы й Л и с. Никого из нас не обидел.

М е д в е д и ц а *(поклонившись вместе с другими родителям Ерёмы).* Пора домой возвращаться, да от радости не могу удержаться, чтобы в пляс не пуститься.

Важно выпячивая грудь, медведица, приплясывая, начинает ходить по кругу. Вслед за медведицей начинают танцевать остальные. Смеясь и радуясь безграничному веселью, люди хлопают в ладоши. Костёр вспыхивает большим пламенем. Сцену заливает яркий свет. В разгар ликующего веселья на сцену выходит старик.

С т а р и к *(в зал).* До сих пор помнят в нашем краю эту историю. Вам мы тоже решили рассказать её, чтобы вы знали и не забывали о том, что только труд, взаимовыручка и любовь к родной природе могут привести к счастливому концу в любой ситуации…

Занавес

ЯСОЧКА И ТАТЬ

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА В ШЕСТИ КАРТИНАХ.

(Для кукольного театра)

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

К н я з ь.

З л а т а — дочь князя.

Ж д а н к о — кузнец.

Т и у н — старший над гриднями.

Г р и д н и — воины княжеского войска.

У ш к у й н и к — разбойник.

Г у с л я р.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

С открытием занавеса появляется старик с гуслями.

Усевшись сбоку, начинает перебирать струны.

Г у с л я р. Поведать захотелось мне историю про Ясочку* и Татя,* произошедшую в Славянской стороне в году примерно шесть тысяч триста восемьдесят пятом.*

На фоне меняющихся картин с видами полей, рек и лесов появляются скачущие на конях с копьями и алебардами десяток дружинников. Во главе конницы князь. Дует сильный ветер.

Темнеет.

Г у с л я р. До родовой отчины, как ни старались, ни пришпоривали чалых коней, засветло всё равно не добрались. Спешились ночью, на княжьем дворе.

Остановившись возле княжеского терема,
воины спрыгивают с коней, расходятся.

Г у с л я р. Сдав оружие, амуницию, разбрелись смерды по теремам. К домочадцам своим с известием, что никто из них в сече* не пал.

Вспыхивают вокруг княжеского терема огни,
раздаётся радостное многоголосье.

Г у с л я р. Загуляло, запело от радости городище древних славян. Наконец-то дождались пахотные земли рук своих крестьян.

Вместо картины с видом улицы появляется картина внутреннего убранства княжеского дома.

Г у с л я р. Гридни с князем остались в гриднице и, потягивая хмельё, незлобиво смеялись над смердами, князем призванными под копьё.

Под шумовое сопровождение застолья князь выходит из-за стола.

Г у с л я р. Миром сладив междоусобицу, соблюдать поклялись честный ряд.* Каждый вправе в своей вольнице: банном* быть, но другим не мешать!

Постояв возле двери, князь, так и не решившись постучать,
возвращается к столу.

Г у с л я р *(после перебора струн).* Думал князь у опочивальни своей дочери в поздний час. Не хотел он будить красавицу, узорочье прибрав про запас. Завтра он подарит Златушке золото и серебро. Завтра он объявит о свадебке с сыном князя — друга его…

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Утро.

На фоне бревенчатой стены бегут навстречу друг другу
Злата и Жданко.

Г у с л я р. Узнав от отца о свадьбе, о сговоре двух князей, Злата призвала парня, работающего на них.

Встретившись в центре, Злата попадает в распростёртые руки
Жданко.

Ж д а н к о. Что? Что случилось, Златушка? Чем ты так встревожена, дорогая?

З л а т а *(сквозь слёзы).* Случилась беда, Жданко!

Ж д а н к о *(Заглядывает в глаза).* Беда?

З л а т а. Да! *(Прижимается к мужской груди).* Я тебя сильно-сильно люблю…

Ж д а н к о *(смеясь).* Разве это беда, дурёха? Это же счастье!

З л а т а. Нашему счастью хотят помешать.

Ж д а н к о *(отстраняет от себя Злату).* Кто?

З л а т а. Отец.

Ж д а н к о. Он знает о нас?

З л а т а. Нет.

Ж д а н к о. Тогда как он это сделает?

З л а т а. Я сосватана.

Ж д а н к о. С кем?!

З л а т а. С сыном князя, с которым он заключил перемирие.

Ж д а н к о. Не бывать этому!

З л а т а. Но день свадьбы уже оговорён. Соберём урожай, и сваты нагрянут к нам.

Ж д а н к о. Нет! Не нагрянут…

З л а т а. Что же делать, Жданко?

Ж д а н к о. Бежать.

З л а т а. Как бежать? Догонят…

Ж д а н к о. Не догонят. Главное, чтоб ты согласилась…

З л а т а. Я???

Ж д а н к о. Да! Или тебе хоромы княжеские бросать жалко?

З л а т а. Нет. С тобой я и в шалаше счастлива буду.

Ж д а н к о *(обрадовавшись, целует Злату).* И я тоже, невестушка ты моя!

З л а т а *(ласкаясь).* Помнишь?..

Ж д а н к о. Что?

З л а т а. Как зимой…

Ж д а н к о. На посиделках, здесь же, встретился я с тобой.

З л а т а. Да.

Ж д а н к о. Разве такое забудешь?..

З л а т а. А?..

Ж д а н к о. И это помню!

З л а т а *(застеснявшись).* Что?

Ж д а н к о. Как в повети* без свидетелей признались друг другу в любви…

З л а т а. Неужели нашему счастью конец?

Ж д а н к о. Нет!

Жданко начинает нашёптывать что-то Злате,
та согласно кивает в ответ.

Г у с л я р. И, чтобы не расставаться, предложен был дерзкий план. Должна она с ним повстречаться сегодня же в поздний час…

Затемнение.

Г у с л я р. Отчий дом покинув ночью, Злата, колтами* звеня, взявшись за руки с любимым, убежала со двора.

Шумовое сопровождение быстрых шагов, шелеста травы, ветра.

Г у с л я р. В потаённом, тёмном месте, в зарослях ивняка, лодка, спрятанная Жданко, ждала с самого утра.

Шумовое сопровождение всплеска воды от вёсёл.

Г у с л я р. Оттолкнувшись жердью длиной от крутого бережка, по теченью, к вольной жизни, речка быстро понесла.

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Утро.

Не находя себе места, по залу мечется князь. В стороне от него по стойке смирно стоят старый Тиун и три молодых гридня*.*

Г у с л я р. Сведав о побеге дочери со смердом из мастеровых, работавшим на подворье ковалём, догнать приказал и избить!

К н я з ь *(остановившись).* Плёткой! До полусмерти! Чтоб неповадно ей было впредь… С холопом же не церемоньтесь, ему не видать больше дщерь.*

Г у с л я р. Но, гнев поумерив яростный, немного погодя, ратникам* посоветовал…

К н я з ь. В поруб* посадить наглеца. Со Златою сам управлюсь, без лапушки мне не жить…

Г у с л я р. Дружинники* разъехались в разные концы.

При лунном свете появляются смеющиеся Злата и Жданко.

Г у с л я р. Проплыв по реке на лодке полную луну, сошли они на берег.

Жданко перед исчезновением увлекает за собой Злату.

Г у с л я р. И растворились в лесу…

Г о л о с Ж д а н к и. Чтобы добраться до Новгорода, нам надо его пересечь.

Г о л о с З л а т ы *(радостно).* Ждёт нас земля Словеней, на озере Ильмень!

Яркий свет.
Перед князем, с опущенными головами стоят трое гридней со своим Тиуном.

Г у с л я р. Ратники возвратились в княжеский удел. Никто из них радостной вестью порадовать не сумел.

Т и у н. Прости, князь! Проскакали много вёрст, многих опросили. Но никто не видел их, как сквозь землю провалились…

К н я з ь. Это вы сейчас у меня в преисподней окажитесь…

Г у с л я р. Князь изводился от мысли, что…

К н я з ь. Зятем моим стал смерд!* *(Вымученно.)* Без разницы, что свободный, всё равно — челядь* и чернь*…

Отмахнувшись, князь отворачивается от гридней.
Дружинники тут же исчезают.

Г у с л я р. Придумывал разные козни для зятя по прозвищу тать.*

К н я з ь *(угрожающе).* Похитившему ясочку*, — пощады не видать!

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

В окружении причудливого леса небольшая избушка.

Заметно пополневшая Злата, вместе со Жданкой, любуется звёздным небом с луной.

Г у с л я р. Тем временем месяц хмурень,* давая о себе знать, заморозками, дождями, заставил их зимовать. Сварог* помог из трута* им высечь искру огня. В заброшенной заимке взыграло пламя костра…

З л а т а. Смотри, любимый!

Ж д а н к о. На звёзды?

З л а та. Нет.

Ж да н к о. Куда же?

З л а т а. На луну.

Ж д а н к о. Что на неё смотреть?

З л а т а. Она каждый день разная.

Ж д а н к о. Как?

З л а т а. То взбита справа, то сбита слева! Будто опара для коло* хлеба.

Ж д а н к о (смеясь). Замесила тесто на небе нечисть. Но мы не верим с тобою в ересь.

З л а т а. Любуясь небом с ночным светилом, в рожаниц* верим и суденицы!*

Ж д а н к о. Луна на небе одутловата, словно ядрёная на сносях баба…

З л а т а *(смеясь, убирает руку Жданки со своего живота).* Ну ты, милый, и сравнил, луну с бабой в положении?!

Ж д а н к о. Через день, два полнолуние. Разве я не прав?

З л а т а. Прав. Пойдём в дом, дорогой, что-то я зябнуть стала.

Заботливо обняв Злату, молодые скрываются в избе.

Звёзды одна за другой начинают тухнуть. С рассветом раздаётся детский плач. Ополоумев от счастья, из избы выскакивает Жданко, он прыгает и подкидывает вверх свою шапку.

Ж д а н к о. Ура! У меня сын родился!!!

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Г у с л я р *(при закрытом занавесе).* Уж месяц грудень* на исходе, от Златы никаких вестей. Ушкуйники* народ свободный, бывают всюду и везде. Призвал их князь с одной лишь просьбой: чтоб отыскали Златин след. Пообещал им узорочье, ногат* и гривен* полный шлем.

С открытием занавеса меняется картина с видом осеннего леса на зимний.

Возвратившийся с охоты Жданко заходит в своё жилище.

Г у с л я р. Охотясь с луком на зверей, стараясь, чтобы день был сытым, Жданко с красавицей своей не замечал всех тягот быта. В глухом лесу жилось втроём им счастливо и очень дружно. Злата заботилась о нём, а он, — о ней, с Первулей.

Появляется князь с тремя дружинниками и сопровождающим их разбойником.

Г у с л я р. Казалось, будет так всегда, легко и радостно на воле. Но подходил всё ближе князь в неугасимой, лютой злобе…

Разбойник, отделившись от князя, подбегает к лесной избушке.

У ш к у й н и к. Вот их жилище, князь! Я нашёл их. Тут они, тут!

Остановившись перед входом, князь подаёт условный сигнал. Доносится тревожный звук трубы.

Г у с л я р. Взыграл гудец.* Дверь распахнув, внутрь ворвались два рослых гридня. Вытащив Жданко на мороз, бросили к ногам избитым.

К н я з ь. Несчастный смерд! В глухом лесу себе устроить вздумал — ирий.* Но я нашёл тебя! За свой позор — живого в землю я зарою.

Из жилища выбегает перепуганная Злата и падает отцу в ноги.

З л а т а. Прости меня, родненький! Не убивай отца моего ребёнка. Не виноват он ни в чём!

Из распахнутой двери доносится детский плач.

К н я з ь. На кол его!

Двое крепких дружинников подняв с земли, поддерживают плохо стоящего на ногах Жданко.

З л а т а *(заламывая руки).* Отец! Отпусти его. Я одна во всём виновата. Меня и наказывай…

Ж д а н к о *(вырвавшись из цепких рук дружинников)*. Что ты глаголешь, Златушка?! Иди в дом к нашему сыночку, не боюсь я их! Пусть что хотят со мной делают, только ты живи…

З л а т а. Не отдам его вам!

К н я з ь *(отталкивает её, загородившую собой Жданко).* Сгинь, неблагодарная! Не дочь ты мне более!

З л а т а *(рыдая).* Тятя,* тятя, ты что? Это же я, твоя ясочка!

К н я з ь *(дружинникам).* Сгибайте две берёзы, сейчас мы их обоих на корм воронам за ноги подвесим.

З л а т а. Отец! Ты что? Не делай этого! Я люблю его…

Злата, полуобернувшись к Жданке, падает в обморок, юноша успевает подхватить её.

К н я з ь *(Тиуну).* Приведи её в чувства и запри в избе.

Тиун, поклонившись князю, берёт Злату на руки, несёт в дом.

Г у с л я р. Ни плачь, рыдания и слёзы, ни покаяние, мольба… Не помогли расплавить Злате в отцовском сердце глыбу льда.

Начинает темнеть.

К н я з ь *(сам с собою).* Смириться, что ли? *(Глядя на Тиуна, появившегося в дверном проёме.)* Всё же — дщерь! *(Решительно.)* Нет!

Г у с л я р. Единственное, с чем смирился: опочить нощью* у костра, продлив тем самым жизнь до завтра, двум непокорным беглецам.

К н я з ь *(подошедшему к нему Тиуну).* Тебе, дружа, ночью приставленным быть к Злате с младенцем.

Т и у н *(приложив руку к сердцу).* Слушаюсь, князь!

К н я з ь. Чтоб не сбежала, смотри!

Т и у н. У меня не сбежит…

К н я з ь *(кивнув на Жданко).* С глаз долой этого…

Один из двух Гридней, жестом руки показывает удавку на шее.

К н я з ь. Нет.

Слышится волчий вой.

Т и у н. Может, в лесу привязать нам его?

К н я з ь. К утру не останется от него — ничего...

Двое дружинников уводят Жданко в лес.
Князь усаживается возле костра, разведённого ушкуйником.
Тиун что-то бросает в висящий над костром котелок с водой для чая.

К н я з ь. Что в кипяток ты подкинуть решил?

Т и у н. Это всего лишь трава девясил.

К н я з ь. Для крепости духа?

Т и у н. Для придачи сил.

К н я з ь. Значить, не зря я об этом спросил. Домой спозаранку соберёмся, друзья, в дальней дороге нам сила нужна!

У ш к у й н и к. Князь, не пора ль рассчитаться со мной?

К н я з ь. Ты разве уходишь?

У ш к у й н и к. До утра я с тобой.

К н я з ь. Вечером долг возвращать нельзя, примета плохая, к разоренью она.

У ш к у й н и к. Что ж, убедил, потерплю до утра. Завтра, смотри, не забудь про меня. Слово сдержи…

К н я з ь *(раздражённо).* Ты мне надоел! Будет тебе — ногат полный шлем.

*Наполнив вскипячённой водой большую братину,**
Тиун пускает её по кругу.
Передавая из рук в руки, все пьют наваристый чай.
Возвратившиеся из леса дружинники усаживаются вместе со всеми возле костра.

Д р у ж и н н и к. Вора к сосне привязали в лесу, жуть там такая, вам честно скажу…

У ш к у й н и к. Это вам страшно, а мне хоть бы что. Ночью ограбить ведь легче всего.

Т и у н *(замахивается на разбойника).* Если б не Злату помог нам найти, сейчас бы узнал ты всю прелесть ночи.

К н я з ь *(укладывается возле костра).* Хватит ругаться и ссориться вам. Завтра… *(Зевнув, засыпает.)*

Все, кроме Тиуна, последним взявшего в руки большую чашу и не успевшего из неё попить, засыпают.

Т и у н *(отложив братину, встаёт).* Никому до утра не проснуться из вас. От расправы спасу молодых я сейчас.

Уходит в лес и вскоре возвращается со Жданко.

Ж д а н к о. Они могут проснуться?!

Т и у н. Нет. Сон-травой опоил я всех.

Ж д а н к о. Зачем?

Т и у н. Чтоб сопутствовал вам при побеге успех.

Ж д а н к о. Ты нас отпустишь?

Т и у н. Да.

Ж д а н к о. Но…

Т и у н. Это уже забота моя… Вам же в дорогу собираться пора.

Жданко скрывается в своём жилище, но вскоре появляется с узелком и Златой с ребёнком на руках.

З л а т а *(целует Тиуна).* Отец не простит тебе смелость твою.

Т и у н. Не простит — и не надо, а вас отпущу.

З л а т а. С нами пойдём!

Т и у н. Нет.

З л а т а. Почему?

Т и у н. Верен был князю всю жизнь свою.

З л а т а *(поклонившись).* Мы не забудем тебя никогда. Отца береги! Уходить нам пора…

Молодые с узелком и ребёнком скрываются в лесу.
Тиун долго машет им вслед.
Начинает падать снег.

Т и у н. Снег — ваш помощник. Следы занесёт. Больше вас князь никогда не найдёт.

Предыдущая картина меняется на такую же.
С той лишь разницей, что на крыше дома и деревьях
появляется больше снега.

Г у с л я р. Тиун был старым и верным гриднем. С князем не раз был ранен в бою. Злату растить помогал ему с детства, так что за дщерь* почитал и свою. Может, поэтому не подчиниться первый раз в жизни властелину своему Тиун решился — отпустить с миром Злату и Жданко, на погибель свою…

Светает. Доносится птичий пересвист.
Тиун, сходив в дом, выносит охапку шкурок. Сложив возле князя,
усаживается возле прогоревшего костра.
Начинают все просыпаться.

Г у с л я р. Утром проснувшийся князь был весел. Место красивое радовало глаз. Сруб, занесённый выпавшим снегом, рядом могучая сосна-великан.

К н я з ь *(отряхиваясь).* Ничего себе! Сколько за ночь выпало снега! *(Оглядываясь.)* Лепота*! *(Перебирая шкурки белок, лисиц, горностая).* Ладно! Кмета* прощу, благодарит пусть Коляду.* Зело* мне хочется выпить вина.

Г у с л я р. Наотмашь шапку наземь бросая, зараз узреть захотел Злату с зятем…

Все соскакивают со своих мест.
Один дружинник бежит в лес, другой в дом.
Но вскоре оба возвращаются ни с чем.

К н я з ь *(хватает Тиуна за грудки).* Проспал, упустил!..

Т и у н *(освободившись).* Не упустил княже, а отпустил.

К н я з ь. Что?

Т и у н. Что слышал.

К н я з ь. Как ты посмел!

Г у с л я р. Прокричал он Тиуну.

К н я з ь. Кто тебе право такое давал? С внуком и Златой разлучать меня снова. Я ж её только вчера разыскал…

Г у с л я р. Выхватив меч, разозлившись на друга, в ярости в грудь он ударил его. Падал Тиун к ногам княжеским — трупом. Словно подбитый орёл на лету.

К н я з ь *(отшвырнув меч).* Что?!

Г у с л я р. Князь, повалившийся вслед за Тиуном, тщетно пытался его оживить. Не допустить уход его к чурам.* С другом разлуки — не пережить.

К н я з ь. Что ты наделал, дорогой друже! Меч заставил меня оголить. Будет курган твой самым высоким. Только мне дальше без вас как же жить?..

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Гусляр, поднявшись с места, проходит часть сцены.

Остановившись в центре картины с зимним пейзажем, под перебор струн начинает пропевать слова, с другой интонацией и тембром в голосе.

Г у с л я р. Мохнатой кроной уткнувшись в небо, морозной ночью вся в куржаке. Луной холодной полусогретая, сосна огромная растёт в глуши. *(После короткой паузы.)* Её разлапистые ветки, заиндевелые кусты. Комки игольчатые, под стать черёмухе, необычайно на них белы. (Повысив голос.) Под шапкой снега обвисли ели, прогнулись сотни вокруг берёз. Сосна — единственная, расправив плети, всем испытаниям стоит назло.

На ходу перебирая струны, гусляр покидает сцену. С уходом старца меняется зимний, лесной пейзаж на городской, летний. Раздаётся радостный смех. На сцене появляется ребёнок, за ним бегут Злата и Жданко.

З л а т а *(весело).* Первуля! От папки с мамкой не убежишь…

Ж д а н к о. Сейчас до-го-ним!

Детский смех усиливается, становится громче, веселее, жизнерадостнее.

В зале загорается свет.

Занавес

Примечания

Словарь старославянских слов и выражений.

Ясочка — звёздочка.
Дщерь — дочь.
Тать — вор.
6385 год — 877 от рождества Христова.
Отчина — владение князя, передаваемое по наследству.
Ряд — договор.
Бан — князь у южных славян.
Поветь — помещение для инвентаря.
Колты — женские украшения.
Тиун — управляющий, старший дружинник.
Гридни — воины княжеского войска.
Ратник — воин.
Дружина — войско князя.
Гридница — зал для пиров и советов.
Смерд, Кмет, Челядь, Чернь — простолюдины.
Хмурень — сентябрь.
Грудень — ноябрь.
Сварог — бог огня.

Коляда — бог достатка и добра.
Чуры — духи предков.
Рожаницы, Суденицы — в славянских верованиях духи, помогающие при родах и наделяющие судьбой младенцев.
Трут — гриб-паразит, его употребляли для высечения огня.
Коло — круг.
Ушкуйники — разбойники.
Ногаты, Гривни — древнерусские деньги.
Гудец — трубач.
Ирий — рай.
Тятя — отец.
Опочить нощью у костра — переночевать у костра.
Разор — разорение.
Братина — большая чаша, ковш.
Лепота — красота.
Зело — очень.
Зараз — сразу.
Узорочье — драгоценные украшения.
Поруб — погреб.
Сеча — сражение на поле боя.

ПРИТВОРА

КОМЕДИЯ

В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ, ШЕСТИ КАРТИНАХ.

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

В е р а
Л а р и с а
Д е д М о р о з

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

В комнате с красивой мебелью беспорядок.

На сцене женщина бальзаковского возраста, в разноцветном халате, который её явно полнит.

Звонит телефон.

В е р а. Алло!
Г о л о с. Привет, подруга! Ты одна дома?
В е р а. Нет, с Дедом Морозом!
Г о л о с. Я к тебе спущусь?

В е р а. Заходи. *(Кладёт трубку на телефон.)* Дурочка с переулочка! Нашла что спросить — одна ли я дома.

Стучат.

Открыв дверь и впустив гостью,
прижимаются друг к другу щеками.

Л а р и с а *(на ходу).* У меня дома, как на улице, — сорок в тени! А у тебя микроклимат что надо!

В е р а. На то и кондиционер, чтобы…

Л а р и с а *(усаживается в кресло).* Молодец твой бывший, квартиру свою вон как обустроил, не то что мой…

В е р а *(садится на диван).* Чем он тебе опять не угодил?

Л а р и с а *(машет рукой).* Вторую неделю допроситься не могу смеситель на кухне починить. Воду откроешь — такой гул стоит, что соседи по батареям стучать начинают.

В е р а. Вызови сантехника.

Л а р и с а. А муж на что?

В е р а. Ему ж некогда.

Л а р и с а. Как пиво с мужиками хлестать, так время находит. А как по дому что сделать, так времени нет.

В е р а. Любитель он у тебя *(прищёлкнув под подбородком)* этого дела…

Л а р и с а. По выходным, мерзавец, расслабляется по полной программе.

В е р а. Зато по будням с утра до вечера за рулём.

Л а р и с а. И я про то же. *(Вздохнув.)* Лучше уж на глазах, в гараже, чем как твой, с утра до вечера по выходным на рыбалку ездил. Вот и доездился, стервец!

В е р а *(недовольным тоном).* Своего ругай, моего не трогай!

Л а р и с а. Прости, Верунчик! Я ж не со зла.

В е р а. Хорошо, забыли.

Л а р и с а. Хочешь, интернетовскую байку расскажу? Вчера только вычитала.

В е р а. Давай.

Л а р и с а. Как ты думаешь, какой у человека самый главный орган?

В е р а. Сердце.

Л а р и с а. Мимо.

В е р а. Голова?

Л а р и с а. Холодно.

В е р а *(улыбаясь).* Причиндалы, что ли?

Л а р и с а. Нет, нет и нет!

В е р а. Что ж тогда?

Л а р и с а. Задница!

В е р а. Как?

Л а р и с а. На ней сидят. Через неё учат. У некоторых, в отличие от большинства, из неё не только ноги, но и руки растут.

В е р а *(смеясь).* По поиску приключений ей вообще равных нет.

Л а р и с а (продолжая загибать пальцы). Кое-кто ею не только думает, но и принимает судьбоносные решения!

Смех.

В е р а. Насмешила подруга, подняла настроение старой мымре.

Л а р и с а. Старой? Брось!

В е р а. Проси что хочешь…

Л а р и с а. Не поняла...

В е р а. Что у тебя кончилось? Соль, сахар, хлеб…

Л а р и с а. С чего ты взяла?

В е р а. Ну зачем-то ты пришла?

Л а р и с а. Поболтать захотелось.

В е р а. Позвонила бы.

Л а р и с а. Не телефонный это разговор.

В е р а. Политикой не интересуюсь.

Л а р и с а. Я серьёзно!

В е р а. В партиях не состою…

Л а р и с а. Только ты не обижайся.

В е р а. Баллотироваться не собираюсь…

Л а р и с а. Не дурачься.

В е р а. Рассказывай.

Л а р и с а. Я тебе добра желаю.

В е р а. Может, без предисловий обойдёмся?

Л а р и с а. Пойми меня правильно…

В е р а. У меня времени в обрез. *(Показывает на голову с бигудями.)* Видишь?

Л а р и с а. Вижу. И куда это ты намыливаешься?

В е р а. На встречу.

Л а р и с а. С мужчиной?

В е р а. С одноклассниками. Двадцать лет, как школу закончили.

Л а р и с а. Институт, ты хотела сказать?

В е р а. Нет, школу.

Л а р и с а. Ты ж иногородняя! Какие могут быть у тебя здесь одноклассники?

В е р а. Ну ты впрямь Агата Кристи! Тебя не проведёшь…

Л а р и с а. Мне-то что? Собирайся куда хочешь. Только врать-то зачем?

В е р а. Да к подруге на день рождения иду, работаем вместе.

Л а р и с а. А-а…

В е р а *(встаёт).* Лорик! Давай завтра поговорим. Мне реально сегодня некогда.

Л а р и с а. Верунчик?!

В е р а *(садится).* Хорошо! Что тебе от меня надо?

Л а р и с а. Хватит хандрить…

В е р а. Пора замуж выходить!

Л а р и с а. Так и я про это.

В е р а. Что?

Л а р и с а. Что слышала!

В е р а. И за этим ты ко мне в такую рань ввалилась?

Л а р и с а. Ничего себе рань! Обед скоро! А у тебя в квартире бардак.

В е р а (встаёт с дивана). Да пошла ты, сваха хренова, в пим дырявый.

Л а р и с а. Ну, подожди, Вер, не кипятись.

В е р а. Что тебе от меня надо?

Л а р и с а *(встаёт с кресла).* Я и впрямь сосватать тебя хочу. Ты женщина видная, что ж тебе одной-то маяться?

В е р а *(подходит к Ларисе).* Ты это серьёзно?

Л а р и с а *(дотрагивается до плеча Веры).* Конечно!

В е р а *(отстраняет руку).* А мне это надо?

Л а р и с а. Надо.

В е р а. Зачем?

Л а р и с а. Чтобы родить.

В е р а. Гиппопотама?

Л а р и с а. Ребёночка! Пока ещё не поздно.

В е р а. Боюсь, что поздно уже…

Л а р и с а. Брось! Тебе ж и сорока нет. Хотя…

В е р а. Что?

Л а р и с а *(осматривая Веру с разных сторон).* Поработать над собой не помешало бы. Что-то ты совсем себя запустила…

В е р а. Мне не для кого стараться, а для себя и так сойдёт.

Л а р и с а. На диете посидеть, причёску сменить…

В е р а. В тренажёрный зал походить, в бассейн записаться…

Л а р и с а. Вот-вот, Верунчик, правильно мыслишь!

В е р а. Как только два рубля накоплю, так сразу…

Л а р и с а. Я серьёзно!

В е р а. И я не шучу.

Л а р и с а. Понимаю, что твоя зарплата…

В е р а. Может, хватит об этом?

Л а р и с а. Ради того, чтобы жизнь наладить, можно кое в чём себе и отказать.

В е р а. Жизнь у меня и так налажена. *(Отворачивается.)* Так что перестраивать в ней я ничего не стану.

Л а р и с а. Зря! *(Поворачивает Веру к себе.)* Посмотри на себя в зеркало. Вспомни, какой ты была лет двадцать назад и на кого ты стала сейчас походить?

В е р а. На себя.

Л а р и с а. То-то твой к молодой и убежал.

В е р а. Хочешь, чтоб я расплакалась?

Л а р и с а. Нет! Но, понимаешь, у тебя беспорядок во всём: как в комнате, так и в личной жизни.

В е р а. Молчала бы! У самой дома не переступить…

Л а р и с а. Согласна, но у меня семья. Пять человек! А ты одна…

В е р а. Ну и что?

Л а р и с а. Как это что? Мы с тобой одногодки, только я с диеты не слажу…

В е р а. Вижу, скоро с голодухи в обморок падать начнёшь.

Л а р и с а (оглядывает себя). Всё равно я худее тебя.

В е р а (смеясь). Намного ли?

Л а р и с а. Ладно, забыли…

В е р а *(отходит).* Вот и ладненько! Что воду в ступе толочь? Иди уж…

Л а р и с а. Подожди! *(Подходит к Вере.)* Не перебивай, дай с мыслями собраться.

В е р а. Согласна с тобой! Рано мне на себе крест ставить.

Л а р и с а. Молодец!

В е р а. Довольна? Ну, а теперь уходи, мне некогда.

Л а р и с а. Как уходи? Я ж ещё ничего тебе не сказала.

В е р а. Ты издеваешься надо мной?

Л а р и с а. Нет.

В е р а. Тогда в чём дело?

Л а р и с а. Ты про что спрашиваешь?

В е р а. Про русский язык.

Л а р и с а. А он-то тут причём?

В е р а. Я тебе русским языком говорю. *(Повысив голос.)* Мне некогда!

Л а р и с а. В е р а! Вот только кричать не надо, а то я уйду!

В е р а. Иди-и-и.

Л а р и с а. Но тогда я не скажу, ради чего к тебе зашла.

В е р а. Как! А целый час ты на что потратила?

Л а р и с а. На подготовку…

В е р а. К чему?

Л а р и с а. К разговору.

В е р а. Час от часу не легче. *(Отходит, садится на диван).* Ну и что стоим?

Л а р и с а *(Подойдя к Вере, присаживается рядом).* Я не знаю, с чего начать!

В е р а. Начни с главного. С кем ты там меня познакомить решила?

Л а р и с а. С мужчиной!

В е р а. Хорошо, что не с женщиной.

Л а р и с а. Хватит страдать по прошлому. Пора обзавестись новым мужем!

В е р а. Новым?

Л а р и с а. А что делать? Коль родного кобеля другая увела.

В е р а. Не говори так. Мне кроме него никто не нужен. Я ведь до сих пор его люблю.

Л а р и с а. Ну и дура! Хотя, между нами, я тебе даже завидую.

В е р а. В чём?

Л а р и с а. В том, что тебе знакомо такое чувство, как любовь!

В е р а. Не поняла?

Л а р и с а *(машет рукой).* Проехали…

В е р а. А я думала, у тебя с твоим…

Л а р и с а. О нас думать не надо. Мы давно друг к другу притёрлись.

В е р а. Как же вы живёте, без любви?

Л а р и с а *(в сторону)*. Балда! Зачем ляпнула ей про нас?

В е р а *(встаёт с дивана)*. И ты ещё меня учить жизни пришла?

Л а р и с а *(встаёт).* Ну, так я Льву Николаевичу скажу, что он может тебе позвонить?

В е р а. Толстому, что ли?

Л а р и с а. Толстых. Вы знакомы?

В е р а. По школьной программе.

Л а р и с а. Не поняла.

В е р а. Его все знают.

Л а р и с а. Откуда?

В е р а. Со школы.

Л а р и с а. Учились вместе?

В е р а. Изучали.

Л а р и с а. Что?

В е р а. «Войну и Мир» с «Анной Карениной».

Л а р и с а. Тьфу ты! Я ей про своего начальника отдела толкую. А она мне…

В е р а. Не надо!

Л а р и с а. Что сразу не надо? Нормальный мужик, в разводе. Примерно нашего возраста. Не пьющий.

В е р а. Ты точно не русская!

Л а р и с а. С чего это вдруг?

В е р а. А кто ты? Тебе говорят — не надо! А ты…

Л а р и с а (на ходу). Надо, Верунчик, надо! Жди звонка.

В е р а. Я с твоим уродом встречаться не стану.

Л а р и с а *(перед дверью).* Он не урод. Красавец мужчина. Тебе понравится! *(Хитро улыбнувшись.)* Да и от меня наконец-то отстанет. А то, того и гляди, изменю с ним своему благоверному.

В е р а *(оставшись одна)*. Пришла, расстроила…

Подходит к репродукции картины, висящей на стене. Переворачивает её. На обратной стороне к картону приклеена фотография молодой пары.

(Жалостливо.) Вот, милый, променял ты меня на молодую, а я продолжаю тебя любить. (Сняв со стены, целует и прижимает к груди рамку с семейной фотографией.) Вернись ко мне, я всё прощу.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Декорации первой картины.

В комнате прибрано. Некоторое время на полуосвещённой сцене никого нет. Слышны приглушённые стоны и скрип кровати. Минутой спустя на сцене появляется заметно похудевшая Вера. Она в распахнутом неглиже и боди с изящными кружевами.

В е р а *(включает свет).* Дорогой, тебе чай или кофе? (Поправив взлохмаченную причёску на голове.) Дорогой, ау!

На сцене появляется мужчина средних лет, в костюме с галстуком и сеточкой для волос на голове.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Вера! Пора бы запомнить, я кофе не пью по целому ряду причин.

В е р а *(поцеловав в щёку, берётся за лацканы костюма).* Извини, милый, забыла. Только что это значит?

Л е в Н и к о л а е в и ч *(сквасив губы).* Забыла…

В е р а. Ну что ты, как маленький. Не обижайся!

Л е в Н и к о л а е в и ч. Ты постоянно всё забываешь.

В е р а. Ты мне не ответил.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Я, пожалуй, домой пойду.

В е р а. Как пойдёшь? Ты же обещал переночевать.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Ты мне тоже много чего обещала…

В е р а. Что именно?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Помнить, что я кофе не пью.

В е р а. Это же мелочь, пустяк.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Мелочь?

В е р а. Конечно.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Для тебя, я гляжу, всё пустяки, что касается меня.

В е р а. Не начинай.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Как не начинай, если ты меня хочешь обидеть?

В е р а. Да не хочу я тебя обидеть.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Нет, хочешь!

В е р а. Ещё не поздно, давай сходим куда-нибудь?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Предлагаешь, чтобы с нас три шкуры содрали нувориши хреновы.

В е р а. Пойдём на мои.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Подлизываешься?

В е р а *(ласкаясь).* Я не хочу, чтобы ты уходил.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Я тоже. Но ты даже не представляешь, как мама будет волноваться из-за меня.

В е р а. Лёва, ты же взрослый человек!

Л е в Н и к о л а е в и ч. Прежде всего я любящий свою маму сын, а уж потом чей-то любовник, друг, брат и товарищ.

В е р а. Детский лепет.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Что?

В е р а. Я говорю, может, хватит так много думать о маме?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Мама — это святое!

В е р а. Кто бы спорил!

Л е в Н и к о л а е в и ч. Хоть в этом ты согласна со мной. *(Целует Веру в лоб.)* Теперь можно со спокойной душой и домой идти…

В е р а. Давай завтра после работы куда-нибудь сходим? А то у нас, кроме кровати, ничего больше нет.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Разве этого мало?

В е р а. Хотелось бы на концерт, в театр или хотя бы в кино вместе сходить. Что мы всё дома от людей прячемся?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Мы не прячемся! А экономим кровные, не желая обогащать предприимчивых прохвостов.

В е р а. Почему прохвостов?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Как тяжело с тобой, Вера! Ты же элементарных вещей не понимаешь.

В е р а. Я не понимаю?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Или не хочешь понимать! Чтобы досадить мне как можно больше.

В е р а. Началось!

Л е в Н и к о л а е в и ч. Зная о том, что, я каждую копейку берегу, чтобы купить приличный автомобиль, ты всё делаешь для того, чтобы я как можно больше потратил своих средств на какую-нибудь ерунду. *(Повысив голос.)* Если не сказать хуже — твою блажь!

В е р а. Ну, если пару порций мороженого с коробкой дешёвых конфет за всё время нашего знакомства ты считаешь блажью... В таком случае…

Л е в Н и к о л а е в и ч. Ты ведёшь счёт тому, что я тебе покупал? Это так низко! Значит, права была моя мама, предупреждая меня насчёт тебя.

В е р а. Не поняла! Нас что, видела твоя мама? Где, когда?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Это было давно.

В е р а. Давно? Мы и двух месяцев не встречаемся.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Какая разница?

В е р а. Выходит, ты тайком от меня устраивал смотрины для своей мамы?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Что в этом плохого?

В е р а. О! Как всё запущено…

Л е в Н и к о л а е в и ч. Это беспредметный разговор, Вера, я ухожу.

В е р а. Скатертью дорога.

Л е в Н и к о л а е в и ч *(трогаясь с места).* Пошёл.

В е р а. Иди. Только не забудь сеточку снять, а то прохожие засмеют.

Л е в Н и к о л а е в и ч *(остановившись).* Какую сеточку? *(Спохватившись, стягивает её с головы и прячет в кармане костюма.)* Ах, да… Спасибо.

В е р а. Пожалуйста.

Л е в Н и к о л а е в и ч *(приблизившись к Вере).* Давай поцелуемся, что ли?

В е р а (отстраняясь). Нет.

Л е в Н и к о л а е в и ч. Что так?

В е р а. Вот так!

Л е в Н и к о л а е в и ч. Ну, тогда я пошёл.

В е р а. Иди.

Л е в Н и к о л а е в и ч *(трогается с места).* До свидания!

В е р а. Прощай!

Л е в Н и к о л а е в и ч *(остановившись на полдороге).* Что уж так сразу — прощай?! Нашла, что ли, кого?

В е р а. Нашла.

Л е в Н и к о л а е в и ч. То-то я и гляжу, как быстро ты ко мне охладела.

В е р а. А не пошёл бы ты, Лев Николаевич, со своими подозрениями к своей горячо любимой маме?

Л е в Н и к о л а е в и ч. Я, пожалуй, останусь…

В е р а. Нет! Собрался уходить — уходи.

Л е в Н и к о л а е в и ч (на ходу). Не пожалеешь?

В е р а. Перебьюсь.

Л е в Н и к о л а е в и ч, сняв шляпу и зонтик с вешалки, с поднятым с пола кожаным портфелем, нехотя покидает сцену, до последнего надеясь, что его окликнут, оставят…
В е р а, проводив его холодным взглядом, подходит к картине, висящей на стене, переворачивает её.

(Вымученно.) Что ты наделал, любимый?! Смотри, на какое ничтожество мне пришлось тебя променять. *(Смахнув слезу.)* Чем я хуже твоей молодой жены? Ответь мне! Ведь ты клялся в вечной любви ко мне. Молчишь…

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Декорации второй картины.
Под громкую музыку хозяйка квартиры занимается фитнессом.
Стук в дверь.

В е р а. Открыто!

Входит Л а р и с а.

Л а р и с а. Привет, подружка!

В е р а *(выключив магнитофон, кивает на кресло).* Здравствуй, Лариса!

Л а р и с а *(восхищённо).* Тебя и не узнать! Модель! Хоть на конкурс «Мисс Вселенная» отправляй.

В е р а. Да ну тебя! *(Обтирает полотенцем грудь и шею.)* Скажешь тоже…

Л а р и с а *(усаживаясь в кресло).* Хочешь историю, связанную с аэробикой, расскажу?

В е р а *(от усталости валится на диван).* Что, и ты себя ею мучила?

Л а р и с а. Бог миловал! Да и давно это было. Я тогда сама как тростинка была.

В е р а. Ты и сейчас неплохо выглядишь.

Л а р и с а. После шести не ем. От того мне и физкультура не требуется.

В е р а. Утра или вечера?

Л а р и с а. Вечера, конечно!

В е р а. А если конституция такая, что без физических нагрузок не обойтись?

Л а р и с а. Жрать меньше надо, тогда и конституция ни при чём будет.

В е р а. Пробовала, не помогает.

Л а р и с а. Так я тебе и поверила.

В е р а. Ладно. Что ты там рассказать хотела?

Л а р и с а. Я?

В е р а. Ну не я же?

Л а р и с а. Про что?

В е р а. Про упражнения на брусьях.

Л а р и с а. На чём?

В е р а. Лорик, не тупи…

Л а р и с а. А, ты про это. Так мы тогда только поженились. Жили у его родителей.

В е р а. И что, все вместе по утрам занимались фитнессом?

Л а р и с а. Аэробикой, ты хотела сказать. Или забыла, как это раньше называлось?

В е р а . Помню.

Л а р и с а. Молодец! Не занимались, зато всей семьёй смотрели её по телевизору.

В е р а. Аэробику?

Л а р и с а. Смотреть всё равно нечего было.

В е р а. Не скажи!

Л а р и с а. Поэтому и смотрели всё подряд.

В е р а. Это сейчас, при сотне с лишним телеканалов, смотреть нечего. А тогда, при двух — трёх программах, улицы вымирали из-за фильмов и передач.

Л а р и с а. Согласна! Случалось и такое. Только что ты меня перебиваешь?

В е р а. Я? *(Заулыбавшись.)* Молчу, молчу, Лорик!

Л а р и с а. Так вот, сидим, смотрим телевизор…

В е р а. Поди, и собака у вас была, которая вместе с вами смотрела телевизор?

Л а р и с а. Собаки не было, зато дед старый был.

В е р а. А что, деды ещё и молодые бывают?

Л а р и с а. Всё относительно…

В е р а. Чему?

Л а р и с а. Хотела рассказать смешной случай, но раз тебе не интересно, не буду.

В е р а. Не обращай внимания. Это я из-за хорошего настроения прикалываюсь. Давай рассказывай.

Л а р и с а. Я и говорю, с нами его дед ещё жил.

В е р а. Где ж вы там все помещались?

Л а р и с а. Не говори! В двухкомнатной без балкона...

В е р а. Почему без?

Л а р и с а. Потому что первый этаж! Дом-то каменный.

В е р а. Кирпичный?

Л а р и с а. Ну да…

В е р а. Дальше что?

Л а р и с а. Посидел дед с нами, и вроде бы как на кухню пошёл, водички попить.

В е р а. А сам куда?

Л а р и с а. В нашей спальне заперся.

В е р а. Зачем?

Л а р и с а. До нашей свадьбы это его комната была. Он в ней с моим мужем жил.

В е р а. Подожди! Двушка, говоришь?

Л а р и с а. Да.

В е р а. Вы в спальне. Родители в зале. Балкона нет. Где ж тогда дед отдыхал?

Л а р и с а. На кухне. Там у него за столом диванчик стоял. Между прочим, удобно всем было.

В е р а. Чем?

Л а р и с а. Да всем! И сидеть мягко было, когда на кухне по очереди обедали. И дед никому не мешал, у него свой угол имелся.

В е р а. Поди, ещё фронтовиком был?

Л а р и с а. Естественно! Если бы не он, родители мужа и этой квартиры не получили бы. Благодаря его заслугам перед отечеством их из подвала выселили.

В е р а. Понятно. Дальше что?

Л а р и с а. Заперся он в нашей спальне, а через некоторое время слышим грохот и стоны.

В е р а. Повеситься, что ли, решил, да верёвка оборвалась?

Л а р и с а. Ты что? Типун тебе на язык!

В е р а. Сама ж сказала, что грохот и стоны услышали.

Л а р и с а. Да, только верёвка тут при чём?

В е р а. Ну я не знаю! Не с кровати же он свалился?

Л а р и с а. С неё самой!

В е р а. Заснул, что ли?

Л а р и с а. Как бы не так!

В е р а. Что же тогда?

Л а р и с а. Муж плечом двери в спальню вынес. Вваливаемся всей семьёй в комнату, и ничего понять не можем.

В е р а. Картина Репина «Приплыли».

Л а р и с а. Типа того! Представляешь, дед по полу катается с запрокинутой ногой за голову, верещит благим матом…

В е р а. Не поняла.

Л а р и с а. Насмотрелся аэробики, вот и решил молодость свою вспомнить.

В е р а. Он что, гимнастом был?

Л а р и с а. По молодости лет в акробатическом кружке занимался. Захотелось, спустя полвека, гибкость свою проверить. Вот и заложил ногу за голову…

В е р а. Заложить-то заложил, а обратно никак…

Л а р и с а *(смеясь).* Покрутился на нашей кровати, да и свалился на пол.

В е р а. Шею не свернул?

Л а р и с а. Нет! Но руку сломал. В гипсе больше месяца проходил.

В е р а. Боевой дед!

Л а р и с а. Не-е, так-то он не плохой был. Нас, пока мы сюда не переехали, ещё не раз своими причудами повеселил.

Смех.

(Перестав смеяться первой.) Ты чем вечером занята?

В е р а. Ничем.

Л а р и с а. Слушай, Вер! Тут дело такое…

В е р а. Что ещё?

Л а р и с а. К мужу брат двоюродный из деревни приехал. В городе почти месяц будет!

В е р а. Счастья-то привалило!

Л а р и с а. Смеёшься?

В е р а. Нет.

Л а р и с а. Для меня не проблема — лишний рот и место на коврике в коридоре.

В е р а. А что же?

Л а р и с а. Проблема в том, что он с моим по вечерам третий день квасит. Ему-то что! А мужу утром за руль садиться.

В е р а. А я при чём?

Л а р и с а. Помоги!

В е р а. Чем?

Л а р и с а. Понравилась ты ему.

В е р а. Кому?

Л а р и с а. Чекушкину.

В е р а. Кому-кому?

Л а р и с а. Да двоюродному брату моего мужа. Кем он там мне приходится?

В е р а. Никем!

Л а р и с а. Как это?

В е р а. Вот так.

Л а р и с а. Не может быть!

В е р а. Может!

Л а р и с а. Просвети.

В е р а. Был бы родным братом, тогда тебе деверем доводился. А так — близкий человек всего лишь…

Л а р и с а. Всё равно ведь — родственник?

В е р а. Родня, это когда — по крови! А тебя с ним что связывает?

Л а р и с а. Как? Не-е…

В е р а. На нет и суда нет. Считай его хоть своим кузеном, мне-то что!

Л а р и с а. Значит, не поможешь?

В е р а. Чем я могу помочь твоему Кукушкину?

Л а р и с а. Не Кукушкину, а Чекушкину!

В е р а. Какая разница?

Л а р и с а. Большая!

В е р а. Объясни.

Л а р и с а. Говорю же, понравилась ты ему.

В е р а. Кому?

Л а р и с а. Родственничку нашему! *(Встаёт с места.)* Все уши уже нам прожужжал: «Познакомьте меня с ней, говорит!». Потому и пришла к тебе…

В е р а. Сидеть, Лорик! *(Встаёт одновременно с присаживающейся на место Ларисой.)* Что ж ты тень на плетень два часа наводишь? Сказала бы сразу, что сватать пришла! А то…

Л а р и с а. А я и не скрываю.

В е р а. Достала!

Л а р и с а. Чем?

В е р а. Сватовством майора.

Л а р и с а. А майор-то тут при чём?

В е р а. Майор ни при чём, а вот ты?..

Л а р и с а. А я-то тебе чем не угодила?

В е р а. Тоже мне, сваха хренова!

Л а р и с а. Почему?

В е р а. Потому…

Л а р и с а. Для тебя же стараюсь!

В е р а *(садится).* Не надо!

Л а р и с а. Что сразу не надо! Ты мне поможешь, я — тебе…

В е р а. Чем?

Л а р и с а. Ну, ты, Вер, как маленькая!

В е р а. Я?

Л а р и с а. Ну не я же?

В е р а. Да-а… С тобой не соскучишься!

Л а р и с а. Помоги!

В е р а. Мне что, его к себе прописать?

Л а р и с а. Зачем прописывать? Пусти на квартиру на месяц! И деньжат по-лёгкому срубишь, а если что, так…

В е р а. Что замолчала? Договаривай! *(Обводит комнату руками.)* Видишь, здесь кроме нас с тобой никого нет.

Л а р и с а. Ты лучше меня знаешь, что я имела в виду…

В е р а. Подстилку из меня для своего родственничка решила сделать?

Л а р и с а. Ну что ты сразу-то?..

В е р а. Пошла вон отсюда!

Л а р и с а *(встаёт).* Зря, Вера, ты так! Я-то уйду, только с кем ты останешься?

В е р а. Вон!

Л а р и с а. Хорошо. *(Остановившись на полдороге к двери.)* Не хочешь — не надо! Только мне-то Чекушкину что сказать? Ведь понравилась ты ему очень!

В е р а. Дура!

Л а р и с а. А я и не отрицаю.

В е р а. Лариска! Я тебя убью…

Л а р и с а. Помоги только, а потом и убивать можешь.

В е р а (встаёт). Ладно! На квартиру, так и быть, пущу. Мне всё равно в этом месяце за тренажёрный зал платить нечем. Но, если приставать начнёт, выгоню среди ночи в чём мать родила.

Л а р и с а. Хорошо!

В е р а. Что хорошего-то?

Л а р и с а. Всё!

В е р а. Что всё?

Л а р и с а. Во-первых, муж с ним пить по вечерам перестанет, а во-вторых, нам его на самом деле положить негде. У дочери и у сына с невесткой по спальне. Я с мужем в зале, так он рядом с нами на раскладушке спит. Представляешь?

В е р а. Представляю!

Л а р и с а. Насчёт денег не беспокойся. Он заплатит тебе, как за номер в пятизвёздочном отеле.

В е р а. Что ж он, если такой богатый, у вас поселился, а не в гостинице?

Л а р и с а. В гостинице, говорит, никакой романтики. У нас же есть с кем поговорить, есть что вспомнить. Опять же родная кровь…

В е р а. Главное — в другом!

Л а р и с а. В чём?

В е р а. Есть с кем выпить!

Л а р и с а. Не без этого…

В е р а. Он что у вас — предприниматель, бизнесмен, фермер?

Л а р и с а. С чего ты взяла?

В е р а. Сама сказала, что он из деревни.

Л а р и с а. Ну и что?

В е р а. Ничего! Только откуда у него деньжищи такие?

Л а р и с а. Так он это... агрономом у себя там работает.

В е р а. Хоть маленький, но начальник, значит!

Л а р и с а. Не скажи. Агроном после директора — второй человек на селе!

В е р а. Ясно! Непонятно только…

Л а р и с а. Что?

В е р а. Зачем второй парень на деревне в город приехал?

Л а р и с а. На курсы повышения квалификации, что ли?..

В е р а. Он же не тракторист какой-нибудь. *(Поднимает палец кверху.)* Агроном!

Л а р и с а. Ну, не знаю! Он так сказал. А я что? За что купила, за то и продала.

В е р а. Подведёшь ты меня, Лариска, со своим агрономом под монастырь.

Л а р и с а. С чего это вдруг?

В е р а. Не знаю. Но предчувствие у меня из-за твоей затеи какое-то нехорошее…

Л а р и с а. Перестань! Он мужик что надо!

В е р а. А к этому хорошему мужику жена наведываться не зачастит?

Л а р и с а. Насчёт этого не беспокойся, он вдовец.

В е р а. И дети есть?

Л а р и с а. Есть! Но они у него взрослые, со своими семьями, отдельно живут.

В е р а. Сколько же ему лет?

Л а р и с а. Нас с тобой он постарше, но выглядит намного моложе.

В е р а. Не знаю, что и делать!

Л а р и с а. Вот увидишь, познакомишься с ним поближе, не пожалеешь…

В е р а. Ты это на что намекаешь?

Л а р и с а. Так я…

В е р а. С одним маминым сынком по твоей воле я уже подружила. Спасибо, больше не хочу.

Л а р и с а. Семён Семёнович не такой. *(Трясёт поднятым кулаком.)* Он мужик суровый, с ним не забалуешь.

В е р а *(смеясь).* Лорик, ты меня пугаешь!

Л а р и с а. Я хотела сказать — с ним не соскучишься.

В е р а. А мне это надо? Давай договоримся, и ему передай: он пришёл — я ушла. А ещё лучше, чтоб днём его вообще не было.

Л а р и с а *(отмахивается).* Днём ему некогда, только к ужину нарисуется.

В е р а. Мне что, его ещё и кормить придётся?

Л а р и с а. А за что же он тебе, дорогая, деньги отстёгивать будет?

В е р а. За койко-место…

Л а р и с а. Он, конечно, мог бы продолжать и у нас ужинать. Только это опять кухонные разговоры за рюмкой чая с моим суженым. Да и накладно мне. Денег ведь с него не возьмёшь? Как-никак родственник!

В е р а. Уговорила! Так и быть, пусть приходит.

Л а р и с а *(кидается обнимать и целовать Веру).* Вот спасибо, Верунчик!

В е р а *(смеясь, уклоняется от объятий своей подруги).* Иди уж к себе. А мне ещё прибраться надо. Себя в порядок привести…

Л а р и с а *(оглядываясь по сторонам).* Да у тебя тут и так порядок, всё чисто, прибрано, как…

В е р а. В кунсткамере?

Л а р и с а. Ты что? Нет, конечно!

В е р а. Слушай! А с чего это у него фамилия такая смешная. Ты, вроде бы как по мужу не Чекушкина?

Л а р и с а. Они же двоюродные!

В е р а. Ну и что?

Л а р и с а. Как что? Просто его мать родная сестра моего свёкра, в девичестве тоже была…

В е р а. Поняла!

Л а р и с а. Получится что у вас… Глядишь и ты станешь — Чекушкина!

В е р а. Что? *(Замахивается.)* Сейчас как дам по серьгам!

Л а р и с а. *(смеясь).* Звучит же? Вера Ивановна Чекушкина!

В е р а. Передумаю — узнаешь тогда, как надо мной смеяться!

Л а р и с а. Да я не смеюсь! Только хватит тебе грустить о своём бывшем.. Пойми же наконец! Отпочковался он от тебя, на стороне корни пустил. Всё, забудь про него! Пусть ему будет хуже…

В е р а. Не говори так, я его до сих пор люблю.

Л а р и с а. Глупая!

В е р а. Может быть!

Л а р и с а. Ладно, пошла я. Хотя нет! Я ж у тебя что-то попросить хотела.

В е р а. Чесночку, лучка, перчика?

Л а р и с а. Не поверишь? Забыла!

В е р а. Вот так машины и покупают…

Л а р и с а. Ты это про что?

В е р а. Проехали!

Л а р и с а. Куда поехали?

В е р а. Говорю, как вспомнишь, заходи. Двери для тебя всегда открыты.

Л а р и с а. Хорошо, Верунчик, я пошла.

В е р а. Иди.

Л а р и с а. Вечером жди квартиранта.

В е р а (в сторону). Кошелёк с деньгами…

Проводив взглядом Ларису, медленно подходит к репродукции картины в пластиковом багете. Перевернув фотографией к себе, некоторое время смотрит на неё, но, словно вспомнив что-то, отворачивает её обратно к стене и быстро отходит от картины.

(Остановившись возле зеркала.) Привет, Толстых-Чекушкина! Как жизнь?

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

Декорация третьей картины. На сцене наведён идеальный порядок. Хозяйка квартиры с новой причёской, обворожительно красива.

Стучат.

В е р а *(открыв дверь).* Входите.

На сцене появляется мужчина с рыжеволосой кудрявой шевелюрой и пшеничного цвета усами.

В одной руке у него шикарный букет цветов, в другой — цветной пакет.

Ч е к у ш к и н. Здравствуйте! *(Отходит в сторону от двери.)* Можно?

В е р а *(защёлкивая дверь).* Добрый вечер!

Ч е к у ш к и н *(протягивает букет).* Это вам!

В е р а *(принимая цветы).* Спасибо! *(Указывает на кресло.)* Проходите. Чувствуйте себя, как… *(Не договорив, начинает пристально всматриваться в гостя.)*

Ч е к у ш к и н *(расплываясь в широкой улыбке, протягивает Вере руку).* Семён!

В е р а *(поморщившись от грубого рукопожатия).* Вера.

Ч е к у ш к и н. А по отчеству вы Ивановна?

В е р а *(растерянно).* Правильно, Семён Семёнович, только откуда вам известно моё отчество?

Ч е к у ш к и н *(трогается с места).* Ну, для вас я просто Сеня! Что же касается вашего отчества… (Остановившись возле стола, начинает выкладывать содержимое пакета на стол.) Вы, наверное забыли, что у нас один и тот же информатор!

В е р а *(пробует улыбнуться).* Забыла! *(В сторону.)* Странно! Как много общего у него с… *(Чекушкину.)* Я на кухню, за вазой для цветов, а вы располагайтесь...

Ч е к у ш к и н. Бокалы для шампанского прихватить не забудьте!

В е р а. Хорошо! Только вы зря потратились, Семён Семёнович, я не пью.

Ч е к у ш к и н *(оставшись один).* Может, на свои и не пьёте? А на халяву и уксус сладкий!

В е р а *(на ходу).* Вы что себе позволяете? *(Поставив вазу с букетом цветов на стол.)* Убирайте всё сейчас же обратно в пакет!

Ч е к у ш к и н. Что не так, Вера Ивановна? *(Указывает на содержимое стола.)* Вы разве этот сорт конфет не любите? Извините великодушно, учту на будущее!

В е р а. При чём здесь конфеты? Я спиртное имею в виду.

Ч е к у ш к и н. А оно-то тут при чём?

В е р а. Как это при чём?

Ч е к у ш к и н. Так и я про то! Коньяк пятизвёздочный, десятилетней выдержки. Ром, виски, бутылка шампанского для разогрева. *(Пожимает плечами.)* Может, мало?

В е р а. Теперь я понимаю Лариску, отчего она вас ко мне сплавила. Но со мной у вас этот номер не пройдёт. Если хотите, чтобы у вас была крыша над головой…

Ч е к у ш к и н. Хочу!

В е р а. Тогда давайте договоримся! Чтоб всё это я видела первый и последний раз на моём столе. *(Грозит пальцем.)* И не вздумайте в течение месяца приходить ко мне подшофе!

Ч е к у ш к и н. Целый месяц! И ни грамма в рот? Ну, нет, так не пойдёт! Придётся мне завтра в гостиницу перебираться. *(Усевшись в кресло.)* А я-то с вами по бокалу шампанского хотел выпить за знакомство.

В е р а. Я тоже не против — выпить бокал шампанского. Но не столько же?!

Ч е к у ш к и н *(соскочив с места).* Ловлю на слове, Вера Ивановна! Раз такое дело, то по бокальчику шампанского и всё. Остальное оставите себе.

В е р а. Зачем оно мне? Нет уж, забирайте его себе.

Ч е к у ш к и н. От презента грех отказываться!

В е р а. У меня сроду в доме столько спиртного не было! Не надо оно мне…

Ч к у ш к и н. Гости придут — будет чем угостить. Да и Новый год не за горами!

В е р а. Насчёт гостей, Семён Семёнович, вы ошибаетесь. Разве что Дед Мороз меня навестить может!

Ч е к у ш к и н. Это почему пессимистично так?

В е р а. Не местная я. В своё время за однокурсника замуж вышла, так здесь и осталась. Но думаю конец этому положить. На родину к себе хочу перебраться, поближе к родственникам.

Ч е к у ш к и н *(берёт бутылку шампанского в руки).* Про бокалы забыли.

В е р а *(спохватившись).* Извиняюсь! Сейчас принесу. *(На ходу.)* У меня виноград есть.

Ч е к у ш к и н *(поёт).* Пой, ласточка, пой…

В е р а *(на ходу).* Что?

Ч е к у ш к и н. Гм…

В е р а *(ставит на стол два бокала и чашу, наполненную виноградом).* Вы что-то сказали или мне послышалось?

Ч е к у ш к и н *(эффектно распечатав шампанское, разливает его по бокалам).* Я, уважаемая, Вера Ивановна, говорю может, мы на «ты» перейдём?

В е р а *(выдвигает два стула, стоящих вокруг стола).* Я не против!

Ч е к у ш к и н *(подаёт бокал).* За знакомство!

В е р а *(чокаясь).* Я только пригублю.

Ч е к у ш к и н. Первую до дна!

В е р а *(пригубив, ставит бокал на стол).* Не принуждайте даму!

Ч е к у ш к и н *(опустошив бокал).* Хорошо, не буду!

В е р а *(садится).* Надеюсь.

Ч е к у ш к и н *(усевшись на стул и открыв коробку конфет, предлагает их Вере).* Угощайтесь!

В е р а. Спасибо. *(Выбрав.)* Мои любимые!

Ч е к у ш к и н. Рад, что с конфетами угодил.

В е р а. Щедрый вы человек, Семён Семёнович! *(В сторону.)* Не то что некоторые…

Ч е к у ш к и н *(наполнив себе и долив шампанского Вере).* Мы же — на ты? Да и какой я для вас Семён Семёнович? *(Чокаясь.)* Давайте просто, Сеня — Вера, Вера — Сеня…

В е р а *(выпив больше половины бокала, возвращает его на стол).* Вдобавок ко всему ты ещё и весёлый человек! Это хорошо.

Ч е к у ш к и н. В наше ли развесёлое время унывать?!

В е р а. Ну, насчёт времени не знаю! А вот что без комплексов — это плюс!

Ч е к у ш к и н. Буду стараться и впредь соответствовать твоим стандартам.

В е р а (засмеявшись). Моим навряд ли! Уж больно планка высока! *(В сторону.)* Колхозник…

Ч е к у ш к и н *(наполняя бокалы).* Надеюсь, с цветами угадал?

В е р а. Да. *(Кивает на бутылку.)* Куда спешим?

Ч е к у ш к и н. Между первой и второй промежуток небольшой! *(Кивает на бокал Веры.)* А ты ещё и одного раза до конца не выпила.

В е р а. Хорошо, я этот бокал допью за два раза. Но на этом всё! Мне хватит.

Ч е к у ш к и н. Договорились!

В е р а. Надеюсь, Семён, ты человек слова?!

Ч е к у ш к и н. Как скажешь, Вера, так и будет!

В е р а. Но ты мне не ответил.

Ч е к у ш к и н. А что отвечать-то? Время покажет! Главное, что сегодня с конфетами и цветами я не ошибся.

В е р а. Спасибо! Но, признайся, родственница подсказала?

Ч е к у ш к и н. Как бы не так! Я к ней надолго в опалу попал.

В е р а. С чего вдруг?

Ч е к у ш к и н. Пару раз заступился за брата…

В е р а. Как это?

Ч е к у ш к и н. Я не знал, что он подкаблучник! Она им мыкает, как хочет, а он не только во всём ей потакает, но и беспрекословно идёт у неё на поводу.

В е р а. Не может быть.

Ч е к у ш к и н. Может!

В е р а. Как же ты, Сеня, жил со своей женой?

Ч е к у ш к и н. Душа в душу.

В е р а. Ой ли?!

Ч е к у ш к и н. Что — ой ли? Она у меня по одной плахе ходила, на другую наступить боялась! Не то чтобы при людях на меня орать. *(Кивает наверх.)* Как эта на брата при мне…

В е р а. Вот тебе на! Я-то думала, ты идеальный мужчина. А ты, как я погляжу, Сеня, — деспот!

Ч е к у ш к и н. Да какой я деспот? Просто люблю порядок и дисциплину во всём. Если мужик сказал, что ложка люминевая, значит она — люминевая!

В е р а. Алюминиевая, ты, наверное, хотел сказать?

Ч е к у ш к и н. Что?! *(Стукнув кулаком по столу.)* Бунтовать на корабле я никому не позволю!

В е р а *(встав с места).* Ты это что, Семён Семёнович, себе позволяешь? *(Стучит пальцем по столу.)* Не сметь больше не то чтобы орать или стучать по столу, но даже голос повышать в моей квартире! *(Указывает на дверь.)* Иначе вылетишь отсюда, как пробка из бутылки с шампанским.

Ч е к у ш к и н. Ну, вы с Лариской, видать, одного поля ягодки?

Той тоже, видишь ли, моя жизненная позиция не по нутру пришлась. Вначале она меня на коврик в прихожую переселила, а потом вообще из дома выгнала.

В е р а *(заулыбавшись, садится на место).* Видать, достал.

Ч е к у ш к и н. Пару раз всего лишь за брата заступился.

В е р а. А тебя брат об этом просил?

Ч е к у ш к и н. Нет.

В е р а. Что ж ты, Сеня, тогда в чужой монастырь со своим уставом полез?

Ч е к у ш к и н. Может, ты и права, Вера? Не надо было мне в чужую семью соваться. Но ведь за брата обидно. Если бы ты знала, каким он ухарем по молодости был! Какие девки по нём сохли, пока эта мымра его не захомутала.

В е р а. Давай только без выражений.

Ч е к у ш к и н. А я разве ругаюсь?

В е р а. Этого ещё не хватало!

Ч е к у ш к и н *(приподымая бокал).* За тебя, Вера!

В е р а *(отпив полбокала).* Семён! А ты пьяный не буйный?

Ч е к у ш к и н *(ставит пустой бокал на стол).* С чего здесь пьяному быть? Я этой газировки ведро выпить могу.

В е р а. Войдёт?

Ч е к у ш к и н. Кто?

В е р а. Ведро-то?

Ч е к у ш к и н. Куда?

В е р а. Внутрь.

Ч е к у ш к и н. Ты это о чём, Вера?

В е р а. Сам же сказал, что ведра мало.

Ч е к у ш к и н. А-а, ты про шампанское. *(Прикладывает руку к сердцу.)* Отвечаю!

В е р а. Вправду, что ли?

Ч е к у ш к и н. Я никогда не вру.

В е р а. И не привираешь?

Ч е к у ш к и н. Нет.

В е р а. Расскажи что-нибудь о себе.

Ч е к у ш к и н. Что?

В е р а *(отщипывая виноград).* Ну, я не знаю…

Ч е к у ш к и н. Мы новые комбайны купили, так теперь…

В е р а. Стоп! Про свою малую Родину ты мне как-нибудь потом расскажешь. А сейчас?..

Ч е к у ш к и н. Про жизнь-то на селе я могу часами рассказывать.

В е р а. А ещё про что?

Ч е к у ш к и н. Что — про что?

В е р а. Делиться воспоминаниями.

Ч е к у ш к и н. Про армию.

В е р а. Ты служил?

Ч е к у ш к и н. Конечно!

В е р а. Где? Когда?

Ч е к у ш к и н. На Северном флоте! Правда, давно это было.

В е р а. И плавать доводилось?

Ч е к у ш к и н. Ходить!

В е р а. По воде?

Ч е к у ш к и н. По морю Лаптевых!

В е р а *(в сторону).* И впрямь лапоть! *(Чекушкину.)* Ну-ка, поведай, Семён, как это можно по морю ходить, а не плавать?

Ч е к у ш к и н. Принято так у моряков. Они не плавают, а ходят по морям и океанам.

В е р а. Интересно!

Ч е к у ш к и н. Ещё как интересно! Стоишь, бывало, на вахте. В видавшем виды бушлате часа 2-3, а то и все 5!

В е р а. Так долго?

Ч е к у ш к и н. Ветер свищет. За бортом минус 40 с хвостиком.

В е р а. Ничего себе!

Ч е к у ш к и н. Уши, чтоб в трубочку не свернулись, обмотаешь ленточками от бескозырки. А смены нет и нет.

В е р а. Как нет? В армии же, говорят, дисциплина! Всё чётко, по расписанию…

Ч е к у ш к и н. Так то ж в армии! А я-то на флоте служил.

В е р а. Есть разница?

Ч е к у ш к и н. Большая!

В е р а. Дальше что?

Ч е к у ш к и н. Дальше некуда.

В е р а. Как это?

Ч е к у ш к и н. Пожаловаться-то всё равно некому. *(Наливает себе и добавляет шампанского в бокал Веры.)* В такую погоду добрый хозяин собаку на улицу не выгонит, не то чтобы кто нос свой высунул.

В е р а. Мороз, да ещё с ветром! *(Ёжась.)* Бр-р!.. А про вас никто и не вспомнит даже?

Ч е к у ш к и н. Вспомнить-то вспомнят. Не было такого, чтобы на сутки-двое про нас забыли. Только толку-то?

В е р а. Как это?

Ч е к у ш к и н. До такой степени продрогнешь, что с новым караульным поменяться местами не в силах.

В е р а. Серьёзно?

Ч е к у ш к и н. Загрузит он тебя разводящему на плечо, так тот, сердешный, тебя, как бревно, вместе с винтовкой образца… *(Машет рукой.)* Это тебе знать не обязательно. Я подписку о неразглашение военной тайны давал.

В е р а. Нет-нет, конечно! Дальше что?

Ч е к у ш к и н. Вот я и говорю, как бревно, на себе до кубрика и тащит.

В е р а. На себе?

Ч е к у ш к и н. Ну это если нормальный разводящий попадётся.

В е р а. А если нет?

Ч е к у ш к и н. Ежели доходяга какой, так тот ногой толкал, перекатывая по палубе.

В е р а. Ужас!

Ч е к у ш к и н. Ужаса-то большого не было. Винтовка мешала, а так ничего.

В е р а. Бедные матросики!

Ч е к у ш к и н. Зато от точечного массажа промёрзшее тело быстрее отходило.

В е р а. Семён! Ты сказал, что винтовка перекатываться мешала…

Ч е к у ш к и н. Было дело, не отрицаю.

В е р а. А разве оружие передать тому же разводящему нельзя было?

Ч е к у ш к и н. Не то чтобы нельзя, обязан был!

В е р а. Вот!

Ч е к у ш к и н. При смене караула ружьё это я под роспись в вахтенном журнале передать должен был.

В е р а. Так в чём же дело?

Ч е к у ш к и н. Должен-то должен! Только вот как её, трехлинейку, образца одна тысяча… *(Машет рукой.)* Даже не пытай, всё равно не скажу!

В е р а. Нет, нет! Раз тайна военная, не надо. А то сболтну ещё где ненароком…

Ч е к у ш к и н. Я и говорю. Как её, родимую, передашь другому, коль пальцы от мороза до такой степени скрючены, что разомкнуть их никто не в силах.

В е р а. *(качает головой).* Да-а…

Ч е к у ш к и н. Только после стакана спирта, силком залитого в рот, часа через два, не раньше. Лёжа на гамаке в каюте, окончательно оттаяв, ружьё и отпустишь.

В е р а. Стакан спирта?!

Ч е к у ш к и н. Пробовали на нас экономить. Только экономия эта командному составу боком выходила.

В е р а. Как это?

Ч е к у ш к и н. Простывали солдатики.

В е р а. Ты же в морфлоте служил?

Ч е к у ш к и н. Я и говорю, простывали морячки.

В е р а. А стакан, значит, в самый раз?

Ч е к у ш к и н. Норма! После которого хоть вновь на дежурство заступай. Но нас старослужащие жалели. Даже после того, как сам от винтовки отцепишься, давали ещё с часок полежать.

В е р а. Обалдеть!!!

Ч е к у ш к и н. Ружьё, оно хоть и ни к чему, но по уставу караульной службы должно быть передано тому, кто после тебя на вахту заступит. Поэтому по цепочке ружьё сразу же передавалось новому дежурному.

В е р а. А до этого, выходит, он без оружия корабль охранял?

Ч е к у ш к и н. Такое только зимой, месяцев десять в году случалось. Летом же самим удавалось вместе с верхонками, примёрзшими к винтовке, оружие передать.

В е р а. И ты без оружия на вахте стоял?

Ч е к у ш к и н. Конечно! И не один раз.

В е р а. А если бы враг напал?

Ч е к у ш к и н. Какой враг, Вера? На тыщу вёрст ни души! Льды да медведи.

В е р а. Белые?

Ч е к у ш к и н. Как снег!

В е р а. А разве они зимой не спят?

Ч е к у ш к и н *(пожимает плечами).* Может, между Новым и Старым годом?

В е р а. Так мало?

Ч е к у ш к и н. Врать не буду. Не знаю. Знаю одно, что хрен редьки не слаще, хоть с оружием, хоть — без.

В е р а. Почему?!

Ч е к у ш к и н. Толку-то от него.

В е р а. От кого?

Ч е к у ш к и н. От ружья.

В е р а. Как это?

Ч е к у ш к и н. По медведям стрелять запрещалось. Если на палубу косолапый вскарабкается — и такое случалось, — то обязан был притвориться мёртвым, чтоб в лазарет не попасть, или по трусости на гауптвахту не угодить. *(Глубокомысленно вздохнув.)* У всплывшей же рядом вражеской подлодки всё равно броню пулей не пробить.

В е р а. И что делать?

Ч е к у ш к и н. Тут самое главное — не прозевать её! А как заметил, то в рынду…

В е р а. Во что?

Ч е к у ш к и н. В корабельный колокол ударить, да голос подать.

В е р а. А услышит кто?

Ч е к у ш к и н. Из наших — никто!

В е р а. Зачем же тогда кричать да в колокол бить?

Ч е к у ш к и н. А это для того, чтоб враг понял, что они обнаружены. Они же, когда всплывают, к каждому шороху прислушиваются. А тут им чуть ли не в ухо как гаркнешь: рота — подъём!

В е р а. В смысле — тревога!

Ч е к у ш к и н. Так и я про то.

В е р а. И что?

Ч е к у ш к и н. Ты бы видела, как они с испуга опять в ледяную воду ныряли.

В е р а. Погружались?

Ч е к у ш к и н. Какой там погружались? Камнем на дно шли!

В е р а. Да…

Ч е к у ш к и н. Они ведь думали, да и до сих пор, поди, думают, что где бы они ни всплыли, их всегда наши мощные радары с пеленгаторами засекают…

В е р а. А оказывается, всё намного проще!

Ч е к у ш к и н. Только это секрет! Наша военная тайна! И ты, Вера, никому! Иначе мне кирдык! (Показывает решётку из сложенных пальцев.) Я ведь подписку давал о неразглашении…

В е р а. Никому!

Ч е к у ш к и н *(встаёт).* Нет, так не пойдёт! *(Подаёт бокал с шампанским.)* Ты поклянись.

В е р а. *(приподнимает бокал).* Клянусь!

Ч е к у ш к и н. Ну, а чтоб я был уверен в тебе, должна ты со мной этот бокал на брудершафт выпить. Согласна?

В е р а *(встаёт с места).* Согласна!

Опустошив бокалы, целуются.

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Вера в хорошем расположении духа, напевая песню про пять минут из к/ф «Карнавальная ночь», наряжает ёлку.

Звонит телефон.

В е р а *(на ходу).* Интересно, кто это меня с наступающим Новым годом решил поздравить? *(Снимает трубку.)* Алло!

Г о л о с. Здравствуй, Вера.

В е р а. Привет. Что надо?

Г о л о с. Вот, решил тебя с Новым годом поздравить.

В е р а. Поздравил.

Г о л о с. Что?

В е р а. Больше мне не звони.

Г о л о с. Вера…

В е р а *(бросает трубку на телефон).* Идиот! *(Подходит к репродукции картины.)* Поздравить он решил. *(Снимает со стены.)* Клялся до конца жизни любить. Обещал в один день умереть. *(Перевернув рамку, отрывает семейную фотографию, приклеенную к картону.)* Предал меня! Смотал удочки… *(Рвёт фото пополам, отделяя себя от мужа.)* Почти год каждые выходные с друзьями на рыбалку ездил. *(Откладывает в сторону свою половину некогда совместной семейной фотографии.)* Подарила ему на день рожде-

ния спиннинг. *(Трясёт половинкой его фото.)* Долго он рассматривал его. *(Начинает рвать фото.)* А потом у меня же спросил: «Что это такое?». *(Ожесточённо рвёт в мелкие клочья фотографию своего бывшего мужа.)* Дура я, дура! Верила ему. Ни о чём плохом даже подумать не могла. А он бросил меня. Молодую себе нашёл… *(Подкидывает кверху и осыпает себя мелкими кусочками разорванной фотографии.)* Вот и всё! Нечего мне больше названивать. *(С пренебрежением в голосе.)* Предатель! *(Берёт рамку с репродукцией картины и вешает её на прежнее место.)*

Стук в дверь.

(На ходу.) Входите.

Л а р и с а. Привет, подружка! *(Пытается прижаться к ней щекой.)*

В е р а *(недовольно).* Привет.

Л а р и с а. Что кислая такая? Новый же год на носу!

В е р а. Ну и что?

Л а р и с а. Как что? Праздник же!

В е р а. Что на этот раз у тебя кончилось?

Л а р и с а. Не поняла.

В е р а. Подсолнечное масло, уксус, соус?

Л а р и с а. А, ты про это! Нет. Всё уже на столе.

В е р а. Зачем тогда пришла?

Л а р и с а. Тебя к себе позвать.

В е р а. Спасибо.

Л а р и с а. Что сразу спасибо? Мои домочадцы за стол садятся. Пойдём, с нами старый год проводишь.

В е р а. Что-то мне не хочется никуда идти.

Л а р и с а. Ещё чего выдумала! К нам там родственник в гости заглянул…

В е р а *(обрадованно).* Чекушкин из деревни приехал?

Л а р и с а. Да нет. С другого конца города припёрся. Дома скучно одному, так он о родне вспомнил.

В е р а. Чекушкин не обещал приехать?

Л а р и с а. Нет.

В е р а. И не звонил?

Л а р и с а. Он на меня в обиде, что я ему попьянствовать с мужем не дала. А что?

В е р а. Ничего. *(В сторону.)* Поматросил и бросил. А я-то, дура, почти влюбилась в него…

Л а р и с а. После двенадцати мой брат обещал к нам заглянуть. Он рядом, у друзей Новый год встречать будет.

В е р а. У тебя есть брат?

Л а р и с а. Да, почти родной!

В е р а. Как это?

Л а р и с а. Сводный.

В е р а. Не поняла.

Л а р и с а. Родители наши вместе жили.

В е р а. Ну и что?

Л а р и с а. Каждый со своим приплодом.

В е р а. То есть?

Л а р и с а. Ну... у моей матери — я, у его отца — он. *(Машет рукой.)* Долго рассказывать. Пошли давай!

В е р а. Ты никогда о нём при мне не вспоминала.

Л а р и с а. Да мы как разлетелись из родительского гнезда, так лет двадцать между собой почти и не общались.

В е р а. А сейчас с чего вдруг начали?

Л а р и с а. Спроси у него.

В е р а. А мне это надо?

Л а р и с а. По секрету! Влюбился он тут в одну, вот и ошивается в нашем районе.

В е р а. Тоже агроном?

В е р а. Нет. Мой — артист!

В е р а. Больших и малых театров?

Л а р и с а. Самодеятельного при Доме учёных. Ты же его видела!

В е р а. Я? Где? Когда?

Л а р и с а. В начале лета мы с тобой ходили на премьеру…

В е р а. И что?!

Л а р и с а. После спектакля он к нам подходил. Помнишь, он ещё в гриме был. Хотел поинтересоваться нашим мнением от увиденного.

В е р а. Это тот, что ли, бездарный актёришка, и есть твой брат?!

Л а р и с а. Я хотела похвастаться им, но ты его игру так раскритиковала, что я не решилась признаться тебе в этом.

В е р а. Сам виноват.

Л а р и с а. Почему?

В е р а. Не надо было так беспардонно напрашиваться на комплименты.

Л а р и с а. Человеку хотелось услышать приятное в свой адрес, а ты…

В е р а. Я сказала, что думала по поводу его фальшивой игры на сцене.

Л а р и с а. Что, уж совсем так плохо?

В е р а. Хуже некуда. Примитивно, наигранно, неправдоподобно…

Л а р и с а. Это же театр!

В е р а. Тем более! Хотя могла и предупредить меня о своём брате.

Л а р и с а. Что-нибудь изменилось?

В е р а. Я бы промолчала, не стала высмеивать его притворную игру на сцене.

Л а р и с а. Притворщик он у меня ещё тот!

В е р а. Что?

Л а р и с а. Я говорю, не зря он у нас на новогодних праздниках Дедом Морозом подрабатывает.

В е р а. Вот-вот! Массовик-затейник он, может, и хороший, но на сцене ему с его убогой игрой делать нечего.

Л а р и с а *(грустно).* Затейник, да ещё какой! Скоро сама убедишься…

В е р а. Не хочу я ни в чём убеждаться. Иди к своим. Я и одна телевизор посмотрю.

Л а р и с а. Как бы не так! *(Тянет Веру за собой.)* Новый год она решила одна справлять. *(Шлёпает подругу по мягкому месту.)* Давай, шевели булками…

В е р а *(смеясь).* Ой!.. Лорик, ты что делаешь? (Останавливается около зеркала.) Дай хотя бы причёску поправить.

Л а р и с а *(выталкивая Веру за дверь).* У нас поправишь…

Некоторое время на сцене никого нет.
Минутой спустя начинает идти звуковое сопровождение празднования Нового года с хлопаньем пробок из бутылок шампанского, боем Кремлёвских курантов, криками «Ура!». Слышатся смех и поздравления друг друга с Новым годом, с новым счастьем.
С улицы доносится гром, свист, стрельба фейерверков.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ШЕСТАЯ

Декорации пятой картины.

С улицы доносятся одиночные выстрелы пиротехники. На сцене появляется громко смеющаяся Вера в сопровождении заметно захмелевшего седовласого мужчины с бакенбардами, в очках-хамелеонах.

В е р а. Проходите Иван Васильевич! Сейчас будем пить чай с клубничным вареньем.

И в а н В а с и л ь е в и ч *(на ходу).* Чай это хорошо… А нет ли у вас чего покрепче?

В е р а. Есть коньяк, ром, виски…

И в а н В а с и л ь е в и ч. Вот это выбор!

В е р а *(указывает на кресло).* Я не против присовокупить к чаю грамм пятьдесят коньячка, только не повредит ли это вам?

И в а н В а с и л ь е в и ч *(усаживается в кресло).* Вера Ивановна! О чём вы? Разве может коньяк повредить кому-либо?

В е р а. Хорошо! Я на кухню пойду, чай вскипячу. *(Показывает на «плазму», висящую на стене.)* А вы можете пока телевизор посмотреть. *(Уходит.)*

И в а н В а с и л ь е в и ч *(вскакивает с места).* Какой телевизор?! Какой чай?! Сейчас главное — не опростоволоситься, коль подфартило с такой кралей у родственничков познакомиться. *(Начинает махать руками, приседать, бегать по комнате.)*

В е р а *(с кухни).* Иван Васильевич! Подойдите ко мне.

И в а н В а с и л ь е в и ч *(торопливо вытащив упаковку, засовывает одну из таблеток в рот, остальное возвращает назад, не замечая при этом, что вместо кармана упаковка падает на пол).* Иду, Вера Ивановна! *(На ходу.)* Блин! Не успел таблетку рассосать, теперь глотать придётся. Поди, поможет…

С кухни доносятся голоса и смех.

Минутой спустя Василий Иванович, широко распахнув дверь, галантно пропускает вперёд себя Веру с подносом.

В е р а *(смеясь).* Ну, вы и шутник, Иван Васильевич! Это надо же придумать такое! *(Расставляет с подноса всё на стол.)*

И в а н В а с и л ь е в и ч. Это ещё что! У меня был случай похлеще, в Республике «Берег Слоновой Кости».

В е р а *(выдвинув два стула, жестом руки приглашает сесть).* Где, где?

И в а н В а с и л ь е в и ч *(усаживается).* В Африке.

В е р а. И что же вы там делали? *(Садится.)*

И в а н В а с и л ь е в и ч. Как что? Слонов из рогатки стрелял!

Смех.

В е р а. Открывайте коньяк, Иван Васильевич. Так и быть, добавим по пятьдесят грамм к выпитому ранее в гостях, но не больше!

И в а н В а с и л ь е в и ч. Хорошо, Вера Ивановна! Как скажете, так и будет.

В е р а. Что?

И в а н В а с и л ь е в и ч *(прикусив губу).* Ничего…

В е р а *(в сторону).* Странно, то же самое мне говорил и Чекушкин!

И в а н В а с и л ь е в и ч *(разливая коньяк).* Хорошо у вас тут, комфортно!

В е р а. Хозяина вот только нет, а так ничего…

И в а н В а с и л ь е в и ч. И не было?

В е р а *(грустно).* Был, да весь вышел…

И в а н В а с и л ь е в и ч. Куда?

В е р а. На «кудыкину гору».

И в а н В а с и л ь е в и ч. А-а…

В е р а. А почему вы пришли без жены?

И в а н В а с и л ь е в и ч. У меня её нет.

В е р а. Разошлись?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Никогда не было.

В е р а. Почему?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Не сложилось как-то…

В е р а. Бывает.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Что это мы о грустном заговорили? *(Поднимает стопку.)* Давайте, Вера Ивановна, выпьем за Новый год!

В е р а *(встаёт).* Давайте!

И в а н В а с и л ь е в и ч *(поднявшись с места, дотягивается через стол, чтобы чокнуться стопками).* С Новым годом вас! С новым счастьем!

В е р а. Спасибо! И вас с праздником!

Пьют.

И в а н В а с и л ь е в и ч *(садится).* Правду говорят... *(Берёт дольку лимона.)*

В е р а. Что?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Праздник Нового года — это ужин, заканчивающийся завтраком.

В е р а *(сев на место, берёт кусочек шоколада).* А ещё говорят, что 1 января самый короткий день в году!

И в а н В а с и л ь е в и ч. Чем обоснованы эти утверждения?

В е р а. Не успеешь проснуться, а на улице уже опять темно.

Смех.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Анекдот рассказать?

В е р а. Только не скабрезный.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Да вы что, Вера Ивановна!

В е р а. Расскажите.

И в а н В а с и л ь е в и ч. За новогодним столом гость полушёпотом спрашивает у хозяина: «Послушай, дорогой! Почему ты закрываешь глаза каждый раз, когда пьёшь?». На что тот отвечает: «Да я жене пообещал, что с Нового года перестану заглядывать в рюмку…».

В е р а *(первая перестав смеяться).* А вы сами много пьёте?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Не-е. Так только, по праздникам.

В е р а. Профессиональным?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Да вы что? Их больше, чем дней в году! Моей печени не справиться с такой нагрузкой.

В е р а. А по выходным бывает?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Ну, если только один — два раза в месяц.

В е р а. А после работы с друзьями расслабляетесь?

И в а н В а с и л ь в и ч. Скрывать не буду, случается. Но очень редко.

В е р а. А как насчёт пива в бане?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Раньше чаще баловался, сейчас воздерживаться стал.

В е р а. Значит, всё-таки злоупотребляете?

И в а н В а с и л ь е в и ч. Кружка пива после парной — разве это злоупотребление, Вера Ивановна? Так, баловство одно!

В е р а. Раз в неделю после бани. Два раза с друзьями после работы. Три раза по праздникам и выходным. Так вы, Иван Васильевич, алкоголик, как я погляжу.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Скажете тоже… *(В сторону.)* Блин, всё знает! Лариска, что ли, насчёт меня ей напела?

В е р а. Что это мы в тишине сидим? *(Встаёт, идёт к дивану.)* Надо телевизор включить. Сейчас же по всем каналам праздничные концерты идут. *(Ищет глазами пульт.)* Куда это пульт запропастился? (*Подымает с пола упаковку таблеток.)* Что это? *(Читает.)* «Мужская сила». *(Возвращается к столу.)* Это ваше?

И в а н В а с и л ь е в и ч *(растерянно).* Моё…

В е р а. Берите, мне чужого добра не надо.

И в а н В а с и л ь е в и ч *(встаёт с места).* Спасибо…

В е р а. Кушайте на здоровье.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Вера Ивановна, вы не подумайте плохого, я ещё ого-го!

В е р а *(смеясь).* Вижу! Только проверять, так ли это, я всё равно не собираюсь.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Вы хотите сказать?..

В е р а. Вы правильно поняли. *(Указывает на дверь.)* Именно это я и имела в виду.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Ну знаете! Так с людьми не поступают! Вначале вы заманиваете человека к себе, а потом наглым образом указываете на дверь.

В е р а. Что? А ну пошли отсюда к своим родственникам на пятый этаж!

И в а н В а с и л ь е в и ч. Вера Ивановна, разрешите остаться. Если даже не получится что, так нацелуемся вдоволь.

В е р а. Вон!

И в а н В а с и л ь е в и ч. Хорошо, хорошо! Только не кричите на меня, я этого не люблю. *(Смешно размахивая руками, пятится назад.)* Всего доброго в новом году!

В е р а. И вам не хворать. *(Оставшись одна.)* Ну почему мне так не везёт? За какие такие грехи мне всё это?! *(Садится за стол.)* Всю жизнь была верна одному — сбежал к другой! Хотела с горя отвлечься, нарвалась на маминого сынка. Наконец нашёлся вроде бы настоящий мужик — и тот бросил. Больше месяца от него ни слуху, не духу. Забыл про меня совсем! *(Наливает полстопки коньяка.)* Про сегодняшнее недоразумение и вспоминать не стоит. *(Пьёт.)* Эх, жизнь — копейка! *(Встаёт, идёт к дивану.)* Зачем я только пошла к чужим людям Новый год встречать? Спала бы уже давно, так нет же!..

Стук в дверь.

(Смахивает со щёк слёзы.) Лариска, что ли, прётся? *(Кричит.)* Входи, открыто!

На сцене появляется Дед Мороз.

(Удивлённо глядя на гостя, встаёт с места.) Не поняла! Вы квартирой явно ошиблись, здесь детей нет.

Д е д М о р о з. Тук, тук, тук! *(На ходу.)* Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! В гости Дед Мороз пришёл, он подарки вам принёс! *(Поставив мешок на стул возле стола, глядит на ёлку.)* А почему ёлка не горит? *(Качает головой.)* Непорядок! *(Хлопает в ладоши.)* Раз, два, три, ёлочка — гори! (На ёлке загораются гирлянды.) Вот теперь другое дело! Где тут маленькая Вера? Что расскажет мне стишок про…

В е р а *(на ходу к Деду Морозу).* Я же сказала, что здесь детей нет! Уходите.

Д е д М о р о з *(не обращая внимания на Веру).* Через лес я пробирался, долго-долго шёл сюда. Чтобы на ночь здесь остаться, ну а лучше — навсегда!

В е р а. Что за бред вы несёте? Уходите! А не то я позвоню в полицию.

Д е д М о р о з *(развязывает мешок).* У меня подарков тыща! Хватит всем и…

В е р а. Прекратите маскарад! Как вам не стыдно? Я же сказала, здесь детей нет!

Д е д М о р о з *(роясь в мешке).* Вот вам первый мой подарок! Не большой, но очень мягок. *(Кладёт на стол сеточку для волос.)* Вот — второй! *(Выложив парик с усами, опускает руку снова в мешок.)* Затем и третий! *(Достаёт очки и бакенбарды.)* Подарю всё это Вере!

В е р а. Вы пьяны! Не слышите меня? *(Взглянув на выложенные вещи.)* Что?! *(Оттянув бороду, держащуюся на резинке, бьёт по шапке.)* Ах ты, лицедей, клоун, артист погорелого театра. Я сейчас тебе покажу вместе с Лариской, как надо мной смеяться! *(Подняв с пола шапку.)* То-то она мне за столом все уши прожужжала про своего братца, какой он у неё хороший артист. *(Бьёт шапкой Деда Мороза по голове.)* Кукловод хренов! *(Начинает гоняться с шапкой за Дедом Морозом, увёртывающимся от её ударов.)*

С экрана телевизора, включившегося сам по себе, начинает звучать новогодняя песня.

Вспыхивают новые гирлянды. Их огоньки начинают мигать и разбегаться по ёлке в разные стороны.

Сорвав с себя бороду, Дед Мороз резко останавливается и, обхватив Веру за талию, сжимает её в своих объятиях. Вера продолжает колотить его по плечам обеими руками. Но вскоре резкие движения Веры начинают замедляться, и она замирает.

Немая сцена с продолжительным, страстным поцелуем.

Занавес

ЯШКА

ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

М а р и я, 30 лет.
М а р у с я, девочка-подросток.
М а н ь к а, 20 лет.
Я ш к а, 25 лет.

* * *

Декорация камеры: дверь, обшарпанные стены, возле кровати стол-тумба, над столом окно с решёткой. Некоторое время никого нет. Сцена полуосвещена. С утиханием нагоняющей тоску музыки начинают доноситься приближающиеся шаги. Щёлкает засов, раздаётся скрип открываемой двери. На сцену выталкивается Мария Бочкарёва. Ей чуть больше 30 лет, но выглядит она старше своего возраста.

М а р и я *(оглядываясь на дверь).* За что ко мне так? Что плохого я сделала новой власти? *(Сквозь слёзы.)* Мама, мамочка! Дорогая… *(На ходу.)* Господи! Ну какой из меня контрреволюционер? *(Вымученно.)* Почему я, а не кто-то другой должен быть сегодня расстрелян? *(Остановившись.)* Ну не немцы же они! Такие же русские… *(Обречённо.)* Лучше бы на фронте убили…

Мария Бочкарёва, поглядев в зал, медленно подходит к своему спальному месту. Поправив матрац, усаживается. Обхватив голову руками, плачет. Проходит часть времени. В воцарившейся тишине раздаётся свист пуль, взрывы артиллерийских снарядов. Бочкарёва, вздрогнув, поднимает голову, недоуменно смотрит в зал.

(С последним взрывом.) О Боже! Что это? *(Оглядывается по сторонам.)* Где я?

Доносится приглушённый смех.

(Прислушивается.) Чей это смех? Откуда он?..

Из стены (будто пройдя сквозь неё) на сцену выбегает беззаботно смеющаяся девочка-подросток.

(Встаёт.) Ты кто?

М а р у с я. Я — Маруся! Не узнала, что ли?

М а р и я. Нет.

М а р у с я. Фролкова я…

М а р и я. Кого же ты мне напоминаешь?

Рассмеявшись, Маруся отбегает от Бочкарёвой.

(Встревоженно.) Постой! Куда же ты?

М а р у с я. Никуда. (*Вертясь на месте.)* Я с тобой до утра буду. *(Расплывшись в улыбке.)* Не бойся, Яшка! Прорвёмся…

М а р и я *(на ходу).* Стоять! Откуда тебе известно моё фронтовое прозвище?

М а р у с я *(сквозь смех).* Вот дурёха, и впрямь не признаёт…

М а р и я *(притягивает Марусю к себе за плечи).* Фролкова? Хочешь сказать, что ты — это я в детстве?

М а р у с я. Ну наконец-то! Признала родственницу.

М а р и я *(отталкивает от себя).* Врёшь. Не верю…

М а р у с я. Ксеньевку помнишь?

М а р и я *(отмахивается).* Я-то помню, только ты тут при чём?

М а р у с я растерянно смотрит вслед отходящей от неё М а р и и.

М а р у с я *(догнав).* При том, что эта деревушка под Томском — моя с тобой родина.

М а р и я *(устало усаживается на кровать).* Враки всё это! Скажи лучше, кто тебя подослал? Я же всё рассказала на допросах, по-честному, без утайки. Больше добавить нечего…

М а р у с я. «Жить в добре, ходить в серебре» — не ты ли мечтала?

М а р и я. Когда это было?

М а р у с я. Недавно.

М а р и я. Целая жизнь прошла.

М а р у с я. Зато какая!..

М а р и я. Кому это надо?

М а р у с я. Мне. У меня же всё впереди.

Мария, заплакав, прижимает Марусю к своей груди.

(Отстраняясь.) Не надо сырость разводить, здесь её и без того хватает.

Из стены, откуда ранее выбежала Маруся, на сцене появляется Манька — пышущая здоровьем молодая женщина.

(Весело.) Смотри, Мария Леонтьевна, кто к нам пришёл!

М а р и я *(утирая слёзы).* Откуда ты, девонька, к нам пожаловала?

М а н ь к а. Не поверите. С тех мест, где Макар телят не пас.

М а р у с я *(взвизгивая).* Интересно-то как! Расскажи.

М а н ь к а *(Марусе).* Рано тебе об этом знать, подрасти ещё.

М а р и я. Не от мужа ли сбежала?

М а н ь к а. От него, разбойника.

М а р и я. Вот долюшка… Мне тоже не повезло ни с первым, ни со вторым. Оба кобелями оказались.

М а н ь к а. Может быть, я и дальше терпела бы его побои, да урядник в нашу глушь заглянул…

М а р и я *(перебивая).* От которого ты что-то узнала?

М а н ь к а. Да. *(С тревогой.)* О войне с немцами!

М а р и я. Весть потрясла тебя?

М а н ь к а. Места себе не могла найти…

М а р и я. Вот он, Божий Промысел! Сама через это прошла.

Манька и Маруся, переглянувшись,
подмигивают друг другу.

(Припоминая.) Сколько мне тогда было?

М а н ь к а. Столько же, сколько мне сейчас.

М а р и я. Хочешь сказать, что ты?..

М а н ь к а *(рассмеявшись).* Ну, ты, Мария Леонтьевна, даёшь! *(Садится рядом.)* Я думала, ты меня признала, а оказывается…

М а р и я *(встаёт).* Я что, померла?

М а р у с я. Нет. *(Засмеявшись, подбегает к авансцене.)* У тебя всё ещё впереди. Тебя народ любит! *(Приглядывается.)* Вон сколько улиц твоим именем в разных городах названо.

М а р и я *(садится).* Значить, померла.

М а р у с я. Да нет же. *(Обрадованно машет в зал.)* Вон Яшка идёт, она подтвердит, что живая ты!

Пройдя меж рядов партера, на сцену поднимается молодая, строгого вида женщина. В руке у неё газета, свёрнутая трубочкой. На груди красуются три медали и два Георгиевских креста. Одета она в форму прапорщика пехоты.

(Рассматривая Яшкины награды.) Ничего себе иконостас!

Я ш к а. Отставить! Что за бардак у вас тут, почему до сих пор не в форме?

М а н ь к а *(встаёт).* Не гони гусей! *(Отходит.)* Погляди, кто перед тобой.

Я ш к а. Разговорчики в строю…

Маруся, стоя между Манькой и Яшкой,
с интересом рассматривает обоих.

М а н ь к а. Да пошла ты в пим дырявый. *(Поворачивается к Марии.)* Бук-Бочкарёва.

Яшка, развернув к себе Маньку, влепляет ей оплеуху.

(Обиженно.) За что?

Я ш к а. Отчизна в опасности, а вы тут сусю-мусю разводите.

М а р и я *(поднявшись).* Не смей, Яшка, руки при мне распускать!

Я ш к а. Недовольные могут убираться ко всем чертям.

Маруся, обхватив троих стоящих друг против друга женщин,
со смехом сталкивает их меж собой.

(Возмущённо.) Это ещё что такое?

М а н ь к а. Твои детские проказы.

М а р и я *(крестится).* О Боже милостивый! Что со мной? Преставилась я, что ли?

М а р у с я *(прыгая от счастья).* Ты не умрёшь, Мария Леонтьевна! Благодаря тебе и мы жить будем.

М а р и я. Твоими устами да мёд пить…

Я ш к а. Устами ребёнка глаголет истина!

М а н ь к а *(тычет Яшку в плечо).* Ну вот! (Передразнивая.) А то — разговорчики в строю…

Я ш к а. Так приказ же у меня Временного правительства! Сформировать, обучить и отправить на фронт женский батальон.

М а р и я. Зря ты затеяла всё это, Яшка. Ох, зря!

Я ш к а. Из-за дезертирства с фронта скоро воевать будет некому.

М а р и я *(устало усаживается на кровать).* Революция! Чего ж ты хочешь?

Я ш к а *(повысив голос).* Хочу, чтобы мы победили.

М а р и я. Раньше — да, сейчас — нет!

Я ш к а. Это пропаганда?

М а р и я. То ли ещё будет…

М а р у с я *(бегая от одной к другой, к третьей).* А что будет? Чем сейчас плохо? Революция — это хорошо или плохо?

М а н ь к а *(Марии).* Что-то я тоже не поняла. Какая революция? Какое Временное правительство? В стране такое… воодушевление, все на войну рвутся. За веру, царя и Отечество воевать хотят. *(Яшке.)* А ты — дезертирство… *(Подкручивая у виска.)* Ку-ку, что ли?

Я ш к а *(подаёт свёрток).* На почитай.

М а н ь к а *(отстраняет газету).* Не умею я.

Я ш к а. Добьёшься отправки на фронт, в окопах обучишься.

М а н ь к а. Чему?

Я ш к а. Грамоте.

М а н ь к а. Хорошо бы! Только мне фронта не видать…

Я ш к а. Что так?

М а н ь к а. Командир 25-го резервного батальона в просьбе записать в солдаты мне отказал.

Я ш к а. А ты царю телеграмму пошли. Он поддержит.

М а н ь к а. Государю императору?

Я ш к а. Да.

М а н ь к а. А что? Возьму и на последние деньги, что у меня есть, прошение и подам.

М а р и я. Подойдите ко мне.

Яшка, Манька и Маруся обступают Марию.

(Перекрестив всех по очереди.) Храни вас Бог!

М а р у с я *(в зал).* Христос, явись! Могучей волей
Нечестья узы разорви.
И Русь родную светлой долей
На правый путь благослови…

Я ш к а. Не юродствуй!

М а н ь к а. Она и не думала. Это один наш знакомый поэт сочинил. Я забыла, а она помнит.

М а р у с я *(отбежав).* Хочу в счастье жить, ни о чём не тужить!

М а р и я *(вздыхает).* Ох, Маруся, Марусенька! На всё воля Божья! Радуйся жизни, пока молода да замуж не вышла.

М а н ь к а *(тихо).* Не уберечь нам её: ни от Афанасия Бочкарёва, с которым обвенчается в Вознесенской церкви в январе 1906 года. Ни от Якова Бука, за которым по доброй воле на край света в ссылку пойдёт.

Я ш к а. Зато ты — молодец! Нашла же силы своего суженого бросить.

М а н ь к а. Если б не война, до сих пор ирода терпела. Трезвый — человек человеком. А как напьётся…

М а р и я. Не дал нам Бог счастья семейного.

Я ш к а. Зато познали радость победы над врагом.

М а р и я *(смеясь).* Скажи ещё — счастье воинского братства в сырых окопах.

Я ш к а. А разве этого мало?

М а р и я. Для полного счастья маловато…

Я ш к а. Весь этот хаос в стране и на фронте — временное явление. Керенский за войну до победного конца!

М а р и я. А ты знаешь, сколько ему самому отмерено?

Я ш к а. За власть он не держится. Созовут Учредительное собрание…

М а р и я *(отмахивается).* Не будет никакого собрания. Поверь мне.

Я ш к а. А как же тогда с лозунгом: «Долой отжившие учреждения: Государственную Думу и Госсовет. Да здравствует Учредительное собрание!».

М а р и я. А вот так, Яшка! Не пройдёт и полгода — вторая революция будет.

Я ш к а. Не может быть!

М а р и я. Может. Но страшнее то, что за ней последует.

М а н ь к а. Конец света?

М а р и я. Гражданская война.

М а р у с я *(подбегает).* Как это?

М а р и я. Брат против брата пойдёт, сын против отца…

М а н ь к а. Шутишь, Мария Леонтьевна?

М а р и я. Нет!

Я ш к а *(машет газетой).* Этого допустить нельзя!

М а р у с я (пожимает плечами). Что отцу с сыном делить? Они же родственники!

М а н ь к а. Раз так, то я обязательно добьюсь отправки на фронт. Если над матерью занесён нож, то не спрашивают, кто рядом — дочь или сын, а спешат ей помочь.

Я ш к а. Правильно! Это ты в глазах мужа-пьяницы — Манька. На фронте за смелость и отвагу обретёшь уважение и любовь сослуживцев.

М а р и я. Маньке легче будет. Пережив насмешки и приставания солдат, она своей храбростью докажет, что десятерых мужиков стоит. А вот тебе, Яшка, я не завидую.

Я ш к а. Почему?

М а р у с я *(смеясь).* Ей вся страна завидует.

М а р и я. Сотни невинных душ загубишь.

Я ш к а. Мы не на вечёрку собираемся, на фронт едем.

М а р и я. Не бабье это дело…

Я ш к а *(улыбаясь).* Кто бы говорил, Мария Леонтьевна!

М а р и я. Предложение по созданию женского батальона считаю самой большой ошибкой в своей жизни.

Я ш к а. Почему? Все, кому дороги свобода и счастье России, должны спешить в наши ряды. Ещё не поздно остановить развал страны.

М а р и я. Поздно! А ещё лучше, если бы я не нашла поддержки своей идеи у сильных мира сего.

Я ш к а. Наоборот, молодцы они, что поддержали тебя. Не щадя жизни на поле боя, мы, женщины, напомним мужчинам о чести и долге перед Родиной!

М а р у с я *(восхищённо).* Ух ты!..

М а р и я *(встаёт).* Вот и я так думала. Хотя с оговорками, но поддерживала воззвание московского женского союза.

М а н ь к а. Что за воззвание?

М а р у с я. О чём оно?

Я ш к а. Да вот же оно! *(Развернув газету, читает.)* «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины». *(Повысив голос.)* «Но женская рать пойдёт на войну и станет живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря, воскресит в нём волю к победе и устыдит слабого, забывшего о присяге».

М а н ь к а. Здорово!

М а р и я. Не воскресит…

Я ш к а *(сворачивая газету).* Что за пессимизм, Мария Леонтьевна?

М а р и я. Ты же с фронта! Тебе ли не знать?

Я ш к а. Согласна. Солдаты, помня о кнуте и прежнем своём бесправии, воодушевлённые изданной Керенским «Декларацией прав солдата», разрешившей в воинских частях митинги, политическую агитацию и неповиновение старшим по званию, с каждым днём становятся всё неуправляемее…

М а р и я. Вот именно! После издания «Декларации», положившей начало к окончательному развалу армии, говорить о чести, доверии начальству бессмысленно.

Я ш к а. Нет.

М а р и я. Да.

М а н ь к а *(Яшке).* Что, всё так плохо?

Я ш к а. Доля правды в этом, конечно, есть…

М а р и я. Доля? Тебе перестали подчиняться даже те, кто ещё вчера не задумываясь пошёл бы за тобой «в огонь и воду». Так?

Я ш к а. Так…

М а р и я. Дальше ещё хуже будет!

Я ш к а. Не об этом ли ты, Мария Леонтьевна?..

М а р и я. О чём?

Я ш к а. О многочисленных союзах и комитетах: «Батальонов свободы», «Общества 1914 года», «Дружин смерти» и тому подобное, призывающих: «К скорому миру во всём мире».

М а н ь к а *(удивлённо).* К миру с врагом?

Я ш к а. Да.

М а р и я. Не об этом. Лозунг: «Война до победного конца!» мне всегда был ближе. Я за мир, без аннексий и контрибуций.

Я ш к а. И я «за» тоже. Потому я здесь.

М а р и я. Зачем?

Я ш к а. Чтобы сформировать первый женский батальон для отправки на фронт.

М а р и я. Для чего?

Я ш к а *(всплёскивая руками).* Опять двадцать пять! Я же говорю: чтобы своим примером поднять дух армии и предотвратить гибель России.

М а р и я. Наивная дура.

Я ш к а *(обиженно).* Почему?

М а р и я. Нет больше победоносной, сплочённой боевым духом армии.

Я ш к а. Так для того всё и делается, чтоб пораженческие настроения из войск убрать.

М а р и я. Зря, всё зря! Только девок загубишь.

Я ш к а *(с вызовом).* Откуда это известно?

М а р и я. Жизненный опыт подсказывает. Я в отличие от вас через всё это уже прошла.

М а р у с я. Ну, так неинтересно, Мария Леонтьевна! Не надо нас пугать будущим. *(Отбегает.)* Оно прекрасно!

М а р и я, М а н ь к а и Я ш к а с тоской смотрят на счастливо вертящуюся перед ними М а р у с ю.

М а н ь к а *(кивая на Марусю).* Она права. Что это мы, Мария Леонтьевна, всё о грустном?

М а р и я. Посмеяться хочешь? Так это не ко мне, к Яшке обратись.

Я ш к а. При чём тут я?

М а р и я. Расскажи что-нибудь весёленькое.

Я ш к а. Про Маньку пойдёт?

М а н ь к а. Про меня?..

М а р и я. Публичный дом имеешь в виду? Так то ж ты там была...

Я ш к а. Дело до отправки на фронт было, значит, не я.

М а н ь к а. Всё-таки я попаду на фронт?! *(Крестится.)* Слава тебе, Боже! Слава, милостивый!

Я ш к а. Попадёшь. Вместе со своими служивыми, которые в свободное от муштры время решат отдохнуть душой и телом.

М а н ь к а. В борделе?

Я ш к а. Да. Тебя тоже смеху ради с собой возьмут.

М а н ь к а. Я не дура, чтоб с мужиками туда идти.

М а р и я. Видела бы ты себя со стороны, остриженную наголо, в форме и сапогах.

М а н ь к а *(глядя на Яшку).* А чё, ничего!

М а р и я. Ты на Яшку не смотри. На ней форма по спецзаказу в столице сшита.

М а н ь к а. А на мне, значит, мешок с дырками для головы и рук был?

М а р и я. Не это главное.

М ан ь к а. Что же?

Я ш к а. То, что ты ничем от своих однополчан отличаться не будешь.

М а н ь к а. Девиц не проведёшь! Они во мне сразу бабу признают.

Я ш к а. Нет! Одна на коленки к тебе усядется, ласкать начнёт.

М а р и я. Солдатня, угощая их вином, со смеху поумирает.

М а н ь к а. Надеюсь, у нас с ней дело до постели не дойдёт?..

М а р и я. Ротный «на огонёк» заглянет, да всех там застукает.

Я ш к а. Ему ничего не останется, как вас в казарму сопроводить. *(Смеясь.)* Да самому несолоно хлебавши оттуда уйти…

Мария, Манька и Яшка, негромко хохотнув,
в приподнятом настроении продолжают смотреть
на прыгающую перед ними Марусю.

М а р и я *(Яшке).* Ты б поменьше руки распускала. А то твои добровольцы за глаза тебя вахмистром старого режима называют.

Я ш к а *(улыбаясь).* Знаю.

М а р и я. Всё ты знаешь…

М а н ь к а *(глядя на Яшкины погоны).* Кто ты по званию?

Я ш к а *(Взглянув на плечо).* Старший унтер-офицер.

М а н ь к а. Молодец!

Я ш к а *(кивая на Марусю).* Юла.

М а н ь к а. Егоза!

М а р и я. Дают знать старые раны. *(Хватается за спину.)* Хотела с вами постоять, ан нет, лучше уж я присяду.

Яшка и Манька поддерживают усаживающуюся
на кровать Марию.

(Глядя снизу вверх.) Спасибо, мои дорогие. (Кивает головой.) Не ду-

мала я, что вот так, наяву, в ночь перед расстрелом с вами встречусь.

Я ш к а. Зачем же ты, Мария Леонтьевна, к Корнилову подалась? После встречи с Лениным, которому не побоялась отказать воевать на стороне красных, в Томск вернулась. Мирную жизнь начала…

М а н ь к а *(смеясь).* Ненадолго её хватило.

М а р и я. Манька права. После двух лет, проведённых в окопах, разве могла меня устроить спокойная жизнь, когда в стране такое творится?

М а р у с я *(подбежав).* Ты с Лениным встречалась! Кто такой? Что за чудное у него имя…

М а р и я. Это не имя. А вот человек он и впрямь чудной. Детскости в его взгляде, в отличие от «заваренной» им «каши» в стране, премного…

М а н ь к а. Большой ребёнок, что ли?

М а р и я. Я бы так не сказала… Но ощущение, когда он меня обо всём расспрашивал, было.

Я ш к а. От чего?

М а р и я. Глаза у него озорные, с искоркою…

М а н ь к а. Николай II, Керенский, Корнилов, Ленин!

М а р и я. Родзянко, Троцкий, Колчак, Брусилов…

М а р у с я. А кто больше других запомнился?

М а р и я. Командующий Белой армией на севере России генерал Марушевский.

Я ш к а *(удивлённо).* Чем?

М а р и я. Тем, что пытался убедить меня заняться формированием боевых частей.

М а н ь к а. А ты?

М а р и я. Сказала, что против своего народа я воевать не буду.

Я ш к а. Смело!

М а р у с я. И всё? Чем же тогда он больше других запомнился?

М а р и я. За неподчинение его воле снял с меня офицерскую форму, арестовал и даже грозился расстрелять.

Я ш к а. Тебя?

М а р и я. Да.

Я ш к а. Однако…

М а р и я. Рода-то я крестьянского, казалось, сам Бог велел встать на защиту власти трудящихся, но не могла я воинской клятве изменить. На фронте был смысл, зов души. Воевать в братоубийственной войне, стрелять в таких же, как сама, я не хотела…

Я ш к а. Но и примириться с новой властью не могла?

М а р и я. Не могла простить развала армии, братания с врагом в окопах.

Я ш к а. Большевики тут ни при чём, до них всё началось.

М а р и я. Но усугубили всё они…

М а н ь к а. Потому и подалась к Корнилову?

М а р и я. Да.

М а н ь к а. Воевать?

М а р и я. Нет. Но и сидеть сложа руки в Сибири я не могла.

М а н ь к а *(улыбаясь).* Потянуло погулять по России.

Я ш к а. Кругом красные, как тебе удалось пробраться на юг?

М а р и я. Бог миловал. *(Кивает на Марусю, целующую образок, висящий на шее.)* Сколько раз спасала меня эта иконка *(прикладывает ладонь к груди),* пока заветный образок я не подарила американскому президенту.

М а р у с я. Кому?

М а н ь к а. Где?

М а р и я. В Белом доме, Вудро Вильсону.

Я ш к а. Зачем?

М а р и я. Отдала самое дорогое, что у меня было.

Я ш к а. Как ты оказалась за океаном, Мария Леонтьевна?

М а р и я. Корнилов в начале восемнадцатого года с делегацией отправил меня в США и Великобританию.

М а р у с я. Вот это да!

Я ш к а. С какой целью?

М а р и я. Вымолить у союзников помощи.

Я ш к а. Военной?

М а р и я. И военной тоже…

М а н ь к а. Что-то ещё?

М а р и я. Продовольствия. Жрать-то в стране нечего было.

Я ш к а. Помогли?

М а р и я. Как не помочь! Если президент Америки, подняв меня с колен, клятвенно заверил, что помощь будет оказана.

М а н ь к а. Расчувствовавшись, ты и сняла с шеи свой талисман.

М а р и я. Да.

Я ш к а. С кем ещё довёлось повстречаться?

М а р и я. С госсекретарём США и их министром обороны.

Я ш к а. А в Англии?

М а р и я. В Букингемском дворце была принята королём Георгом V, копией нашего царя Николая II.

М а р у с я. Правда?

М а р и я. Как две капли воды. Вот вам крест! *(Перекрестившись.)* Не вру.

Я ш к а. Ещё с кем?

М а р и я. Что?

Я ш к а. Встречалась.

М а р и я. С Уинстоном Черчиллем…

Я ш к а *(восхищённо).* Молодец Мария Леонтьевна! Вот вам и простая крестьянка с задворков Российской Империи…

М а н ь к а. Остаться не предлагали?

М а р и я. Предлагали. Особенно журналист один, несколько дней подряд бравший у меня интервью.

М а р у с я. Как его фамилия?

М а р и я. Сейчас вспомню. *(Подняв палец кверху.)* Исаак Дон Левин! Про него мне говорили, что он очень известный американский историк, выходец из России. *(Заулыбавшись.)* Кстати, через год он книгу обо мне написал. Я не читала, но, говорят, приукрасил изрядно.

М а н ь к а. Ну и?..

М а р и я. Он больше всех настаивал, чтоб я осталась. Обещал содействие в получении американского гражданства.

М а н ь к а. Почему не осталась?

М а р и я. Чтобы я народ свой бросила? Бред! На чужбине мне помереть стыдно было бы, а не то чтобы жить в довольстве и сытости.

Я ш к а. Правильно, Мария Леонтьевна! Время у нас сейчас хоть и смутное, у многих в головах разброд и сумятица, но мы победим! Всё наладится…

М а р и я. Хотелось бы верить…

М а н ь к а. Похоже, не соврал старый шаман.

М а р и я. О чём ты?

М а н ь к а. Да в якутской ссылке мне будущее он напророчил.

Я ш к а. Напомни.

М а р у с я. Разве это возможно?

М а н ь к а. Сказал, что я много разных улусов и стойбищ увижу. За большой водой побываю.

М а р и я. Если океан с разными городами имел в виду, то сбылось.

Я ш к а. Про огонь, воду и медные трубы ничего не говорил?

М а н ь к а. Говорил — большим человеком стану.

М а р и я *(смеясь).* Над последним пошутил явно. А что касаемо «огня с водой», так этого с лихвой на десятерых хватит.

Я ш к а. Не интересовалась, сколько лет нам отмерено?

М а н ь к а. Как же? Перво-наперво спросила.

М а р у с я. Ну и сколько же?

М а н ь к а. Много, очень много, сказал.

М а р и я. Соврал тебе старый колдун, расстраивать не хотел.

М а н ь к а. Шаман!

М а р и я *(машет рукой).* Какая разница.

М а р у с я *(отбежав).* А я верю, что он правду сказал. (Размахнув руки в стороны.) О нас и через сто лет помнить будут!

М а р и я *(улыбаясь).* Через сто лет из тех, кто нас знал, никого не останется.

М а р у с я *(подбежав).* А я всё равно верю, что так и будет!

М а р и я. Блажен, кто верует…

М а н ь к а. *(Марии).* Об иконке жалеешь?

М а р и я. Что?

М а н ь к а. Что отдала.

М а р и я. Нет. Но после того, как я рассталась с оберегом *(похлопывает себя по груди),* мне стало всё чаще не везти. В итоге *(обводит рукой сцену)* вот эта камера…

М а р у с я. Не расстраивайся, Мария Леонтьевна! *(Отбегает.)* Всё будет хорошо.

М а р и я. Вот егоза! Глядя на неё, и впрямь жить хочется.

М а н ь к а *(глядя на Марусю).* Знала бы девочка, что её ожидает…

Я ш к а. Брось, Манька! Не рви душу воспоминаниями.

М а н ь ка. Не пройдёт и года, как из-за нищеты и голода её отдадут в прислугу к богатым господам, где она будет совращена их юным отпрыском.

Я ш к а. Манька!

М а н ь к а. Не нравится?

Я ш к а. Нет.

М а н ь к а. Ничего. Мы прошли через это, пройдёт и она.

Я ш к а. Дура.

М а н ь к а. Не я, тятя наш — дурак. Вместо того, чтобы дочь пожалеть, кнутом отхлестал да на мороз босой выставил.

Я ш к а. Что с пьяницы взять?

М а р и я. Хватит трещать, сороки! Какой-никакой, а отец! Он нам жизнь подарил…

М а н ь к а. Детей настрогать — большого ума не надо. А что он ещё нам дал? Я акромя пьяных скандалов ничего не помню.

М а р и я. Помню — не помню! Ты тоже хороша. Не надо было выскакивать замуж за Бочкарёва.

М а н ь к а. Я выскочила?

Я ш к а. А кто же?

М а н ь к а. Спихнули меня. Хоть на один рот, да меньше…

М а р и я. Эх, Манька, Манька! Знаю я, что несладко тебе в замужестве пришлось. Работала не покладая рук, а всё равно ни гроша за душой не скопила.

М а н ь к а. Мой благоверный на самогон всё спускал.

Я ш к а. Правильно сделала, что сбежала от душегуба.

М а р и я. От одного пропойцы ушла, к другому пристала. В Янкеле ты что хорошего нашла?

М а н ь к а. А что Янкель? Яков Бук поначалу нормальным мужиком был. Я с ним богатеть начала.

М а р и я. За счёт чего?

М а н ь к а. Лавка у него мясная была.

М а р и я. И ты ничего странного за ним не замечала?

М а н ь к а. Нет.

М а р и я. Правду говорят, что любовь слепа.

Я ш к а *(кивает).* Слепа, это точно…

М а р и я *(взглянув на Яшку, Маньке).* Взаправду не догадывалась, куда он у тебя по ночам ходил?

М а н ь к а. Нет. Говорил, с товарищами по выходным в карты режутся. А мне-то что, пущай, коль на выигрыш везёт.

М а р и я. Людей он в тёмных переулках грабил, а не в карты играл, каторжанин.

М а н ь к а. Про это я узнала, когда дело до ареста дошло.

М а р и я *(машет рукой).* Ладно, бог с ним! Но зачем ты по доброй воле за ним в ссылку, по этапу пошла?..

Я ш к а *(заглядывает Маньке в глаза).* Любила сильно?

М а н ь к а. До сих пор злыдня люблю…

М а р и я. Роковая любовь, значит.

Я ш к а. Выходит, так, коль я тоже в честь этого злодея на фронте заставила всех Яшкой себя называть.

М а р и я. Ох, бабоньки! *(Встаёт.)* Дуры мы, дуры, на кого молодость свою растратили. Из-за кого столько слёз пролили?..

М а р у с я *(подбежав).* Что это вы обниматься кинулись? *(Обхватывает всех.)* Я тоже хочу. *(Сквозь смех.)* Вот, Мария Леонтьевна! Какая ты у нас большая, богатая…

Заглушая общий смех, начинает звучать «Марсельеза».

М а н ь к а *(освободившись первой из Марусиных объятий)*. Что это?

М а р у с я *(оглядывается).* Музыка.

Я ш к а *(поправляя форму).* «Марсельеза».

М а н ь к а. Откуда?

М а р и я. С площади Исаакиевского Собора.

М а н ь к а. Мы в Красноярске, а не в Санкт-Петербурге!

Я ш к а. В Петрограде, хотела сказать?

М а н ь к а. Нет. А что, разве?..

Я ш к а. Переименовали.

М а н ь к а. Когда?

Я ш к а. Через месяц после начала войны.

М а н ь к а. Так им и надо! Град нам роднее…

М а р у с я *(указывает).* Глядите, глядите! Сколько народа собралось.

М а н ь к а *(оглядывается).* Вот это да! *(Марии.)* С чего ради?

М а р и я. Торжественная церемония по поводу вручения знамени новой воинской части.

М а р у с я. На полотнище надпись. Кто прочитает?

М а н ь к а. Яшка, конечно. Она у нас грамотная.

Я ш к а *(приглядывается).* «ПЕР-ВАЯ ЖЕН-СКАЯ…»

М а р и я *(выходит вперёд).* «…ВОЕННАЯ КОМАНДА СМЕРТИ МАРИИ БОЧКАРЁВОЙ!» *(Оглядывается.)* Вот что там выткано золотыми буквами.

М а р у с я *(Яшке).* А на плакатах что?

Я ш к а. «Женщине — дорогу, женщина, вперёд!»

М а н ь к а *(на ходу).* Во главе женского батальона наша Мария Леонтьевна стоит.

М а р у с я *(подходит к Марии).* Молодая, красивая…

М а р и я. Не я, Яшка стоит. *(Хлопает по плечу подошедшую к ней Яшку.)* Теперь-то понимаю, что зря радовалась мысли: «Наконец-то свершилось, впереди — фронт!».

Я ш к а. Почему зря? Мою душу переполняют чувства радости и счастья, что мы скоро окажемся на передовой.

М а н ь к а *(обнимает Марию).* Мария Леонтьевна, все только тобой и любуются.

М а р и я. Что с того? Главное не в этом…

М а р у с я. А в чём?

М а р и я. В том, что всё окажется не так, как многим хотелось.

Я ш к а. Неправда! Женщина живёт чувством. Бросается, если надо, не думая — можно ли? От того кругом такое и воодушевление.

М а р и я. Всё так, только я не об этом...

М а н ь к а. Священники образом Тихвинской Божией Матери женский батальон благословляют.

М а р у с я. Смотрите! Батальон выходит на улицы Санкт-Петербурга.

Я ш к а. Петрограда!

М а р у с я *(отбегает).* Тысячи горожан из окон своих домов приветствуют добровольцев. Машут, кричат…

М а р и я. Провожая, искренне радовались вместе с нами.

Пошатнувшись, Мария хватается за спину, но от протянутых рук Маньки и Яшки, пытавшихся её поддержать, отстраняется. Делает несколько шагов в сторону авансцены.

(С грустью.) Дороги, по которым мы прошли в тот день, усыпаны были цветами.

М а н ь к а. Здорово! Не зря, значит, я мужа в якутской ссылке бросила.

М а р и я. Мужа?

М а н ь к а и Я ш к а подходят к М а р и и.

М а н ь к а *(с вызовом).* Пусть гражданского, зато любимого!

М а р и я *(отмахивается).* Зря — не зря… *(Разводит руками.)* Что ж теперь гадать.

Я ш к а. Ты это о чём, Мария Леонтьевна?

М а р и я. Девчонок жалко, которые по зову сердца за мной пошли.

Я ш к а. Что их жалеть? Насильно никто не гнал.

М а н ь к а. Мария Леонтьевна, а почему женский отряд батальоном смерти назвали?

М а р и я. Мы поклялись без победы домой не возвращаться.

М а н ь к а. Даже если погибнуть пришлось бы?

М а р и я. А как ещё можно победить, если во имя нашей горячо любимой Родины не жертвовать своими жизнями?

М а р у с я *(подбежав).* Все так решили?

М а р и я. Не все. Записалось больше двух тысяч. Но на Западный фронт со мной поехали чуть больше трёхсот добровольцев.

М а н ь к а. Что так?

М а р и я. Во-первых, не все выдержали Яшкину муштру с железной дисциплиной и рукоприкладством.

Я ш к а. Кисейным барышням на передовой делать нечего.

М а н ь к а. А во-вторых?

М а р и я. Некоторые из них стали требовать организации комитета и самоопределения.

Я ш к а. Чушь собачья! В армии главное — дисциплина. Без неё это сборище вояк, представляющее из себя дырку от бублика.

М а р и я. Как бы там ни было, но поначалу даже жена баловня демократии Керенского с нами ехать хотела.

Я ш к а. У меня и сейчас в адъютантах дочь адмирала ходит.

М а р и я. Вот это был порыв патриотизма в стране! Не то что сейчас…

Я ш к а. Наконец-то! А то: «зря, жалко, жалею…».

М а р и я. Конечно, жалею! Потому что действительность, воцарившаяся на фронте, потрясёт нас.

Я ш к а. Солдатня достанет? Так нам не привыкать. За это, если что, мы и в морду дать можем.

М а р и я. По ночам усиленный караул вокруг отряда выставлять пришлось.

Я ш к а *(смеясь).* Проголодались солдатики…

М а р и я. Нет, Яшка. То, что ты пережила в первые дни пребывания на передовой или Манька в казарме перед отправкой на фронт — цветочки. А вот девочкам моим…

М а н ь к а. Совсем, что ли, озверели?..

Я ш к а. Сучка не захочет — кобель не вскочит…

М а р и я. Дура ты, Яшка. *(Кивает на Марусю.)* А вместе с тобой и я такая же.

М а н ь к а *(смеясь).* Ты-то, Мария Леонтьевна, отчего?

М а р и я. Оттого, что выступила с инициативой создания женского отряда.

Я ш к а. Наоборот, молодец! На твой призыв: «Гражданки, все, кому дорога свобода России, спешите в наши ряды!» откликнулись тысячи: в Петрограде, в Москве, Киеве, Минске…

М а р и я. Согласна. Первый месяц был сплошным патриотическим подъёмом.

Я ш к а. Ну вот!

М а р и я. Обращаясь к властям за разрешением организовать женский отряд, я думала, что те, что всей душой будут рваться туда, где свистят пули и рвутся снаряды, послужат примером для мужчин-солдат, многие из которых поняли свободу совсем не так, как её следовало понимать…

Я ш к а. Всё правильно! И я о том же.

М а р и я. Женщина родила человека. И мы, женщины, своим бесстрашием и жертвенностью на войне должны показать, как надо спасать только что родившуюся свободу.

Я ш к а. Поэтому я и здесь!

М а р и я. Но чистый патриотический порыв будет извращён и превращён во вредную затею.

М а н ь к а. Мария Леонтьевна, но это уже не твоя вина?

М а р и я. Моя! Потому как я — инициатор создания женских батальонов, оказавшихся в скором времени никому не нужными жертвами.

М а н ь к а. Что, всё так плохо?

М а р и я. Все начинания женщин не дадут ничего ценного и вызовут только нарекания и насмешки, как в тылу, так и на фронте.

М а р у с я. На фронте?

М а р и я. Итогом же этому станет злополучная атака.

Я ш к а. Атака?

М а р и я. Я подниму батальон, надеясь, что нас тут же с криками «УРА!» поддержат мужчины.

Я ш к а. И что?

М а р и я. Ничего.

М а н ь к а. Как это?

М а р и я. В том бою убитыми и ранеными я потеряю половину отряда.

Я ш к а. У нас с утра до вечера учёба: штыковая, по-пластунски, стрельба. Их хоть сейчас в бой посылай.

М а р и я. Они — молодцы!

Я ш к а. Отчего потери такие?

М а р и я. Нас никто не поддержит, все «труса отпразднуют».

Я ш к а. Не может быть?

М а р и я. Может! *(С презрением.)* Мужики в окопах останутся. Ни один носа не высунет.

М а н ь к а. Вы вернётесь?

Я ш к а. Заляжете?

М а р и я. Нет.

Я ш к а. Почему?

М а р и я. Артобстрел начнётся. Девчонки, растерявшись и забыв, чему их в тылу учили, в кучу сбиваться начнут.

Я ш к а. Рассеять пробовала?

М а р и я. Пыталась до тех пор, пока сама осколок в спину не получила.

Я ш к а. Опять ранение! (Всплёскивает руками.) Сколько можно?

М а р у с я. Ну и страсти-мордасти вы рассказываете. (Машет рукой.) Да ну вас. Я лучше побегаю.

Некоторое время три взрослых женщины умилённо смотрят на прыгающую по сцене М а р у с ю.

М а н ь к а. Мария Леонтьевна, а что ты там говорила про меня и казарму перед отправкой на фронт?

М а р и я. По личному одобрению царя-батюшки обстригут тебя «под ноль», выдадут обмундирование и запишут в солдаты, как ты просила.

М а р у с я (подбежав). Наголо, что ли?

Я ш к а (смеясь). Да.

М а н ь к а. Ну и ладно…

М а р и я (Яшке). Расскажи ей (кивает на Маньку) про её первую ночь в казарме.

Я ш к а. Что рассказывать? (Маньке.) Не только в первую ночь, но и в последующие тебе спать не дадут.

М а н ь к а. Тумаками и затрещинами откупаться придётся.

Я ш к а. Вот-вот! Пока…

М а н ь к а. Что?

Я ш к а. Командиру от тебя не достанется.

М а н ь к а. Как! И он туда же?..

Я ш к а. Не человек, что ли?..

М а р и я. То, что руки распустил, он, конечно, пожалеет. Но и тебе от него достанется.

М а н ь к а. Побьёт?

М а р и я. Бьют мужья, в армии — хуже.

М а н ь к а. Куда ж хуже?

Я ш к а. На гауптвахту отправит.

М а н ь к а. Ну и ладно! Главное, я теперь знаю, что себя сразу показать надо будет…

М а р и я. Правильно, Манька! Иначе тебе одной среди мужичья не выжить…

М а р у с я. А как же баня?

Я ш к а. До отправки на фронт Манька в городскую умывальню ходить будет.

М а р у с я. А на войне?

М а р и я. Первое время обойдётся…

Я ш к а. Мы несли такие потери, что через пару месяцев новобранец становился «стариком».

М а р у с я. Ну и что?

М а р и я. А то, девонька, что не пройдёт и этого срока, наша Манька — Яшкой станет.

М а р у с я. Я не об этом спросила.

М а р и я. Об этом! За отчаянную храбрость в бою она быстро обретёт уважение и любовь среди солдат.

М а р у с я (тихо). Я про баню...

Я ш к а (улыбаясь). Мария Леонтьевна тебе и пытается объяснить…

М а н ь к а. Наводите тень на плетень. *(Кивает на Марусю.)* Я тоже не поняла…

М а р и я. Что?

М а н ь к а. С банькой-то как?

М а р и я *(Маньке).* Я же объясняю, что после того, как вместо убитого офицера ты солдат в атаку поднимешь да в рукопашном бою себя проявишь, зауважают тебя однополчане.

М а н ь к а. Мне что, отдельную «помывку» устроят?

Я ш к а. Нет, но укромный уголок в общей бане отведут.

М а р у с я *(Маньке).* Здорово! Одна мыться будешь.

Я ш к а. Как бы не так. Со всеми вместе...

М а р у с я. Как? Она же женщина!

Я ш к а *(Марусе).* Так. *(Шлёпает по заду.)* Мала ещё, иди побегай.

М а н ь к а *(глядя на отбежавшую от них Марусю).* И никто даже?..

М а р и я. После «мясорубки», в которую ты вместе со своим полком сразу по прибытии на фронт в начале 1915 года попадёшь, останется вас с полсотни, не больше.

М а н ь к а. И что?

М а р и я. Каждый из оставшихся в живых готов будет за тебя любому рожу набить, не то чтобы лишнее себе позволить.

Я ш к а *(Маньке).* Настоящую же любовь однополчан познаешь, когда в плен попадёшь.

М а р у с я *(подбежав).* Мария Леонтьевна, ты в плену была?

М а р и я. Была…

М а н ь к а *(Яшке).* Как это случится?

Я ш к а. Немцев мы недели две атаковали, не могли выбить с их позиций.

М а р и я. Поднимемся в атаку, а они нас шквальным огнём из окопов встречают.

М а н ь к а. И?..

Я ш к а. В одну из таких атак я и осталась лежать контуженная на поле боя.

М а н ь к а. Немчура тебя в бессознательном состоянии подобрала?

Я ш к а. В себя пришла от мордобоя...

М а р у с я. Тебя били?

Я ш к а *(отмахивается).* Это мелочи. Главное, что раздеть не догадались.

М а н ь к а. Да…

М а р у с я. Как из плена выбраться удалось?

Яшка. Не удалось бы, Марусенька. Поутру расстреляли бы, да спасибо, наши отбили.

М а р и я. Они как узнали, что Яшки нет, так в новое наступление пошли.

Я ш к а. Немцы, видя, что русских ничто не может остановить, сами из окопов дёру дали.

М а н ь к а. Тебя не тронули?

Я ш к а. Избитая я в блиндаже валялась, они с переполоху про меня забыли. А то б прикончили напоследок.

М а н ь к а. Ну и слава Богу, что всё обошлось.

М а р и я. После этого случая Яшка с поля боя сама несколько раненых бойцов на себе вытащит.

Я ш к а. Было дело…

М а р и я. В благодарность за своё спасение один из них и меня впоследствии от расстрела спасёт.

М а н ь к а. Как это?

М а р и я. Возвращалась я тогда из ставки Корнилова…

М а н ь к а. Так ты всё-таки воевала на стороне белых?

М а р и я. Нет. Я же сказала, что тем и другим отказала воевать против своего народа.

Я ш к а. Что дальше?

М а р и я. Дальше? *(Припоминая.)* На чём я остановилась?

Я ш к а. На расстреле.

М а р и я. Ах, да…

М а р у с я. Интересно как!

М а р и я. Ничего интересного. Шлёпнули б меня тогда христопродавцы без суда и следствия.

М а н ь к а. Как?

М а р у с я. Не может быть!

М а р и я. Ни за понюх табака могли меня краснозвёздные романтики пустить в расход.

Я ш к а. Расскажи.

М а р и я. Вышла я к станции, занятой большевиками.

М а н ь к а. Ты в форме, при крестах была?

М а р и я. Нет. *(Пожимает плечами.)* Сама не знаю, с чего вдруг решила сдаться на милость новой власти.

Я ш к а. Разочарование, наверное. На фронте всё ясно: там враг, здесь свои.

М а р и я. Вот-вот! Только они меня вместе с другими, приговорёнными к расстрелу, к стенке поставили.

М а н ь к а. За что?

М а р и я. Я же про себя им всё рассказала.

Я ш к а. Зачем?

М а р и я. Не знаю. *(Оборачивается.)* Устала я. От ранений всё тело ноет. Доведите меня до кровати, будь она неладная…

Маруся, Манька и Яшка доводят Марию до указанного ею места. Заботливо усадив на кровать, обступают её с разных сторон.

(После паузы.) Стою. Молюсь. Вот, думаю, и конец твой, Мария Леонтьевна, пришёл…

Я ш к а. Как живой осталась?

М а н ь к а. Кто-то помог?

М а р и я. Помог.

М а н ь к а. Кто?

М а р и я. Один из вскинувших винтовку, чтоб в нас пальнуть, оказался тем, кого Яшка раненого из-под огня на себе вытащила.

Я ш к а. Интересно, кто же это был?

М а р и я. Вывел он меня из строя, а когда солдатня костерить его стала, на моё место встал.

М а р у с я *(восхищённо).* Молодец!

М а н ь к а. Его вместо тебя свои же хлопнули?

М а р и я. Нет. Отпустили обоих.

Я ш к а. Вот и пойми после этого, кто враг тебе, а кто друг.

М а р и я. Твоя правда, Яшка. Всё на свете перемешалось…

М а р у с я *(отбежав).* А я знаю, что со мной ничего не случится! *(Целует медальон.)* Пока мамина иконка со мной.

М а р и я. Я тоже так думала *(дотрагивается до груди),* пока…

М а р у с я *(подбегает).* Что пока, Мария Леонтьевна? *(Сняв с себя иконку, надевает её на Марию.)* Ничего с тобой не случится, поверь мне.

М а р и я *(умилённо).* Ах, солнышко ты моё! Дай я тебя поцелую. *(Целует.)*

М а р у с я *(засмеявшись).* Я же сказала — всё будет хорошо! *(Отбежав, начинает скакать и прыгать по сцене.)*

Я ш к а *(глядя со всеми вместе на Марусю).* Неужели это мы в детстве? Голод, холод, нищета, а нам всё нипочём…

М а н ь к а. Недолго ей прыгать остаётся, фунт лиха не за горами…

Я ш к а. Манька! Побью…

М а н ь к а. Поменьше бы руки распускала, глядишь, и у меня всё по-другому сложилось бы.

М а р и я. Яшке спасибо сказать надо. Она из нас…

М а р у с я *(подбежав).* Вы что ругаетесь? Бросьте! *(Отбегает.)* Лучше догоните меня.

М а р и я *(смеясь).* Мне тебя не догнать, осколок в спине не даст. (Кивает.) Вон разве что из нас Манька с тобой сладит. *(Маньке.)* Давай, коль ребёнок просит, побегай с ним.

М а н ь к а. А что! Я враз поймаю. *(На бегу.)* Догоню…

Под общий радостный смех Манька гоняется за Марусей. Перекрывая смех, начинают громыхать взрывы, слышится пулемётная стрельба. После нескольких всполохов света, имитирующих разрывы снарядов, сцену вновь заливает яркий свет.

М а р у с я *(оглядываясь).* Что это?

М а р и я. Конец.

М а н ь к а *(на ходу).* Чему?

М а р и я. Белому движению.

Я ш к а. Но Верховный правитель России…

М а р и я. Омск сдан.

М а р у с я и М а н ь к а подходят к М а р и и.

Я ш к а. Как?

М а р и я. А вот так *(разводит руками)*, милочка.

Я ш к а. Не может быть!

М а р и я. Может. Армия Колчака разбита.

М а н ь к а. А сам где?

М а р и я. По железной дороге пытается добраться до Владивостока.

Я ш к а. Надеется через Японию попасть в Европу?

М а р и я. Да.

Я ш к а. Значит, не всё ещё потеряно.

М а р и я. Всё.

М а н ь к а. Ему сделать этого не удастся?

М а р и я. Нет.

Я ш к а Жалеешь, что к Колчаку примкнула?

М а р и я. Обидно.

М а н ь к а. Что проиграли?

М а р и я. Что второй раз в жизни глупость сделала.

М а р у с я. Какую, Мария Леонтьевна?

М а р и я. Согласилась…

М а н ь к а. На что?

М а р и я. На формирование санитарного отряда.

Я ш к а. Тебе приказали?

М а р и я. Попросили.

М а р у с я. Кто?

М а р и я. Александр Васильевич.

Я ш к а. Колчак?

М а р и я. Да.

М а н ь к а. Как это было?

М а р и я. Я подала прошение об отставке. Адмирал вызвал меня к себе.

Я ш к а. Повторилась история с генералом Марушевским?

М а р и я. Нет. Верховный был более убедителен в своей просьбе.

М а н ь к а. Много сестёр милосердия записалось в отряд?

М а р и я. После моих выступлений в общественных местах под знамёнами адмирала Колчака оказалось более двухсот добровольцев.

М а р у с я. Ничегошеньки!

М а р и я. В выделенном составе мы организовали передвижной госпиталь.

М а н ь к а. И что?

М а р и я. Как что? При отступлении войск белые нас бросили на произвол судьбы.

Я ш к а. Против красных ты не воевала. Значит, бояться нечего…

М а р у с я. Тебя, Мария Леонтьевна, никто не тронет.

М а р и я. Я не о себе пекусь. *(Возбуждённо.)* Ладно, нас бросили, но они же своих раненых солдат и офицеров!

Я ш к а. Последним не позавидуешь…

М а н ь к а. Победителей не судят.

Я ш к а. Жаль.

М а р и я. Ох, девоньки!

Встав с кровати, Мария пытается обхватить и прижать к себе всех троих.

(Жалобно.) Простите меня за всё…

М а н ь к а *(оттолкнув Яшку, целует Марию).* И ты нас прости, Мария Леонтьевна, ежели что не так…

Я ш к а *(замахивается на Маньку газетой).* Сейчас как толкну… *(Недоуменно смотрит на свёрток.)* Не поняла.

М а р у с я. Что?

Я ш к а. 1992 год!

М а н ь к а. Скорее девятьсот двенадцатый? *(Смеясь.)* Газетёнка-то старая.

Я ш к а. Нет. Смотрите…

М а р у с я. Где, что смотреть?

Я ш к а. Да вот же, 1992 год.

М а р у с я. А сейчас какой?

М а н ь к а. Ноябрь четырнадцатого! Война 1 августа началась…

Я ш к а. Смеёшься? 1917 год! Полгода не прошло после февральской революции.

М а р и я. Ошибаетесь, май двадцатого на дворе! Мне жить-то осталось всего ничего…

Я ш к а. Может быть, и двадцатый. Но газетка за 1992 год!

М а р и я. Врёшь ты всё, Яшка. Позабавить перед расстрелом меня решила.

Я ш к а. Мария Леонтьевна, посмотри сама…

М а р и я *(смеясь).* Давай. *(Берёт газету.)* Посмеёмся вместе над твоими выдумками. *(Читая вслух, оседает на кровать.)* Январь, 1992 год! *(В зал.)* Это что же получается?

М а р у с я. Как это возможно?!

М а н ь к а *(Марии).* Она что, газету из будущего нам принесла?

Я ш к а. Какого будущего? Свежую я купила. Откуда эта взялась, не знаю…

М а н ь к а. Ты всё время её в руке держала.

М а р у с я. Как интересно!

Я ш к а. Что?

М а р у с я. Узнать, что за жизнь у них там.

М а р и я *(проглядывает страницы).* Митинги, забастовки по всей стране.

М а н ь ка. Из-за чего?

Я ш к а *(заглядывает в газету).* Из-за пустых полок в магазинах.

М а н ь к а. У них то же самое, что у нас здесь, что ли?

М а р и я. Выходит, так. *(Трясёт газетой.)* Протестуют против роста цен, обесценивания денег. В Москве демонстрации, баррикады возводят.

М а н ь к а. Ничего себе!..

Я ш к а *(берёт газету).* О! Тут и криминальная хроника есть. Почитать?

М а р у с я. Поминальную не надо. Лучше про любовь что-нибудь найди.

Я ш к а *(Марусе).* Рано тебе о любви думать. Здесь же (утыкаясь в газету) в основном о грабежах и разбоях.

М а р и я. Не поняла. *(Всплёскивает руками.)* Зачем тогда две революции? Позорный Брестский мир? Гражданская война? Разруха, мор. Чтобы что?..

Я ш к а *(пожимает плечами).* Через семьдесят лет к этому же вернуться?..

М а р у с я. Смотрите! Фотография Марии Леонтьевны!

М а н ь к а. Где?

М а р у с я *(указывает).* Да вот внизу. С георгиевскими крестами и медалями на гимнастёрке.

Я ш к а. Точно!

М а н ь к а. Там что-то написано. *(Яшке.)* Прочитай!

Я ш к а *(читает).* «Оказавшись в Томске, Мария Бочкарёва добровольно явилась к местным властям, которые взяли с неё подписку о невыезде…»

М а р и я. Я им своё именное оружие сдала. А они меня вскоре, во время службы в церкви, под стражу взяли. *(Яшке.)* Есть там что ещё?

Я ш к а. Есть.

М а р и я. Читай.

Я ш к а *(читает).* «Явных доказательств её борьбы против Советской власти обнаружить не удалось, поэтому разбирательства затянулись на четыре месяца. По советской версии 16 мая 1920

года она была расстреляна в Красноярске на основании резолюции начальника Особого отдела ВЧК 5-й армии Ивана Павлуновского и его заместителя Шимановского…»

М а р и я. Всё правильно. *(Утирает слёзы.)* Вчера мне предъявили обвинение в контрреволюционной деятельности. Я признана классовым врагом новому режиму. До рассвета же осталось… О Боже!..

М а р у с я *(обнимает Марию).* Мария Леонтьевна, не надо! А то мы тоже заплачем.

Я ш к а *(строго).* Что вы, блин, слюни распустили. Дайте дочитать.

М а р и я *(отмахивается).* Хватит, Яшка, и так всё ясно. *(Гладит Марусю по голове.)* Пусть расстреливают. Всё-таки я интересную жизнь прожила. Вы — свидетели!

Я ш к а *(повысив голос, читает).* «В заключении прокуратуры России о реабилитации Бочкарёвой 1992 года сказано: свидетельств её расстрела не имеется».

М а р и я *(встаёт).* Что?

Я ш к а. Я так понимаю, документов о приведении приговора в исполнение нет.

М а н ь к а. А это значит!..

М а р и я. Бросьте! *(Трогается с места.)* Ничего это не значит…

Обступая Марию с разных сторон, все идут за ней следом.

Я ш к а *(на ходу).* Как это ничего не значит! Если здесь написано…

М а р и я *(остановившись в центре сцены).* Брось, Яшка! Мне теперь ничего не страшно …

М а р у с я *(отбегает).* Потому как у нас всё ещё впереди! *(Исчезает со сцены тем же способом, как и появилась.)*

М а р и я *(смеясь).* Это у вас всё впереди. У меня же…

Я ш к а *(Маньке).* Куда это стрекоза наша полетела, а ну верни её.

М а н ь к а под звуки нагоняющей тоску музыки покидает сцену вслед за М а р у с е й.

М а р и я. Слышишь?

Я ш к а. Что?

М а р и я. Шаги. Это за мной идут.

Слышны приближающие шаги.

Я ш к а. Рано ещё.

М а р и я. В самый раз.

Щёлкает засов, раздаётся скрип открываемой двери.

Г о л о с: Бочкарёва, на выход!

М а р и я трогается с места.

Я ш к а *(на ходу).* Не спеши, Мария Леонтьевна, дай мне вместо тебя выйти.

М а р и я. Яшка! Ты что? *(Протягивает руки.)* Куда?..

Сразу же после исчезновения Яшки за дверью слышится голос.

Г о л о с: К стене, руки за спину.

Раздаётся скрип закрываемой двери, щёлкает засов.

Г о л о с: Вперёд. По сторонам не смотреть. Стреляю без предупреждения.

Идёт звуковое сопровождение удаляющихся шагов.

М а р и я. За что ко мне так? Какой вред я им нанесла? *(Запрокинув голову.)* Господи! Ну какой из меня контрреволюционер? *(К залу.)* Есть же настоящие враги, их много… *(Вымученно.)* Ну не немцы же они! Такие же русские. Почему мы не жалеем друг друга? Отчего не живём по-человечески? *(На ходу.)* Эх, Россия, Россия! Куда ты катишься?..

Медленно подойдя к кровати, М а р и я, поправив матрац, усаживается. Обхватив голову руками, начинает тихо раскачиваться из стороны в сторону. Проходит часть времени. С утиханием нагоняющей тоску музыки начинают доноситься приближающиеся шаги.

(Подняв голову.) Ну, вот и всё! По мою душу идут…

Щёлкает засов, раздаётся скрип открываемой двери.

Г о л о с: Бочкарёва, на выход!

М а р и я *(встаёт).* Это надо же перед расстрелом и всю ночь мирно проспать. *(На ходу.)* Приснится же такое! *(Заглянув в вырез платья, достаёт и целует образок, висящий на шее.)* Вот и мамина иконка со мной. С ней мне ничего не страшно! *(Остановившись.)* Что! Откуда?.. (*Недоуменно смотрит на медальон, затем в зал.)*

Занавес

Александр КАЗАРКИН
Встречь солнцу 5

Геннадий СКАРЛЫГИН
Решётчетое небо сентября 91

Владимир КОСТИН
Колокол и Болото 139

Геннадий АНКУДИНОВ
Пьесы 327

Библиотека томской поэзии и прозы

Том 3

Александр Петрович Казаркин
Геннадий Кузьмич Скарлыгин
Владимир Михайлович Костин
Геннадий Степанович Анкудинов

Координатор, разработчик проекта,
редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*

Технический редактор *О. В. Карташов*

Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».
Подписано в печать --.--.2018 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л __.__. Уч. изд. л. __.__. Тираж 1 000 экз.